

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

Будущее — собранный прозе
«Информация — источник»

Задачи и решения



1

0

0

2

Annotation

Казалось бы, заурядное преступление – убийство карточной гадалки на Арбате – влечет за собой цепь событий, претендующих на то, чтобы коренным образом переиначить судьбы мира. Традиционная схема извечного противостояния добра и зла на нынешнем этапе человеческой цивилизации устарела. Что же идет ей на смену?

- [Юрий Козлов](#)
 - [А](#)

- B
- C
- D
- E
- F
- G
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- U

- V
- W
- X
- Y
- Z



Юрий Козлов

Колодец пророков

Проходя по Арбату, Илларионов всякий раз обращал внимание на гадалку, в погожее время прогуливающуюся короткими ломаными линиями, а иногда удлинёнными овалами и эллипсами вокруг столика с простыми игральными картами, картами Таро и весьма редкими в мире, не говоря о России конца XX века, древнеегипетскими картами Руби, так называемыми картами мертвых. Во время дождя или сильного ветра гадалка перемещалась со столиком под темную плесневеющую

колоннаду театра имени Вахтангова. Однажды Илларионов помог ей в этом нехитром деле и, помнится, изумился, сколь невесом (как из пуха) старинный столик с разноцветным инструментарием по прочтению будущего и судеб отдельных людей, стран, обществ и народов.

Покидая плесневеющую колоннаду, ступая под дождь, он оглянулся. Глаза гадалки светились в дневных сумерках. На этот свет, как ночные бабочки на огонь, летели древние египтяне, стремящиеся узнать то, что узнавать не следовало. Ибо, как гласила одна из заповедей ослоголового (иногда, впрочем, он

изображался в виде огромного грызуна, похожего одновременно на крысу, барсука и сурка) египетского бога Сета, излишнее знание отнимает у жизни смысл. Илларионов припомнил, что в иные моменты бесконечной и непознаваемой, как свет то ли живой, то ли погасшей, но присутствующей на небосклоне звезды, истории Египта гадание на картах мертвых было строжайше запрещено. Осмелившихся нарушить запрет гадалок ослепляли, дабы погасить (а в редких случаях, выражаясь компьютерным языком, сканировать) в их глазах неуместный свет (информацию), выхватывающий

из темной реки времени отдельные фрагменты будущего. Если же предсказанную судьбу или будущее требовалось изменить или направить по другому руслу, гадалку попросту закалывали специальным ритуальным ножом — узким и длинным как спица.

Карты Руби — карты мертвых — просачивались сквозь века, запреты и границы, как просачивается сквозь века, запреты и границы все истинное, равно как и ложное, связанное с природой человека (а может, природой сил, управляющих тем, что принято называть жизнью), вернее, с изначальным несовершенством (а может,

недоступным пониманию человека совершенством) этой самой природы.

Илларионов был уверен, что подавляющее большинство идущих по Арбату людей понятия не имеет, что такое карты Руби. Он был не сильно сведущ в вопросах гадания на картах, но все же в свое время познакомился с малодоступным читающей публике неканоническим (то есть не вошедшим в Библию) текстом, где утверждалось, что Бог изгнал Адама и Еву из рая не за то, что они отведали плодов с дерева познания, а за то, что Ева предсказала Адаму судьбу человечества с помощью карт Руби. В свое время хасиды в круглых

шляпах, с разделенными на пробор бородами, мусульманские боевики-фундаменталисты, выдававшие себя за ученых мулл, баптисты в смокингах, старообрядцы в глухих суконных сюртуках под разными предложениями штурмовали Государственную библиотеку не столько из-за этого (он, естественно, хранился в другом месте, в электронном с семью паролями сейфе) текста, сколько из-за других, где были на него ссылки. Таким образом (если верить неканоническому тексту), даже сам Господь Бог (ГБ, как несколько фамильярно называли его в отдельных учреждениях в России на

исходе XX века) ничего не сумел поделаться с картами Руби.

Они разрушили рай.

В последние годы Илларионов перестал доверять путеводному чувству «что-то здесь не так», прежде недвусмысленному и безошибочному как градусник. Когда рушатся цивилизации, «что-то здесь не так» превращается из отклонения в норму, легко и естественно входит в новую (поначалу почти всегда отравленную или по недоразумению кажущуюся таковой) формулу воздуха. Уволенный по сокращению штатов в результате очередной (четырнадцатой по счету) реорганизации своего прежнего

места работы (отныне контора называлась Департамент федеральной безопасности – ДФБ), Илларионов вместе с народом дышал отравленным (или в силу непонимания, природной враждебности к новому кажущимся таковым) воздухом «все не так», вместе с народом же видоизменяясь, приспособляясь, как некогда видоизменялись, приспособляясь к сухой воздушной среде обитания, оставшиеся без океана кистеперые рыбы.

Поэтому и гадалка с древнейшими, редчайшими в мире, не говоря о России конца XX века, картами Руби на шумном Арбате, под

плесневеющей колоннадой театра имени Вахтангова уже не казалась ему чем-то из ряда вон.

Ведь не удивился же Илларионов, когда год назад прямо здесь, на Арбате, купил у стынувшего в доисторических резиновых ботах на морозе бомжа рисунок Рембрандта за сто долларов. «Что это там у тебя, любезный?» — остановился, заинтригованный натуральным (старинным) видом выглядывающей из-под черного пальто бомжа бумаги Илларионов. «Рембрандт, одноглазый ангел, подлинник», — честно (но это выяснилось позже) ответил бомж. «Сколько?» — поинтересовался

Илларионов, пытаюсь мысленно
вообразить печальные
обстоятельства, в результате которых
несчастный ангел лишился левого
глаза. Бомж запросил тысячу, но
отдал за сотню. «Почему он
одноглазый?» – скорее для очистки
совести, нежели в надежде получить
квалифицированный ответ спросил
Илларионов. «Может, налетел на сук
в темноте? – предположил бомж. –
Или какая злая баба выцарапала?»
«Купи себе валенки», – посоветовал
Илларионов. «Кому подлинник
Рембрандта за сотню, – философски
заметил бомж, – кому валенки за
пятьдесят». «Неужели за пятьдесят?»
– Илларионов удивился цене валенок

даже больше, чем злой бабе, предположительно выцарапавшей ангелу глаз. «Ну да, пятьдесят на Тишинском рынке, — подтвердил бомж. — Одноглазые ангелы там не идут, а валенки на святой Руси уже не катают».

Не удивлялся Илларионов и своим нынешним месту работы, должности и окладу: Государственная библиотека, начальник отдела неустановленных рукописей, половина стоимости валенок. Ровно на один валенок в месяц (что было смехотворно мало) или половину одноглазого ангела Рембрандта (что было фантастически много) зарабатывал

Илларионов, руководя несуществующим отделом в почти что уже и не существующей, полуразворванной, полузатопленной коммунальными водами, атакуемой скверной живностью библиотеке.

Не удивлялся он и мнимой неожиданности основного своего кормления. Как специалист по неустановленным рукописям Илларионов участвовал в грандиозном проекте американских мормонов по созданию электронной версии Библии для всемирной компьютерной сети Интернет. Илларионов занимался преобразованием Библии (точнее,

избранных ее фрагментов, ибо «поднять» всю Библию было так же трудно, как некоему Ксанфу в одиночку выпить море) в компьютерный гиперроман, то есть в роман с бесчисленным внутренним разветвлением файлов (совершенно самостоятельных сюжетов). Грубо говоря, приступив к чтению на экране компьютера библейского текста и, допустим, заинтересовавшись случайным именем ЭЛИБАН, потенциальный читатель (пользователь) мог свернуть с обустроенной, размеченной многорядной автострады основного текста на кривую каменистую, в колючих кустах и кипарисах,

тропинку ЭЛИБАН. На сумеречной этой тропинке (отчего-то большинство преступлений в Библии совершались именно в сумерках) можно было разглядеть притаившегося за валунами в ожидании путника (им не посчастливилось оказаться шестнадцатилетнему пастуху небольшого стада ослов САВЛУ, будущему ПАВЛУ) разбойника ЭЛИБАНА. Почти невидимую тропинку ЭЛИБАН пересекала едва угадываемая по колыханию сухой травы НИМЕР. Так звали нелегально прибывшего в Иудею атлета-эфиопа, с которым летним вечером на берегу Мертвого моря упомянутые ЭЛИБАН

и САВЛ провернули сомнительную торговую операцию. С НИМ ЕРА грех было не спуститься по каменистому склону на АСФАРЬ. Потакая прихоти этой юной красавицы из СТРАНЫ СНОВ, НИМЕР заколол длинным мясным ножом богатого римлянина МАРКА ДОМИЦИЯ, за что впоследствии был отдан на растерзание львам.

Если что и удивило Илларионова, так это то, что благодаря удачному стечению обстоятельств, а также необъяснимому почтению, испытываемому мормонами и чиновниками из штаб-квартиры Интернета в Риме к нормам

авторского права, именно он официально считался отцом идеи проекта преобразования Библии в гиперроман для Интернета, так сказать, держателем золотого ноу-хау. Выступая на международном симпозиуме, посвященном вопросам межбиблиотечного обмена информацией по электронным системам связи, Илларионов ни с того ни с сего ляпнул, что, по его мнению, именно Библия должна была быть главным гиперроманом в Интернете. Между тем, там среди всевозможного полупорнографического мусора болтался один-единственный относительно законченный, весьма,

по мнению Илларионова, посредственный гиперроман неведомого автора под мало что сообщаемым читателю названием «Феликс».

Финансирующие проект мормоны платили Илларионову неплохие — на жизнь хватало — деньги, но едва ли не больше, чем электронная версия Библии, их интересовал придуманный Илларионовым отдел неуставленных рукописей Государственной библиотеки (ГБ), а также — как и хасидов, боевых мулл, баптистов, старообрядцев и прочих неравнодушных к истории человечества людей — одно роковое

имя, которое пока отсутствовало в бурно разрастающемся, как рога на голове мужа неверной жены, разветвляющемся новыми, новейшими, сверхновыми и сверхновейшими файлами электронном библейском лесу.

«Интересно, сколько она берет за сеанс?» – подумал про гадалку Илларионов, сворачивая с Арбата через короткий Денежный переулок на суставчатый Сивцев Вражек, в глубине которого он и жил в большом старом, обросшем позднейшими пристройками, как тело лишними конечностями, доме. Дом то собирались сносить, то оставляли в покое. Коммерсанты,

банкиры, московское правительство, муниципальный округ «Старая Москва» периодически подступали к дому, обещая не только удачно расселить жильцов в Митино-4 и Расторгуево-2, но и подарить каждой семье по подержанной иномарке. Однако что-то в последний момент срывалось. Илларионов полагал, что до тех пор пока дом не отдадут, помнят и о нем – рабе Божьем, новоявленном начальнике отдела неустановленных рукописей ГБ. Так сказать, держат в резерве главного командования. Отпустят дом – значит, и ему надеяться (в смысле продолжения службы) более не на что. Можно смело переходить к

частной жизни. Иногда, впрочем, Илларионову казалось, что он переоценивает (для государства и вообще) значение собственной личности»

Он давно бы воспользовался услугами профессиональной гадалки, если бы всю жизнь – точнее, большую часть из прожитых сорока двух лет – не пребывал в плену странного предрассудка, что нельзя испытывать судьбу гаданием. Илларионову казалось, что обратиться к гадалке – все равно что обратиться к проститутке. Пусть в этом в общем-то нет ничего страшного, за исключением очевидного отступления от

добродетели и нарушения
определенного равновесия личности.
В том случае, естественно, если
ранее нарушенное равновесие в
человеке не успело, подобно свинцу,
отлиться и застыть как норма. Тогда
рассуждения Илларионова теряли
смысл. Хождение к проститутке
выглядело даже предпочтительнее,
поскольку тут (теоретически)
нарушалось (если нарушалось)
равновесие лишь двух отдельно
взятых личностей — Илларионова
(привыкшего к всевозможным
нарушениям) и проститутки (надо
думать, давно нарушенное). В случае
же с гаданием как бы ставился под
сомнение самый промысел Божий,

наносилось оскорбление ангелу-хранителю, если таковой, конечно, существовал, в чем Илларионов сильно сомневался. Предсказание — не важно, имевшее шансы сбыться или нет — пробуждало к участию в судьбе другие (вечные и слепые) силы, пред которыми Илларионов испытывал священные страх и трепет. Он бы предпочел погибнуть в неведении, нежели продолжить (после предсказания) жить в ущерб кому-то. Ибо, как известно, за избегнувших (в результате предсказания) судьбы неизменно расплачиваются страданиями другие. Судьба — стрелок, допускающий изредка рикошет, но никогда —

чистый промах.

Поднимаясь пешком на свой пятый этаж — он, как правило, не знал заранее, пойдет пешком или поедет на лифте, принимал решение в последнее мгновение, — Илларионов продолжал думать о картах мертвых — картах Руби.

Помимо обычных (ритуальных) сведений — дня месяца, года рождения — гадалке следовало сообщить о себе и несколько неожиданных, сугубо, так сказать, сокровенных вещей, а именно: приходилось ли тебе убивать самому или принимать участие в убийстве человека (людей); желал ли ты когда-нибудь зла близкому человеку

(любимой женщине); что ты ценишь в этой жизни превыше самой жизни? Отнюдь не каждому хотелось честно отвечать на такие вопросы, глядя в светящиеся глаза гадалки, поэтому гадание зачастую осуществлялось через посредников: некто приносил записанные на бумаге (или устно сообщал гадалке испрошенные сведения), гадалка давала письменный (или устный) ответ. Таким образом визуальный (посредством наблюдения) контакт с клиентом — дрожание рук, учащенный пульс, расширенные зрачки, следы побоев или садистских ласк, одним словом, все те очевидности, на сопоставлении и

первичном анализе которых во все века работали простые гадалки – в случае с картами мертвых – картами Руби – был необязателен. Гадание по этим картам считалось абсолютно безошибочным, ибо весточки о будущем (если верить оккультным древнеегипетским и неканоническим библейским текстам) передавались живым гадалкам Руби от гадалок уже умерших, которые (если опять-таки верить этим сомнительным источникам) являлись одним из связующих звеньев между двумя вечными мирами, ибо, как известно, ничто и никогда не может исчезнуть бесследно. В мире мертвых (как

свидетельствовали тексты) понятие лжи отсутствовало по определению. Ложь не вписывалась в энергетику мира мертвых, поэтому оттуда приходила химически чистая, голая (как человек в момент рождения) правда — весьма тревожный, а зачастую смертельный для гадалок и их клиентов продукт.

На четвертом этаже за два лестничных пролета до своей площадки Илларионов как бы замер на бегу. Пронизывающий пыльный подъезд, как спица моток шерсти, столб смешанного — электрического от ламп на площадках и естественного из окон на лестнице — света был ясен, незамутнен лишними

тенями. Илларионов открыл двумя ключами обшарпанную, шатающуюся, как пародонтозный зуб, первую дверь своей квартиры. С этой дверью справился бы и ребенок (естественно, ребенок с плохими наклонностями). Илларионов подал на себя слабо пискнувшую под ключом вторую — тяжелую, железную, обитую бронированным, под дерево, пластиком — дверь. Эту дверь (во всяком случае быстро и незаметно) не сумели бы открыть ни парни с гранатометами, ни самый опытный медвежатник.

Еще был жив отец, когда он ставил эту дверь. Илларионов, помнится, навел его в больнице.

Отец объяснил, как отыскать мастера. «Кроме него, тебя и... меня, если не умру, – сказал отец, – никто не откроет». «Вряд ли, – усомнился Илларионов-младший, – сейчас есть очень хорошие специалисты. К тому же и безработные. Им терять нечего». «Кто хорошо разбирается в электронике, – улыбнулся отец, – как правило, не так хорошо разбирается в механических замках. Кто умеет вскрывать механические замки, редко соображает в электронике. Это разные вещи для разных людей. Тут нужен штучный человек». И мастер – застенчивый, похожий на инока, с редкой светлой бороденкой и длинными пальцами пианиста

юноша с явно не ему принадлежащим именем Эрик — оказался именно таким штучным человечком. С другими Илларионов-старший без крайней на то необходимости предпочитал дел не иметь.

Он пролежал в больнице несколько лет. Иногда Илларионову-младшему казалось, что отец совершенно здоров и лежит в ЦКБ, потому что ему так удобно: отдельная палата, кормят-поят за государственный счет, каждое утро — свежие газеты, доставляют просимые книги, пускают сына, а главное, вокруг чистенько, тихо, никто (кроме лечащего врача) не

стоит над душой. «Не надоело тут? — однажды спросил Илларионов-младший. — Перебрался бы на дачу, что ли?» «Да ты что? — едва слышно, одними губами ответил Илларионов-старший. — Только тут я и живой». «Но ведь в полной их... власти, — тоже одними губами возразил Илларионов-младший, — в любой же момент...» «Потому и живой, — неожиданно громко засмеялся отец, — что в любой момент. Соскочившему на ходу с поезда нельзя в лес. Можно только или разбиться насмерть, или стоять столбом у насыпи».

В ту — одну из последних — их встреч Илларионов-младший с

сердечной болью отметил, что отец истаивает, догорает как церковная свечка. Его лицо было таким белым, что сливалось с подушкой, и только светились с подушки странным светом зеленые глаза, которые, в отличие от лица, напротив, только набирали яркость. «Тебя тут случаем, не поторапливают?» — незаметно вывел ручкой Илларионов-младший на белой кайме газеты. «Нет, я сам опаздываю», — ответил отец.

Илларионов-младший, впрочем, до сих пор не был в этом стопроцентно уверен. Кажется, дня за два до смерти отца начальник двенадцатого управления генерал Толстой, курировавший в числе

прочих возглавляемый Илларионовым-младшим отдел, взял его в лифте на Лубянке за пуговицу пиджака: «Слышал, сынок, строгую дверь поставил на новой квартире?» – весело (как если бы это было самое радостное известие за этот день) подмигнул генерал Толстой. «К новой квартире, товарищ генерал, – растерялся Илларионов-младший, – и дверка новая». Он не ожидал, что новую дверку так скоро проверят на впускаемость. «Вот и я о такой, сынок, чтобы дом рухнул, а она как новенькая, давно мечтаю, – сокрушенно вздохнул (мол, мечтаю, да вот никак не поставлю) генерал Толстой. – Телефончик мастера не

подскажешь?» «Не подскажу, — с искренним сожалением развел руками Илларионов, — не оставил он своего телефончика».

Генерал Толстой был плотен, кругл, лыс, добродушен на вид, как говорящий колобок из сказки. И как колобок же с невероятной легкостью уворачивался от всех желающих его съесть. «Батя нашел», — констатировал он. Если можно было вообразить себе колобок из снега и льда, то сейчас генерал Толстой напоминал именно такой арктический колобок. Уворачиваясь от желающих его съесть, он сам не зевал — съедал (морозил?) кого хотел. «Будешь у него в больнице, передавай

привет, – сказал, выходя из лифта, генерал Толстой. – Обязательно съезжу к нему на следующей неделе».

Илларионов-младший не знал, съездил он или нет, потому что на следующей неделе отец умер.

Отца хоронили стылым утром поздней осенью на подмосковном Лесном кладбище с приличествующими его воинскому званию почестями. От земли поднимался густой белый, как сметана, туман. В нем без остатка растворились черные лимузины, вишневый полированный гроб, рыдающая медь оркестра, красные носы одинаковых на всех похоронах

музыкантов, седые и лысые непокрытые головы, спешившиеся генеральские каракулевые папахи, пыжиковые, песцовые, шерстяные и прочие шапки и кепи провожающих в штатском. Только прозрачно застекленные льдом ветви деревьев выглядывали из белого тумана, как кончики-узелки тех самых нитей, потянув за которые можно распутать клубки тайн.

Илларионов подумал, что вместе с отцом в белый туман, в обледеневшие ветви деревьев, в черную промерзшую землю и еще Бог знает куда ушло немало тайн. И среди них та, которая чем дальше, тем сильнее занимала Илларионова-

младшего. Почему отец так спокойно, если не сказать равнодушно, относился к событиям, сотрясающим Россию с конца восьмидесятых и по сию пору, к разрушению всего того, чему он и Илларионов-младший (не считая многих других достойных людей) служили верой и правдой столько лет?

«Ладно, — помнится, сказал он отцу, — хрен с ними: с социализмом, ленинским Политбюро, ЦК КПСС, общественной собственностью на средства производства, моральным кодексом строителя коммунизма, единым политднем, Рабкрином, ленинским университетом

миллионов и университетом марксизма-ленинизма. Но причем здесь российское государство?»

Дело было зимой, на служебной даче в Ромоданово. В большой деревянной, застланной пушистым, как в американских отелях, паласом комнате горел камин. За окном — насколько хватало взгляда — по пояс в снегу стоял вековой лес. В ледяном воздухе была разлита такая крепость, что российское государство казалось вечным и неприступным, как лес в снегу.

Илларионов-младший, помнится, подумал, что и карачун государству, как ни странно, пришел из такого же векового зимнего леса, только на другом конце государства.

Впрочем, на исходе XX века, после очередной денежной реформы, в канун очередных президентских выборов в России едва ли кто вспоминал об этом.

— Тебя удивляет, что государство, вернее то, что от него осталось, как раньше, так и сейчас разрушают те, кто по долгу службы должны, обязаны его оберегать и укреплять? — полуспросил-полуответил Илларионов-старший.

Илларионов-младший промолчал, настолько это было очевидно. Если собрать все написанное и опубликованное на эту тему в России, получились бы тома. Илларионову-младшему было

известно, что умолчание – не самый верный способ сокрытия истины. Куда более верный – погружение истины в океан слов. В океане слов истина отчего-то вела себя как топор.

– Тебе не кажется странным, – между тем продолжил отец, – что государство, призванное в идеале защищать и организовывать жизнь граждан, вдруг оказалось совершенно не нужным подавляющему большинству этих самых граждан? Иначе разве решились бы одни с такой охотой и радостью его разрушать, а другие – им не мешать? Не кажется странным, что те, у кого в руках сосредоточена вся мощь разрушаемого государства, ничего не

предпринимают во спасение не только государства, но даже — собственной жизни, потому что их, к сожалению, без достаточных на то оснований, считают олицетворением ненавистного государства? Чтобы выбрать правильно оружие, надо представлять своего противника. Что за сила противостоит государству?

— Мне все это кажется очень странным, — согласился Илларионов-младший, — но только что из этого следует?

— Из этого следует лишь то, — серьезно ответил отец, — что дело не в тех, кто разрушает государство, и не в тех, кто будто бы хочет, но будто бы не может его защитить.

– Хорошо. В чем тогда дело?

– В чем? – вдруг рассмеялся отец. – Ты разговариваешь со мной, как поколебленный в вере протестант с пастором, ставишь вопрос ребром. Я не могу ответить на твой вопрос.

– Почему? – уточнил Илларионов-младший.

– Потому что у ответа нет ребра, – ответил Илларионов-старший.

– Тогда я отвечу, – сказал Илларионов-младший. – Ребро в том, что меня скоро выпрут со службы, я останусь без квартиры, без средств, без...

– О деньгах не беспокойся, –

перебил отец. — Пословица — не в деньгах счастье — на все времена. Деньги, как и несчастья, тебя сами найдут.

— Что-то пока плохо ищут, — усомнился Илларионов-младший.

— Так ведь еще и со службы не выперли, — возразил Илларионов-старший.

«Как же я забыл, — спохватился Илларионов, распахивая вторую дверь, вглядываясь в длиннейший, теряющийся в ранних осенних сумерках коридор своей квартиры, — сегодня же ровно год как умер отец!»

Огромный трехкамерный холодильник Илларионова был пуст, как только может быть пуст

холодильник одинокого, проводящего дни (а иногда и ночи) на работе мужчины. Тем не менее среди гремящих прозрачных и белых пластиковых полок отыскиались недопитая бутылка водки, выгнувшийся, напоминающий ноготь великана, кусок сыра. Из забитого пустыми полиэтиленовыми пакетами шкафчика прямо в руки Илларионову прыгнула запечатанная пачка крекеров. Почему-то он не выбрасывал пустые пакеты, ловя момент, когда возьмет их с собой в магазин и положит в них продукты. Но каждый раз, когда Илларионов оказывался в магазине, пакеты при нем фатально отсутствовали и он

приносил продукты в новых.

Он уже предвкушал, как помянет отца – выпьет водки, закусит крекером со странным названием «Рыбки с луком», надменно пренебрежет при этом ногтем-сыром, – но тут в глубине коридора зазвонил, вернее, заиграл марш «По долинам и по взгорьям» телефон. Это означало, что кто-то звонит Илларионову в его полувывымышленный, но отчасти и существующий отдел неуставленных рукописей Государственной библиотеки. В разворываемой, заливаемой коммунальными водами, атакуемой мышами, крысами и невиданными –

кзыкастыми, с осьминожьими щупальцами — тараканами-амфибиями ГБ у него, естественно, не было ни своего кабинета, ни телефонного номера, поэтому звонки по несуществующему, но присутствующему в справочнике библиотеки номеру либо уходили в никуда (в астрал?), либо — в одном случае из трех, так определил Илларионов — автоматическое реле перебрасывало их ему на домашний номер. Если же кто-то звонил непосредственно по домашнему номеру, телефон играл «Не слышны в саду даже шорохи». Был у Илларионова, естественно, и мобильный телефон, но после того,

как его уволили со службы, номер, похоже, как пчелу из улья, изгнали из дружной сотовой семьи.

Илларионов подумал, что двухномерной со специальным (на экране высвечивался и адрес абонента) определителем телефон – последняя его привилегия, которой, вполне вероятно, его тоже скоро лишат.

Ему не было нужды смотреть на определитель, потому что он знал кто звонит. С самого утра на пристегнутом к брючному ремню пейджере Илларионова периодически возникали черные, как муравьи, буковки: «Господин Джонсон-Джонсон срочно просит

Вас связаться с ним в любое удобное для Вас время».

...Глава представительства (миссии) мормонов в России, господин Джонсон-Джонсон был высоким — под два метра — спортивного вида блондином, носящим волосы на прямой пробор. Его лицо было настолько правильным и пропорциональным, что когда Илларионов — профессионал! — пытался воспроизвести его в памяти, то сначала перед мысленным его взором чередой проходили физиономии известных американских киноартистов: Хариссона Форда, Ричарда Гира, Рута Хайгера — и

только потом, потершись между ними, позаимствовав у кого нос, у кого лоб, у кого глаза, с трудом вылепливалось ухоженное холодное и жесткое, как у честного, готового упечь в тюрягу собственную старушку-мать, судьи, лицо господина Джонсона-Джонсона.

Илларионов даже не стал наводить по старым связям справок, тревожить компьютерные вместилища засекреченной информации о зарубежной агентуре (или как нынче было принято говорить, зарубежных коллегах), настолько очевидно было, что господин Джонсон-Джонсон никакой не честный судья.

Глава миссии мормонов в России занимал великолепно отреставрированный двухэтажный особняк на набережной Москвы-реки неподалеку от английского посольства.

Оказавшись впервые в просторном овальном — как у президента США в Белом-доме — кабинете господина Джонсона-Джонсона под самой крышей особняка, Илларионов обратил внимание на не поддающееся объяснению количество небольших разноцветных прямоугольных ковриков, уложенных поверх не покрытого лаком, не натертого мастикой, но выскобленного и

отмытого до белой желтизны пергаментного листа паркета. В кабинете не было ни пылинки. Прозрачны, как будто их вовсе не было, а был один лишь воздух в белых пластиковых переплетах, были и смотрящие на Москву-реку высокие окна. На опять-таки не покрытом лаком — струганом — письменном столе господина Джонсона-Джонсона лежала единственная книга — Библия — и стояла единственная вещь — последней модели, соединенный с закрытыми спутниковыми системами информации компьютер.

Илларионов, превыше всего в жизни ценивший чистоту и

отсутствие пыли, наводивший чистоту и уничтожавший пыль везде где удавалось (без того, чтобы выглядеть в глазах окружающих придурком), почувствовал симпатию к отлично говорящему по-русски, спортивному, несмотря на преклонный возраст, американцу в ярко-алом пуловере поверх голубой рубашки. Вполне вероятно, он действительно был мормоном, но при этом, совершенно очевидно, имел воинское звание никак не меньше полковника.

Впрочем, первую их встречу несколько месяцев назад едва ли можно было назвать продолжительной.

– Господин Терентьев? – легко поднялся из-за стола навстречу Илларионову мормон.

Илларионов выправил себе паспорт на эту неизвестно почему (если фамилия Илларионов наводила на мысли о законе и благодати, то Терентьев, видимо, на их победительное, демонстративное отсутствие) пришедшую ему в голову фамилию сразу после внезапного, но ожидаемого увольнения со службы. Последнее по времени массовое увольнение на Лубянке, горько усмехаясь, называли «сокращением Штатов». Если, как говорили злые языки, список подлежащих увольнению был и впрямь согласован

с Лэнгли, то, вполне может стать, в решении участи Илларионова самое непосредственное участие принимал энергичный, неопределенного возраста — от пятидесяти двух до семидесяти восьми — полковник-мормон Джонсон-Джонсон.

Илларионову увиделось в фамилии Терентьев напряжение предельно натянутой струны, слышалась звенящая предельно натянутой струны крепость.

— Я правильно назвал вашу фамилию... Терентьев? — легонько попробовал струну на эту самую звенящую крепость мормон.

— Абсолютно правильно, — подтвердил Илларионов, размышляя,

зачем на полу столько разноцветных ковриков?

– Андрей... простите, не знаю вашего отчества, – с улыбкой развел руками мормон.

– Терентьевич, – подсказал Илларионов, – моего отца звали Терентием. Такое, знаете ли, дурацкое совпадение.

– Я познакомился, Андрей Терентьевич, с вашей статьей «Библия как гиперроман», опубликованной в...

– В «Вестнике Государственной библиотеки», – напомнил Илларионов, – мы, научные сотрудники, называем его просто «Вестником ГБ».

— Да-да, в «Вестнике Государственной библиотеки», или как вы, научные сотрудники, называете его, просто «Вестнике ГБ», — кивнул головой мормон. — Прежде чем приступить к деловой части нашей беседы, позвольте, Андрей Терентьевич, задать вам несколько вопросов, так сказать, личного свойства. Хотя и говорят, что деньги правят миром, но сейчас мы с вами находимся, — Джонсон-Джонсон обвел рукой кабинет, — на территории, управляемой не столько деньгами, хотя я никоим образом не собираюсь умалять их значение в грешном мире, сколько заповедями Господа нашего Иисуса Христа.

При желании его жест можно было истолковать как более широкий, то есть включающий в управляемую заповедями Господа нашего Иисуса Христа территорию и реку за окном и, следовательно, город Москву, а там, глядишь, и всю, настежь, как окно в бурю, открывшуюся сердцем учению мормонов, как, впрочем, и любым другим, включая поклонников бога древних ацтеков Кецалькоатля, учениям, Россию. На исходе XX века Россия представляла из себя поле, на котором прорастали все без исключения упавшие на него зерна и плевела. Илларионову было известно, что в секретной своей

переписке мормоны называли его страну «делянкой Господа», видимо, полагая, что всласть понаблюдав за хаотичным — без руля и ветрил — ростом злаков и плевел, селекционер-Господь твердой рукой вырвет лишние, оставив наливаться и крепнуть одни колосья мормонов.

— Верите ли вы в Бога, Андрей Терентьевич? — поинтересовался глава миссии мормонов в России.

— Безусловно, — ответил Илларионов, — хотя, к сожалению, не могу утверждать, что неукоснительно соблюдаю все обряды и установления православной церкви.

— Как правило, — продолжил Джонсон-Джонсон, — к вере в детстве

нас подвигают родители. Мне известно, что КПСС проводила политику официального атеизма. В этой связи, возможно, мой вопрос некорректен, но все же, верили ли в Бога ваши родители, господин Терентьев? Верил ли в Бога ваш отец? Можно ли считать, что ваша вера — продолжение веры ваших родителей, в частности, вашего отца, господин Терентьев?

Илларионов не сомневался, что их разговор пишется на видеопленку, но он был уверен, что вопросник окажется проще. Вопрос на возможное обладание информацией, на степень готовности делиться информацией, блокировка путей

сокрытия информации, быстрота реакции, скорость вхождения в системный анализ и так называемая скорость постижения происходящего, то есть смысла, ощущение опасности, порог риска, наконец, определение цены. Ну и далее по схеме. Но Джонсон-Джонсон почти сразу задал вопрос на подсознание, что свидетельствовало о сложности и серьезности предстоящей игры. Илларионов засомневался, надо ли ему в этот омут?

Говорил ли он с отцом о Боге?

Конечно, говорил, но так и не сумел уяснить, верит отец или нет? Каждый раз, когда речь заходила о Боге, о вере, глаза отца становились

яркими, лицо же бледнело, что являлось у него признаком глубочайшей тоски. Один разговор, однако, как гвоздь засел у Илларионова-младшего в памяти. «К нему можно относиться по-разному, — помнится, сказал отец, — но истоки его силы в том, что он все делал правильно». «Применительно к обстоятельствам иллюзиям своего времени?» — уточнил Илларионов-младший. «Применительно к тому, что понимается как бессмертная человеческая душа, — ответил отец, — следовательно, применительно к любым обстоятельствам и коллизиям, могущим возникнуть среди людей. Да вот беда, — добавил

отец едва слышно, — никто после него не делал правильно».

— Полагаю, что моя вера — продолжение веры моего отца, — заверил мормона Илларионов, — хотя мне трудно ручаться, что моя вера стопроцентное продолжение его веры. Моего отца, видите ли, уже нет в живых, а вера, согласитесь, вещь достаточно личная, если не сказать интимная.

— И последний вопрос, господин Терентьев, — не стал соболезнавать глава миссии мормонов в России, — как вы относитесь к учению мормонов? Не противоречит ли вашим убеждениям сотрудничество с нами? Согласны ли вы принимать от

нас деньги за свой труд?

— Всякая сущность, как известно, отбрасывает тень, — вздохнул Илларионов.

— Поясните, пожалуйста, свою мысль, — попросил Джонсон-Джонсон.

— Химия — алхимия, — охотно пояснил Илларионов. — Футурология как научное предвидение — гадание... по картам Руби, медицина — знахарство, лоно церкви — секты. Тем не менее я допускаю, что для многих заблудших путь к истине пролегает через тень, точнее, преодоление тени, в том числе и через учение мормонов. Как человек и гражданин, господин Джонсон-

Джонсон, я вынужден сосуществовать с, увы, учащающимися и набирающими силу отступлениями от истины, но только, естественно, в том случае, если в них не содержится изначального, то есть умышленного зла.

— В таком случае, — любезно закончил беседу Джонсон-Джонсон, — я жду вас завтра в двенадцать для подписания деловых бумаг. Вас устроит статус научного руководителя международного издательского, скажем так, проекта? Если Библия как гиперроман для Интернета состоится, господин Терентьев, у вас как у автора идеи есть все шансы сделаться очень

обеспеченным человеком.

Деньги сами тебя найдут, вспомнил Илларионов слова отца. Неужели он имел в виду эти деньги?

— Простите, господин Джонсон-Джонсон, — полюбопытствовал Илларионов, — не подскажете ли, как мне к вам лучше обращаться? Согласитесь, господин Джонсон-Джонсон — это слишком длинно и сложно для русского языка.

— Вы хотите знать мое имя? — приветливо показал идеальные зубы мормон. — My first name? Называйте меня просто Джоном, господин Терентьев. К сожалению, ничего не могу изменить. Так называли меня мои дурные родители...

Уходя, Илларионов уронил на коврик платок, а когда под понимающим взглядом Джона Джонсона-Джонсона поднял, ему уже было известно, почему на полу такое количество разноцветных ковриков. Все объяснила случайно промелькнувшая в коврике металлическая, точнее, золотая нить. Коврики служили антеннами. В самом деле, не выводить же спутниковые антенны на крышу мирной религиозной миссии?

...Илларионов стоял на пороге своей квартиры, с болезненным любопытством вглядываясь в длинный – как будто комнат было не две, а по меньшей мере десять –

темный коридор. В этот момент его можно было брать голыми руками сзади, но Илларионов знал, что физическая смерть — почему-то она виделась ему в виде трассирующего, вычерчивающего во тьме светящуюся линию удара: не то молнии, не то лазера, не то какого-то свертонкого острого лезвия, — придет к нему именно из коридора с черным креслом, правда, он не знал — этого или другого коридора. И еще такая странная деталь: Илларионов как бы заранее знал, что сможет в свой смертный час не только подробнейшим образом разглядеть летящий ему в шею луч, но и — в случае необходимости — уклониться

от него, отвести от себя рукой – да, именно рукой! – молнию-лазер-лезвие, но почему-то не сделает этого.

Находясь дома, Илларионов частенько сиживал, не зажигая света, в продавленном кирзовом, оставшемся от прежних жильцов кресле в коридоре напротив стеллажей с книгами, сливаясь... с чем?... растворяясь... в чем? Самые неожиданные, ложившиеся позднее в основу действий немалого числа людей, мысли приходили к Илларионову именно в коридоре. Отец, побывав в его новой квартире на Сивцевом Вражке, понял все без слов. «Скажи Толстому, – сказал

отец, — чтобы выгородил тебе кабинет из коридора. В третьем корпусе в пятьдесят третьем году целый отсек замуровали. Он знает где». «Не выгородит», — вздохнул Илларионов-младший. «У меня в том отсеке, — продолжил отец, — была русская банька. Тебе хорошо думается в коридоре, а мне — в баньке».

Вот только кожаное кресло не понравилось отцу.

«Выброси, — посоветовал он, — негоже сидеть в чужом кресле». «Да я его от побелки отмыл, ножки укрепил, уже вроде как мое», — возразил Илларионов-младший. «Не твое — выбросив повторил отец. — От

чужих вещей всегда беда».

— Джон? — набрал Илларионов номер полковника (а может, у него, как у многих американских разведчиков было морское звание?) мормона. — Господин Джон Джонсон-Джонсон? — ему иногда доставляло удовольствие полностью произносить вымышленное имя. Так и хотелось добавить: «Джонсович». Это как бы выводило жизнь за границу реальности, развязывало мысли и руки. И еще он был очень доволен, что мормон не мог в свою очередь назвать его Терентием Терентьевичем Терентьевым или Илларионом Илларионовичем Илларионовым, не мог скользить по

его имени, отчеству и фамилии, как на коньках по льду, а был вынужден на первом шаге спотыкаться: Андрей Терентьевич Терентьев.

— Андрей, — откликнулся мормон. — Я получил очень любопытные факсы из Чарльстона и Цинцинатти. Мне бы хотелось в этой связи кое-что с вами обсудить.

— Я готов, — Илларионову всегда нравилось наблюдать за игрой теней в сумеречном коридоре своей квартиры. Она была крайне причудлива и многосложна, эта игра. Допустим, по двору проезжала, светя фарами, машина. Свет ее фар, многократно преломившись об углы дома, водосточные трубы,

выступающие балконы, достигал окон илларионовской квартиры и, уже просеявшись сквозь окна, как сквозь сито, то в виде кривой как сабля полосы, то россыпью дрожащих пятен пробегал по стенам и потолку коридора. Илларионов часто думал: что есть выигрыш в игре теней? Ему казалось, что выиграть в этой игре так же трудно, как, скажем, определить по пробежавшим по стенам и потолку полоске и пятнам: что за люди сидели в светящей фарами машине? И еще подумал, что мир устроен таким образом, что на каждую, даже самую нелепую и иррациональную загадку непременно отыскивается

человек, который зачем-то ее разгадывает. Если существует замок, то существует и ключ, который должен его отомкнуть. Вот только они не всегда совпадают во времени и пространстве.

— Мне бы не хотелось делать этого по телефону, Андрей, — произнес после паузы мормон. — Вы не могли бы прямо сейчас приехать в миссию? Я готов послать за вами машину.

— Нет необходимости. Я буду у вас через полчаса, — пообещал Илларионов.

Оказавшись на Арбате, Илларионов поймал себя на мысли, что пока не сумел составить ясного

представления о Джоне Джонсоне-Джонсоне. В иные моменты Илларионов искренне верил, что он — правоверный мормон, всерьез увлеченный проектом создания компьютерной версии Библии как гиперромана. Впрочем, еще отец говорил ему, что настоящий профессионал, если берется, делает профессионально любое — пусть даже поначалу незнакомое ему — дело. Иначе — не берется. У Илларионова-младшего не было оснований сомневаться в том, что Джонсон-Джонсон — профессионал. Даже в такой тонкой материи, как выплата денег. Мормон платил хорошо, с аптекарской точностью

оценивая труд Илларионова и
выдерживая условия контракта.
Платил точно. Не переплачивая.

Над Арбатом искусственный
неоновый свет смешивался с
натуральным сумеречным. Но над
обитым радиопроницаемой медью
шпилем МИДа неон растворялся в
глубоком, как перевернутый колодец,
зелено-сиреновом небе. В этот
сумеречный час на небе, с трудом
просверливая смог, показывались
тусклые вечерние звезды. Потом они
уступали место почти совсем
неразличимым звездам ночным.

В конце семидесятых, работая в
аналитической группе,
занимающейся исследованиями

тенденций в области культуры, Илларионов-младший сочинил записку о феномене так называемого сумеречного сознания. В те годы руководство страны было всерьез обеспокоено широким распространением этого типа сознания в среде советской творческой интеллигенции. Сопоставительный — на ЭВМ — анализ различных текстов показал, что чаще всего слово «сумерки» употреблял запрещенный тогда в СССР философ Фридрих Ницше. По части же художественного описания сумерек отличился великий пролетарский писатель Максим Горький. В неоконченной повести

«Жизнь Клима Самгина» он, к примеру, дал шестьдесят семь пространных картин сумерек.

Илларионов понял, почему отказался от предложенной мормоном машины. Ноги сами несли его к гадалке Руби.

Сопротивляясь этому стремлению, замедляя шаг у витрины с экзотическими фруктами по запредельным ценам, Илларионов вдруг подумал, что, в сущности, и такое явление как гиперроман лежит в плоскости сумеречного сознания. Как наглядное свидетельство типичного сумеречного сознания Илларионов в той давней своей записке приводил навязчивую идею

одного, жившего, кажется, в Оренбурге, народного мыслителя получить точное графическое изображение Господа Бога. Он предполагал сделать это с помощью своего рода фоторобота, путем последовательного наложения друг на друга подогнанных под единый стандарт фотографий всех жителей Земли. Илларионов, помнится, не поленился вступить с ним под видом сотрудника журнала «Техника молодежи», куда тот адресовал свои заказные бандероли, в переписку. Илларионов поинтересовался, изображение какого, собственно, Бога имеется в виду – Христа, Будды или Аллаха? И как быть в этом

случае, допустим, с фотографиями младенцев? Измученный долгим невниманием со стороны организаций, куда он отправлял свои философские труды, народный мыслитель ответил телеграммой-молнией: «Плюс женщины и младенцы обоих полов – Бог-отец, создавший человека по образу и подобию своему. Бог-сын – только мужчины, достигшие полных тридцати трех лет».

Илларионов приближался по Арбату к постоянному (видимо, оплаченному) месту гадалки Руби. И чем ближе приближался, тем гуще становилась на его пути толпа. Он подумал, что если бы сейчас писал

работу о гиперромане как проявлении сумеречного сознания, то, вне всяких сомнений, обратил бы внимание на такую его особенность, как отсутствие (или, выражаясь языком логики, линейную незаданность) конечного замысла. Бесчисленные сюжетные линии гиперромана расходились в разные стороны, как люди с Арбата. Расходились, скрывая, растаскивая по частицам тайну своего существования.

Нелепая мысль, что прямо сейчас, здесь, на Арбате гадалка Руби откроет ему величайшую тайну сущего, заставила Илларионова прибавить шаг.

Толпа, как будто подчиняясь невидимым магнитным линиям, обтекала, не задевая, плесневеющую колоннаду театра имени Вахтангова.

Кажется, в шестьдесят восьмом – Илларионов-младший учился тогда в девятом классе – он вскрыл сейф отца и обнаружил там фотографии тел пришельцев из космоса с уничтоженной американцами в сорок седьмом над островом Пасхи летающей тарелки. Точно такое же, как сейчас чувство, что вот еще немного, самую малость – и он узнает всю истину, охватило тогда Илларионова. Он поминутно подбегал к окну, высматривая отцовскую машину.

Отец вообще не приехал в тот день домой. Под вечер измученный ожиданием и близким присутствием истины Илларионов-младший отправился в большую комнату, где стоял шкаф с фарфоровыми статуэтками. Свет от люстры падал на статуэтки кавалеров в камзолах, дам с веерами, в золотых туфельках, на очень редкую статуэтку периода Великой французской революции — гильотину, под которую два дюжих палача в красных колпаках укладывали приговоренного строптивца. Воздух вокруг люстры нагревался. Тени начинали жить своей жизнью: дамы шевелили веерами, псы и всадники отставали

от уходящего под вазу оленя, строптивец определенно пересиливал палачей. Илларионов-младший до того засмотрелся на театр теней в шкафу под колеблющимся светом люстры, что приуготовленная к узнаванию истина предстала не то чтобы не имеющей место быть, но как бы несущественной, то есть независимо от своего существования (или несуществования) не влияющая на протекающий в отсутствии замысла (линейной не-заданности) гиперроман-жизнь.

Илларионов-младший так и не спросил у отца про пришельцев.

Вот и сейчас, спустя почти

тридцать лет – уже в ином времени, в иной стране – он опять увидел театр скрывающих истину теней. Одна тень определенно принадлежала гадалке Руби. Другая – клиенту в дорогом кожаном, как бы струящемся с его плеч пальто и в варварской какой-то, как мохнатое колесо, песцовой шапке. Тень гадалки напоминала склоняемый ветром к земле куст. Тень клиента – гвоздь. Гадалка протянула клиенту свернутый лист бумаги. Клиент медленно развернул, прочитал, спрятал, после чего что-то быстро протянул гадалке, и та, благодарная, буквально припала к его груди.

В театре теней, как всегда,

играли в полутьме, сзади и наоборот.

Илларионов, уже понимая, что случилось непоправимое, бросился вперед, но варварская, как мохнатое колесо, песцовая шапка над струящимся, переливающимся в арбатском неоне кожаном пальто пошла, набирая скорость, сквозь толпу, как нагретый гвоздь сквозь масло. Это был особенный метод ухода с места события сквозь толпу, требующий концентрации воли и специальной тренировки мышц. У Илларионова мелькнула совершенно идиотская и неуместная мысль, что этот парень не пропал бы при столпотворении в дни похорон Сталина. Илларионов остался под

сырой колоннадой один рядом с приколотой, как коллекционная бабочка, длинной острой заточкой к наглухо запертой двери театра теней (имени Вахтангова?) умирающей гадалкой Руби.

До сих пор майор в отставке Пухов считал скорострельные пистолеты с оптическими прицелами не более чем дорогими игрушками, но этот – неизвестной немецкой фирмы с латинским названием «Fovea» – показался ему самым совершенством. Он был хорош для использования на пересеченной местности, когда мирный житель или беженец отличается от боевика, бандита или борца за свободу какого-нибудь немногочисленного народа главным образом отсутствием торчащего за спиной или на животе

дула. Был хорош для отслеживания мишени в толпе и из толпы. Для отражения ожидаемого, но каждый раз совершенно неожиданного нападения и одновременно для осуществления этого самого ожидаемого (уже другими), но каждый раз совершенно неожиданного (уже для других) нападения.

Пухов когда-то изучал латынь, но слово «Fovea» не зацепилось в памяти. Впрочем, в бывшем пансионате ЦК и Совмина – ныне Управления делами администрации президента России – сохранилась приличная библиотека. Пухов без труда установил, что слово «Fovea»

означало у древних римлян не что иное, как «яму для ловли зверей». Название, таким образом, не только таило в себе глубокий смысл, но и свидетельствовало о возрождении германского оружейного гения. Для завершающих двадцатый век годов скорострельный пистолет «Fovea» вполне мог оказаться тем самым невидимым рубежом, каким для тридцатых годов XX века явился лучший пистолет всех времен и народов «Para bellum».

«Распад Советского Союза, – констатировал майор в отставке Пухов, – вне всяких сомнений, послужил побудительным стимулом для сворачивания производства

оружия массового поражения и совершенствования экологически чистого стрелкового оружия для штучных убийств, точечных демографических чисток». Он был абсолютно уверен, что больше всего усилий, для того чтобы лишить Россию остатков ядерного оружия и тем самым уравновесить ситуацию в предстоящей борьбе за жизненное пространство (которого им во все времена фатально недоставало), приложат именно немцы — известные мастера и любители стрелкового оружия, равно как и расширения жизненного пространства.

И еще Пухов подумал, что для пистолета «Fovea» можно

немедленно найти сугубо прикладное (не дожидаясь гипотетической войны с немцами) применение, а именно: прямо сейчас, здесь, в номере пансионата «Озеро» с видом на озеро взять да застрелиться.

Стало быть, латинский термин «яма для ловли зверей» был термином обоюдоострым. Пухов за свою почти сорокалетнюю жизнь уничтожил немало вооруженных и безоружных зверей, но не раз и не два слышал это слово — «зверь», — произносимое разными людьми на разных языках и в свой адрес. Видимо, некая высшая справедливость заключалась в том,

что рано или поздно в «яму для ловли зверей» сваливались (или сталкивались) сами ловцы. И уже никто в этом случае не мог (и не хотел) отличать их от зверей.

Пухову приходилось читать про русских послереволюционных эмигрантов, умиравших за границей от тоски по Родине. Сейчас ему было не отделаться от ощущения, что население России, оставаясь в подавляющем большинстве на Родине, тоскует по Родине. Тоска по Родине на Родине являлась не столь уж редко встречающейся в истории разновидностью массового психоза. В России этот, выражаясь научным языком, психосоматический психоз

сопровождался утратой воли, столь же массовым нежеланием жить, в смысле длить более или менее осмысленное и продуктивное физическое существование. Разные люди тосковали по-разному, но если приводить русскую тоску по Родине на Родине к некоему общему знаменателю, то получалась тоска по юле. Пухов в очередной раз восхитился метафизической (на уровне подсознания народа) пластичностью русского языка. Томас Манн, впрочем, классифицировал это свойство великого и могучего как «бесхребетность». В термине «юля» сожительствовали два

взаимоисключающих смысла.
Хлебнув одной — расслабляющей,
полуразбойничьей, песенной — воли,
народ страстно затосковал по ее
негативу — грубо организующей его
жизнь, но главным образом
ограничивающей ту самую
песенную, полуразбойничью волю,
играя с которой, народ, как ребенок
собственный дом, спалил страну.
Народ пресытился расслабляющей
волей, возненавидел ее, как прежде
организующую, понуждающую его,
государственную волю, о которой
сейчас был готов слагать песни.

Глядя в окно на стылый (за
городом в тот год почему-то было
гораздо прохладнее, чем в

напоминающей Сочи Москве)
позднеосенний подмосковный
пейзаж, на готовящееся заледенеть-
застеклиться озеро, майор Пухов
подумал, что великий Ницше был не
вполне прав, объясняя движение
истории наличием в людях воли к
власти. В России все определялось
не волей к власти, а волей власти.
Как объяснил Пухову в транспортном
самолете – глухой беззвездной ночью
команда майора летела тогда в Баку –
толстый, лысый, похожий на мешок с
мукой генерал с аристократической
фамилией Толстой, власть, давшая
народу губительную юлю, тем самым
сделала народу – на века! – прививку
против извечной русской болезни –

анархии. Сейчас надо потерпеть, сказал генерал, дать время власти отвердеть: сначала в пределах кремлевских стен, затем – Садового кольца, затем – московской окружной автодороги и – дальше, дальше, дальше. «Власть в России сейчас меняет сущность, как змея шкуру, – сказал генерал, – другого пути, кроме как каменно отвердеть, у нее нет. Я сам, – рванул на горле камуфляж генерал Толстой, – нахожусь на грани самоубийства. Имперская тоска сжигает душу. Но надо преступить...»

Пухову запомнились слова: «Имперская тоска сжигает душу...» Если уподобить душу листу бумаги,

то края листа занялись ползучим пламенем у майора в начале восьмидесятых на границе Афганистана и Пакистана, где его команда вырезала караваны белуджей и уйгуров, но пропускала караваны узбеков и таджиков, приводя тем самым племена в состояние взаимного недоверия и повышенной боевой готовности, что в свою очередь делало границу непредсказуемой и частично непроницаемой для направляемой со всех концов (Пухову даже попадались противопехотные мины с клеймом «Сделано в Бенине») афганцам военной помощи. Майор не был сентиментальным человеком, но

известное изречение: «Величие покоится на крови» – красивое и вдохновляющее в обитых мореным дубом кабинетах Минобороны в Москве, здесь, среди разрушенных кишлаков, растерзанных людей в камуфляже и в чалмах, овец и верблюдов представлялось сродни знаменитому «Arbeit macht frie» при входе в газовую камеру.

Быстрее, чем у майора Пухова, огонь имперской тоски (видимо, дрова были суше) сжигал душу начальника разведки подразделения капитана Сергеева. «На этом не может покоиться величие, – помнится, однажды заметил Пухов, окидывая взглядом оставляемый их

подразделением – в духе Сальвадора Дали – пейзаж в пустыне. – На этом не может покоиться ничего достойного». «Кое-что может», – неожиданно возразил ему обычно молчаливый и не по званию сосредоточенный капитан Сергеев. «Что именно?» – поинтересовался Пухов. «Все это, – кивнул капитан Сергеев на песок, кровь, слетающихся клевать кровоточащие тела стервятников – они были похожи на странствующих дервишей с язвами на лицах в черном дранье, – придет к нам. И очень скоро. И больше, ты прав, ничего».

Имперская тоска окончательно испепелила, наверное, лист души

майора Пухова в Степанакерте, в Гяндже, в Тбилиси, в Литве — в Вильнюсе и на самочинных литовских таможнях. Прежняя афганская тоска, в сравнении с тоской прибалтийской, была в общем-то тоской почти сладкой, ибо в ней не было примеси того, что делает тоску непереносимой для мужчины, а именно — предательства.

Впервые и сразу в глазах у многих уважаемых им прежде людей Пухов увидел библейскую «тоску предателя» по возвращении из медвежьего угла Литвы — Медининкай, — где кто-то надоумил литовцев (или они сами додумались) поставить дощатую, похожую на

большой дачный сортир, таможеню. Тогда-то майор окончательно понял, что когда империю предадут те, кто должен по долгу службы защищать (империю и тех, кто исполняет их приказы), ее уже не спасет ничто. В тогдашней советской армии не нашлось командира, готового взять на себя, возможно, невинную, но пролитую во имя империи кровь.

«Если нам хотят вернуть чужую кровь, которую мы пролили по их приказу, — развил перед ребятами вечером в сауне тревожную мысль Пухов, — наша работа теряет смысл и моральное обоснование. Есть неписанный закон: исполнитель отвечает только за неисполнение или

плохое исполнение приказа, а не за его смысл и последствия. Мы выполнили приказ. Но нас за это хотят не наградить, а отдать под трибунал. Я лично не собираюсь под трибунал. Я выхожу из игры. У каждого своя голова на плечах. Думайте. Я их не боюсь, но и никого из вас я больше прикрыть не могу. Отныне каждый решает сам».

Утром он честно подал в штаб ВДВ рапорт об отставке, хотя и мелькнула мыслишка запечатать его в конверт да и отдать знакомой проводнице, чтобы отправила по почте, скажем, из Уссурийска. Но майор полагал, что пока еще инициатива за ним.

Пухов понял, что ошибался насчет инициативы, когда его — профессионала не из последних — мгновенно и совершенно незаметно взяли прямо на выходе из здания штаба ВДВ. Майор всегда искренне восхищался (хотя сегодня был не тот случай) чужим, в особенности превосходящим его собственным, профессионализмом. То, что на каждую хитрую... неизменно отыскивался... с винтом, сообщало жизни прекрасную тайну, свидетельствовало, что в ней всегда есть место не только для подвига, но и для неожиданностей, не позволяло излишне расслабляться, утомляться собственным предвидением.

Майор не сомневался, что его кончат прямо в джипе «шевроле» со специально, видимо, для этой цели затемненными стеклами. «Хоть заройте поглубже, — превозмогая гордость, обратился к убийцам, — чтобы не таскали по моргам да по прозекторским». «Спешишь, парень, — усмехнулся в ответ один, — пока что в гости едешь».

«В эти гости я всегда успею», — подумал Пухов, нащупывая разрезавшую не одно чужое горло струну под манжетой рубашки, но сидевший рядом погрозил удивительно прямым, неестественным каким-то, нечеловеческим пальцем: «Сиди

спокойно. Мы же тебя не обижаем». Пухов понял, что один тычок этого пальца проткнет ему гортань, как сучок падающую спелую грушу, и еще понял, что если бы эти ребята действительно хотели его убить, они бы убили его давно (как только получили приказ) и так, что он (и вообще никто) бы этого не заметил.

Майору Пухову казалось, что он неплохо знает Лубянку, но они подкатили к какому-то неизвестному ему внутреннему подъезду. Пухова повезли наверх на допотопном — сталинских, не иначе, времен — но ухоженном, с надраенной медью, в зеркалах, с черным телефонным аппаратом «Сименс-Шуккарт» на

столике лифте. Майор догадывался, что Лубянка с вьевшимся в ее стены, коридоры, бетонные и деревянные перекрытия и потолки духом смерти и несбывшихся надежд хранит немало тайн. Но он знал, какой силы удары наносились по ней в последнее время. Если Лубянка и была одним из китов, на которых когда-то, как на сваях, стояло государство, то сейчас этот пронзенный многими гарпунами многих капитанов Ахавов белый кит Моби Дик исходил последним кровавым фонтаном.

Выйдя с сопровождающими из лифта в нескончаемый, как ему показалось, коридор, Пухов ощутил

себя библейским Ионой во чреве левиафана, героем Жюль Верна (майор не помнил, как того звали), оказавшимся в пещере на подводном корабле «Наутилусе», где отдавал Богу душу капитан Немо.

Однако встретивший его в одном из кабинетов пожилой, круглый, похожий на мешок с мукой, генерал (Пухов тогда не был лично знаком с генералом Толстым, но был, как говорится, наслышан), похоже, совершенно не собирался отдавать Богу душу. Он как черт из табакерки выскочил в кабинет из какой-то боковой дверцы в дурном каком-то одеянии: в тельняшке, широченных белоснежных то ли мусульманских

штанах, то ли русских подштанниках, а наброшенной поверх тельняшки кожаной куртке с неуместной эмблемой «U.S. Air Force». Лысая розовая голова генерала лоснилась. Пухов был готов поклясться, что он только что из парилки. Майор вдруг подумал, что Бог брезгует душой генерала.

— Величие Грибоедова недооценивается, — генерал пригласил Пухова присесть на жесткий стул перед своим огромным, черным, как ночь или смерть, столищем. — Так же как величие, скажем, Иосифа Бродского определенно переоценивается. Шел в комнату, попал в другую, ведь так,

майор? Все, что отныне будет происходить с тобой, будет иллюстрацией золотого, но горького правила – горе от ума. Не классовая борьба, майор, а горе от ума – движущая сила истории.

– Почему только отныне? – поинтересовался Пухов. – Разве раньше было иначе?

– Раньше был приказ, майор, – ответил генерал. – Горе от приказа – естественная форма существования российского государства, в особенности же российских вооруженных сил. Горе от ума – их погибель.

Пухов не ухватил сути генеральской мысли. Собственные

его мысли как-то вдруг растерялись, заматались во времени и пространстве. К примеру, ему не давал покоя рисованный портрет в застекленной рамке на стене за спиной у генерала. Майор льстил себе, что знает (главным образом, естественно, по фотографиям) всех руководителей Лубянки. Но вот этого совершенно точно не знал. Пухову доводилось общаться с людьми, умеющими мыслить системно, как компьютеры, и сразу по многим направлениям. Себя майор к их числу не относил. Слишком много времени и сил в жизни было потрачено на тренировку тела. Иногда он почти физически ощущал,

как мысль, бесконечно упрощаясь, меняя сущность, поселяется в его бицепсах и мышцах. Автоматически думало и действовало тело майора, но никак не его разум. Пухову открылось, что невозможно быть одновременно очень умным и очень физически сильным.

Ему показалось, что где-то он видел если и не самого человека с застекленного карандашного портрета, то кого-то очень на него похожего. Вот только кто это был, майор не мог вспомнить. Кажется, какой-то генерал.

— Здесь что? — посмотрел по сторонам Пухов. — Музей?

— Пожалуй, что музей, —

согласился генерал. – В свое время это крыло запечатали, как секретный конверт, замуровали. Почитай, сорок с лишним лет никто не совался. Думаешь, следует открыть для любопытствующей публики? Лаборатория сталинских ужасов! Тайный кабинет Лаврентия Берии открывает двери! Думаешь, повалит народец, а?

– Кто это? – кивнул майор на не дававший ему покоя карандашный портрет под стеклом. – Ягода?

– Это? – тоже обернулся, как будто впервые увидел портрет, генерал. – Это... Должен был стать министром госбезопасности после Берии. Не захотел. А стал бы – у нас

бы сейчас была совсем другая страна. Совсем, совсем другая... – повторил мечтательно и с долей мазохизма.

Майор подумал, что советский генерал Гоголь из фильмов про Джеймса Бонда – тонкий намек на генерала Толстого.

В былые времена майор получал четкие недвусмысленные приказы и отчитывался непосредственно перед отдавшим приказ вышестоящим командиром, который награждал за хорошую работу и наказывал за плохую. Государство, таким образом, односторонне, скупое, но конкретно общалось с майором через вышестоящего командира. Круг замыкался. Все было ясно и понятно.

Когда круг разомкнулся и военная машина заскрежетала, заискрила, лишенная управления, силовые линии в ней смешались, усложнились, перепутались, превратились в омерзительную, каждый раз отгадываемую по-новой загадку. Люди, которые действительно что-то решали, за которыми была сила и реальные материальные ресурсы, превратились в вымирающих динозавров. Они отнюдь не стремились открыто о себе заявлять, эти люди. После Тбилиси и Баку майор Пухов уже наверняка не знал, кто отдает приказы и кто оценивает их исполнение. Но все чаще невидимые

силовые линии, по которым он был вынужден, как на роликах, скользить в силу особенности своей службы – иногда по касательной, иногда как бы параллельно и будто бы не впрямую, иногда же весомо, грубо, зримо, как сейчас, – выкатывали его на генерала Толстого.

Никто доподлинно не знал, что это за генерал и чем конкретно он занимается. Но было совершенно очевидно, что объем его реальной власти значительно превышает объем власти, отмеренный генерал-лейтенанту Департамента федеральной безопасности (ДФБ) пусть даже на генерал-полковничьей

должности. Одни говорили, что возглавляемое им двенадцатое управление занимается некими специальными, то ли из области парапсихологии, то ли просто психологии операциями. В мутной воде (тихом омуте) коллективного бессознательного русского народа будто бы ловят генерал Толстой и его люди свою рыбку. Другие – что будто бы он оказал неоценимые услуги (чуть ли не обеспечил с помощью этой самой парапсихологии вечную жизнь и, следовательно, вечную власть над Россией) нынешнему президенту, за что тот и поставил его чуть в стороне, но над всеми. Пухов, впрочем, в этом сильно сомневался.

За неоценимые услуги не жаловали и в спокойные времена. В смутные же рассчитывались, как правило, быстро и почти всегда... головой в омут.

— Решил, сынок, соскочить с нашего летящего вперед паровоза? — сощурился на Пухова генерал.

«Сколько ему лет? — подумал майор. — Должно быть, никак не меньше восьмидесяти. Почему он без очков?»

Пухова удивили непривычные буквы, какими было набрано название лежащей на генеральском столе газеты — «Правда». Он посмотрел внимательнее: газета была от 28 июля... 2033 года. Это было совершенно невероятно, но

именно такой год значился на уже почти забытой в России газете «Правда», остановленной президентским указом, если майор Пухов не ошибался, кажется, в мае 1998 года.

— Музей, — похлопал по газете ладонью генерал. — Ты не ответил на мой вопрос, сынок.

— Я бы не стал соскакивать, — пожал плечами Пухов, — если хотя бы приблизительно представлял себе маршрут и не сомневался, что машинист паровоза в здравом уме.

— Считай, что тебе повезло, майор, — сказал генерал. — Ты сейчас находишься в обществе человека, который пока еще может принимать

решения, отдавать приказы и брать на себя ответственность.

– Возможно, – не стал спорить Пухов, – но я служу Родине, а не сильным людям. Хорошо, конечно, когда сильные люди олицетворяют собой Родину. Но сильные люди далеко не всегда олицетворяют собой Родину, товарищ генерал.

Он хотел добавить: «И вам это известно лучше, чем мне». Но промолчал.

Зачем, к примеру, нужно было помогать талышскому вождю со странным именем Шоша? Этот золотозубый, двухметрового роста Шоша, как определил по его наколкам Пухов, большую часть

жизни провел в зоне. Руководил операцией по спутниковой связи, как установил позднее Пухов, легендарный генерал Толстой, а всю грязную работу, как водится, делали ребята Пухова. Да, Шоша сходу захватил азербайджанский райцентр, но вместо того, чтобы провозгласить, как планировалось, независимую демократическую республику на самой границе с Турцией, послать телеграммы в ООН и ЮНЕСКО, он затеял в городе бессмысленную резню. «Он поднял свой флаг над зданием администрации», – доложил Пухов генерал-майору Худоногову (такой псевдоним выбрал себе генерал-лейтенант Толстой) по

спутниковой связи.

Круг фонтана на площади перед зданием администрации к этому времени уже был забит трупами по самое бетонное горло. Фонтан тем не менее продолжал действовать. Красная вода выплескивалась из него, как вино из переполненной чаши. «Майор, ты выполнил задание, забудь о нем, немедленно возвращайся домой. Вас там не было», – такой пришел по спутнику приказ. Приказ «генерал-майора Худоногова» понравился Пухову своей ясностью и стопроцентным цинизмом. Это было пусть плохое, но твердое «что-то» посреди не плохого и не хорошего, похожего на вонючий

кисель «ничто». Посадив ребят в вертолет, майор остался. Ненужный риск. Чужая война.

Никто не собирался выплачивать ему сверхурочных, но Пухову (хоть это было в высшей степени нетипично для, как правило, беловатого русского офицера-спецназовца начала девяностых) хотелось получить ответ на единственный вопрос: зачем?

Накрывшись тряпьем, Пухов наблюдал за развитием событий в городе с заброшенной голубятни. Он лежал, не двигаясь, вперившись в бинокль. Одиравшие голуби перестали обращать на него внимание, а один даже нагадил

майору на нос. Это была хорошая примета – верный знак, что Пухову удастся выбраться отсюда живым. Хотя, с другой стороны, только какой-то крайне презираемый Господом человек сумел бы проваляться несколько часов на полу голубятни так, чтобы ни одна божья птица на него не нагадила.

Тогдашнему азербайджанскому руководству, занятому куда более масштабной и важной войной в Карабахе, естественно, было не до Шоши, отщипнувшего от их страны крохотный (в сравнении с теми, какие отщипывали армяне) кусочек территории. Талышскому вождю оставалось всего ничего: закрыть два

высокогорных перевала (для этого требовалось от силы десять человек и две гаубицы) и сидеть, выжидая, до следующей весны в своем независимом демократическом государстве. В распоряжении Шоши было гораздо больше чем десять человек. Что же касается гаубиц, то майор Пухов лично доставил их ему во чреве грузового самолета МЧС под видом продовольствия для пострадавшего от землетрясения населения в долине пограничной реки.

Мятеж подавили турки, которых, честно говоря, майор Пухов не принимал во внимание, настолько въелась в голову атаквистическая, как

оказалось, уверенность; насчет неприкосновенности бывших советских границ. Он бывал здесь в прежние годы и помнил, как турки не приближались к молоткастым-сепрастым пограничным столбам ближе чем на сто метров.

Они спокойно перешли границу силами примерно мотострелкового полка. Через два часа с новым независимым государством было покончено. Азербайджанцы, похоже, до сих пор ничего не знали про чуть было не возникшее у них в юго-западном углу независимое демократическое государство талышской нации во главе с президентом по имени (или фамилии?) Шоша.

Этот Шоша оказался парнем, как выражаются американцы, со стальными яйцами. Он, как и полагалось крутому террористу (борцу за свободу), засел в самом крепком в райцентре (местном отделении национального банка) здании, объявил находившихся там кассирш, бухгалтерш и охранников заложниками, проревел в мегафон туркам свои условия, на которые тем, естественно, было плевать с высокого минарета. Шоша в прошлом имел какие-то дела с курдами, турки же в те годы крепко недолюбливали курдов.

Шоша отстреливался до последнего. Когда боеприпасы

подошли к концу, он заставил подняться на бетонный забор крохотную (вряд ли она еще ходила в школу) девочку-заложницу. В белом платье с широко открытыми от ужаса глазами она показалась смотрящему в бинокль из голубятни майору Пухову ангелом. Шоша застрелил ее на глазах у турок. После чего еще раз потребовал для себя и заложников автобус. Турки между тем, не торопясь, навели через пограничную речку понтонный мост, перегнали на сопредельную территорию танк. Он и въехал, как незваный гость, прямо в дом к Шоше и заложникам. Окровавленный, с выбитыми зубами, что-то крича

черной воронкой рта, Шоша пошел на танк с голыми руками. Его так и пристрелили – выстрелом в голову – вцепившегося мертвой хваткой в железную гусеницу. Потом выбравшийся из танка турок огромным зазубренным с одной стороны ножом отрезал голову Шоши, брезгливо поднял за волосы и ударом ноги, как футбольный мяч, отправил ее в пламенеющую у фонтана маковую клумбу.

Сейчас у майора Пухова была возможность спросить у генерала Толстого: «Зачем?». Но он молчал, потому что на каждое его «зачем» у генерала отыскалось бы по десять «затем». Как простых: необходимо

было определить степень готовности турок вмешиваться во внутренние дела азербайджанцев. Так и сложных: спецоперации — это своего рода тончайшее нейрохирургическое вмешательство, призванное не столько выполнить поставленную задачу, сколько сканировать во всей своей противоречивости сложившуюся в данном регионе военно-политическую ситуацию, определить намерения и степень готовности рисковать основных геополитических субъектов; спецоперации редко приводят к однозначным результатам; результаты спецопераций становятся очевидными (естественно, не для

всех) только по прошествии времени в случае принятий на основе их всестороннего анализа правильных государственных решений.

«Спецоперации, – вдруг подумал майор Пухов, – сродни вживлению в организм раковых клеток. Тактика (клинические симптомы) у раковых клеток может быть самая разная и неожиданная, но стратегия у них всегда одна-единственная – смерть».

– У тебя легкая, летящая фамилия, майор, – задумчиво посмотрел на него генерал. – Но для солидной мирной жизни ты бесполезен, если не сказать, опасен. Крылья у тебя вырастают только на войне.

– Крылья Икара? – спросил Пухов.

– Икара? – удивился генерал Толстой. – Полет Икара, сынок, можно трактовать как угодно. Как вызов богам. Как манию величия. Как коммерческий риск. Как бесконечную усталость. Наконец, как красивое самоубийство. Выбирай, что тебе нравится.

Пухов молчал. Это была правда, в которой он сам себе не хотел признаваться. Он утешал себя тем, что у него просто не было случая как следует узнать мирную жизнь в постсоветской России. Он, как соринка на поверхности завихряющейся вооруженной (если

можно таковую вообразить) воды, все эти годы перетекал из одной локальной войны в другую. Ему казалось, что жизнь России – война и тлен, но оказалось, что – мир и деньги. Вполне возможно, вновь открывшаяся жизнь придется ему по сердцу.

Майор Пухов бестрепетно смотрел на генерала Толстого, ибо отсутствовал на удилице генерала крючок, на который тот мог в данный момент подцепить майора. Разве что смерть?

Собственная жизнь, впрочем, с некоторых пор не казалась майору безусловной и абсолютной ценностью. Немало людей разных

национальностей и вероисповеданий умирали на его глазах. И каждый раз майор как будто проделывал вместе с ними этот когда простой и легкий, когда сложный и тяжелый путь. «Да, пока я продаю билеты на станции, — подумал Пухов, — но, видит Бог, я в любой момент готов сам поехать на этом поезде».

— Мы могли бы пуститься в долгую дискуссию о настоящем и будущем российского государства, — усмехнулся генерал Толстой, — поговорить на вечные темы — что делать и кто виноват. Но я опускаю центральную, так сказать, идеологическую часть беседы и сразу перехожу к сути. Суть ведь не в

том, майор, что страна предана и разворована, что все тонет в измене и фарисействе, что жизнь прожить не поле перейти и так далее. Суть в том, майор, что я хочу, чтобы ты поработал во благо России под моим началом, а ты этого почему-то не хочешь. Не хочешь, — продолжил генерал, властным жестом останавливая возражения Пухова, — но ждешь, какие я приведу доказательства своей любви к Родине, а также на какой крючок я буду тебя поддевать, ведь так, майор?

Пухов молчал, размышляя над тем, закончил ли уже генерал париться в баньке, или сделал ради беседы с ним, майором Пуховым,

перерыв? Если он собирался решить судьбу майора походя, между заходами в парную на опереточном каком-то, бутафорском (как будто собирались фильм снимать) этаже Лубянки, грош цена была майору Пухову, а также всему тому, о чем он так много и безысходно думал в последнее время.

— Ты очень умен для командира подразделения коммандос, — разъяснил невысказанное недоумение майора Пухова генерал Толстой, — но, извини, системное мышление — не твоя стихий. Этому не учатся, майор. Это или есть или нет. Я знавал неграмотных негров и индейцев, которые мыслили

системно, и академиков и генеральных секретарей ЦК КПСС, которые были этого напрочь лишены. Ты сразу допустил две ошибки, майор. Во-первых, пошел не по той дороге. Во-вторых, пошел в тот лес, где не растут деревья, то есть не бывает дров. Стало быть, ты пошел не в лес и не по дрова, ведь так, майор?

Пухов с тоской подумал, что генерал прав. Хотя и не знал, в чем именно прав. Подобное чувство он, помнится, испытывал в школе на контрольных по математике. Решал задачу и казалось — правильно решает, но вдруг закрадывалось сомнение, и Пухов понимал, что нет,

не правильно, совершенно не правильно, а главное, уже нет времени, чтобы решить правильно. Страх отсутствия времени был сильнее страха допущенной ошибки. «Что он имеет в виду под словом «дрова»?» – подумал майор.

– Какие ошибки, товарищ генерал? – спросил он. – Я все время молчал.

– Ты почему-то решил, что я буду что-то тебе объяснять, выворачивать наизнанку свою или твою душу, одним словом, то ли тебя убеждать, то ли вербовать, то ли покупать. Ты решил, что я пригласил тебя сюда для беседы. То есть, что ты сможешь отсюда выйти так, а

сможешь – эдак. Что я стану тратить на тебя свое время, не будучи уверенным в конечном исходе разговора. Пухов-Пухов, – укоризненно покачал круглой ушастой в одуванчиковой кайме седых волос головой генерал, – неужели я похож на человека, не дорожащего своим и твоим временем?

По роду своих занятий майору порой, при весьма специфических обстоятельствах, приходилось встречаться с самыми разными людьми на просторах страны, которая когда-то звалась СССР. Он никак не мог взять в толк, отчего среди тех, кто стремился во что бы

то ни стало разрушить СССР, а сейчас Россию, было так много сумасшедших? Но не менее удивительным казалось ему то, что столь же высок процент сумасшедших был среди тех, кто во что бы то ни стало стремился сохранить, возродить, воссоздать Россию, а там, чем черт не шутит, и СССР.

— Я знаю, о чем ты думаешь, майор, — генерал надавил кнопку звонка на черном сталинском столе. Парень в камуфляже внес накрытый кружевной салфеткой поднос с двумя стаканами чая в мельхиоровых подстаканниках. Печенье и конфеты, однако, были не сталинскими и не

2033 года, а самыми обычными – импортными. – Ты думаешь, что я того... – покрутил пальцами у виска генерал Толстой. – Но ты думаешь не только об этом, – добавил после паузы.

– Вот как? – удивился Пухов. Он ни о чем больше не думал. Генерал его переоценивал.

Чай был хорош. На мельхиоровом подстаканнике; майор разглядел выпуклый щит в перекрестье мечей – чекистскую эмблему.

– Ты думаешь об этом, не отдавая себе отчета, – объяснил генерал. – Вообще-то я критически отношусь к психоанализу. Ведь если

Бог создал человека по образу и подобию своему, при чем здесь эдипов комплекс и прочие сексуальные кровосмесительные мерзости? Но как сугубо вспомогательный метод исследования бессознательных процессов внутри того, что мы называем высшей нервной — мыслительной — деятельностью индивидуума — homo sapiens, — психоанализ очень даже уместен, ведь так, майор? — подмигнул генерал Пухову, как бы видя в нем союзника в столь непочтительном толковании психоанализа. — Так вот, майор, ты думаешь не думая, что можешь прямо, сейчас встать,

послать меня на х... и уйти отсюда прочь. И одновременно ты думаешь, опять-таки не думая, что в самом крайнем случае никто и ничто не сможет тебе помешать взять да и пустить себе пулю в лоб и таким образом отстоять свою свободу. Сущность твоей личности, майор, в пространстве между этими двумя мыслями. Естественно, в расширительном понимании. В расширительном понимании, — повторил генерал Толстой, — но в сжатом под очень большим давлением пространстве, майор.

— Я полагаю, — сказал майор Пухов, — речь идет о том, что в прежние годы называлось

компроматом. Да, меня много в чем можно обвинить, но я никогда не проливал лишней крови. Я не могу и не собираюсь отвечать за приказы, которые мне отдавали вышестоящие командиры, в том числе и вы, товарищ генерал-майор Худоногов. Это смешно.

– Ты прав, майор, в современной России понятие компромата аннулировано, как уголовная статья за гомосексуализм. Мне не нравится слово «компромат», сынок. Сразу возникает перед глазами учитель, трахающийся со школьницей, почтенная мать семейства, крадущая дождливым вечером под зонтом на свиданку к любовнику,

складской прапор, толкающий под покровом ночи грузинам прицелы ночного видения. Речь идет не о компромате, майор. Речь идет о некоей тайне, непостижимой в первую очередь для обладающего ею человека. В данной ситуации он выступает в роли камеры хранения, в которую кто-то кладет что-то запечатанное. Ты спросишь: почему непостижимой? Я отвечу: тайна ступенчата, на каждой ступеньке — свой ответ. Ты, сынок, стоишь на нижней. Хотя, конечно, кое-что и тебе открылось, ведь так? Тайна о себе самом, точнее, каким ты можешь быть в определенных обстоятельствах. Гадалки на картах

Руби – они еще называются картами мертвых – называют ее тайной внезапного превращения. Суть этого превращения заключается в том, майор, что человек как бы забывает себя и, пусть даже на очень короткое время – время одного-единственного абсолютно нелогичного, не вытекающего из его честной прошлой жизни, действия, – весь без остатка оказывается во власти зла. Потом он прозревает и как бы даже не понимает, вернее, не хочет понимать, что с ним произошло. На картах мертвых это называется отсроченной смертью души. Тебе интересно меня слушать, сынок?

– Да. Хотя я не понимаю, какое,

собственно, это имеет ко мне отношение?

– Не гони коней, майор. Что означает отсроченная смерть души? Единого мнения на сей счет нет, но большинство специалистов склоняются к тому, что человек, с которым сие случилось, как бы отомкнул в себе врата ада. Вроде как ходит с некоей невидимой печатью на лбу. Может в относительном покое дожить до глубокой старости, но может и быть востребованным тем, кто ему устроил это превращение. Капитан Сергеев, сержант Арцеулов, старший лейтенант Борисов, – совсем другим голосом – монотонным, как в церкви или на

похоронах, – произнес генерал.

«Ну да, – подумал Пухов, – меня же допрашивали, записывали на пленку».

Он как будто вновь пережил поразительное ощущение пока еще живого и полного сил человека, но обреченного не на мифическую карточную, а на самую что ни на есть реальную отсроченную смерть – души и тела, какую испытал семь лет назад посреди пустыни в трехстах километрах от ближайшего населенного пункта – города Азамхана. Пухову, предавшему мертвых товарищей земле, вернее раскаленному песку, казалось, что он наедине с Господом, такая вокруг

стояла тишина. Пухов не сомневался, что умрет от солнца и жажды. Но через четыре дня его, полубезумного, падающего и идущего, случайно увидели с советского вертолета. Вертолеты отродясь не летали над безжизненными пересохшими руслами к юго-западу от Кандагара. Этот сильно отклонился от курса, огибая песчаную бурю.

Пухов бестрепетно выдержал тяжелый, холодный и неподвижный, как у отслеживающего жертву плотоядного ящера, взгляд генерала Толстого.

В пустыне не было живых людей, кроме майора Пухова и того, кто присутствует везде. «Он не

может предать, — вдруг подумал майор Пухов, — даже если...»

— Не льсти себе, майор, что все в мире, в том числе и преступления, свершается по воле Господа, — понятно и просто, как будто это была его мысль, закончил мысль Пухова генерал. — Воля Господа, как озоновый слой в атмосфере, слабеет, истончается, и тогда случается то, что случилось тогда в пустыне, майор.

— Насчет воли Господа, товарищ генерал, — медленно произнес майор Пухов, — каждый решает по собственной вере. Не воля Господа истончается, товарищ генерал, но вера людей в Господа.

– Не упрощай, майор, – покачал генерал круглой головой в венчике седых волос, – не надевай на плечи Господа погоны с большими звездами. Бог был не с тобой, – пропел странным каким-то шепотом, – а с теми, кого ты сначала забил как дичь, а затем запек в песке, как в микроволновой печи. Природа тайны внезапного превращения непознаваема и иррациональна, – продолжил генерал, – как, собственно, все, уходящее корнями туда, – перевернутым большим пальцем указал, куда уходят корни – в натертый до блеска паркет. Хотя имелся в виду, естественно, не натертый до блеска паркет в

музейном крыле ДФБ. – Ее иррациональность хотя бы уже в том, что о ней обязательно кто-то рано или поздно узнает. Кто-то еще, помимо человека, с кем превращение произошло. Каким-то образом узнает во всех подробностях и даже больше, хотя живых свидетелей нет. Я назову тебе цифру, сынок – семьдесят семь. Ровно семьдесят семь.

С самого начала операции Пухова (тогда он звался капитаном Петровым) не оставляло ощущение, что их ведет невидимая чужая воля. Перед группой стояла довольно сложная задача. Но вчетвером они справились с ней играючи.

Путешествие в Пакистан на

берег Аравийского моря, где в уединенном местечке среди пальм и скал находилась вилла пакистанского полковника, занимающегося в военном министерстве электронной разведкой, превратилось в приятную прогулку. Виллу охраняли пять десантников из элитной бригады «Черный аист». Пухов с ребятами убрали их без труда. Двух — на теннисном корте. Одного — в сторожевой будке как раз через мгновение после того, как он по причине наступления утра отключил ночную сигнализацию. Четвертого — в бассейне. Пятого — в гараже. Полковник сладко спал, когда Пухов поднялся к нему на второй этаж в

спальню. Майор отправил его на тот свет из пистолета с глушителем, не беспокоя. Ему не хотелось трогать спящую рядом с полковником красивую полную гурию с крашеными хной волосами и выбритыми (за ночь, впрочем, уже проступили черные точки) подмышками, но подстраховывавший его сзади сержант Арцеулов автоматически запечатал ей рот рукой, как кувшин восковой печатью, другой же рукой положил поверх ее лица подушку, как прикрыл крышкой кастрюлю.

Все шло слишком уж легко. Группа скользила сквозь чужую враждебную страну, как удачно

подобранная отмычка в смазанном замке.

Они продвигались к афганской границе на джипе с иранскими номерами — сначала малоезженными проселками, затем по пустыне. Углубившись в родной Афганистан километров на сто, остановились отдохнуть у подножья древней, сработанной воинами Александра Македонского крепости. Борисов прихватил из полковничьей кладовой виски и закуску. Они отметили успешное окончание операции, хотя обычно такие операции не только не отмечали, а, напротив, старались как можно быстрее забыть.

Если бы капитан Сергеев

случайно не взялся за рацию, они бы через несколько часов были на своей базе на берегу полупересохшего мутноводного – в зарослях лотоса, с трясущими мешками-клювами белыми пеликанами – Гильменда. Но Сергеев поймал вышедший на связь караван, тут же определил по карте его местоположение – сто пятьдесят километров к юго-востоку, – а» также направление движения – Пакистан. Если бы они не приняли на грудь минимум по семьсот пятьдесят виски и если бы их не переполняла не знающая удержу победительная сила, сгубившая в Афгане (да и не только в Афгане) стольких русских мужиков, они вряд

ли решились бы на отчаянное предприятие — вчетвером после тысячекилометрового броска взять еще и неизвестно как вооруженный, неизвестно чем груженный, к тому же идущий против обычного направления движения караван.

Но роковое решение было принято.

Чужая воля, как пушинку с груди пеликана, несла их джип с иранскими номерами по барханам навстречу каравану. Пухов не сомневался, что они возьмут его легко и просто, как брали до этого десятки богатых и бедных — с анашой, оружием, телевизорами, электроникой, спутниковыми

антеннами, кожаными куртками, курагой, презервативами, изюмом, русскоязычными проститутками и ни с чем — караванов.

— Семьдесят семь? — пожал плечами Пухов. — Там было море огня, товарищ генерал.

— Я знаю, сынок, — улыбнулся генерал Толстой. — Но то, о чем мы говорим, не утонуло в море огня.

— Наш разговор беспредметен, — поднялся с жесткого стула Пухов. — Я не понимаю, о чем идет речь. — Шагнул к двери, но в дверях сразу встали двое в камуфляже с короткими автоматами. —

Стреляйте, — пожал плечами майор, — режьте на ремни. Если вам будет от

этого легче.

— Посиди еще немного, — попросил генерал, — мы скоро закончим. Ты изучал физику, ведь так, майор? Стало быть, прекрасно знаешь, что ничто в мире, в особенности такая цифра как семьдесят семь, не возникает само по себе и не может кануть неизвестно куда. За всем, в особенности за цифрой семьдесят семь, что-нибудь да стоит. Мне потребовалось время, чтобы установить, что Петров, Греков, Сулейманов, Дарченко — это все ты, майор Пухов. Сведения о тебе закодированы тремя паролями в файлах высшей степени секретности.

Там, где описание технологии получения золота искусственным путем и данные об инопланетянах. Тебя считали достоянием государства, сынок, — как показалось Пухову, с некоторой обидой в голосе произнес генерал Толстой.

— Что сейчас с этими файлами? — поинтересовался майор. — Какая, интересно, сволочь распродает их направо и налево?

— Все это время ты жил бедно, как церковная мышь, — словно не расслышал его генерал. — Я уже почти поверил в море огня, был близок к тому, чтобы закрыть дело за отсутствием вещдоков и просто доков. Если бы не твой шоп-тур в

Эмираты два месяца назад, майор. Я узнал о нем совершенно случайно. Ты полетел из Ашхабада по турецкому паспорту, но взял гулийскую фамилию, чтобы не обращали внимание на акцент. Служба безопасности Эмиратов передает нам сведения обо всех гулийцах, проходящих через их аэропорты. Из Дубай ты вылетел в Кандагар, майор. Я получил ксерокс с билета и твою фотографию, господин Шамсутдин Гайрабеков, научный сотрудник исторического музея в Измире. Ты нашел семьдесят семь там, где их оставил, ведь так, сынок? Ты взял их с собой. Где ты их сейчас держишь, майор? Я жду. Ты,

кажется, говорил о море огня...

Пухов не стал повторяться, поэтому генерал Толстой продолжил:

— Собственно, дело уже не в семидесяти семи. Я оцениваю твои заслуги перед Родиной выше. Дело в том, что стояло за семьюдесятью семью, на что они должны были пойти. Ты стронул лавину, майор. Она ищет тебя! Вернее, уже нашла. Я тебя нашел. Но кое-что еще можно поправить.

— Я готов выйти ей навстречу, — во второй раз поднялся с жесткого сталинского стула майор. — Как говаривали библейские герои, товарищ генерал, вот он я!

— Эта лавина, как разгневанный

Бог-отец, сотрет с лица земли весь твой род, – просто ответил генерал, – всех, кто когда-то был тебе дорог и близок. Она пойдет по твоим следам – именам, фамилиям, адресам, по всему, что есть в тех файлах. А там есть то, о чем даже ты сам понятия не имеешь. Что, к примеру, ты можешь сказать о девочке по имени Оля, которую шесть лет назад родила в Омске спортсменка-волейболистка? Кажется, ее звали Рита, ведь так, майор?

– Вы хотите, чтобы я вернул вам пепел? – спросил майор. – Пепел со дна моря огня. Тогда берите меня, товарищ генерал.

– Все, что я хочу, – произнес

генерал Толстой, – чтобы вы послужили Родине, майор Пухов, именно тогда, когда она сильнее всего в вас нуждается! – Вдруг встал из-за стола, поправил сползающую на плечо кожаную куртку с неуместной эмблемой «U.k. Air Forse». – Вместе со мной. А пепел... Чем еще платят нам за любовь к Родине, ведь так, майор? Только пеплом.

...Пухов до того сосредоточился на созерцании скорострельного немецкого пистолета с оптическим прицелом «Fovea» и на давних (тоже как бы с оптическим прицелом) воспоминаниях, что не заметил, как пошел снег. Земля, небо, озеро за

окном исчезли в вихревом мельтешении снежинок. Майор в отставке, а ныне начальник службы безопасности финансово-промышленной группы «Дровосек» связался из своего номера по рации с охранниками, дежурившими в холле, велел им оставить открытым только один из трех входов в корпус, где жил глава крупнейшей в России финансово-промышленной группы «Дровосек» — молодой человек по фамилии Дровосек. Снегопад свел видимость к нулю, и недоброжелатели (а их у Дровосека было немало) вполне могли приблизиться к неохраняемым входам под покровом первой в этом

году метели.

Положив пистолет в кобуру, неразличимую в складках широкой спортивной куртки, майор в отставке Пухов решил лично провести шефа, но тут стали передавать новости, и он на несколько мгновений задержался у транзистора. Новости были скверные. Гулийские регулярные войска (в зависимости от ситуации их называли бандитами, сепаратистами, бойцами, незаконными вооруженными формированиями) совершили нападение на станицу Отрадную Бердянского района Ставропольского края. Действуя по отработанной схеме, они согнали в здание

больницы заложников, выставили их в качестве живого щита у окон и предъявили стандартный ультиматум (признание независимости и вывод российских войск из самопровозглашенной Республики Гулистан в обмен на жизнь заложников) федеральным властям. Случайно оказавшийся на месте трагедии корреспондент агентства «Рейтер» Хопкинс отметил беспрецедентную жестокость, с которой действовали террористы в отношении лиц славянской национальности. Так, одинокую пожилую женщину, живущую в последнем доме по улице Карла Либкнехта, они буквально

изрешетили пулями прямо на крыльце за то, что она замешкалась в исполнении требования немедленно присоединиться к колонне заложников, гонимых, как стадо злыми пастухами, по направлению к больнице.

Пухов выключил транзистор. Зачем-то вытащил из кобуры, снял с предохранителя скорострельный с оптическим прицелом пистолет «Fovea». Свинтил оптический прицел.

В ближайшие дни он предполагал стрелять по близким целям.

Дело заключалось в том, что одинокая пожилая женщина, жившая

в станице Отрадная Бердянского района Ставропольского края в последнем доме по улице Карла Либкнехта вовсе не замешкалась в исполнении требования террористов немедленно присоединиться к колонне заложников. Она просто не слышала этого требования, потому что была глухонемая. Майор в отставке Пухов знал это совершенно точно, потому что изрешеченная пулями на крыльце своего дома одинокая пожилая женщина была его матерью.

Вот уже третий год Россия вела войну против горного, входящего в ее состав, но провозгласившего себя независимым, мятежного государства Гулистан, во главе которого, как и положено в военное время, стоял — единственный в истории крохотного народа — генерал-гулиец бывшей советской армии (стратегической авиации, ВВС) Каспар Сактаганов.

Еще находясь на срочной службе в ВДВ, Пухов сделал любопытное наблюдение, что есть головы, на которых пилотки сидят как влитые, а есть — на которых, несмотря на все

ухищрения носителей, разъезжаются, начинают напоминать столь часто обсуждаемую и поминаемую в войсках часть женского тела. На генерале Сактаганове, когда он появлялся на экране телевизора с очередным безумным заявлением (а он, в силу симпатий, испытываемых к нему российскими журналистами, появлялся там необъяснимо часто для отлавливаемого мятежника, государственного, объявленного во всероссийский розыск, преступника), любой наряд — камуфляжная куртка, свитер, кожаная безрукавка, даже японское кимоно (генерал увлекался каратэ) — сидел пригнанно и ладно, и только пилотка

разъезжалась как... То, что генерал, появляясь на публике, с маниакальным упорством каждый раз надевал на голову пилотку, лишний раз свидетельствовало, что ничто так не влечет, не беспокоит человека, как то, в чем ему по какой-то причине отказано природой или судьбой. Пусть даже это такая мелочь, как красиво сидящая на голове пилотка.

Дровосек, конечно же, обеспечил начальника своей службы безопасности спутниковой связью. Спускаясь по застланной потертым ковром лестнице пансионата «Озеро» на второй этаж, где находились апартаменты шефа,

Пухов вышел на внутренний коммутатор Минобороны, услышал голос бывшего сослуживца. Тот нынче был в немалых чинах, считался старшим от Минобороны в такой экзотической межведомственной организации, как Федеральный центр по борьбе с терроризмом. Не давая ему вспомнить, что он полковник на генеральской должности, а Пухов — никто, майор напористо, покомандирски осведомился, как быстро он сможет попасть в станицу Отрадную? Тот ответил, что через час сорок из Чкаловска в Бердянск вылетает самолет-госпиталь. «Зачем тебе туда? — бывший сослуживец все-

таки вспомнил, кто сейчас он и кто сейчас Пухов. — Там стреляют, а ты богатый человек, охраняешь жирного клопа, который пьет нашу кровь. Откуда звонишь, майор — из сауны, казино или бардака?»

Пухов хотел сказать ему про мать, но не сказал. Он никогда никому ничего не говорил без крайней на то необходимости. Пока майор еще не решил, существует ли необходимость делиться с кем бы то ни было информацией, что его глухонемая мать изрешечена гулийскими пулями на крыльце собственного дома по улице Карла Либкнехта в станице Отрадная Бердянского района Ставропольского

края. Не то чтобы майор никому не доверял. Вопрос доверия в повестке дня вообще не значился. Майор давно — с самой первой своей самостоятельной операции на границе Анголы и Намибии — жил и действовал вне такого умозрительного критерия, как доверие к отдельному ли конкретному человеку, ко всему ли, мнимо приверженному идеям гуманизма, человечеству.

Он твердо знал, что в любой, касающейся лично его, информации заключен некий сокровенный смысл (детонатор), в перспективе не сулящий майору ничего, кроме взрыва. Следовательно, неразумно

было делиться с кем бы то ни было какой бы то ни было информацией, хотя бы до первичного проникновения (определения класса заложенного взрывного устройства) в этот смысл. «Ты не согласишься, — сказал, впрочем, Пухов бывшему сослуживцу истинную правду, — но я собирался купить там себе дом. И самое печальное, — вздохнул, — внес задаток. Не в курсе, нотариальная контора на улице Либкнехта цела?» «Если они сегодня оттуда не уйдут, там вряд ли останется хоть один целый дом, — заметил собеседник. — Там происходит что-то странное... — замолчал. — Темнилово гонишь, майор. Дом, задаток... За пентюха

держишь? Я тебя вписываю в полетный лист. Хочешь, официально прикомандирую как спецасоветника? Получишь командировочные, как в горячей точке. Хотя что для тебя наши командировочные? Так, на пиво... Туда сейчас все начальство летит, как с цепи сорвались. Я позвоню на этот летающий госпиталь, чтобы без тебя не трогался». «Не горячись. Пусть летят по расписанию, не ждут, если опоздаю. — Стопроцентная ясность тут тоже отнюдь не требовалась. Майор давно усвоил, что чем меньшему числу людей известно, где он в настоящий момент находится и что делает, тем лучше. — Еще одна

оказия намечается». «Не п... Район
вкруговую закрыт. Даже если сам на
«МИГе» полетишь – собьют, – не
поверил бывший сослуживец. –
Слушай, майор, сколько тебе платит
этот твой... как его... Дровосос?
Кровосек? Начфин, сука, в его банк
наши пенсионные деньги запихнул.
Скажи ему: зажмет, не жить, нам
терять нечего!» «У меня есть
вакансия, – сказал Пухов. – Приходи,
узнаешь сколько платит». «Лучше
пулю в лоб, чем выносить горшки за
этой мразью!» – с чувством произнес
бывший сослуживец. «Зачем им
Отрадная? – быстро спросил
майор. – Там же ничего нет». «А
больница? – возразил собеседник. –

Новое родильное отделение пристроили». «Кто?» – наконец задал Пухов последний и самый важный вопрос. «Что-то ты пропал, – встревоженно произнес полковник на генеральской должности, хотя слышимость оставалась великолепной. – Напомни-ка номеришко твоего пейджеришки?» Пухов напомнил номеришко пейджеришки, и через мгновение на экранчике появилось короткое слово: «Нур».

Нурмухамед был руководителем разведки и контрразведки, службы безопасности и личной охраны президента Гулистана генерала Каспара Сактаганова. Нурмухамед

считался самым верным и приближенным к президенту Гулистана человеком. Если операцией командовал он, значит, рейд на станицу Отрадную был личным военным предприятием президента Республики Гулистан генерала Каспара Сактаганова. Это в корне меняло дело.

Майор вдруг поймал себя на мысли, что вот уже минут десять — не меньше — он знает о смерти матери, но в глазах у него до сих пор ни единой слезинки, а в голове отсутствует план действий. Пухов давно научился контролировать и сдерживать поднимающуюся волну горя. Слишком часто горе заставляло

его в моменты, когда приходилось тратить все сохранившиеся (и даже сверх того) силы на то, чтобы самому уцелеть, остаться в живых. Он знал по собственному опыту, что самое лучшее в данном случае предоставить мыслям течь как им заблагорассудится. Знал майор и то, что первый, сходу родившийся план действий, как правило, оказывается ошибочным. Как, впрочем, и второй, третий. Но наиболее ошибочным, абсурдным, неисполнимым в конечном итоге предстает правильный, истинный, единственно возможный план действий. Какой придется воплотить в жизнь именно потому, что всем очевидна

стоцентная его
неосуществимость. Майор пока
понятия не имел, что это за план.

Перед глазами у него возникло
узкое как кувшин, белое как свеча
лицо генерала Сактаганова, прямые,
короткими черными стрелами
падающие из-под пилотки волосы. У
ставшего президентом генерала
довольно быстро выработалась
манера говорить отрывисто, резко и
скупое. Слова, которые он
произносил, были словами
сражающегося вождя. Даже когда он
говорил о том, что хочет закончить
войну или отпустить русских
пленных, его слова, лицо,
разъезжающаяся на голове пилотка

излучали угрозу.

Когда Пухов впервые увидел генерала — далеко от Гулистана и России, — тот совершенно не производил впечатление будущего вождя. Генерал тогда был бесконечно одинок и, несмотря на то что пытался держаться с достоинством, казался сломленным. Он признался Пухову, что за долгие годы службы в различных русских городах сильно подзабыл родной язык, на котором разговаривал только в детстве, когда жил с родителями в Киргизии, в ссылке. Пухов поинтересовался, ходит ли он в мечеть? Генерал ответил, что не знает, есть ли здесь вообще мечеть. За свою жизнь он

всего два раза переступал порог мечети. Один раз в Киргизии с дедом, другой – в Сирии, где побывал в конце семидесятых в составе военной делегации.

«Задерем подол матушке Руси», – будто бы с удовлетворением произнес в начале тридцатых, включая рубильник взрывного устройства, подведенного под храм Христа Спасителя, сталинский нарком Лазарь Каганович. Майору Пухову было не отделаться от ощущения, что куда нагляднее и похабнее задрал матушке Руси подол во второй половине девяностых бывший советский генерал Каспар Сактаганов. Его люди захватывали и

сгоняли заложников именно в больницы с родильными отделениями, то есть вторгались в места, где свершалось сакральное таинство существования народа, а именно рождались, умирали, а иногда и выздоравливали люди. Нечистый абрек в родильной палате — это было хуже чем простое изнасилование. Бородатые, перепоясанные пулеметными лентами, в лохматых шапках бойцы генерала Сактаганова — «генерала Сака», как его называли в России и на Кавказе — как бы прикасались враждебными руками к святым святым, проникали на самую священную, запретную и — по идее —

недоступную для чужих глаз (не говоря о других частях тела) территорию народа — территорию синтеза и воспроизводства. Бойцы генерала Сака, стуча ботинками и сапогами, играя длинными зазубренными ножами, грозно похаживали меж перепуганных беременных и уже родивших русских баб в косыночках, кутающихся в сиротские халатики. Большого оскорбления народу (в особенности его мужской части) нанести было невозможно. Это было иго в миниатюре. Или эскиз грядущего ига.

Обычно допускаемые к воинам генерала Сака журналисты — они признавали за таковых только людей

с видеокамерами и микрофонами — говорили суровым бородатым борцам за свободу разные льстивые вещи, полностью разделяя их презрение к «живому щиту» — машущим белыми полотенцами из окон роддомов, а затем из окон автобусов, воющим от страха и тоски русским бабам. Только раз на памяти Пухова въедливый японец поинтересовался у захватившего очередной роддом полевого командира: «Русский народ очень большой. Вы не боитесь, что он вам отмстит?» Командир в бешенстве посмотрел на крохотного невозмутимого японца. Но шел прямой эфир. Он ответил: «Народ, который прощает свое правительство

за то, что мы с ним делаем, не способен не только осмысленно мстить, но вообще держать в руках оружие. Я не знаю, кто сильнее презирает русских — мы или их собственное правительство».

«В России нет мужчин», — любил повторять генерал Сак, поправляя на голове разъезжающуюся пилотку.

Однажды Пухов подумал, что, быть может, президент Республики Гулистан мстит России за то, что она призвала его на военную службу, выучила в Академии Генштаба, позволила дослужиться до генерала, наконец, надела ему на голову эту самую непокорную пилотку? Что ж,

он добился своего. При звуке его имени у беременных баб по всему югу России разъезжались пилотки, и они рожали недоношенных, перепуганных уже во чреве, как и положено при иге, младенцев.

Вот только у самого гулийского народа при тех темпах истребления, которые задал ему в войне против хоть и изрядно ослабевшей, но все же тысячекратно превосходящей его землей и людьми России национальный герой генерал Сактаганов, не было ни малейших шансов сохраниться до полной и окончательной победы над противником.

Пухов вполне допускал, что для

многих гулийцев эта война является освободительной. Для России же гулийская война стала примерно тем же, чем была в свое время война Древнего Рима против нумидийского царя Югурты. Война против Югурты расценивалась современниками и историками как едва ли не высшая точка позора, низшая точка падения республиканского — демократического — Рима. Нумидийский царь цинично и особенно даже не таясь подкупал сенаторов, военачальников, влиятельных римлян. Война до крайности истощила казну государства, но никак не могла закончиться. Прославленные

римские легионы раз за разом оказывались бессильными против партизанских банд нумидийского царя. В конце концов Югурту пленили, но до гласного разбирательства причин и следствий дело не дошло. Царя задушили в тюрьме. В Риме началась гражданская война.

Для России как государства, по мнению майора Пухова, гулийская война являлась растянувшимся во времени следствием достаточно часто встречающейся в истории тотальной измены верхов. Для народа — наказанием за то, что каждый конкретный, отдельно взятый гражданин мало любил свою

Родину, то есть каждый — и майор здесь не считал себя исключением — носил в душе черное пятнышко измены. Измена всегда более податливых к ветру времени верхов, в сущности, не была для народа неожиданностью. Народ сам толкал верхи к измене, предъявляя на молекулярном (отдельной личности) уровне претензии к Родине, которую в лучшем случае держал за злую тещу, но никак не за мать. И сейчас продолжал терпеть измену — тотальное разрушение всех основ, управление государством методом уничтожения государства — верхов, потому что на уровне коллективного бессознательного понимал: измена

верхов есть следствие измены низов, то есть самого народа, в очередной раз предавшего собственное государство. Это наглядно проявлялось хотя бы в том, с какой страстью народ смотрел издевающееся над ним, ненавидящее его телевидение; как охотно — в метро, на скамейках в парках, одним словом, везде — читал труды автора с неслучайным псевдонимом «Суворов», утверждавшего совершенно неправдоподобные вещи вроде того, что русские солдаты в 1945 году в Германии ели живьем немецких грудных детей, в то время как немцы в 1941 году в России не щадили себя, защищая и оберегая

глупых русских от их собственной дикой армии; как многочисленно голосовал на довыборах то ли в Государственную Думу, то ли в Совет Федерации за малопрстойную душевнобольную женщину, позирующую фотографам на фоне плаката: «Смерть русским свиньям!»

Пухов, впрочем, относился к этому достаточно философски, потому что в иных местах планеты видел вещи и похуже. Но не сомневался, что именно комплекс вины народа за собственное предательство (самопредательство) есть основная причина необъяснимой выживаемости неестественных, приносящих народу

много бед и страданий режимов.

Так было в России в 1917 году.

Так повторилось в конце века.

И только на втором этаже пансионата «Озеро» возле апартаментов молодого человека со странной фамилией Дровосек до Пухова окончательно дошло: матери больше нет!

А он был уверен, что она, никому не сделавшая в жизни зла, бесхитростная, бессловесная и добрая, будет жить вечно. Во всяком случае, переживет его – своего сына – майора Пухова. Он много раз говорил ей об этом, но она не соглашалась, качала головой. Промелькнула странная какая-то

мысль, что сейчас он совершенно беззащитен, взять его легче легкого.

Майор рванул на себя ближайшую дверь. К счастью, в номере никого не было. В комнате на столах стояли компьютеры с большими (для цветной графики) мониторами, на стенах висели рекламные плакаты. Над компьютерами, плакатами, фломастерами, живыми и синтетическими цветами плыл тончайший запах духов — терпкой жимолости, как будто смешанной с изысканного сорта сигарет табачным дымом. Это была комнаты Леночки Пак — имиджмейкера, начальницы отдела рекламы финансово-

промышленной группы «ДровосеК».

Коротко, по-волчьи взыв, майор обрушил кулаки на ни в чем не повинную стену. Бетонная стена выдержала удар. Пухов не чувствовал боли. Вместо плаката с изображением садящегося солнца, косо пересекаемого клином уток в виде слова «ДровосеК», Пухов вдруг увидел глаза матери и на мгновение растворился в этих глазах, как растворялся в них всегда, обнимая мать после долгой разлуки сначала в барачной квартирке на окраине Бердянска, потом в просторном доме в станице Отрадная, куда он ее перевез несколько лет назад. Мать разговаривала с ним глазами. Она

почему-то не любила языка глухонемых, хотя Пухов владел им в совершенстве.

Он не знал своего отца. Мать воспитала его одна. Позже Пухов слышал о синдроме женского воспитания. Если мальчик растет без отца, то будто бы вырастает слабым духом и волей. Пухов вырос без отца с глухонемой матерью, не поднимавшейся по служебной лестнице выше уборщицы и посудомойки в столовой райкома профсоюзов. Она не уставала объяснять теряющему иной раз нить смысла жизни сыну, что главное в жизни — достоинство, мужество и справедливость. И еще сила.

Большинство глухонемых были физически очень сильными людьми. И Пухов тренировался в их секциях, усваивая приемы, о которых не знали нормальные, не обделенные природой люди. В барачном пригороде, где каждый второй парень к семнадцати годам шел на свой первый срок, на похаживающего в библиотеку Пухова смотрели как на опасного психа. Он был очень молчалив, потому что мать была уверена, что человеческая речь — великая ценность и, следовательно, нечего попусту тратить слова. Мать научила Пухова презирать нищету, в которой они жили, побеждать ее аккуратностью и чистотой. Она

столько стирала, что ее руки, казалось, должны были раствориться в мыльной воде. Ни один мужчина – говорящий или глухонемой – не переступал порог их дома. Мать плакала от счастья, когда Пухов приехал к ней в золотых лейтенантских погонах после окончания рязанского училища ВДВ. Ее огород в Отрадной был лучшим в станице. Как белье в мыльной пене под ее руками отстирывалось исключительно чисто, так и овощи на ее земле вырастали крупнее и вкуснее, чем у других.

Всю жизнь мать любила читать. Она, естественно, разбирала по губам разговорную речь, но так и не

решилась, в отличие от многих глухонемых, не слыша себя, заговорить. Писала письма сыну без единой ошибки, какими-то старинными, возвышенными, религиозными оборотами. Пухов читал ее письма и ему не верилось, что их писала женщина, всю жизнь проработавшая уборщицей и посудомойкой. Она очень переживала, когда от него ушла жена, но еще больше переживала, что у него не было детей. Жена Пухова делала вид, что боялась, что у них родится глухонемой ребенок, мол, это повторяется через поколение, но на самом деле она просто не хотела детей. Пухов вдруг подумал, что за

все время, сколько он себя помнит, мать ни разу ни о чем его не попросила, ничего от него не потребовала.

Она долго отказывалась переезжать из барачной квартирki в Бердянске в дом в Отрадной, куда Пухов подвел канализацию и горячую воду. Этим летом он собирался поставить на участке сауну. Деньги, которые он присылал, мать не тратила, а немедленно переводила на завещанную ему же сберкнижку. Последний раз Пухов навестил ее три месяца назад после «тура», как выразился генерал Толстой, в Эмираты и далее. Мать, помнится, все время опускала глаза, а когда он

уезжал, взяла его за руку и на руку ему капнула ее горячая слеза.

И сейчас на руке майора горела невидимая слеза. Пу-хову показалось, что благоухающий воздух в комнате имиджмейкера и художницы Леночки Пак как будто начал плавиться, очертания больших (для цветной графики) мониторов, плакатов, фломастеров и серебристых ламп вдруг сместились, отвязались от собственной сущности, куда-то поплыли.

Последний раз майор плакал много лет назад в пустыне. Тогда воздух точно так же плавился и точно так же сместились, поплыли, отвязались от собственной сущности

очертания черных
пылевлагожаронепроницаемых
сумок-контейнеров.

Мысль, что его мать лежит
изрешеченная пулями на крыльце
собственного дома – последнего по
улице Карла Либкнехта – показалась
майору непереносимой. Перед
глазами снова возникло узкое как
кувшин и белое как свеча в
разъезжающейся пилотке лицо
генерала Сактаганова.

«В России нет мужчин», –
любил повторять генерал Сак.

«В России есть мужчины,
Каспар, – мысленно возразил ему
майор Пухов. – И ты, вернее, вы все
скоро в этом убедитесь».

Но прежде следовало увидаться с Дровосеком. Любую работу, даже такую (в понимании прежних сослуживцев Пухова лакейскую) как работа телохранителя, майор исполнял ответственно и добросовестно. Он собирался на некоторое время покинуть своего шефа. Это следовало обговорить. Необходимо было позаботиться о том, чтобы охрана тела Дровосека продолжалась в заданном ритме, то есть надежно и интенсивно.

Возглавив службу безопасности крупнейшей в России финансово-

промышленной группы «ДровосеК», Пухов уволил прежних – заживевших – и набрал новых – ловящих мышей – ребятишек. Люди на подобной работе портились довольно быстро по причине излишней близости к охраняемому телу. Им невольно закрадывалась в голову мысль вроде: а чем я, собственно, хуже; почему ему миллиарды (все), а мне – жалкие миллионы (ничего); разве он сильнее, честнее, а главное умнее меня; за что ему такая везуха? Людей у тела следовало менять до того, как подобные мысли пускали в их головах глубокие корни. В противном случае тело сильно рисковало.

Прежде за спиной майора

Пухова стояла (пусть только на словах, номинально) мощь государства. Он был всего лишь опережающим эхом его неотвратимой, в смысле достижения, поставленной — не важно правильной или нет — цели. Государство, как статуя Командора, шло по следам майора Пухова. Отныне за ним не стояло, не шло следом ничего. Поэтому ему был нужен Дровосек с его миллиардами, изобретаемыми Леночкой Пак рекламными телевизионными клипами, стендами и плакатами, с его загадочной, существующей вопреки всем мыслимым и немислимым законам и правилам

финансовой империей, метастазы-отделения которой вспухали, надувались и лопались как мыльные пузыри в разных городах страны. Постоянно меняющая очертания, ускользающая от вкладчиков и налоговых инспекторов, какая-то нереальная (случалось, что миллиарды по коротким кредитам перегонялись, обрастая по пути следования, как шерстью, процентами из Южно-Сахалинска в Калининград и обратно в точном соответствии с часовыми поясами страны, поспевая на счета к открытию местных банков и покидая их с окончанием рабочего дня), империя Дровосека стопроцентно

(на практике) подтверждала американскую мудрость, что время — это деньги. Напоминающая (если бы только не периодические самоубийства директоров и слезы вкладчиков) бродячий цирк, висящего в воздухе слона на паутинных ногах с картины Сальвадора Дали, империя Дровосека была той самой шапкой-невидимкой, натянуть которую на свои торчащие уши собирался майор Пухов. В государстве Россия он был достаточно известен и замечен для узкого круга лиц, принимающих решения в отношении дальнейшего пребывания на белом свете других лиц. В государстве Дровосека —

ничтожен и неразличим.

Ибо не имел прямого отношения к деньгам.

Рекламы финансово-промышленной группы «ДровосеК» – АО «ДровосеК», банка «DrovoseK», холдинга, страховой, трастовой компаний и т.д. (игра русских и латинских букв была гениальной выдумкой имиджмейкера Леночки Пак) – украшали города и веси России. Но особенно густо по части Дровосека (как будто он вознамерился срубить ее под корень) было в Москве. Леночка убедила шефа, и тот за огромные деньги перекупил у мэрии рекламное пространство над крышами домов на

Тверской напротив знаменитого памятника Пушкину. Теперь вместо всем надоевших (и как утверждалось в патриотической ориентации газетах, оскорбляющих дух великого поэта) «Coca-Cola» и «Philips» там красовалось: «Дровосек – наше все».

Майору Пухову случалось по служебной необходимости (скажем, во время оформления сделки по купле-продаже чего-нибудь, в основном, земельных угодий, когда он выступал доверенным лицом) заглядывать в паспорт своего шефа.

Вне всяких сомнений, в России второй половины девяностых годов XX века молодой человек со странной фамилией Дровосек мог

многое.

Скажем, расчищать по ходу следования своего кортежа из пансионата «Озеро» в офис на Смоленской площади правительственную трассу — Кутузовский проспект. Впереди шел бронированный «вольво-960» с мигалкой, следом основной — восьмицилиндровый — «мерседес-621» с круглыми, точнее овальными — на водяной подушке — фарами, по бокам два черных, как ночь в преисподней (если, конечно, там всходит и заходит солнце), джипа с вооруженной всеми видами легкого и среднего стрелкового оружия охраной.

Или взять да купить с потрохами
(помещением редакцией,
имуществом, сотрудниками и т. д.)
некогда официальный
правительственный
иллюстрированный журнал,
вырезками из цветных вкладок
которого когда-то украшали стены
квартиры в блочном доме в
Воронеже его родители. Дровосек,
впрочем, через пару недель потерял
всякий интерес к своему
неожиданному приобретению. Лена
Пак быстро и, что удивительно,
почти не меняя сотрудников,
перепрофилировала бывший
правительственный официоз в
мягкое интеллигентное эротическое

издание, рекламирующее нижнее женское белье.

Или, как некогда царь Иоанн Грозный, объявить по России и странам ближнего зарубежья конкурс красоты среди девушек восемнадцати-двадцати пяти лет, чтобы (это был главный приз) сочетаться с победительницей законным браком. Занявшим второе и третье места красавицам обещались умопомрачительные денежные премии. Насчет законности, впрочем, Пухов сомневался. За свою не столь уж длинную жизнь Дровосек уже был трижды женат. С первой женой он официально (с соблюдением юридических

формальностей) развелся. С двумя же последующими в настоящее время не жил, но и развестись не мог — на них (точнее, их документы) была оформлена кое-какая недвижимость в России и Швейцарии. Тем не менее конкурс красоты «Невеста Дровосека» пользовался огромной популярностью у девушек не только бывшего СССР. Почему-то валом шли письма с фотографиями и анкетами от девушек из далекого Сенегала и не менее далекого и к тому же занятого гражданской войной Сомали. «Не могу понять, — заметил как-то Дровосек, — с удовольствием рассматривая фотографии обнаженных чернокожих красавиц, —

почему спит Ботсвана? Где заманчивые предложения из Нигерии и Нигера?»

Одного только не мог (или руки не доходили) Дровосек – поменять в паспорте свои фотографии. На первой – в шестнадцать лет – у него была косая челка, свежий шрам (особая примета) на щеке, взгляд паренька, чьи дни на свободе сочтены. Но что-то (к счастью для Дровосека) нарушилось в судьбе. На второй фотографии – в двадцать пять – у Дровосека было волевое, хотя и слегка растерянное, сжатое в кулак лицо человека, убереженного от зоны, но брошенного в относительно новое (связанное едва ли не с

большим риском, чем жизнь в зоне), еще не очень понятное для него самого дело.

Майор Пухов доподлинно знал, что это было за дело.

Оказавшись на короткое время (прежнего застрелили, нового пока не назначили) держателем общака местной братвы, Дровосек на свой страх и риск с помощью работавшей тогда в крупнейшем воронежском коммерческом банке первой жены конвертировал многомиллиардный общак в решительно не пользующиеся спросом на территории России португальские эскудо. Курс эскудо к рублю, в отличие от доллара, определялся

Центральным банком не ежедневно, а раз в неделю. Зарубежные же банки устанавливали курсы всех европейских валют к доллару и японской иене ежедневно, чем и воспользовался Дровосек. В ту, счастливую для него, неделю эскудо в России стоил много дешевле, чем в остальном мире. Скачок стоимости эскудо по отношению к доллару был вызван обнародованной информацией об ожидаемом отменном урожае цитрусовых в Португалии и катастрофическом их неурожае на африканском Севере. Через неделю курс португальской валюты, естественно, выравнился, но Дровосек (первая жена) успел(а)

через зарубежный банк перевести резко подорожавшие эскудо в доллары, а доллары — уже через российский банк — в рубли, в результате чего общак существенно преумножился.

Курировавший Черноземье вор в законе — смышленный дед по фамилии Тукало, — ознакомившись с объяснительной запиской Дровосека, распорядился проверить все тщательнейшим образом. Он был приятно удивлен результатами проверки: Дровосек полностью сдал в общак сумму. Ни доллар, ни рубль, ни загадочный эскудо не прилип к его рукам. Тукало немедленно вывел Дровосека из-под всех возможных

статей Уголовного кодекса, приказал ему превратиться в законопослушного, легального бизнесмена — приверженца экономической свободы и политической стабильности. Через год Дровосек заседал в Конституционном совещании и за Круглым столом предпринимателей России.

Отныне криминальный след в его делах не просматривался.

Два года назад вор в законе — куратор Черноземья Тукало — бесследно исчез, прихватив с собой общак. Это был неслыханный, даже по воровским понятиям, поступок. Ближний круг Тукало был вырезан до

земли, выжжен дотла. Каждый год возникали слухи, что Тукало видели то в Мексике в казино, то в публичном доме в Рио-де-Жанейро.

Дровосек прошел через несколько разборок, но в конце концов получил отступную, пообещав в кратчайшие сроки существенно преумножить уже новый (экстренно собранный) общак, в основу которого легли миллиарды из знаменитой летней серии ограблений коммерческих банков в Москве, на юге России, Кавказе и в Гулистане. Выполнив обещание, Дровосек перебрался в Москву.

С недавних пор он стал уделять повышенное внимание вопросам

собственной безопасности.

У Дровосека не было ни высшего, ни среднего специального образования. Но в новом своем деле — преумножении денег — он был профессионалом, как и майор Пухов в своем. Дровосек нашел себя, преобразился в новом деле, как преображается, расцветая в огне, мифологическая саламандра, наслаждался им, как наслаждается в прохладной зыби океана только что вылупившийся из яйца, проделавший долгий путь по раскаленному песку черепашонок. Но в то же время и что-то в себе потерял, как теряет в себе (и не только в себе) это «что-то» каждый растворяющийся в работе

профессионал.

Вот только «что-то» у всех было разное. Майор Пухов потерял страну, которую охранял. Поэтому собственная жизнь сейчас не представляла для него большой ценности. Дровосек приобрел миллиарды. Поэтому потеря собственной жизни автоматически превращалась для него в невозможность завершить строительство новой страны. Имелась в виду страна, в которой Дровосек — бывший держатель черноземного воровского общака — жил бы как хозяин, не опасаясь ни пули нанятого конкурентами киллера, ни тюремной камеры от

властей. Пока что строительство заключалось для Дровосека в том, что он в поте лица рубил старый ствол, и вместо щепок под ноги ему летели миллиарды.

В случае внезапной смерти майор Пухов терял всего лишь прошлое. Дровосек – будущее, что превращало для него смерть в вопиющую несправедливость. Поскольку будущее, как известно – особенно при наличии больших денег, – тревожит и томит душу сильнее прошлого. Ибо в будущем возможно все, в прошлом – ничего.

Пухов был старше Дровосека, а потому знал, что чрезмерный, абсолютный профессионализм

представляет собой замкнутую, самодостаточную систему. Трагедия профессионализма как способа существования отдельной личности, по мнению майора Пухова, состояла в том, что профессионализм (как система понятий и связей) в конечном итоге пытался подменить собой мир, навязать живой жизни свои железные законы. Жизнь этого не терпела, а потому неизменно — рано или поздно — свергала иго профессионализма, хороня под обломками идеальных конструкций отдельно взятых профессионалов.

Истинный профессионал не может остановиться на пути к совершенству.

Его останавливает только смерть.

Пухов наблюдал за Дровосеком и ему казалось, что ни совет директоров финансово-промышленной группы, ни ее глава более не контролируют, не определяют движение потоков денег. Собственно, у империи Дровосека никогда не было фундамента. Она изначально была плавучим (или летающим, как в произведении Джонатана Свифта) городом. Дровосек был гением создания денег из ничего, но якоря лодок-джонок, из которых был составлен город денег, не доставали до дна. Пока еще плавучий город был сбит в кучу, но в

любой момент мог налететь шторм, разметать непрочную флотилию.

Денег становилось слишком много. Возможностей их естественного, некриминального применения оставалось слишком мало. Деньги начинали отравлять атмосферу, душить Дровосека, сжигать его, как чрезмерное пламя саламандру, прижимать его к безвоздушному дну, как жестокий лунный прибой черепашонка. Пухов относился к своему шефу с симпатией, но не обманывался насчет того, что тот успеет вклеить в паспорт последнюю — по достижении сорока пяти лет — фотографию.

К Дровосеку майора определил генерал Толстой. Он вдруг позвонил Пухову домой в неурочное время – в два часа ночи. Майор так и не понял: или генерал, что называется, взял на грудь, или же ему хочется, чтобы Пухов запомнил странный звонок.

– Когда средняя цена человеческой жизни бесконечно падает, – сказал генерал Толстой, – бесконечно возрастает цена... чего, сынок?

– Отдельно взятой человеческой жизни, – ответил майор. Он понимал это даже в два часа ночи.

– Я бы не сказал, что возрастает именно цена, – возразил генерал, – скорее, возрастает нежелание

некоторых людей смиряться с установленной за них ценой. Эдакий бунт гнилого товарца. Имеет место завышенная оценка собственной шкуры. Наверное, это следует называть гордыней, ведь так, сынок?

— Кем именно установленной? — уточнил майор.

— Сложный вопрос, — усмехнулся генерал. — Видишь ли, майор, цена складывается из многих составляющих. К сожалению, нынче составляющие цены у многих опасаящихся за свою жизнь работают не на ее повышение. Вообще-то, — зевнул в трубку, — истинная цена человека такова, за сколько он первый раз в жизни

осмысленно проданся. Потом он, конечно, может продаваться и дороже, но сути дела это не меняет. Выходит, что цену себе человек назначает сам, майор, а затем разными хитрыми способами пытается ее завысить. Зачем я тебе звоню? Ах да, я просто хочу сказать, что банально возрастает спрос на тех, кто умеет, или делает вид что умеет, охранять человеческую жизнь. Так воспользуйся этим, сынок. Скажи ему, сколько ты хочешь, — и он будет платить тебе в два раза больше. Он ждет твоего звонка. Впрочем, ты совершенно свободен в принятии любого решения, — добавил генерал Толстой.

Отправляясь на свидание с Дровосеком, майор терялся в догадках. Или у Дровосека действительно есть причины опасаться за свою жизнь, или сходные причины появились у самого майора — начальники охраны, телохранители, как известно, гибнут едва ли не чаще тех, кого охраняют. Майор подумал, что, охраняя Дровосека, он будет (в случае принятия предложения) охранять и себя. Поэтому он будет охранять его на совесть. Если только их с Дровосеком не слили, так сказать, в один подлежащий уничтожению файл.

— Мы можем ездить хоть на пяти

джипах, перекрывать Садовое кольцо и Красную площадь, но если кто-то очень сильно хочет вас убить – он это сделает. Существует множество новых способов, вы это знаете не хуже меня, – сказал Пухов Дровосеку во время их первой встречи в офисе на Смоленской площади.

Был ясный осенний вечер. Красное круглое солнце воздушным шаром пролетело между башнями Киевского вокзала и теперь висело над утекающей в сторону Лужников Москвой-рекой. На оставленной солнцем небесной территории появлялись первые звезды. Окно в офисе Дровосека представляло собой как бы выступающий из небоскреба

прозрачный угол. Внизу простирался опасный для жизни город – Москва. С этажа Дровосека было трудно уяснить – застраивается он или, наоборот, разрушается.

– Вы весьма обнадеживающе и оптимистично начинаете разговор, – Дровосек выглядел утомленным, решительно не радующимся собственным известности и богатству человеком. Ему не было тридцати. Его фигура еще хранила память о прошлых тренировках. «В лучшем случае седан – первый дан каратэ», – с запасом определил физические кондиции молодого миллиардера майор Пухов. Дровосек мог продержаться против сколько-

нибуть сведущего в этом деле человека от силы несколько секунд.

– Это все равно что прийти в банк за кредитом с грубым заявлением, что возврат его в положенный срок и под оговоренные проценты совершенно невозможен, – продолжил потенциальный работодатель майора. – Хорошо, – Дровосек развернулся, встал спиной к пылающему окну. Так становились на специальных ступенях в пирамидальных храмах майя жрецы, вешающие собравшемуся народу от имени солнца, – допустим, вы получили по сотовому телефону заказ на меня прямо сейчас. Сколько бы вам потребовалось времени?

– Боюсь, вас неправильно информировали относительно моих занятий, – удивился Пухов.

– Теоретически, – без малейшего намека на готовность превратить все в шутку, уточнил Дровосек, – естественно, чисто теоретически. И, естественно, речь не идет о находящихся здесь, в этой комнате, в этом здании, в этом городе, в этой стране, на этой планете, а также на Марсе, людях. Мне аттестовали вас как специалиста класса «супер», – добавил Дровосек, – но, говорят, еще есть специалисты класса «абсолют». Это так?

– Есть водка «Абсолют», – сказал майор. – Зря вы, молодой

человек, читаете разную белиберду в глянцевых обложках.

– Да-да, водка, – не стал лезть в бутылку (в переносном смысле), снискав симпатию майора, Дровосек. – И мы сейчас попросим, чтобы нам принесли по стопочке из холодильника, – полез в бутылку, опять-таки снискав симпатию майора, (в прямом), распорядившись из кабинета.

– Вы, очевидно, полагаете, что я скажу, мол, в водку можно подсыпать стрихнин, – предположил Пухов, – но это отпадает.

– Почему? – мгновенноотреагировал Дровосек.

– Слишком сложно.

– Сложно? – удивился Дровосек.

– Много возни, – пожал плечами

Пухов, – и нет гарантии, что не выпьет кто-то другой. Скажем, подружка вашей секретарши. Или сантехник дядя Вася уташит бутылку из холодильника домой и отравится вместе с женой, шурином, соседом и пятилетним сыном. Отравление – очень тонкое, ныне почти забытое искусство. У вас примерно одинаковые шансы быть отравленным и... получить в грудь каленую стрелу из арбалета.

– Вы сняли камень с моей души, – бесстрашно разлил по рюмкам водку Дровосек. – За долгую жизнь! – выпил, закусил крохотным

бутебродиком с черной икрой. – Как, кстати, насчет моих шансов быть утопленным?

– Они равны шансам сгореть заживо, – усмехнулся майор.

– И все же продолжим, – не поддержал его веселья Дровосек. – Итак, вам прямо сейчас позвонили по сотовому...

«Дался ему этот сотовый», – поставил пустую рюмку на столик майор Пухов.

– Все зависит от поставленных условий: скорости и качества исполнения.

– Цито, то есть максимально быстро, – подсказал Дровосек. – Качество, скажем так... без

косметических швов.

— Тогда вон тот дом, — показал Пухов на освобожденный от жильцов, частично выломанный внутри, зияющий пустыми черными окнами трехэтажный особняк напротив. — Можно из винтовки с оптическим прицелом, можно, если требуется пошуметь, из гранатомета.

— А если требуется тишина и, так сказать, максимальная естественность?

«Тебе ли не знать», — вспомнил про бесследно исчезнувшего вора в законе — куратора Черноземья Тукало — Пухов. Похоже, Дровосек или сильно нервничал или, что называется, сходил с круга, ожидая

покушения. Это был весьма разрушительный для психики синдром. Он был сильнее фрейдистских, ложно названных именами героев древнегреческих трагедий – Эдипа, Электры, Антигоны, Клитемнестры и прочих – комплексов. Но Пухову были известны случаи, когда, узнав о предстоящей смерти, люди мгновенно – без всякого вмешательства врачей – излечивались от многих пороков и скверных привычек, становились весьма энергичными и деятельными и изобретательными. Хотя это далеко не всегда помогало им остаться в живых.

– Все зависит от наличия определенных технических средств, – вздохнул Пухов, которому, признаться, поднадоел этот умозрительный разговор.

Ему показалось, что он разгадал комплекс Дровосека. Комплекс был прост. Дровосек был вынужден доверять охрану своей жизни посторонним людям. При этом он не то чтобы им не верил, но тяготился своей пассивной (теоретически, они могли убить его в любой момент) от них зависимостью, когда, допустим, шел от машины до двери офиса, плавал в бассейне или прогуливался вечером по дорожкам пансионата «Озеро». Точно так же в свое время

Сталина бесконечно раздражало и огорчало близкое и скрытое присутствие вооруженных людей (охраны). Несовершенство мира, таким образом, для Сталина заключалось в невозможности контролировать сознание охраняющих его с оружием в руках (невидимых!) людей. Дровосек, судя по всему, тоже относился к категории личностей, для которых утрата инициативы, необходимость следовать (даже в таком деле, как охрана собственной жизни) не ими придуманным предписаниям была совершенно непереносима.

— Предоставляются любые, — заверил Дровосек.

— Тогда лабораторная рентгеновская пушка, — предложил Пухов, — они есть в любом НИИ, занимающемся радиологическими технологиями. Пушка

устанавливается в закрытом — с металлическим радиопроницаемым корпусом — автобусе. Всего делов-то — постоять рядом с вашей машиной на перекрестке. Доза рассчитывается в зависимости от заказанного дня смерти. Неделя, месяц, квартал, даже год. Болезнь называется лейкемия, рак крови, очень распространенная в наше время, а главное, внезапная и коварная болезнь. Я гарантирую вам защиту от бомжа, — продолжил майор, — если он бросится на вас,

когда вы будете выходить из «Мерседеса». От разгневанного обманутого, пусть даже и вооруженного, вкладчика. От проститутки и сутенера, если вы вдруг ей не заплатите. От российского ОМОНа, если они придут вас арестовывать или обыскивать ваш офис без соответствующей санкции. Пожалуй, что и от падающего с крыши кирпича. Только ведь вы, – впервые пристально посмотрел в глаза Дровосеку, – нанимаете меня не для этого.

Взгляд Дровосека был абсолютно непроницаем, как, впрочем, и положено было быть

взгляду человека, повелевающего миллиардами. Пухову показалось, он заглянул в дуло танка или в трубу миномета. Это не удивило майора. Он знал, что деньги, как и смерть, рождались в темной непроницаемой пустоте.

— Я напоминаю сам себе крестьянина, — задумчиво произнес Дровосек. — Я засеял свое поле и жду урожая, но со всех сторон на мое поле надвигаются кошмарные черные тучи. Я знаю, как бороться с тучами. В принципе, я могу расстрелять из градобойных орудий все небо. Но я бессилен против смерча. А тучи определенно сворачиваются в смерч, как в

скверный черный кулек.

Пухов подумал, что этой фразе позавидовал бы любой арабский шейх. Шейхи, как известно, являются большими мастерами говорить образно, но при этом очень логично. Подвижная ясность мышления, вообще, была характерна для шейхов. Образность слога была средством спрямить путь мысли. Пухов знал шейха, который уяснив, что миром правит стодолларовая купюра, приобрел самое современное оборудование, разместил его в подвале своей виллы и начал печатать стодолларовые купюры, превосходящие качеством и прочностью настоящие —

федерального казначейства США. Шейх, как ни странно, был жив до сих пор. Видимо, потому что печатал доллары только для собственных (подвижная ясность мышления вмешала в себя многие добродетели, в их числе осторожность) нужд. В прежние годы по заданию руководства Пухов несколько раз обращался к шейху с разными заманчивыми предложениями, но шейх наотрез отказывался от сотрудничества, в свойственной ему образной манере объясняя, что у рожденных им денег изначально отсутствуют яйца, то есть они могут тратиться на приобретение различных, необходимых лично ему,

вещей, но ни в коем случае не могут размножаться, ибо это не может не нарушить гармонию мироздания. Отсутствующую гармонию, каждый раз со вздохом добавлял мудрый шейх, заранее отмечая все возможные возражения.

Пухов молчал. Расстрелять небо. При желании в этом можно было увидеть пугающие, богоборческие мотивы.

— Финансы — одна из разновидностей мира власти, — проговорил Дровосек, отслеживая взглядом узкую, напоминающую клинок тучу, определенно взявшую курс на его офис. — Вы не хуже меня знаете, по каким законам существует

этот мир. Если в нем к тридцати не генерал... — покрутил в воздухе пальцами. — Не буду скрывать, что я, как руководитель крупнейшей в стране негосударственной финансово-промышленной группы, стою на пороге принятия ответственных решений. Все элементарно, майор, — вдруг весело подмигнул Пухову, — или мы расчистим небо, или смерч унесет нас к чертовой матери. Я честный бизнесмен и исправный налогоплательщик. Мне некуда бежать, я слишком известен. И главное, майор, я никому ничего не должен. Мне да, должны, но это другой разговор. Поэтому я буду

счастлив, если от бомжей, разгневанных вкладчиков, проституток и их сутенеров, не имеющего соответствующей санкции ОМОНа и падающего на голову кирпича меня будет защищать такой блистательный профессионал, как вы. — Дровосек приблизился к вмонтированному в стену сейфу, набрал клавишами код. Пискнув, сейф открылся. — Так уж повелось, что охрана получает жалованье из моих рук, — как бы даже извиняясь, повернулся к Пухову, разорвал оранжевую банковскую скобку на пачке новеньких стодолларовых (как будто только что от шейха) банкнот. — Напомните мне сумму вашего

оклада, майор.

Дровосек подошел к нему почти вплотную, так что майор ощутил специфический типографский запах свежеотпечатанных (он надеялся, что все же не у шейха, а в Федеральном казначействе США) банкнот.

— Я бы попросил вас перечислять зарплату на номер счета, который я укажу в заявлении для бухгалтерии, — сделал шаг назад Пухов.

— Майор, вы холодны к наличным деньгам, — констатировал Дровосек, огорченно бросил рассыпавшуюся пачку на стол. — Не думаю, что вы к ним равнодушны, но неконтролируемая радость

прикосновения к новым купюрам вам чужда. Или у вас достаточно денег, или же деньги в этой жизни для вас не главное. Я с уважением отношусь к людям, для которых деньги не главное, — продолжил Дровосек. — Мне приходилось работать с наличными, — задумчиво посмотрел на открытый сейф. — Тема отношения людей к наличным деньгам ожидает своего Фрейда, а может Ницше. Вы не поверите, майор, но я наблюдал, как солидные мужики кончали в штаны, унося в карманах по сто пятьдесят штук. Сто пятьдесят тысяч долларов в трех карманах, майор, точка оргазма. Когда уносили в кейсах и сумках —

никакого оргазма. Так только... — покачал головой Дровосек, — легкий нервический подъем — расширенные зрачки, дрожь в руках, невнятная речь, испарина. У баб порог, естественно, ниже. Одна мне сказала, что кончила в метро шесть раз подряд, пока ехала от Белорусской до Павелецкой, а всего-то везла в колготках... семьдесят... семь штук.

Майор задумчиво посмотрел на Дровосека, но тот не заметил его взгляда. Пухов подумал, что это или случайное совпадение цифр, или Дровосек (не зная) произносит цифру с чужих слов. Майор знал с чьих...

— Людей можно делить не только на умных и глупых, — продолжил глава крупнейшей в России финансово-промышленной группы, — честных и лживых, добрых и злых, храбрых и трусливых, но и на горячих и холодных к деньгам.

— Горячие кончают в штаны, когда у них в трех карманах сто пятьдесят штук? — уточнил майор.

— Ну, тут не каждому удастся себя испытать, — засмеялся Дровосек, — скажем так, есть люди, которым нравится без нужды пересчитывать деньги, и есть, которые делают это только в случае крайней необходимости. Но вот беда, — закончил Дровосек, — у тех,

кому нравится без нужды пересчитывать деньги, денег никогда не будет столько, чтобы их можно было не пересчитывать. Тут какая-то тайна. Бог Не допускает до денег тех, кто их боготворит.

— Допускает тех, кто не боготворит? — Пухов подумал, что теория Дровосека имеет точно такое же право на существование, как, к примеру, теория Маркса о прибавочной стоимости.

— Допускать до денег тех, кто их не боготворит, бесполезно, — у Дровосека был готов ответ. — Холодным не интересен мир денег. Бог допускает до денег того, — понизил голос Дровосек, — кто не

холоден, не горяч, но тепел. С тем чтобы впоследствии изbleвать его из уст своих... Об этом прямо говорится в Библии, майор! Но все делают вид, что не знают, о чем это. Деньги – это проклятие, майор, – посмотрел в глаза Пухову Дровосек, – дамоклов меч, вечно падающая Пизанская башня... Но я прошу вас сделать все возможное и невозможное, чтобы никто не снял с меня этого проклятия, не помог досрочно выскочить из-под дамоклова меча, падающей Пизанской башни.

...Дровосек занимал в пансионате «Озеро» трехкомнатный «люкс». Молодой миллиардер был довольно скромен в быту. По

окружающим Дровосека вещам и интерьеру трудно (почти невозможно) было составить представление о личности их владельца, обитателя «люкса».

Пухову было известно, что Дровосек три раза приобретал великолепные квартиры в престижных, как говорят нынче, домах в центре, проводил там неслыханные ремонты с перепланировкой, обставлял супердорогой мебелью, но ни в одну из квартир так и не въехал. Дровосек как бы умышленно сторонился роскоши, сопутствующей большим деньгам, придерживался в их расходовании линейного принципа,

когда деньги видоизменяли
окружающую жизнь в точном (и ни
на миллиметр в сторону)
соответствии с желаниями и
требованиями их обладателя, но
никоим образом не диктовали ему
свою волю, побуждая, в силу своей
отчасти женской природы, к
излишествам. Так, на крыше
пансионата был установлен
спутниковый комплекс связи
последней модели, в номере же
Дровосека отсутствовали телевизор с
большим плоским экраном,
новомодный — со стендом —
компьютер, погружающий в
виртуальную реальность,
кондиционеры, прочие обязательные

атрибуты, скрашивающие быт богатого человека. Зато имелся странный электронный прибор, громко — и очень естественно — наполняющий комнату (по выбору) то свистом ветра, то шумом дождя, то плеском волн, то ретрансляцией сердцебиения находящегося в комнате человека (людей), то абсолютной какой-то, космической тишиной. В номере Дровосека имелся и музыкальный центр, но компакт-дисков насчитывалось всего ничего. Дровосек (Пухов сам был тому свидетелем) слушал американскую рок-группу начала семидесятых «Doors», музыку Леонардо да Винчи в исполнении

флорентийского оркестра старинных музыкальных инструментов и фортепианные произведения Рахманинова. Модных, поющих полублатные песни о «новых русских» исполнителей Дровосек не слушал.

Ближнее окружение пыталось «расколоть» Дровосека на реконструкцию пансионатской сауны и бассейна (там не было ни гидромассажа, ни «джакузи»), но Дровосек, на словах не возражая, отказывался визировать подсовываемые ему (в числе прочих) платежки как со словами «установка гидромассажера» и «джакузи», так и со словами «плановый ремонт

санитарно-технического
оборудования временно
арендованного помещения».

Бросающиеся в глаза страсть к
уединению, замкнутость (Дровосек
встречался только с теми, с кем не
мог не встречаться), а также то
многозначительное обстоятельство,
что шикарным московским
квартирам он предпочитал казенный
пансионат «Озеро»,
свидетельствовали о глубочайшей
тоске, испытываемой главой
крупнейшей в стране финансово-
промышленной группы. Тревогой,
как воздухом, дышал Дровосек.
Тревога и тоска составляли суть его
жизни. Дровосек не то чтобы

перестал интересоваться деньгами (тогда вся его жизнь теряла смысл), но как бы поднялся на ступеньку над деньгами. Это означало, что не в деньгах было дело. Пухов знал, на какую ступеньку встал Дровосек. Это была особенная ступенька между жизнью и смертью.

Степенька объявленного
приговора.

На нее вставляли многие люди. Пухов прочитал в каких-то мемуарах, что маршал Тухачевский накануне ареста пришел на Первомайский военный парад на Красной площади пешком и без охраны. Он шел к трибуне Мавзолея в расстегнутой по причине теплой погоды шинели и,

что в высшей степени было для него нехарактерно, опустив руки в карманы. Со ступеньки объявленного приговора легко и естественно было прыгнуть в смерть, но в редких случаях удавалось — опять в жизнь. Дровосек, похоже, не собирался на первомайский парад в расстегнутой шинели и с руками в карманах. Пухов подумал, что в этой ситуации даже сто пятьдесят штук в трех карманах вряд ли подняли бы Дровосеку настроение. Не говоря об остальном.

Майор Пухов встречал в своей жизни немало умных людей. Вне всяких сомнений, Дровосек был умным человеком. Его ум проявлялся хотя бы в том, что и по сию пору

майор Пухов не знал, что он за человек. Яркая индивидуальность у главы финансово-промышленной группы сочеталась с неуловимостью личности. Иной раз Пухову казалось, что сущность Дровосека есть зеркальное отражение Сущности денег, которые, как известно, не обладают сущностью. В добрых руках деньги творят добро. В злых — зло. Личность Дровосека, таким образом, должна была запечатлеться, как в камне, в этапах становления финансово-промышленной империи «ДровосеК».

У майора Пухова были все основания подозревать, что в фундаменте ее покоился вlepленный

в жидкий бетон (увековеченный) труп Тукало. Хотя, надо думать, куратор Черноземья не мечтал о таком рукотворном памятнике. Последний раз Тукало якобы видели на Багамских островах. Некий журналист опубликовал интервью с беглым вором в законе. Тукало обвинял российскую власть в прямом пособничестве русским национал-социалистам, выражал обеспокоенность замедлением темпа реформ в Российской Федерации, изъявлял желание хоть сейчас инвестировать в российскую экономику два с половиной миллиарда долларов, однако решительно настаивал на

правительственных гарантиях. И при этом почему-то сильно ругал Государственную Думу, направившую президенту письмо с предложением отменить выборы, объявить себя пожизненным властителем, «отцом всех россиян».

От Лены Пак — она единственная из нынешнего окружения миллиардера сотрудничала с ним еще в Воронеже в бытность свою главным художником Воронежского ТЮЗа — Пухов узнал, что первые большие деньги Дровосек сделал на излете бывшего Союза, когда вместе с одним казаком задешево скупал по всей стране пропадающие, лежащие

россыпью на складах и где попало химические удобрения, да и перепродавал их в Китай, Индию и Южную Америку. До сих пор Россия не могла оправиться от этой сделки, каждую весну испытывая острейшую нехватку химических удобрений.

От Лены же Пухов узнал, что в конце девяносто второго года компания лишь чудом избежала краха.

...Они, помнится, лежали на огромной пружинящей кровати в мотеле под Геттингеном. Мотель был не из дорогих. В комнате был слышен шум проезжающих по автострасе машин. Свет их фар расплывчато пробивался сквозь плотную – во всю

стену – штору, скользил по длинному благоухающему телу кореянки по отцу и украинки по матери Лены Пак. С Пуховым что-то случилось в ту ночь. Когда отраженный и изломанный свет фар проносящихся по автостраде машин, как улику (или вешдок), предъявлял ему из темноты произвольно выбранный фрагмент совершенного женского тела, Пухова охватывало неодолимое желание. Он бросался на изнемогшую, с искусанными губами, пытавшуюся полупротивиться ему Лену. Она была очень нежной и очень изысканной. И полупротивилась она изысканно и нежно. Ее сладостное – с глухим стоном и лебединым заломом рук –

полусопротивление превращало майора Пухова в истинного сексуального демона.

Бедная Леночка попыталась скрыться от него в ванной. Нащупав ногами тапочки, она ступила на покрытый синтетическим ковром пол, немедленно угодив в столб света, пробивший плотную штору. Это уже были не улика, не вещдок, а блистательно расследованное дело, написанное языком Тургенева обвинительное заключение. Не иначе как огромный грузовик встал перед окнами. Пухов в два прыжка нагнал Лену, овладел ею сзади, стиснув цвета топленого молока груди, как не по своей воле опустившиеся с

пригнутой гибкой ветки прямо ему в ладони... (Пухов не знал, с какими произрастающими на ветках плодами их сравнить, наверное со сладкими золотыми грушами), уже и не стонущей, а всхлипывающей, уткнувшейся головой прямо в космический яркий свет. После чего отпустил чуть живую Леночку в ванную, сам же, едва добравшись до гигантской, как бильярдный стол, кровати, отрубился и проснулся только на рассвете, когда снаружи зашаркал метлой, сметая с дорожек мотеля осенние листья, чернокожий (как бы оставшийся лицом и руками в ночи) уборщик.

Заканчивалась первая неделя

работы майора у Дровосека. Они прибыли в Ганновер. У Дровосека возникли срочные дела в Мюнхене. Он вылетел туда на самолете, велел Пухову быть в Мюнхене через два дня на арендованной машине, чтобы из Мюнхена двинуться в Вену, а оттуда в Загреб. Пухов не сомневался, что его шеф хочет толкнуть хорватам партию оружия (тогда — как, впрочем, и сейчас — это был первейший на Балканах товар). Но это было не его, майора Пухова, дело.

Дровосек ничего не сказал ему про своего имиджмейкера и главу рекламного отдела. Пухов видел красавицу-корейнку в офисе на Смоленской и некоторое время

сомневался, она это или не она, длинная и гибкая как змея, выскользнула у придорожного ресторана из новенького «опель-колибри». Девушка была как рюмка вставлена в голубые джинсы, и Пухов, забыв запереть тяжелый, позолоченный внутри «Saab-9000», пошел за ней следом, зачем-то тоже встал в двигающуюся вдоль хромированных застекленных лотков очередь, взял порцию то ли котлет с крыжовником, толи кроличьего рулета с яблоками. Он еще только смотрел на нее сзади, а уже знал, что их путь — до ближайшего мотеля и еще знал, что совершает большую, если не сказать, непоправимую,

ошибку. Но эта ошибка даже теоретически не могла нанести ущерба ни Родине, ни людям, зависящим от майора, ни Лене (красавицы, как известно, не совершают своих и обращают себе на пользу чужие ошибки), а только самому майору Пухову.

Он же с некоторых пор не считал собственную жизнь абсолютной и безусловной ценностью, «мерилом всех вещей».

Поэтому майор на мгновение прижался восставшей в штанах плотью к литым голубым джинсам Лены, выбирающей десерт, потом отпрянул, а когда та в недоумении обернулась, произнес: «Это судьба».

У корейнки были зеленые в коричневую крапинку, как у леопарда, глаза, прямые осветленные волосы были по-походному схвачены на затылке резинкой. Она была далеко не бедным человеком, ощущала себя в Европе как дома (лучше чем дома) и совершенно не искала знакомств на бензоколонках и в придорожных ресторанах. Ее чистая, цвета топленого молока кожа благоухала. Она казалась майору нимфой прозрачного холодного ручья или высокой, прячущейся в облаках, горы в стране Утренней свежести. Одной рукой он стиснул, переплел со своими ее тонкие пальцы, другой властно прижал корейнку к себе.

Майору приходилось иметь дело с женщинами желтой расы. Он не думал, что имиджмейкер Лена Пак воспитывалась в восточных традициях, но ухаживал за ней по-самурайски: перед всем миром демонстрировал ей свою страсть и свою волю, тем самым ставя женщину выше целого мира, но ниже собственной воли.

Она не могла не подчиниться.

Ее уже не было на кровати ранним осенним утром, когда майора разбудило шарканье метлы, сметающей опавшие листья. Это был первый случай в жизни майора, когда женщина ушла, а он не проснулся. Не то чтобы Пухов бесконечно

доверился (во сне человек, как известно, максимально беззащитен) Лене Пак. Не было смысла противиться судьбе. Для судьбы не имела значения такая мелочь — проснулся или нет Пухов, когда Лена Пак покидала номер мотеля.

Стоя под напористым — сначала горячим, а затем холодным-душем, майор понял, что Лена поступила мудро. Она помчалась на своем «опеле-колибри» в Ганновер, чтобы не застать Дровосека в отеле, получить у портье его записку и немедленно позвонить по указанному номеру в Мюнхен. Дровосек знал, что Пухов еще вчера съехал из отеля. Но он не мог знать,

что майор совершенно случайно встретил его имиджмейкера и начальника рекламной службы в придорожном ресторане.

На автостраде за рулем тяжелого, позолоченного внутри «Saab-9000» Пухов испытывал смутные угрызения совести. Хотя, на первый взгляд, ему не за что было корить себя. Дровосек ничего не сказал ему про Лену. Пухов спросил у нее сам.

— Он хочет, чтобы я вышла за него замуж, — ответила Лена.

Майору показалось, что в комнате сквозняк. Он подошел к большому — во всю стену — закрытому шторой окну. Форточка

была закрыта.

— А ты? — спросил майор.

Корейнка сидела в позе лотоса на кровати, как выточенная из мыльного камня статуэтка.

— Я... не знаю, — не сразу ответила она.

— Почему? — спросил майор.

— Видишь ли, он... Как бы тебе сказать... Ничего не может как мужчина. Хотя он говорит, что это пройдет.

Пухов едва сдержался, чтобы не ударить ее. Всякий раз женское предательство огорчало его. Пусть даже женщина предавала другого. Пухов ни мгновения не сомневался — придет и его очередь. И еще он

подумал, что его сегодняшняя сила и (если верить Лене, а он ей не верил) бессилие Дровосека – это, в общем-то, две стороны одной медали – превосходящего меру души одиночества.

Встроившись в колонну джипов с английскими номерами, майор размышлял о пропасти одиночества, в какую сталкивают человека деньги. Пухов знал, что взаимность денег – это превращение жизни в выжженную пустыню. Пухов знал, какой бывает выжженная деньгами жизнь-пустыня. Деньги хуже ревнивой жены. Они, как ветхозаветный Бог, требуют человека всего, не оставляя ему ничего, даже

такой малости, как женщина.

Майор Пухов был вынужден признать, что это жестоко, но правильно и справедливо. Сильные страсти всегда оплачивались сильными страданиями.

...Лена Пак рассказала ему (хотя Пухов не спрашивал), что в конце девяносто второго года компания была на грани краха и спаслась только благодаря рекламе.

— Он распорядился, — у Пухова, помнится, создалось впечатление, что этими своими рассказами Шахерезады она пытается отвлечь его от очередной (майор потерял им счет) любовной атаки, — бросить все остатки по счетам на рекламу. Мы

купили время на всех телеканалах, место во всех газетах. Нам было нечего рекламировать, кроме совершенно дохлой, третьей по счету стомиллиардной эмиссии акций АО «DrovoseK». Совет директоров подал в отставку, он остался один. Новые акции, — продолжила Лена, — рекламировали по всей стране, но их не было в продаже. Они валялись пачками, как макулатура, у него в кабинете.

«Что ему ты, — подумал майор Пухов, — что ему любая другая баба, когда он, можно сказать, трахнул сразу всю Россию? Немудрено, что Дровосек потом решил сделать передышку».

– На счетах АО было по нулям, когда на всех биржах начали требовать эти мертвые акции. Он дождался, пока акция при номинале в десять тысяч стала стоить пятьдесят, и только тогда выбросил их на биржу. Сначала небольшую партию. А потом он как бы начал их покупать сам у себя. То есть продавал акции по курсовой стоимости – пятьдесят тысяч за штуку – и тут же задним числом, то есть как бы еще непроданные, записывал их на себя. Как эмитент он имел право. Будто бы он их непосредственно после эмиссии купил – оплатил – по десять тысяч за штуку. Понимаешь, ему не надо было даже ничего тратить. Он

просто вычитал из пятидесяти тысяч десять и имел с каждой проданной акции по сорок тысяч.

— Ты как будто обижена на него, — заметил Пухов. — Неужели за обманутых вкладчиков?

— Я не должна на него обижаться, — вздохнула Лена, — он сделал меня богатой и независимой.

«Но ты ему за это мстишь», — с тоской подумал майор.

Ему в общем-то все это было известно. Как и то, что в компьютерных банках данных различных ведомств собиралась, процеживалась, систематизировалась информация обо всех сколько-нибудь заметных предпринимателях. Над

каждым из них висела свинцовая плита компромата, и они, естественно, знали это, откупаясь (у кого были деньги) от участия в политике, раздавая на всякий случай всем сестрам (политикам) по серьгам (дешевым).

Пухов решительно ничего не имел против своего нового шефа – Дровосека, – но он бы не был профессионалом, если бы пропустил мимо ушей и глаз информацию, которую мог без труда (или с трудом) получить.

Дровосек неплохо поучаствовал в приватизации металлургических и горно-обогатительных комбинатов. Эти комбинаты в настоящее время

приносили ему кое-какую прибыль, но они функционировали в режиме самопоедания, чего, естественно, Дровосек не мог не понимать. У него не было конкурентов по бензину на юге России, однако в Москве Дровосека только лишь терпели, не позволяя выходить за определенные на год квоты по импорту продовольствия, межбанковскому кредиту и валютным операциям. В последнее время дела в столице у Дровосека шли настолько туго, что он был вынужден бросать по сто миллиардов рублей в день на обменные пункты, чтобы гасить задолженности по налогам и аренде помещений.

– По сравнению с другими у него в общем-то все не так уж плохо, – оторвавшись от экрана компьютера, сообщил майору Пухову знакомый парень в управлении по борьбе с экономической преступностью, – dna пока не видать. Но... Расходы у него однозначно выше, чем доходы. Он покрывает их за счет черных денег, майор. Был очень крупный, сопоставимый со средним бюджетом региона, хапок, который нам не удалось отследить. Это не черноземный общак Тукало, не минеральные советские удобрения – это гораздо серьезнее. В любом случае, – подвел итог приятель

Пухова, – не советую идти к нему.

– Почему? – исключительно из вежливости полюбопытствовал, принявший решение идти, майор.

– Его должны замочить, это же очевидно, – пожал плечами приятель. – Зачем тебе лишняя головная боль? Боль, которую лечат, лишая головы? Если в него закачали государственные деньги – это обязательно всплывет, он будет автоматически ликвидирован. Не мне тебе объяснять. Если негосударственные... – покачал головой. – Негосударственных денег в таких количествах попросту не существует. С него спросят, майор, обязательно спросят. Ситуация в

экономике сейчас такова, что даже если он добывает из воздуха золото, он все равно не сумеет выплатить проценты, не говоря о самом долге.

— Кто спросит?

— Интересный вопрос, — усмехнулся приятель. — Я думаю, спросит тот, кому очень понадобятся деньги. Огромные деньги, майор. Прикинь, майор, кому в России сейчас крайне нужны деньги? Он и придет по душу этого твоего... как его... Дроволома.

...Еще не было десяти, но глава финансово-промышленной группы «DrovoseK» уже покинул свои покои, и переместился в офис, находившийся здесь же — на втором

этаже пансионата «Озеро».

В «предбаннике» офиса охраны не было. Там по причине выходного дня находился один лишь личный секретарь и помощник Дровосека — молодой человек по фамилии Ремер. Он был светловолос, голубоглаз — одним словом, у него была арийская, но какая-то усредненная, обезличенная внешность. Раз в месяц Ремер летал в Цюрих. Подобная — высшая — степень доверия со стороны шефа, естественно, поднимала и выводила Ремера над кругом и за круг обычных служащих компании. В сложной, разработанной майором Пуховым системе охраны Дровосека Ремер

был самостоятельной, торчащей как ей вздумается спицей. При этом Ремер никоим образом не демонстрировал свою власть, не давил на остальных доверительными отношениями с шефом. Это свидетельствовало, что он человек умный. Умным людям, как известно, нравится быть в тени. Ремер относился к Пухову с подчеркнутой уважительностью. Майор отвечал ему тем же, хотя, будь он на месте Дровосека, он бы нашел себе другого связного для швейцарских банков. Почему? Майор сам не знал.

Все посетители обычно проходили разработанную процедуру контроля у дежурных охранников,

записывались в специальный журнал. Но были визитеры — Дровосек это сразу оговорил, — которые ни через какой контроль не проходили и ни в какой журнал не записывались. Они подъезжали к внутреннему — у кухни — входу в пансионат, поднимались к Дровосеку по черной лестнице. О времени прибытия этих посетителей Пухова уведомлял Ремер, и майор в случае особой конфиденциальности свидания убирал охрану из приемной.

На памяти Пухова к Дровосеку навещались и вице-премьеры, и министры, и высокие прокурорские чины, а однажды так даже сам

премьер-министр угрюмо выбрался у
кухни из конспиративного
поддержанного «доджа». В некоторых
газетах писали, что премьер-
министр, вступивший через
подставных лиц во владение недрами
страны — самый богатый человек
планеты. Он медленно поднимался
по черной лестнице. Пухова,
смотревшего на его лысую голову
сверху, поразили нечеловеческие —
звериные какие-то — отчаянье и
ярость (неужели в предчувствии
поймки?) в невыразительных глазах
премьер-министра. Вряд ли этот
человек по своей натуре был вором.
Он был определен на должность
самого богатого премьер-министра в

мире в стране, трем четвертям населения которой было определено жить за чертой бедности. Его превосходящее меру человеческого понимания богатство приумножалось, пока он — слишком нелепый и неуклюжий для миллиардера и слишком циничный и наглый для партработника, — являлся как бы символом новой эпохи в истории России. Он был вынужден владеть тем и обогащаться от того, чем владеть и от чего обогащаться, быть может, даже и не хотел — владеть недрами страны, обогащаться от недр страны. Косноязычный, приземистый, плотный, рассекающий воздух

животом, как ледокол торосы, он был вознесен над Россией как воплощение золотого тельца, и пока не случилось заклание, вертикаль исполнительной власти сверху донизу копировала его матрицу — «чиновника, назначенного быть богатым». Но премьер-министр не разумом, а инстинктом как будто уже провидел, что внизу — под приносящими ему миллиарды долларов недрами — ад, и как бы уже заглядывал в него сквозь подземные рудные рельефы, слепые нефтяные горизонты и пучившие земную кору естественные газовые резервуары. Потому и был так мрачен в мгновения, когда ему казалось, что

его никто не видит.

Увидев в приемной Ремера, Пухов понял, что у Дровосека конфиденциальная встреча, но ему не понравилось, что Ремер ничего ему о ней не сообщил. Майор находился в своем номере. Ремеру ничего не стоило связаться с ним по рации или по сотовому. И еще Пухову не понравилось, что у совершенно непьющего Ремера дрожали руки, а лоб был в испарине.

Майор слышал за свою жизнь немало определений: что есть человек? Ему запомнились слова генерала Толстого, произнесенные под шлепанье березового веника по распаренному телу с полка странной

баньки в размурованном коридоре на Лубянке. «Ты спрашиваешь, что есть человек, сынок? — осведомился генерал, хотя Пухов и не думал спрашивать. — Человек, сынок, — Пухов, впрочем, привык, что, разговаривая с самыми разными людьми, генерал имеет в виду не этих людей, а продолжает некий вечный — с кем? — разговор, к началу которого нынешний собеседник не поспел, — есть не что иное, как машина предательства. Общественный прогресс, майор — это движение по спирали предательства. Сначала они предали своих каменных идолов. Потом — богов, олицетворяющих природу. Потом

этого со шрамом на губе... как его... Иисуса Христа. Они его вообще восприняли только через предательство!.. Человечество, майор, — неожиданно легко, как юноша, соскочил, с полка генерал Толстой, — вернее, так называемая цивилизованная его часть, и посейчас изнывает от коллективного бессознательного стремления предать Христа. Машина предательства, майор — движущая сила истории.

Майор обратил внимание, что каждый раз генерал называет ему новую движущую силу истории и каждый раз Пухову трудно ему что-либо возразить.

Глядя на Ремера, переведшего дрожанье рук в естественное для углубленного в свои мысли человека постукивание пальцами по столу, Пухов подумал, что человек помимо всего прочего еще и машина страха. Это было многоуровневое определение. Майор Пухов превосходно ориентировался на нижних уровнях: знал, как пугать людей и тем самым добиваться от них нужных сведений, поступков, действий. Доподлинно знал, какими физиологическими рефлексами сопровождается страх. Как пугаются и боятся мужчины и женщины (мужчины и женщины пугались и боялись по-разному); люди

мужественные и трусливые; идейные и подлые. Лишь мгновение смотрел Пухов на личного секретаря Дровосека Ремера, но этого было достаточно, чтобы понять: Ремер дико, до поноса напуган. Майор успел вспомнить и про генеральскую «машину предательства», но эта машина в данных условиях сразу не просматривалась, если и наличествовала, то в глубокой тени «машины страха». «Машина предательства» была в известной степени машиной-невидимкой, или, если угодно, машиной времени.

Ноги Пухова автоматически обрели пуховую легкость, «Fovea» сам прыгнул в руку и в настоящее

время находился в непосредственной близости от бледного лица Ремера. Пухов никоим образом не угрожал помощнику Дровосека. Майору следовало получить от него быстрые и четкие ответы. Люди же не имеют обыкновения мешкать с ответами и говорить неправду в присутствии оружия, тем более такого внушительного, усовершенствованного — словно из космического боевика, — как «Fovea». Близкое дыхание оружия подтягивает, дисциплинирует людей.

— Сколько? — кивком на дверь спросил майор, на всякий случай вскользь мазнув Ремера дулом по губам.

Ремер оторвал от стола барабанящую руку, поднял вверх два пальца.

— Кто? — одними губами спросил майор, и по беззвучно шевелящимся, белым как бумага губам Ремера, как по бумаге же, прочитал: «Хуциевы».

Майор опустил пистолет. Кого он совершенно не ожидал здесь встретить, так это знаменитых братьев-гулийцев, чье имя наводило ужас на бизнесменов юга России и Москвы. Братья давным-давно находились в федеральном розыске. За информацию об их местонахождении российское МВД обещало вознаграждение, кажется, в сто тысяч новых рублей. Больше

российское МВД давало только за руководителя службы безопасности Нурмухамеда и самого генерала Сака.

Старший брат возглавлял загадочное учреждение под названием «Национальный банк Республики Гулистан». Младший до недавнего времени считался заместителем Нура.

Обычно майор не испытывал радости, убивая людей, но сейчас больше всего на свете ему не хотелось, чтобы дверь открылась и из кабинета вышли улыбающиеся братья Хуциевы, а провожающий их Дровосек небрежно махнул ему рукой, мол, все в порядке, майор, это

мои гости. Майор вдруг вспомнил, что, думая о матери, изрепеченной пулями на пороге своего дома на улице Карла Либкнехта, он почему-то не забывал не только про генерала Сака в разъезжающей на голове пилотке, не только про начальника его службы безопасности Нура – человека с благородной внешностью и открытым честным лицом, давнего знакомого Пухова, – но и (краешком сознания) про братьев Хуциевых.

Когда майор Пухов, выполняя задание Родины (тех, кто приказывал от ее имени), усаживал генерала Сака в президентском дворце – тогда еще здании Верховного Совета Гулийской АССР, – ему довелось

увидеть братьев Хуциевых в деле.

Младший на глазах пришедшей на переговоры депутатской делегации выстрелом в лицо – так что на папах депутатов полетели брызги крови и мозги – застрелил захваченного в кабинете зампреда ВС республики, отвечающего, кажется, за сельское хозяйство.

Старший Хуциев, когда вопрос власти в Гулистане был решен, потребовал «для стабилизации народного хозяйства» огромную сумму в тогдашних инфляционных российских рублях. Она была как только возможно быстро доставлена ему тогдашним вторым в России человеком после президента –

гибким и тонколицым
государственным советником,
болезненно уверенным в том, что его
внезапная власть над огромной
страной не случайна, равно как и в
том, что чем меньше окружающие
будут понимать проводимую им
политику, тем прочнее будет его
власть. Это ощущение не покидало
его и в президентском дворце на
встрече с членами нового гулийского
правительства. «Сколько привезли?»
— спросил у государственного
советника генерал Сак. Тот ответил.
Некоторое время все молчали. Потом
со своего места поднялся старший
Хуциев, медленно обошел вокруг
стола, приблизился к

государственному советнику и... плюнул прямо ему в лицо. «Мало! — сказал он. — Убирайся к своему президенту и скажи ему: если не пришлет еще, мы взорвем вашу е... Москву к е... матери!»

Майор махнул рукой Ремеру, чтобы тот вышел из приемной. Тот молча вышел. За дверью было тихо. Но в следующий момент до майора донесся гортанный крик: «Ханш!», что означало по-гулийски одновременно-«импотент и рогоносец, е... собственную мать» и являлось последним по тяжести оскорблением для мужчины. Потом обострившимся слухом майор уловил звук пощечины, после чего с

радостным и светлым сердцем вошел в режим импровизации, то самое, высшее – и самое желанное – из всех доступных майору творческих состояний, когда от того, насколько он удачно сработает (сыграет), зависит сама его жизнь.

Он влетел в офис на низком кувырке сквозь выбитую дверь. Старший брат не глядя открыл огонь, но пули прошли выше, и в следующее мгновение, получив разрывную пулю из «Fovea» в промежность – Пухов не хотел казнить его так жестоко, но с пола некуда больше было стрелять – председатель Национального банка Республики Гулистан упал вместе с креслом на ковер. Младший брат

вознамерился прихватить с собой в путешествие, из которого, если верить Сальвадору Дали, «письма идут слишком долго» Дровосека, но его пистолет — добротная «беретта» — был на предохранителе, из чего явствовало, что лично он не собирался убивать Дровосека. Но это уже не имело значения. Выстрелом из «Fovea» майор выбил «беретту» из руки младшего Хуциева, превратив эту самую руку в короткий букет ярко-алых гвоздик, а затем выстрелом в лицо — майор сам не знал, почему так получилось — навсегда успокоил любителя стрелять в другие лица.

— О Господи, — простонал,

поднимаясь из-за стола глава финансово-промышленной группы «Дровосек». – Я труп.

– Еще нет, – возразил Пухов, прекрасно понимая, что имеет в виду глава крупнейшей в России финансово-промышленной группы, – но мог им стать.

Считалось, что мать Илларионова умерла во время родов в больнице, которая называлась тогда Первой Краснознаменной и располагалась в Сокольниках. Илларионов, впрочем, в этом сомневался. Он долго ждал случая проверить и, наконец, став полковником и начальником отдела, проверил больничный мартиролог в год своего рождения. Это было удивительно, но в тот год в Первой Краснознаменной больнице от родов вообще не скончалась ни одна женщина.

Илларионов не знал, кто его мать.

Илларионову-младшему было трудно представить себе Илларионова-старшего в кругу семьи – любящим мужем и отцом. Сколько Илларионов-младший себя помнил, отец всегда был один, всегда на работе. Илларионов-старший был генералом госбезопасности, хотя форму надевал исключительно по большим советским праздникам и когда отправлялся в Кремль на особые приемы и закрытые церемонии награждения отличившихся героев невидимого фронта. Он был равнодушен к наградам. Единожды убрав их в свой

домашний сейф, никогда больше не доставал. Только раз, помнится, пряча в прохладную сейфовую глубину очередную коробочку с орденом, задумчиво произнес: «Странно, почему именно на Арбате — бывшей правительственной трассе?» «Что на Арбате?» — не понял Илларионов-младший. «Ничего, — ответил отец, но, подумав, добавил: — точно такие же ордена спекулянты будут продавать на Арбате за американские доллары». «Когда?» — уточнил Илларионов-младший. Шел тысяча девятьсот шестьдесят третий год, и то, что говорил отец, казалось несусветной чушью. Но Илларионов-младший

знал, что так будет. Отец никогда не ошибался.

Сейчас ему было трудно восстановить в памяти, когда именно он понял, что его отец – особенный человек, сильно, если не сказать разительно, отличающийся от остальных людей. Вероятно, в отрочестве, потому что в детстве Илларионов-младший не думал об этом. Он как бы изначально знал: они с отцом живут в мире вместе с остальными людьми, но и отдельно от людей, иногда заходя на ту сторону мира, куда остальным людям вход строжайшим образом заказан.

Отец, естественно, не имел возможности вести домашнее

хозяйство. Этим занимались приходящие домработницы. На Лубянке в отделе кадров был специальный сектор, занимающийся наймом домработниц в семьи ответственных сотрудников, имеющих отношение к государственным тайнам. По малости лет Илларионов-младший не придавал этому значения, но повзрослев, обратил внимание: все домработницы были сплошь — и не таясь! — верующими, все поддерживали в их доме какую-то совершенно невозможную чистоту, все были суровы и не улыбкивы, с некоей залегшей меж складок лба мыслью (или предчувствием),

которую им никак не удавалось (или
нельзя было) внятно
сформулировать.

Более других преуспела в
выражении тайной мысли (или
предчувствия) Пелагея, пришедшая к
ним, кажется, в шестьдесят первом
году. Она немедленно — с мылом! —
хотя не было в этом нужды, чисто
было в комнатах — вымыла
немаленькую их квартиру, после чего
повесила в комнате командира
октябратской звездочки
Илларионова-младшего
прокопченную икону довольно-таки
редкого сюжета. На иконе был
изображен запускающий в озеро с
лодки невод Иисус Христос.

Илларионов-младший обратил внимание, что у лодки был парус, но не было весел.

И до Пелагеи у них была суровая домработница. Илларионов-младший частенько ловил на себе ее не то чтобы неласковый, но какой-то скорбно-изучающий (как у запускающего невод безвесельного Иисуса) взгляд. Прежняя домработница, встретив его в школьном вестибюле после уроков, вела домой кружным путем— мимо церкви. Она обязательно крестилась на открытую дверь, а когда дверь была закрыта — на облупившиеся, когда-то золотые, купола с крестами.

Пелагея тоже, помнится, повела

Илларионова-младшего кружным путем. У церкви вдруг стиснула его руку своими затвердевшими от работы, как клещи, пальцами: «Пойдем со мной в храм!» У Илларионова-младшего не было ни малейшего желания идти с ней в храм, но темные (как краски на прокопченной иконе) глаза Пелагеи горели такой победительной волей, что он подчинился. А когда, отстояв конец службы, они пришли домой, Пелагея положила ему на стол толстую черную книгу — Библию. «Лучше вот это читай, чем... — кивнула на бестселлер той поры — зачитанный до дыр детектив под названием «Тарантул». — Хотя, —

опять с каким-то скорбным сомнением смерила взглядом Илларионова-младшего, — у тебя будет время изучить Библию».

Она как обычно приготовила ужин, оделась в прихожей, велела Илларионову-младшему закрыть за ней дверь. Он закрыл, но почему-то не пошел к себе, а замер у двери, услышав шаги поднимающегося по лестнице отца. Но вот шаги смолкли.

— Все служишь, сердешный? — раздался насмешливый и почему-то сильно помолодевший голос Пелагеи.

Илларионова-младшего удивило, что она — домработница — обращается к отцу-генералу — на

«ТЫ».

— Куда ж я денусь? — насмешливо, в тон ей ответил отец.

— Слышала я, — донеслось сквозь дверь до Илларионова-младшего, — велел ты повязать больных в Сибири.

— Для их же блага, — сказал отец, — они ведь не столько про глухонемого Предтечу благовестили, сколько про денежную реформу. В Енисейске народ годовой запас соли да муки размел. С утра очереди в магазины занимают.

— Был, значит, глухонемой Предтеча? — спросила Пелагея.

— Я не уследил, — помолчав, ответил отец. — Мимо меня не

должен был проскочить. Считай, не было. Но даже если был, что с того? Глухонемой, он же своим молчанием сразу на два фронта благовестит, поди, догадайся, кого ждать – Христа или Антихриста?

– Я с мальчишечкой твоим сегодня в церковь ходила, – вдруг призналась Пелагея.

– Вот как? – известие, похоже, оставило отца совершенно равнодушным.

– Хороший такой мальчишечка, – продолжила Пелагея. – Но не по нашему департаменту. Хотя, тебя, генерал, переживет.

– Знаю. Но я вернусь, подскажу ему.

У Илларионова-младшего за дверью аж сердце зашлось от несправедливости. Не по нашему департаменту! Как она смеет? И отец не возражает, не спорит с мерзкой бабой! На глаза навернулись слезы.

— Я одного не пойму, — раздумчиво продолжила между тем Пелагея, — отчего ты не скомандуешь своим орлам, чтобы выкрали в Америке те книжечки. А если красть грех, так хоть бы посмотрели одним глазком, там же все написано. Узнал бы имя, глядишь, и мальчишечку бы своего сберег.

— Нет в той церкви книжечки, Пелагея, — ответил отец. — Проверяли. Уже взята в недоступное

место. Там ведь люди тоже не спят. Имя узнаем в девяносто восьмом. Вы узнаете. Меня тогда не будет.

– Не хочешь, стало быть, при нем жить? – спросила Пелагея.

– Не хочу, – ответил отец.

– И мир не хочешь спасти? – вздохнула она.

– А зачем? – спросил отец.

Илларионов-младший едва успел отскочить от двери, убежать к себе, когда отец вставил ключ в замок. Илларионов-младший упал на диван, схватил «Тарантула», но книга вдруг показалась неинтересной. Отец, впрочем, даже не заглянул в его комнату.

За ужином Илларионов-

младший не выдержал.

— Я закрывал за ней дверь и слышал, — сказал он. — Я не подслушивал.

— Я знаю, — спокойно ответил отец, — тебя очень обидели слова: «Не по нашему департаменту». Напрасно. Не по нашему департаменту — это значит маленький. Не подросток еще.

— Ты давно знаешь эту Пелагею?

— Как тебе сказать, — задумался отец. — Я работаю в организации, которая занимается вопросами безопасности государства. Это довольно странная и сложная работа. Я вынужден общаться с самыми разными людьми. Да, мне

приходилось раньше встречаться с Пелагеей.

— Откуда ты знаешь про денежную реформу?

— Ну, — засмеялся отец, — я много чего знаю. Никому не говори про реформу. Все останется как было, просто десять рублей превратятся в рубль, сто — в десять, ну и так далее.

— А глухонемой Предтеча — это кто? — спросил, успокаиваясь, Илларионов-младший. — И почему ты не доживешь до тысяча девятьсот девяносто восьмого года?

Тогда-то отец и рассказал ему, что иной раз по долгу службы ему приходится заниматься такими вещами, как проверкой

всевозможных диких слухов, поимкой не вполне нормальных людей, вбивших себе в голову черт знает что. Так, скажем, в Сибири какие-то то ли цыгане, то ли курды возвестили о пришествии глухонемого Предтечи, будто бы отказывающегося (в силу своей глухонемоты) объявить, чей он Предтеча – Христа или Антихриста?

– Разве это преступление? – поинтересовался Илларионов-младший. – И почему он не может объяснить знаками?

– Не преступление, – согласился отец. – Он не может объяснить знаками, потому что в начале любого Божьего дела всегда слово.

— Неужели это... угрожает безопасности СССР? — изумился Илларионов-младший.

— Безопасность государства, — улыбнулся отец, — такая сложная и хрупкая штука, что приходится выяснять, что стоит за каждым подобным слухом. Безопасности государства, — добавил другим — скучным, утомленным — голосом, — могут угрожать самые неожиданные вещи. У тебя будет время в этом убедиться.

— Значит, эта Пелагея... не сумасшедшая? — повеселел Илларионов-младший.

— Нет, но насчет Библии она права, — как-то странно закончил

разговор отец.

Илларионов-младший успокоился, но слова: «Не по нашему департаменту» засели в памяти как заноза. Он знал, что он не по тому, как большинство, департаменту. Но также и знал, что Пелагея употребила обидевшие его слова, сравнивая его с отцом. Получалось, что Илларионов-младший, как дерьмо в проруби (откуда, кстати, оно там взялось? Трудно вообразить себе человека, рискнувшего в памяти и сознании сделать это дело именно над прорубью), болтался между двумя департаментами. В каком-то третьем департаменте. Это мучило и беспокоило Илларионова-младшего,

потому что походило на правду.

Много позже он подумал, что Пелагея непостижимым (как, впрочем, и положено по их с отцом департаменту) образом угадала насчет Библии, но не совсем (как опять-таки в их департаменте заведено) угадала. Да, Илларионов превращал Библию в компьютерный гиперроман, но не сам канонический текст — этой рутинной занимались программисты, работающие по стандартным программам — а непроясненные, темные (параллельные) места, так сказать, коллективное бессознательное библейского авторского коллектива, библейский (добиблейский)

background.

Он как раз тогда глухой и душной летней московской ночью в своей квартире на Сивцевом Вражке заканчивал кипящими чернилами статью для «New York Times», в которой, затверждая свое «ноу-хау» на теорию гиперромана (гиперромановедение), доказывал, что гиперроман как жанр — универсален и бесконечен, как мысль Господа Бога (ГБ), потому что равно простирается как в прошлое, так и в настоящее и будущее. «Будущее в гиперромане, — раскрепощенно и не сильно заботясь (все равно будут переводить на английский) о стиле, писал в статье Илларионов, —

беззаконно, а потому может быть чем
угодно: хламидомонадой;
пирамидоном; холодной игрой
равнодушного ума; набором
классических футурологических
конструкций «Lego-go»; ядовитой
россыпью парадоксальных
построений из области чистого (и
нечистого) разума, аналогом которых
вполне можно считать звездное небо
с его строжайшим порядком-хаосом,
пребывающее, по мнению
Иммануила Канта, вне таких
понятий, как добро и зло. Прошлое в
гиперромане — невыпитое
археологическое, запаянное в
утопленные амфоры вино, перец и
пряности подсознания,

блистательный пасьянс непрожитых (но живо воображаемых) жизней, которые, собственно, и составляют духовный внутренний мир любой, поднявшейся над обыденностью, личности».

По мысли Илларионова, Библия как гиперроман являлась всего лишь первым проросшим зерном на частично уже удобренном всечеловеческом компьютерном поле.

Из зерна должно было сформироваться некое (почти как у Лысенко «ветвистая пшеница») совершенно новое растение, сочетающее в себе признаки огромного дерева с корнями и кроной

и — необъятного колосющегося поля. Сюда в общечеловеческий — то есть один-единственный для всех живущих на Земле людей — гиперроман должны были влиться все когда-либо — не важно, в прошлом, настоящем или будущем — сочиненные людьми тексты. Процесс впадения малых ручейков, ручьев, речушек, речек и рек в океан продолжался бы до тех пор, пока оставались на земле люди, желающие читать и сочинять тексты, и компьютерная сеть Интернет — альфа и омега, материализованное воплощение человеческой души со всеми ее достоинствами и недостатками.

Только после смерти отца, определив прошлое как вечно живой background, как равнозначную с будущим (для души, не для ума) составную (neverending) часть гиперромана (жизни), Илларионов-младший понял, что имела в виду чистоплотная с горящими глазами домработница Пелагея, характеризуя его как личность не по тому департаменту. Его background был «вещью в себе», то есть касался одного лишь Илларионова-младшего и исполняемой им (порученной ему) работы. Грубо говоря, реальность стопроцентно довлела над Илларионовым-младшим. Он (как девяносто девять и девять десятых

процентов людей) являлся рабом реальности, так сказать, подреальным человеком. Тогда как background отца, вернее случайные его отблески, уловленные Илларионовым-младшим, имел едва ли не большие основания считаться реальностью, нежели сама реальность. Это была реальность в некоем другом — многомерном — исчислении. В лучшие годы отец ощущал себя в ней настолько свободно и уверенно, что не знал имени-отчества действующего генерального секретаря ЦК КПСС, порядкового номера последнего партийного съезда, понятия не имел, какая на дворе пятилетка.

Отец был надреальным человеком.

Потом, конечно, все изменилось.

Илларионов-младший вспомнил, как году, кажется, в шестьдесят шестом отец взял его с собой на новоселье к сотруднице своего отдела. Та получила квартиру в крупноблочном доме в Зюзино. Сейчас это место (Севастопольский проспект) считалось в Москве почти что центром.

Илларионов-младший уже бывал в подобных блочных домах — с объединенными санузлами и крохотными кухнями — у одноклассников, отец же, похоже,

попал в такой дом впервые. Сотрудница — у нее слегка косили глаза, и, несмотря на очевидную молодость, среди черных как смоль волос имелась пружинная седая, как будто серебряная прядь — накрывала на стол. Гости — подчиненные отца — курили на балконе.

Отец медленно, как если бы находился в музее, где на стенах висели полотна живописцев, обошел квартиру, рассматривая голые, оклеенные обоями стены, иногда зачем-то прикладывая к ним ухо.

— Полагаю, что с началом массового строительства подобных домов человечество вступило в новый этап своего развития. Не

самый удачный, скажем так, этап, как вы думаете, Изольда Ивановна? — поймал взглядом расставляющую на столе запотевшие бутылки, саму запотевшую, так что бедной приходилось поддувать под серебристую пружинную прядь, хозяйку.

Илларионов-младший находился в славном подростковом возрасте. Он, конечно, размышлял о женщинах, но в основном в чисто теоретическом плане. А тут у него аж дух захватило — до того была эта Изольда Ивановна хороша. Даже не столько хороша, сколько влекуща. Илларионов-младший вдруг понял, что готов ради Изольды Ивановны на

все. Был готов украсть ключи от отцовского домашнего сейфа, отдать их Изольде Ивановне, когда она тайком придет, а потом... Странные какие-то (только что ведь он ни о чем подобном не думал) пронеслись в голове мыслишки. И еще Илларионов-младший понял, что чем недостойнее поступок попросит его совершить эта милая Изольда Ивановна, тем с большей отвагой и изобретательностью он его совершит, тем желаннее и милее она потом ему будет.

— Вам видней, товарищ генерал, — как горячей нефтью мазнула косящими черными глазами по лицу Илларионова-младшего

убегающая на кухню Изольда Ивановна.

— Я уйду на пенсию, — продолжил отец, дождавшись возвращения хозяйки из кухни уже с салфетками, — а вы еще помучаетесь с проникающими излучениями, поработаете с людьми, которых будут сводить с ума разные посторонние звуки и якобы насланные соседями болезни. Стены в нормальных домах должны быть толщиной в метр, не меньше, а, Изольда Ивановна? — прихватил ее, изогнувшуюся над столом, за талию. — Вам ли не знать про буллу номер четыреста шестьдесят семь папы Климента, определяющую толщину стены,

гарантирующую от проникновения нечистой силы. Зачем вы согласились на эту квартиру? Подождали бы немного — получили бы в старом фонде.

— Старый дурак чуть было не разорил все тогдашние строительные тресты, — весело ответила Изольда Ивановна. — Намаялась я в коммуналке, товарищ генерал. Ну а что стеночки тонкие, так ведь... арматуры-то понапихали сколько, товарищ генерал, куда там с моими-то, пардон, габаритами... Да и кому нынче интересны людишки? Измельчал, отсырел, опошился материал, товарищ генерал, ей-богу, не в коня корм, не по Сеньке шапка,

не по кораблю плавание...

— Да, я знаю-знаю, — кивнул отец. — Смещение в нематериальное. Как только в землю закопали первый кабель, как только на стене появилась первая электрическая розетка...

— Забыли про автомобили и самолеты, товарищ генерал, — перебила Изольда Ивановна, — известно ли вам, сколько бесов может поместиться на острие иглы в карбюраторе?

— Восстание среды, Изольда Ивановна, — покачал головой отец, — направление, конечно, перспективное, но, боюсь, тупиковое.

— А по мне, хоть среды, если души ватные, товарищ генерал! — расхохоталась Изольда Ивановна. — Что прикажете делать, если души не встают?

Тут в дверь раздался звонок, пришел последний гость, вернее гостья с букетом белых гвоздик. Изольда Ивановна пригласила всех к столу. Отец и Илларионов-младший посидели совсем немного и уехали.

— Начальник не должен портить веселье подчиненным, — объяснил Илларионову-младшему в лифте отец.

Илларионов-младший напрочь забыл про новоселье косящей с серебряной пружинной прядью

Изольды Ивановны.

Вспомнил в девяносто четвертом, когда получил допуск к документации по семизвездно (то есть на высшем международном уровне – так же как инопланетяне, кадмиевые женщины, гравитационное оружие, технология получения золота из морской воды) засекреченному феномену под кодовым названием «Восстание среды».

В середине семидесятых какой-то чудака (посвятивший жизнь изобретению вечного двигателя и попутному усовершенствованию всех прочих двигателей) в Буэнос-Айресе, убежденный, что электрический

счетчик в его квартире считает киловатты неправильно, а потому занятый разработкой нового, обратил внимание на необъяснимые скачки напряжения в сети по всему дому. Это было тем более странно, что приборы работали исправно, однако же напряжение определенно куда-то уходило. Он применил свой прибор в других — в основном новой постройки — домах. Там имело место то же самое. Малый служил в отделе технического обеспечения аргентинской службы безопасности, а потому, усмотрев в происходящем происки агентов бразильской разведки, написал начальству рапорт, в котором назвал этих самых

бразильских агентов «ворами энергии и врагами веры».

Информация пролежала несколько лет без движения, пока на нее случайно не наткнулся прикомандированный офицер ЦРУ. Он, вернее она, занимался (занималась) архивированием базы данных аргентинской контрразведки для компьютерных сетей нового поколения. Рапорт показался ей забавным, она использовала его как вводную для компьютерного аналитического моделирования. Думающий компьютер нового поколения затребовал всю мыслимую и немыслимую статистику по названным домам. Офицер ЦРУ уже

паковала чемоданы, когда ей доставили резюме думающего компьютера: скачки напряжения напрямую зависели от количества в этих домах новорожденных младенцев! То есть кем-то (или чем-то) создавалось неизвестное современной науке поле, определенным образом воздействующее на новорожденных младенцев. Все попытки исследовать природу неизвестного науке поля оказались безуспешными. Как и попытки обесточить помещения. Поле таинственным образом подпитывалось из воздуха. Таким образом, не оставалось ни малейших сомнений в том, что «восстание

среды» являлось либо случайно зафиксированным фрагментом некой (из области генной инженерии) программы пришельцев по преобразованию «homo sapiens» как биологического вида, либо же вторжением неких сил из параллельных миров, где, как известно, действуют отличные от мира «homo sapiens» физические законы.

В школе знали, что Илларионов-младший — сын генерала госбезопасности, и посматривали на него косо. Илларионов-младший долго не мог добиться от отца конкретного ответа, в каком, собственно, подразделении этой

службы (давний разговор про глухонемого Предтечу его не удовлетворил) тот работает, не связан ли он со столь презируемым нормальными людьми политическим сыском?

Отец обычно вместо ответа подолгу молчал. Это молчание не нравилось Илларионову-младшему, но и заставить отца говорить он, естественно, не мог.

Тогда он решил зайти с другого конца.

— Ты... хоть раз разговаривал с Берия? — однажды вечером, когда отец никуда не спешил и, сидя на диване, массировал колено (он страдал от отложения солей в левом

колене), спросил Илларионов-младший.

— Много раз, — удивленно посмотрел на него отец. — Он же был моим начальником.

— Ты помнишь свой последний с ним разговор? — Илларионову-младшему была известна отцовская слабость к четко сформулированным вопросам и исчерпывающим (не по сути, а по форме) ответам.

— Прекрасно помню, — ответил отец. — Мы встретились в парке Сокольники тридцатого мая одна тысяча девятьсот пятьдесят третьего года. Он был без очков и в свитере. Его очень трудно было узнать. Он приехал на метро.

— О чем вы говорили? — Илларионов-младший понял, что надо ковать железо, пока горячо.

— Я его предупредил, — отец задумчиво, поверх головы Илларионова-младшего, посмотрел на тяжелую — из красного дерева и горного хрусталя — люстру, — но он не стал слушать. Он думал, что сумеет переиграть судьбу. Зря он поверил своему предсказателю. До определенного порога человек контролирует себя во власти. Но когда речь заходит об абсолютной власти, ум и чувство самосохранения вырубаются, как при коротком замыкании. Тайна власти заключается в том, что власть

никогда не достается тому, кто ее очень хочет. То есть хочет так, что окружающие люди видят, что он хочет и, соответственно, просчитывают его поступки. Ему следовало остановиться, сохранить то, что было.

— А если бы Берия тебя послушал? — Илларионов-младший более не сомневался, что у его отца руки по локоть в крови.

— Был вариант немедленно уехать в Аргентину. Сначала уехать, а потом получить пост посла. И там пропасть во время восхождения на водопад. Он бы растворился в воздухе, как водяная пыль над водопадом.

— Но остался бы жив? — содрогнулся от отвращения Илларионов-младший.

— Вне всяких сомнений, — спокойно подтвердил отец, — поэтому он меня и не слушал. Я говорил с ним о сохранении жизни, тогда ему грезилась власть над миром.

— Для чего ты хотел оставить его в живых? — в отчаянии спросил Илларионов-младший.

— Как тебе объяснить, — зачем-то погрозил люстре пальцем отец, — скажем так, для более естественного, плавного и где-то даже более справедливого и предсказуемого течения истории. Люди, которые

пришли бы к власти, знали, что он жив, и были бы более осмотрительны в своих действиях и разоблачениях. Знающие люди, — внимательно посмотрел на Илларионова-младшего отец, — ценнее золота. Но, к сожалению, в мире всегда достаточно золота, чтобы не скупясь заплатить за их смерть. Я не занимаюсь политическим сыском. Хотя, если тебя интересует мое мнение, дозированный, умеренный политический сыск дисциплинирует общество и где-то даже понуждает его к гражданской добродетели. Впрочем, — опять посмотрел на люстру, как будто та не была вполне

удовлетворена его ответом, – Россия еще поживет без политического и почти без уголовного сыска. Ты застанешь это время.

– Вообще без всякого сыска? – сладко замерло сердце у Илларионова-младшего.

– Не совсем, – усмехнулся отец, – разовьется такая странная его разновидность, как сыск банковский и экономический. Это будет очень жестокий и кровавый сыск.

– А... со Сталиным? – вдруг спросил Илларионов-младший, хотя собирался спросить отца о другом. Если он не занимается политическим сыском, значит, он ловит шпионов? – Ты разговаривал со

Сталиным? Ты... его тоже предупреждал?

— Он получал достаточно-полную информацию... по другим, скажем так, каналам, — ответил отец. — Я разговаривал со Сталиным, И я не ловлю шпионов, сын. Этим занимаются другие люди.

— Если верно то, что ты говорил о тайне власти, — возмутился очевидному противоречию Илларионов-младший, — получается, что Сталин не стремился к власти?

— Я читал текст речи, с которой он собирался обратиться к народу третьего марта одна тысяча пятьдесят третьего года, — отец опустил в кресло напротив шкафа,

внутри которого жили своей жизнью фарфоровые статуэтки. — Сталин объявлял о своем уходе со всех постов, созыве внеочередного съезда партии, роспуске Политбюро, радикальных переменах в правительстве. Не думаю, что он не стремился к власти, — продолжил массировать левое колено отец. Обычно он разговаривал с Илларионовым-младшим коротко и только по делу. Но когда он занимался своим коленом, то был готов говорить на любые темы. Отцу, как некогда Юлию Цезарю, делать только лишь одно дело (массировать колено) представлялось недостойным. — Он, видишь ли,

стремился к несколько иной власти. Власть над людьми была для него только ступенькой. Под конец жизни эта ступенька уже его не устраивала. Так что моя теория о тайне власти верна.

— Если ты не ловишь шпионов, то чем тогда занимаешься? — не отставал от морщившегося от коленной боли отца Илларионов-младший.

— Мы с тобой однажды говорили на эту тему, — ответил отец. — Может быть, ты забыл. Но я готов повторить. Чем я занимаюсь? Защищаю государство. Если точнее, пытаюсь защищать государство, хотя прекрасно знаю, что оно обречено.

— От кого? — воскликнул Илларионов-младший. — Если не от диссидентов и шпионов? Неужели у нашего могучего красножопого атомно-ядерного коммунистического государства есть какие-то другие враги?

— Государство — это люди, — в духе древнегреческого философа Платона ответил отец. — Множество людей, огромное количество людей. Люди создают государство, чтобы обезопасить себя от разных превратностей судьбы, но главным образом от зла, происходящего от людей же. Закон исторического развития таков, что страдания, которые люди испытывают от

несовершенства ими самими поставленного над собой государства, не идут ни в какое сравнение с той бездной страдания, в которой они оказываются, разрушив государство. Но закон исторического развития еще и таков, что люди, разрушая государство, не осознают этого. Им кажется, что они сражаются за свободу. Люди не верят в то, что количество зла в обществе, неважно демократическом или тоталитарном, всегда одинаково. Тут действует закон сообщающихся сосудов. Просто в одном случае — тоталитарном государстве — зло внизу под жидкостью в твердом осадке. В другом — всегда наверху,

кипит и пенится пузырьками, пронизывая жидкость, то есть жизнь. Рано или поздно люди это осознают. И строят новое государство, куда более несовершенное, чем прежнее. Моя работа, если тебе интересно, заключается в исследовании и поддержании в надлежащем порядке защитных механизмов, предохраняющих общество и государство от падения в пропасть страдания. Природа этих механизмов носит вневластный, частично внечеловеческий характер, то есть иногда бывает так, что сама же власть идет на них войной. Я занимаюсь этой проблемой много лет, но сущность действия этих

механизмов для меня по-прежнему непостижима. Единственное, что мне совершенно очевидно: сейчас они определенно изнашиваются и слабеют, в то время как стремление разрушить государство наливается соком и крепнет.

— У кого крепнет? — не понял Илларионов-младший.

— У людей, — удивленно посмотрел на него отец. — У граждан. У кого же еще?

— То есть люди сами себя губят?

— Как бы тебе объяснить, — боль в колене видимо стихла, отец с наслаждением вытянул ногу поверх вытканых на лежащем на полу персидском ковре сабель. Может

быть ему казалось, что сабли кололи его колено, но вот он одержал победу и теперь попирает их ногами. — Человечество развивается таким образом, что с отдельными людьми периодически происходит нечто странное. Внешне они вроде бы остаются людьми — едят, пьют, разговаривают, но внутренний их мир довольно существенно отличается от внутреннего мира обычного человека. Во всяком случае, такие вещи, как бездна страдания для миллионов других людей, их не смущают.

— Кто же они — мутанты? — Илларионов-младший подумал, что еще ни разу в своей жизни не

встречал человека, стремящегося разрушить государство.

— Боюсь, — вдруг рассмеялся отец, — что не мне отвечать тебе на этот вопрос.

— Тогда кому отвечать? — удивился Илларионов-младший.

— Да тебе самому, — оборвал смех отец. — Сам себе и ответишь.

Илларионов-младший подумал, что отец сошел с ума.

Но он перестал так думать через несколько дней, когда из проезжающей машины (это была первая в жизни, но не последняя машина, из которой в него стреляли, поэтому Илларионов-младший на всю жизнь запомнил сплюснутый

фиолетовый – цвета разбавленных школьных чернил – «Москвич-412») высунулась длинная, как шлагбаум между жизнью и смертью, рука с пистолетом.

Илларионов-младший как сейчас помнил: была осень. С самого утра его не покидало ощущение замкнутого пространства, странного какого-то коридора, в который вместилось все сущее: падающие листья и прочитанные книги, томление плоти и мысли о вечном, осеннее чистое небо и черная, покрытая разноцветными листьями земля парка, вдоль ажурной чугунной решетки которого они прогуливались с отцом.

Отец должен был ехать на совещание в Кремль. Илларионов-младший вышел из дома вместе с ним, чтобы он его довез до кинотеатра «Россия». Но отцу позвонили в машину, сообщили, что генеральный перенес совещание на час двадцать. Они решили погулять по парку.

— Если верно, что народы — мысли Бога, — вдруг заметил отец, провожая взглядом спускающийся на дорожку огромный, как парашют без парашютиста, кленовый лист, — то что тогда государства? Наверное, государства — это сны человечества.

Ощущение, что мир — коридор, перевернутый на бок —

горизонтальный — колодец, —
сгустилось до невозможности.
Воздух вокруг начал превращаться в
невидимый бетон. Внутри
перевернутого колодца жизнь,
запаянная в невидимый бетон,
замерла. Как в аэродинамической
трубе воронкой крутился холодный
черный ветер, а по центру ветра
летел чернильный сплюснутый
«Москвич-412», из окна которого
торчала невообразимо длинная рука
с пистолетом. Это было совершенно
невозможно, но Илларионов-
младший увидел летящие в их
сторону, напоминающие свернутые в
крохотные конусы листья,
остроносые пули. Только, в отличие

от листьев, пули светились в воздухе. В следующее мгновение что-то обрушилось на него сзади, и перед глазами вдруг оказалась земля. Она отчетливо пахла прорастающими грибами и дымом. Илларионов-младший успел подумать, что так пахнет жизнь и, как ни странно, точно так же пахнет смерть. Чугунная ограда выплюнула в его сторону сноп искр, а дерево позади глухо тренькнуло, как будто это было не дерево, а контрабас, на котором порвалась струна.

— Вставай, — услышал Илларионов-младший голос отца. — Они уехали. У тебя хорошая реакция, но когда в тебя стреляют из

проезжающей машины, надо падать на землю.

— Они хотели тебя... убить? — Невидимый бетон рассыпался, коридор раскрутился вверх и вширь, но вместо воздуха Илларионов-младший как будто дышал концентрированным ужасом.

— Меня? — удивился отец. Илларионов-младший увидел, что серый отцовский плащ совершенно чист, а шляпа на голове даже не сдвинулась. — Я стоял как столб. Они могли десять раз меня застрелить. Они стреляли в тебя.

— В меня? — изумленно уставился на отца Илларионов-младший. — За... что?

— Наверное есть за что, — смахнул с его головы сухую травинку отец, — если генеральный секретарь перенес ради этого, — посмотрел на часы, — совещание уже... на сорок минут.

— Они... вернутся? — окружающая жизнь, несколько минут назад такая милая и беспечальная, более не вызывала у Илларионова-младшего ни малейшего энтузиазма. Меньше всего ему сейчас хотелось в кино. Но и домой не хотелось. Он не знал, что делать и куда идти.

— Не думаю, — спокойно ответил отец, — это была, так сказать, декларация о намерениях, приглашение к диалогу. Если бы они

хотели тебя убить, они бы это сделали. Но все равно ты должен быть осторожным. Исполнители не всегда слушаются заказчика.

— Что им от меня надо? Почему? — Илларионову-младшему не понравилась предполагаемая самостоятельность неведомых исполнителей.

— Каждый исполнитель, — объяснил отец, — мечтает сделаться заказчиком. Поэтому наступает момент, когда внутри порученного ему чужого дела он начинает клепать свое собственное. Собирать внутри аккумулятора примус. Тут возможны любые неожиданности.

Подъехала машина. Илларионов-

младший вдруг обратил внимание, что отец как будто сделался меньше ростом, суше, да и только что гладко струящийся серый плащ уже сидел на нем как-то мешковато.

– Иди домой, – сказал отец, усаживаясь в машину, – дверь никому не открывай. Я постараюсь вернуться пораньше.

Черная «Волга» понесла отца в Кремль на совещание к генеральному секретарю.

Илларионов-младший остался один посреди осеннего парка. Ему казалось, что из всех окон, из всех проезжающих машин высовываются по его душу длинные руки с пистолетами. Это было совершенно

новое, доселе неизведанное чувство подвешенности на невидимой нити, посреди сверкающих, хищно шелкающих ножниц. Илларионов-младший подумал, что такое приятное занятие, как составление планов на будущее, теперь (когда он оказался в железном ножничном лесу) едва ли для него актуально.

Тогда подобная несправедливость оскорбила и возмутила его.

Сейчас ему было сорок два года, но он продолжал жить, не строя планов на будущее. Не строить планов на будущее — это сделалось едва ли не основной заповедью его жизни.

...Он допоздна ждал отца в тот давний осенний день. Помнится, было полнолуние, и Илларионов-младший долго смотрел из темной кухни на абсолютно круглую голубовато-желтую луну, не устающую лить, как будто она была круглым кувшином и у нее не было дна, на улицу под окнами, парк Сокольники через улицу мельхиоровый свет, внутри которого длинные, как копья, тени предметов казались изысканной чернью на льющемся с неба холодном расплавленном мельхиоре. Незъяснимая беда присутствовала в ночном воздухе. Сколько Илларионов-младший ни пытался

подобрать для нее слова — не получалось. Суть заключалась в том, что помимо простого человеческого мира, в котором люди рождались и умирали, заводили семьи и расходились, честно зарабатывали свой хлеб и воровали, любили и не любили Сталина, одобряли и осуждали введение войск в Чехословакию, существовал другой мир (миры?), для которого человеческие свойства (достоинства и недостатки) людей не имели ни малейшего значения. Отец однажды сказал Илларионову-младшему, что в основе переживаемого человеком ужаса прежде, всего лежит ощущение очевидного разрыва привычных

логических связей. Оказавшись по ту сторону привычных логических связей, человек превращается в ничто. «Нет вернее способа подчинить человека, — продолжил отец, — чем преломить его логику, как сухую трость, и дать взамен новую. Он вцепится в нее, как слепой в посох. В сущности, — подвел черту Илларионов-старший, — Христос, Будда и Магомет действовали именно так».

Другой мир (миры) был(и) изначально ужасен именно потому, что находился вне человеческой логики. Конечная цель их существования была столь же неуловима, как льющийся с неба

ночной мельхиоровый свет. Илларионов-младший пока только ощущал их параллельное присутствие. Илларионов-старший, вне всяких сомнений, знал о них гораздо больше.

Илларионова-младшего разбудили среди ночи приглушенные голоса, доносившиеся с кухни. Мельхиоровый свет более не изливался на мир. За окном шумел глухой черный ветер с дождем и листьями. Илларионов-младший приоткрыл балконную дверь, и словно холодный, насыщенный влагой, плотный воздушный цилиндр толкнул его в грудь. Он не успел испугаться, потому что сразу узнал

голоса: отца и своего крестного — отцовского сослуживца, генерала Толстого.

Илларионов-младший сомневался, что генерал Толстой присутствовал в церкви при его крещении, но тот сам называл себя его крестным и вел себя, приходя к ним домой, как подобает истинному крестному — трепал Илларионова-младшего по вихрам, интересовался школьными успехами, дарил подарки.

Вот только подарки были какие-то странные.

Так, однажды он подарил крестнику глухо запаянную в стеклянном прямоугольнике крупную

бабочку на иголке. Бабочка была не то ушаста, не то рогата. Она решительно не радовала глаз яркими красками крыльев, напротив, была какая-то бежево-шинельная со сложным, напоминающим нерасшифрованные письма майя угрюмым рельефом на крыльях. Называлась она, как свидетельствовала приклеенная белая полоска (неужели генерал Толстой утащил коробку из музея?) – «*Dermaleira junco Dalman*», по-русски – «Совка Юнона». «Это не простая бабочка, – объяснил генерал, – по преданию, такие бабочки попадают человеку на глаза накануне величайших в его жизни

успехов и потрясений. Когда Юлий Цезарь переходил через Рубикон, на плече у него сидела вот эта ушастая дрянь. И в канун мартовских ид — незадолго до того как его убили — «*Dermaleira junco Dalman*» проникла в его кабинет и долго летала там среди мозаик и мраморных колонн».

В другой раз — на день рождения — генерал Толстой подарил Илларионову-младшему тяжелого как гирька медного жука с выгравированным на спине иероглифом. «Тебе сколько исполнилось? Тринадцать? — успел прошептать крестный, пока отец разговаривал в другой комнате по телефону. — Уже, поди,

заглядываешься на девок, ведь так? Эта такая волшебная штучка, — кивнул на медного жука, — в общем, прикоснешься им к девчонке, какая нравится... Сам понимаешь к какому месту... И... все, ноги кверху». От генерала отчетливо пахло коньяком, и Илларионов-младший не поверил ему. Воспользоваться магической силой медного жука можно было только связав девчонку по рукам и ногам. Ну а если какая-нибудь девчонка согласилась бы добровольно испытать жука в деле, то с такой девчонкой можно было поладить и без всякого жука.

И, наконец, совсем недавно он подарил ему небольшое круглое

зеркало, в котором... не отражались люди. Отражались любые вещи, даже кошки, собаки и вороны, но сколько ни пытался Илларионов-младший увидеть себя в этом зеркале – видел пустоту. «Мир многомерен, сынок, – объяснил генерал. – Юности честное зеркало настроено на иную биоэнергетику. – На сей раз он был совершенно трезв. – Ты можешь смотреть в него до глубокой старости и не увидеть ничего. А можешь и увидеть. Но только в том случае, если ты обладаешь той, другой энергетикой. Только вот ведь какое дело, сынок, все почему-то видят разное. И никогда не говорят, что видят. Может, хоть ты скажешь мне,

своему старому крестному, что там увидел?»

Выходя из своей комнаты на звук голосов, Илларионов-младший бросил взгляд на почитающее людей за ничто зеркало.

Оно отражало тьму.

Он знал, что подслушивать нехорошо. Но знал и то, что в основе движения сюжетов, равно как и прозрений, побудительных мотивов действий героев русской литературы почти всегда лежала информация, полученная именно в результате подслушивания. Подслушивал без пяти минут декабрист, как утверждала учительница русского языка и литературы, и враг

крепостного права Чацкий.
Подслушивал любимый
Илларионовым-младшим Печорин.
Подслушивали герои Тургенева.
Болезненно и обреченно
подслушивали у Достоевского. Даже
у великого Толстого (не генерала)
князь Андрей Болконский, скрестив
руки на груди, лунной ночью
задумчиво слушал разговор Наташи
Ростовой и няни. На подслушивании
(если говорить по-простому), как на
фундаменте, основывалась
деятельность могучей
государственной организации, в
которой имели честь трудиться (не
писатель) Толстой и Илларионов-
старший. Подслушивание, таким

образом, являлось делом ничуть не более предосудительным, нежели сама жизнь, ибо слишком тонка, невидима, как лица людей на подаренном генералом Толстым зеркале, была грань между подслушиванием умышленным и невольным.

Илларионов-младший, помнится, поделился своими мыслями с отцом. Тот заметил, что в процессе подслушивания люди, как правило, узнают именно то, что им предназначено узнать. Некая сила как бы помещает их, зачастую помимо их воли, в точку подслушивания. Речь, стало быть, надо вести об этой силе – причине, –

а не о подслушивании — следствии. «Особенность людей такова, — заметил отец, — что историю человечества определяют не поиски причин, а бессмысленная и обреченная на поражения война со следствиями».

— Но ведь есть информация, которую нельзя, невозможно подслушать, — возразил Илларионов-младший.

— Конечно, — согласился отец, — для ее передачи существует тень отца Гамлета.

Илларионов-младший до сих пор не знал, зачем он вдруг вернулся с полдороги и прихватил с собой в точку подслушивания почитающее

людей за ничто зеркало.

За окном по-прежнему шумел ветер. Книжные – красного дерева – шкафы в коридоре жили особенной ночной жизнью, как-то странно вздыхали в такт ветру за окном, должно быть вспоминая время, когда были живыми деревьями и шумели на ветру. Натертый паркет под ногами ничего не вспоминал, не скрипел, и Илларионов-младший встал за сервантом уже в другом, ведущем в кухню коридоре. Судьба определила ему отменную точку не только подслушивания, но и подглядывания. Одна застекленная створка серванта была приоткрыта, видимо, отец доставал рюмки, и

происходящее на кухне как в зеркале отражалось в другой безупречно протертой створке, в которую Илларионов-младший и уставился из своего темного угла, как в экран телевизора.

Отец и генерал Толстой сидели за столом за почти уже пустой бутылкой коньяка.

— Я бы не обращался к тебе, — услышал Илларионов-младший совершенно трезвый голос генерала Толстого, — если бы мог обойтись своими силами. Но тебе известно, что сейчас я совершенно бессилен и наблюдаем со всех сторон. У меня нет действенной структуры. Я ничего не могу. У тебя есть. Ты можешь. Ты,

как и я, знаешь, что времена поменяются. Я буду наверху, а ты внизу. Ты знаешь, что если сейчас откажешься мне помочь, я...

— Сгноишь меня в ЦКБ, — закончил за него отец. — Через... — посмотрел на висящий над столом отрывной календарь, — двадцать девять лет. Кто он сейчас, говоришь? — разлил по рюмкам остатки коньяка.

— Да никто, — усмехнулся генерал Толстой, — всего лишь заведомо в каком-то крайкоме: Карты мертвых и текст из сейфа Хозяина не могут ошибаться...

— Но они ошибались, — перебил отец, — и проливалась невинная

кровь.

— Тебе ли, — усмехнулся генерал Толстой, — лить по ней слезы?

— Не мне, — отец поднял рюмку. В неярком свете бронзовой под пергаментным абажуром лампы рюмка казалась наполненной не коньяком, а золотом. — Лить в глотку коньяк неизмеримо приятнее.

— Генерал, — тихо произнес Толстой, не поднимая ответно рюмки, — ты должен это сделать. Они включили часы. У нас есть шанс перевести стрелки на их часах на семнадцать лет назад! За семнадцать лет...

— Хочешь, скажу, почему ты всегда проигрываешь? — спросил

отец. — Ты палишь из пушек по воробьям, не поднимаешься в пасьянсах выше шестерок.

— Это не шестерка, генерал, — побагровел Толстой, — а если и шестерка, то та, которая успешно сыграет против всех четырех тузов! У нас мало времени!

— Вот как? — удивился отец.

— До первого октября, — уточнил генерал Толстой упавшим голосом.

— Ну да, первого октября Хозяин отрывается от Сатурна, — сказал отец, — ты не сможешь больше получать информацию. Значит, ты уже работал по этому парню из крайкома. И у тебя не получилось. Он под защитой?

– Думаю, что да, – залпом, как водку, выпил коньяк генерал Толстой. – Я не сумел его взять. Ты – сумеешь. Ты сейчас сильнее меня. Да, первого октября Хозяин отрывается от Сатурна. Но ты забыл про карты Руби – карты мертвых, генерал. Хозяин сказал, что хоть и отрывается, все равно пока не прощается. Он спрашивал про тебя, генерал. Он просил напомнить, – генерал Толстой почти шептал, но Илларионов-младший в своей точке подслушивания слышал каждое слово, как будто генерал кричал ему в ухо, – про... «Технологию-36», – отец вздрогнул. – Он сказал, – продолжил генерал Толстой, – чтобы

ты не беспокоился, он взял вину на себя. Он сказал, генерал, что «Технология-36» потянула сильно, поэтому он так скоро отрывается от радуги земного притяжения. Он ни о чем тебя не просил, генерал. Он просто сказал, что «Технология-36» потянула сильно. Кстати, что это такое, генерал?

— То, что не получилось у тебя, — отец медленно, как будто ему было сто лет, встал, отбросив на пол кухни необычайно четкую, почти рельефную тень, добрался до высокого резного шкафчика, где хранилось спиртное, взял новую бутылку коньяка. Илларионов-младший вдруг с изумлением

констатировал, что отец легко, как через лужу, переступил через собственную тень. Но в следующее мгновение он понял, что это вмещалось зеркало, которое он зачем-то держал в руках. Зеркало решило тоже поучаствовать в ночной игре теней и света.

— В тридцать шестом году, — с готовностью подставил рюмку генерал Толстой, — я служил младшим оперуполномоченным в Кыштымском райотделе НКВД. Я готов допустить, что в тот год применялись самые разные технологии, но не думаю, что он имел в виду такую чепуху, как ссылки без суда, пытки без причин или

расстрелы без следствия.

До сего дня Илларионов-младший не видел отца пьяным. Он и сейчас был не то чтобы пьяным, но каким-то безжизненным, обессиленным, как если бы не воздух, а свинец давил ему на плечи, пригибал к земле. Илларионов-младший вдруг вспомнил, что Сатурн — это олицетворение свинца в алхимии. Похоже, неведомый Хозяин, отрываясь от Сатурна, перекладывал весь свинец на плечи отца.

Отец и генерал Толстой выпили по полной рюмке не чокаясь и не закусывая.

— Ты сделаешь, — удовлетворенно

констатировал генерал Толстой. – Ты бы видел этого парня, – продолжил изрядно повеселевшим голосом, – у него прямо на лбу клеймо. Я не представляю, как он поднялся до заботделом крайкома.

– Нет, – вздохнул отец.

– Почему? – совсем другим голосом спросил генерал Толстой. Еще мгновение назад добродушное и пьяненькое его лицо, как будто подернулось серым остывшим пеплом. Из-под мнимо остывшего пепла, как непрогоревшие угли, сверкнули глаза. Илларионов-младший был готов поклясться, что это не были глаза человека.

– Потому что они... не хотят, – с

трудом расправляя плечи под свинцом, ответил отец. – Нет на то их воли, хоть застрелись.

– Они – стадо, – с глубочайшим отвращением произнес генерал Толстой, снова наполнил рюмки. И вдруг, закрыв глаза, продекламировал:

– У плотницкого Господа
престола
Не государыня сидела с
офицером,
А Божья мать гладью
вышивала
И вдаль очами скорбными
смотрела,
Но сухими.

И Михаил Архангел перед
нею,
На меч опершись острый,
как на посох, стоял
И на плечах не золотые
эполеты,
но ледяные крылья
Трепетали грозно.
«Россия, Мишенька? Такой
страны не знаю.
Они же вновь разрушили
Державу им Богом данную.
И Божье имя устами
грязными без устали
поганят.
И на строительстве
церквей цемент воруют.
Кровавыми руками свечи

держат на Пасху Божью,
Без радости шепча:
«Христос воскрес...»
И стариков своих, и деток
на погибель
Обманом из квартир
повыгоняли.
И патриарх у них не тех
благословляет.
И больно уж они на деньги,
Миша, падки,
Да только смысла их не
понимают.
У них, что рубль, что
доллар – все сребреник...
Как, говоришь, их звали?
Русские?
Не знаю таких людей.

Они бандитов возвели на трон и им исправно служат. Забыв, что вовсе не бандиты на кресте грехи их искупали.

Ступай же, Миша, с Богом. Передай им, что они свободны

Отныне от всего — от Бога и от веры. И от меня.

Но только

Не от тебя — твоих мечей и крыльев острых.

Иного не дано. Не я — они сказали.

Ступай. И делай, Миша, с ними

Что захочешь...

– Где-то это уже было, – потер руками виски отец.

– Было, – ответил генерал Толстой. – В девятьсот семнадцатом. Пока еще стишок в архиве на Лубянке. Опубликуют в конце восьмидесятых. Это, так сказать, моя импровизация на тему грядущего. О том времени, которое ты хочешь приблизить. Эх, – махнул рукой, – если б я сочинял стихи и писал прозу! Что там какой-то Роберт Рождественский. Или... – вдруг помрачнел, – Евтушенко. Я жду твоего слова, генерал.

– Ты его знаешь, генерал, –

вздохнул отец.

– Хочешь уподобиться Божьей матери из моего стихотворения? – подмигнул генерал Толстой. – Но почему? Ты ведь знаешь, что возможна и вторая попытка.

– Возможна и третья, – сказал отец, – если в Цинцинатти и Чарльстоне расшифруют тексты внутри текстов.

– Зачем эти древние чудаки писали сто раз по одной и той же кожаной странице разными чернилами? – спросил генерал Толстой. – Как ты думаешь, зачем они это делали?

– Чтобы исследователи как на батискафе спускались вглубь, –

объяснил отец. — Но смысл там открывается только в том случае, если слова определенным образом налагаются друг на друга. Тогда возникает так называемый светящийся текст. Он и есть истинный.

— В прежние годы, — задумчиво проговорил генерал Толстой, — я бы с легкостью доказал, что ты работаешь на ЦРУ.

— Ты всегда был молод душой! — неожиданно и от души расхохотался отец.

— И мне кажется, — продолжил генерал Толстой, — я бы сумел убедить в этом Хозяина.

— Вряд ли, — усомнился отец.

— Он всегда относился к тебе лучше, чем ко мне, — с упреком произнес генерал Толстой.

— Потому что ты глуп, — отрезал отец, — и рубишь как топор.

— Ну ладно, — наполнил рюмки генерал Толстой. — За успех нашего, пардон, уже одного моего безнадежного предприятия! Ты знаешь, — поднял на отца уже не горящие, а стылые, прихваченные инеем, черно-белые глаза, — что я тебя уничтожу, если ты станешь мне мешать.

— Не торопись, — вопреки ожиданиям Илларионова-младшего, отец спокойно чокнулся с генералом Толстым. — У меня еще есть по

меньшей мере двадцать с лишним лет спокойной...

– Жизни и власти, – продолжил генерал Толстой, – которые ты хочешь бросить псу под хвост.

– Жизни, – поправил отец, – всего лишь жизни, генерал.

– Я никак не могу понять, – откинулся на спинку стула, уставился на отца, как будто впервые его видел, генерал Толстой, – почему у меня нет власти сейчас, когда я больше всего на свете хочу сохранить, схватить скобами, как рассыхающуюся бочку, государство, и почему ее будет у меня в избытке – как сейчас у тебя – когда сделать что-либо будет уже поздно? И почему сейчас ты, у которого

власть, не хочешь сделать такой малости — прищелкнуть какого-то ставропольского урода с клеймом на лбу, чтобы продлить существование государства и, следовательно, свою власть по крайней мере еще на семнадцать лет? Почему ты торопишься на тот свет, генерал?

— Ты знаешь первый закон власти, — ответил отец, — она достается только тем, кто к ней не стремится. Но есть и второй: власть, как козыри, приходит к вожделеющим ее, только когда игра уже сделана. Такие как ты, генерал, рано или поздно получают власть, иногда даже неограниченную власть, но уже ничего не могут изменить!

– И последнее, – сочувственно покивал головой, явно оставаясь при своем мнении, генерал Толстой. – Что делать с твоим парнем, генерал? С твоим парнем, который стоит за буфетом и слушает наш разговор?

Голос генерала Толстого (или это с испугу показалось Илларионову-младшему?) превратился в звериный рев. Илларионов-младший выронил из рук зеркало, но чудом успел поймать и чудом же успел зафиксировать в нем дикую какую-то, как на сюрреалистической картине, композицию: на месте отца с рюмкой в руке-крыле сидел огромный черный ворон с ярко-алой,

стекающей по черной птичьей щеке
кровинкой-слезинкой; на месте же
генерала Толстого — и вовсе
диговинное, неизвестное земной
науке животное — то ли барсук, то ли
енот, то ли крыса, но почему-то на
гусеничном ходу и со стволами
вместо лап. Если взгляд ворона с
кровавой слезой был сострадающ, то
взгляд удивительного
милитаризированного крысо-барсука
— холоден и слепящ, как, вероятно,
взгляд карающего мечом врагов веры
Михаила-Архангела из странного
стихотворения.

В следующее мгновение
Илларионов-младший, прижимая к
груди зеркало, бросился, стуча

босыми ногами по натертому паркету, мимо книжных — из красного дерева — шкафов в свою комнату, где упал, едва успев сунуть под подушку проклятое зеркало, в кровать.

И — не иначе как опять от испуга — уснул, а может, потерял сознание.

Проснулся поздним утром от звонка в дверь. На пороге стоял отец.

— Много работы, — он пришел мимо Илларионова-младшего сразу в свой кабинет. — Я звонил вечером, хотел предупредить, что буду ночевать на работе, но ты, наверное, уже спал.

Илларионов-младший не был женат, довольствуясь обществом более или менее (скорее менее, чем более) постоянных подруг, которым он в зависимости от обстоятельств представлялся экспертом министерства культуры, старшим редактором издательства «Наука», а то и политологом-обществоведом, работающим над докторской диссертацией о становлении парламентаризма в постсоветской России. У всех своих женщин — неважно, замужних или разведенных — Илларионов предпочитал

проходить, как выражаются кинематографисты, «вторым планом», а то и «уходящим объектом», то есть отнюдь не героем-любовником, с которым в перспективе можно создать новую семью. Он старался не выходить из образа туповатого, но аккуратного и чистоплотного, следящего за своим здоровьем и уважающего презервативы, бесповоротного холостяка, способного иногда (высший взлет фантазии и щедрости) пригласить даму в средней руки ресторан, ровного и монотонного в житейских и интимных отношениях, которые в общем-то для него не главное, поскольку все помыслы

средненького презервативолюбивого холостячка сосредоточены на заботе о престарелой парализованной матери, прописанной в его квартире, но в настоящее время живущей в Подмосковье у не менее горячо любимой им сестры.

Илларионов совершенно не тяготился одиночеством, порой даже испытывая мрачное (в духе Байрона) удовлетворение от того, что на нем их дворянский, как утверждал отец, род завершится. Неизбывное одиночество, напротив, как бы делало его существом равновеликим окружающему Божьему миру. Существовали две реальности: мир Илларионова и Божий мир — мир

остального человечества.

Илларионов ни единого мгновения не чувствовал себя своим в Божьем мире, всегда переходил его границу вынужденно — как контрабандист с товаром или диверсант с конкретным заданием, — по завершении же операции с глубочайшим облегчением возвращался в собственный (закрытый для других на все двери, окна, замки и т. д.) мир. Окружающая действительность тем не менее представлялась Илларионову в высшей степени подвижной и изменяемой. Входя в нее, он ощущал себя скульптором, под руками которого меняют очертания

непреложные обстоятельства, экономические и политические аксиомы. Тайна Божьего мира заключалась в том, что внутри него было возможно абсолютно все и, следовательно, не существовало цели, которую невозможно было перед собой поставить, но не достигнуть. Все цели были, в принципе, достигаемы, точно так же как все люди смертны. Страшась этого, Творец наслал на зрячих пелену. Люди бродили ощупью в лабиринтах вымышленных закономерностей. И лишь немногие видели кратчайшие пути к поставленным целям. Илларионов-младший благополучно дожил до

сорока двух лет, но знал всего троих, кто видел: отца, генерала Толстого и себя.

Впрочем, тут имело место некое противоречие. Творец, не отказав избранным в возможности видеть, уподобил их летающим в поднебесье коршунам или орлам. Да, коршун отслеживает с необозримой высоты маршрут водяной крысы в прибрежных камышах, а орел — стремительный бег сайгака по пустыне, но ни коршун, ни орел не держат в крохотных, уснащенных острыми клювами головах всей картины раскинувшегося внизу мироздания. Потому-то Илларионову и казалось, что цели, которые

ставили и осуществляли в Божьем мире люди, приносили печаль и страдания отдельным личностям, социальным группам, иногда — целым народам и странам, но порядок мироздания был установлен не ими и не ими, следовательно, мог быть нарушен. Мир развивался как считал нужным. Несовершенная колымага катила своей дорогой. Они же, думая, что забегают поперед колымаги, каждый раз оказывались где-то сзади, на обочине и в темноте. Таким образом, закономерность, открытая Илларионовым, заключалась в том, что никакая, поставленная человеком, цель не оправдывала не только средств,

затраченных на ее достижение, но и самого человека, поставившего себе эту цель.

Теперь Илларионов-младший знал, на чем почти тридцать лет назад сломался отец. Он расфокусировал свое зрение. Как если бы коршун или орел стали одновременно смотреть на небо, в землю, вдаль и вширь. Как ни крути, получалось, что сфокусированный взгляд на мир был столь же ошибочным и неполным, как претендующий на всеохватность, расфокусированный, панорамный. Получалось, что великий Пушкин был прав, утверждая, что нет правды на земле, но правды нет и выше.

Выше Пушкина (памятника на Тверской) сейчас была пульсирующая реклама: «Дровосек» – наше все».

– В сущности, – незадолго перед смертью заметил Илларионов-старший, – наше служение государству – всего лишь некий умозрительный якорь, как бы соединяющий с реальностью. Причем куда более сомнительный, нежели, скажем, служение собственной семье.

– И давно ты пришел к такому выводу? – удивился Илларионов-младший.

– Бог дал ощущение смысла жизни так называемым простакам, – продолжил отец. – Видимо, этот

смысл до того прост и элементарен, что искушенный ум отказывается в него верить. Отсюда, кстати, и революции.

— Простецы — это, если я не ошибаюсь, какой-то средневековый термин?

— Да, но вечный, — ответил отец.

— А как же тогда геополитика? — спросил Илларионов-младший. — В чьих интересах она осуществляется?

— Простецы как дети, — ответил отец, — а дети, как известно, любят игры и верят в них. В основе управления миром лежит эксплуатация детской приверженности простецов к играм. Даже не столько к самим играм,

сколько к их уверенности, что можно не только проиграть, но и выиграть. Между тем выигрыши в этой игре не предусмотрены. Мир давно превратился в империю игр без выигрышей.

— Возможно, — согласился Илларионов-младший, — но государство — это не игра.

— Есть один интересный добиблейский текст, — сказал отец, — мы расшифровали его в конце сороковых. Удивительно, — добавил, помолчав, — но это произошло в день окончания работ по атомной бомбе. Так вот, бог, которому тогда поклонялись люди, наделял, в отличие от богов последующих,

народы не землей, не заповедями, не тучными урожаями или, наоборот, наводнениями и засухами, а государственным устройством. Если люди какого-нибудь народа сильно грешили, он устанавливал у них такое государство, от которого они страдали. Если же народ отличался умеренностью и благочестием, он то получал государство, дарящее ему только радости. Наверное, ты прав – государство это не игра. Государство – приз в игре. Но того бога давно нет...

– Я где-то читал, – вспомнил Илларионов-младший, – что люди, высказывающие сомнение в государстве как единственно

возможной форме разумной организации жизни общества, — большие циники и себялюбцы.

— А я где-то читал, — возразил отец, — что люди, абсолютизирующие значение государства в жизни общества — безжалостные маньяки, опасные прежде всего именно для самого государства. Кстати, Хозяин под конец жизни придумал забавный способ их исправления.

— Посредством расстреливания? — предположил Илларионов-младший.

— Нет. Он всерьез предлагал сконструировать специальную портативную типографскую машинку, которая могла бы в домашних условиях печатать деньги.

Причем не фальшивые, а настоящие — с государственными номерами, водяными знаками и так далее. Каждая подобная машинка могла бы печатать неограниченное количество купюр, но только какого-то одного достоинства. Одна — рубль, вторая — трешку, третья — червонец. Он собирался награждать такими машинками особо отличившихся перед государством людей. В зависимости от заслуг — номинал купюры. Ну и, естественно, выходящих на пенсию ветеранов госбезопасности.

— Зачем? — не понял Илларионов-младший.

— Видишь ли, — усмехнулся

отец, — деньги — любимые игрушки простецов. Привязываясь к деньгам, пусть даже в весьма преклонном возрасте, распределяя их между родственниками, решая сколько надо напечатать, печалясь и досадуя, что вот ему досталась машинка, которая печатает пятерки, а кому-то — червонцы, человек привязывается к жизни. Хозяин рассудил, что служение государству, во всяком случае, в той плоскости, какая отведена нам, сродни пребыванию в аду при жизни. Служение государству можно уподобить служению Каменному гостю, статуе Командора. Стало быть, деньги, — он, естественно, имел в виду наши

социалистические,
безынфляционные и беспроцентные
деньги, — это живая жизнь, свет,
отдохновение от страшных трудов.
Даря человеку такую машинку, он
как бы дарил ему волшебную палочку
— самую вожаделенную игрушку
простецов. Он бы мог сказать: «Я дал
этому человеку все, кроме того, что
ему не может дать никто». Он всегда
опасался людей, равнодушных к
деньгам, хотя сам был к ним
абсолютно равнодушен.

— Через какой же свет тогда он
сам расслаблялся? — поинтересовался
Илларионов-младший.

— Не знаю, — ответил отец, — я
был с ним не настолько близок,

чтобы он меня посвящал. Но думаю, что лучше об этом никому не знать.

...Все это были какие-то необязательные мысли и воспоминания, но Илларионов-младший совершенно точно знал, что необязательных мыслей и воспоминаний не бывает. Он находился у себя дома на Сивцевом Вражке – в коридоре, в любимом кирзовом, доставшемся ему от прежних жильцов кресле. И чем дольше Илларионов сидел в этом кресле, скользя взглядом по полутемному коридору, тем очевиднее ему становилось, что, приблизившись к гадалке Руби, он совершил некую ошибку и что у этой

ошибки куда более сложная природа (сущность), нежели ему показалось вначале.

Подобные ошибки уместнее было называть другим словом — судьба.

Слово «ошибка» в абсолютном соответствии с тезисом из ставшей хрестоматийной статьи крупнейшего русского гиперромановеда Илларионова «Внутренний мир человека и законы гиперромана» заставило его вспомнить давние курсы повышения квалификации.

Генерал Толстой читал на них специальный курс под названием «Термины реальные и мнимые». Повышающие квалификацию сидели

в специальных кабинках (чтобы не видеть друг друга), слушали генерала через наушники, поглядывая на монитор, изображение на котором, по мнению генерала, должно было активизировать работу подсознания. На мониторе в кабине Илларионова в непонятной последовательности сменяли друг друга разноцветные геометрические фигуры и фотографии обнаженных женщин. Сквозь тонированное стекло до него чуть слышно доносились отдельные слова синхронного перевода на французский и ретороманский языки. Лекцию генерала Толстого, стало быть, слушали не только соотечественники.

По мнению генерала, не ошибался в этой жизни только тот, кто не родился на свет. Он разделял ошибки на: исправимые, трудноисправимые и неисправимые.

Исправимые ошибки – «ошибки Х» – как правило совершались непосредственно исполнителем и им же (в основном, ценой чужих жизней) исправлялись.

Трудноисправимые ошибки – «ошибки Y» – имели место, когда в игру вступали внешние – общественно-политические, государственные, криминальные или метеорологические – факторы, скажем, параллельная операция в данном секторе действительности

другой спецслужбы, которых исполнитель, естественно, предусмотреть не мог. Возможность исправить ошибку Y на месте составляла арифметическую пропорцию «два против восьми». Точно такой же, только в зеркальном отображении – восемь против двух – была и возможность потерять жизнь. Генерал Толстой советовал исполнителям стремиться к сохранению собственной жизни, немедленно уходить с места события, ибо возможность исправить ошибку Y в дальнейшем – уже не на уровне исполнителя – возрастала и составляла четыре против шести.

И, наконец, последняя –

неисправимая ошибка Z – когда на факторы личностный и общественно-политический накладывался фактор судьбы (рока, фатума, предопределения) – наиболее трудно просчитываемый в оперативной и аналитической работе фактор. Ошибка Z выступала в роли той самой последней капли, вызывающей наводнение, камня, порождающего в горах лавину. «Судьба, – помнится, объяснил генерал Толстой, – зачастую вынуждена действовать – реализовываться – через в общем-то лишнее в логической цепи звено – фактор Y – общественно-политическую ситуацию в обществе

— потому что иначе кирпичи бы падали с неба как дождь, а в метро люди умирали бы от сердечных приступов на каждой остановке. Подобный — незакамуфлированный — метод сокращения числа людей, равно как и осуществления разных прочих превращений вызвал бы в обществе куда большие сомнения, чем, скажем, их мнимо естественный характер — в результате политических или уголовных репрессий, военных путчей или законных выборов. Таким образом, — делал вывод генерал, — политика — это штрафная площадка судьбы. Оттого в ней так мало логики и так много грязи и крови».

После чего он предложил слушателям в оставшееся до перерыва время, а оставалось чуть больше десяти минут, изложить на компьютере собственную программу если и не исправления неисправимой ошибки Z , то, по крайней мере ее блокировки.

Илларионов подумал, что (чисто теоретически, естественно) исправить неисправимую ошибку можно только вернувшись в существовавшие ранее — доошибочные — исходные данные, либо с помощью аварийного перевода ситуации в новую реальность. В первом случае была необходима машина времени. Во

втором — помощь инопланетян или Господа Бога.

Илларионов вдруг подумал, что ему нравится сидеть в коридоре по двум причинам. Первая: он чувствует здесь себя в полной безопасности. И вторая: ему никак не отделаться от предчувствия, что смерть к нему придет именно из коридора. Илларионов давно понял, что ничто не дарит человеку столь бездонного спокойствия, как осознание непреложного факта, что суть и смысл сущего заключаются во взаимоисключениях. Илларионову казалось, он знает, что чувствуют нерожденные люди, которые, если верить генералу Толстому, не

совершают ошибок.

А тогда на курсах повышения квалификации он быстро набросал на компьютере первые пришедшие в голову мысли и с легким сердцем покинул лекционную кабину. Илларионов не сомневался, что его мысли не представляют ни малейшей ценности для вечности.

В том, что управление генерала Толстого работает на вечность, не сомневался никто. Об этом, занимающемся высшей, «проникающей», то есть непосредственно воздействующей (как рентгеновские лучи на человека) на действительность, аналитикой двенадцатом управлении

ходили легенды. Никто доподлинно не знал, чем занимается управление и входящие в него отделы. Никто не знал и кто конкретно там работает. Но было известно, что там работают лучшие из лучших, прошедшие умопомрачительные тесты и невообразимые испытания интеллектуалы. Было известно, что уровень секретности разрабатываемых (и, вероятно, проводимых) ими операций настолько секретен, что сотрудники управления не знают друг друга в лицо. Знают только своего непосредственного начальника и генерала Толстого. Таким образом, имелись все основания предполагать,

что таинственный отдел занимается всем. Когда какая-нибудь операция завершалась в высшей степени успешно, ни у кого не было сомнений: здесь потрудились парни генерала Толстого. В случае же скандальных провалов оставалось только горестно недоумевать: почему решили, что смогут обойтись без них?

Илларионов-младший очень удивился, когда через месяц или два после окончания курсов повышения квалификации генерал Толстой предложил ему работать в своем отделе.

— Ты, естественно, не подходишь ни по одному параметру, — обрадовал

генерал, — но ты мой крестник. К тому же у меня есть определенные обязательства перед твоим отцом. Ладно, попробуем.

— Ни по одному параметру? — обиделся Илларионов-младший.

— Во всяком случае, по тем тестам, которые я вам устраивал на курсах, — сказал генерал. — Хотя, подожди, последнюю контрольную я не проверил, — снял трубку, набрал номер. — Данилыч, пришли-ка мне дискеты. Какие? Ну, где ребята писали, кажется... — посмотрел на Илларионова-младшего. — Про ошибки? Что? — швырнул трубку на стол, перевел разговор на селектор, чтобы Илларионов тоже слышал. —

Как сбросили? Ты что, охренел, Данилыч?

— Вы их в течение двух недель не затребовали, — пробубнил Данилыч, — они ушли по автомату на сетевик. С сетевого вам был запрос: в архив или на уничтожение, — вы не ответили. По инструкции неподтвержденная, незатребованная секретка сохраняется только два месяца как безадресная, а потом счищается. Сегодня у нас какое число, товарищ генерал?

— Ты хоть помнишь, что написал? — хмуро спросил генерал Толстой у Илларионова-младшего.

— Смутно, — честно признался тот.

— Будем считать, что написал правильно, — усмехнулся генерал, — иди сдавай дела. А с первого числа — ко мне.

— Чем я буду заниматься? — поинтересовался Илларионов-младший, все еще не веря своему счастью.

— Понятия не имею, — развел руками генерал Толстой, — а если в общих чертах, то исправлять ошибки судьбы.

— Разве это возможно? — удивился Илларионов-младший.

— Только с помощью совершения ошибок еще большего масштаба, — рассмеялся генерал Толстой.

Илларионов-младший

почувствовал, как преисполняется симпатией, любовью и восхищением к этому большому, круглому, добродушному, решительно не похожему на генерала КГБ (так тогда называлась их организация) человеку, который к тому же был его крестным отцом. Из памяти вдруг выветрилось, и как однажды ночью генерал предстал перед ним в образе стреляющего на гусеничном ходу крысо-барсука (позже Илларионов-младший узнал, что странный зверь — реальный персонаж новейшего англо-американского фольклора, и имя ему — Таркус), и как он однажды спросил у отца, в самом ли деле генерал Толстой — его крестный.

Отец ответил: «Если в смысле определения на крест, то да. Тут его можно уподобить Богу-отцу, а тебя – возлюбленному сыну».

Илларионов-младший немало удивился тому, что теплое чувство симпатии и почти сыновней привязанности к генералу Толстому покинуло его уже в лифте, когда он спускался на свой этаж.

Много позже, находясь в добром расположении духа, угостив Илларионова-младшего коньяком «Хенесси» (другого генерал Толстой не употреблял), он покажет ему выдвигающийся из стены шкафчик с титановыми, снабженными наклейками, цилиндрами аэрозолей:

«Симпатия», «Безграничная
симпатия», «Доверие»,
«Откровенность», «Стремление к
сотрудничеству», «Подозрением,
«Ярость», «Обостренное недоверие,
переходящее в ненависть».

– Ты не согласишься, – вздохнет
генерал Толстой, – но эти убожества
срезали финансирование по
аэрозолям. Боже мой, какое
перспективное направление!
Впрочем, я знаю, – добавил
задумчиво, – кому уступить
некоторые идеи... Есть один
корейский парень, он считает себя
богом... Что ж, стендовые испытания
придется проводить на свой страх и
риск. Как ты думаешь, сынок, почему

вычислить и поймать маньяка
гораздо сложнее, нежели
классического, так сказать,
преступника?

— Но вы же тогда были не в
противогазе, — заметил Илларионов-
младший. Он уже проработал
некоторое время в отделе генерала
Толстого и понимал, что обижаться
на генерала за то, что тот
использовал его в качестве
подопытного кролика для аэрозоли
«Симпатия» или «Доверие» смешно,
или, как говорил сам генерал,
«непродуктивно». Обижаться за это
на генерала было все равно что
обижаться на лесоруба за то, что тот
наступил на травинку, спиливая

бензопилой вековое дерево. — Мы с вами дышали одним воздухом в кабинете.

— Дышали, — согласился генерал Толстой, — да только на меня, сынок, аэрозоли не действуют.

— Почему? — спросил Илларионов-младший.

— У меня, видишь ли, другая группа крови, — усмехнулся генерал.

Чем дольше трудился Илларионов-младший у генерала Толстого, тем сильнее укреплялся во мнении, что его шеф — величайший наглец и мистификатор, способный задурить голову любому начальству. Да, отдел занимался аналитикой, но это была какая-то нереальная — в

духе средневековых исследований о количестве бесов, способных без тесноты разместиться на кончике иглы (простой или карбюратора) – аналитика. Генерал Толстой как будто издевался над самим понятием «государственная безопасность».

Так, к примеру, когда в стране начали создаваться различные партии, он велел Илларионову просчитать перспективы партии нищих, если таковая будет создана. Илларионов, как положено, с помощью компьютерного моделирования, экономических и социологических фокусных исследований составил прогноз. Все свидетельствовало о том, что у

партии нищих нет ни малейших шансов занять в обществе сколько-нибудь заметное положение. Она была обречена выродиться в банду хулиганов.

Генерал Толстой внимательно — в присутствии Илларионова-младшего — ознакомился с отчетом. Видимо, прочитанное ему не понравилось. Он встал из-за стола и принялся, как Сталин, расхаживать по кабинету, заложив руки за спину. Вот только вместо трубки он курил редкие (во всяком случае, Илларионов ни разу не видел их в продаже) сигареты «Overlord».

— Странно, — наконец нарушил недовольное молчание генерал, —

мне всегда казалось, что в нашей стране может быть только две партии.

— Одну я знаю — коммунистическая, — усмехнулся Илларионов, — какая вторая?

— Она называется по-разному, — ответил генерал Толстой, — в зависимости от обстоятельств. Но вообще-то это — мафия.

Илларионов молчал, не вполне понимая, какое это может иметь отношение к теме его исследования. То есть он понимал, конечно, что партноменклатура и верхушка преступного мира не сильно заботятся о том, чтобы народ жил зажиточно и достойно, но

сверхзадача довольно дорогого (за государственные, естественно, деньги) фокусного исследования пока от него ускользала.

— Они перетекают друг в друга, как вонючая вода, — продолжил между тем генерал Толстой, — отравляя тело и душу страны. Никакая армия, никакая госбезопасность не в силах их остановить. Их может остановить только третья, не менее страшная и разрушительная сила — госпожа Нищета. А нищета, как вам известно, полковник Илларионов, есть мать диктатуры. Ведь так, сынок? Но это уже второе действие. Нищета, полковник, не может быть

либеральной, демократической или неавторитарной. Твои экономисты-социологи копались свинными рылами в теплых кучах прелых листьев, но не слышали гудящий в кронах ветер. Посмотри на меня, полковник, и ты услышишь этот ветер... — Глаза генерала Толстого вдруг как бы проникли в самую душу Илларионова, и тот запоздало понял, что старая шпана успела нацепить на глаза гипнотические контактные линзы. Они не то чтобы погружали в сон, не то чтобы заставляли терять самоконтроль, но — максимально сосредоточиваться в ответах на поставленные вопросы. Внутри каждого (заранее обдуманного)

ответа как бы открывались пустоты (лакуны), которые немедленно заполнялись новыми, неизвестно откуда взявшимися мыслями.

— Что за бездарное название, сынок, «Союз нищих»?

— Легион обездоленных, — самое удивительное, Илларионов действительно вдруг услышал гудящий над Лубянкой ветер. Глухо гудящий ветер несбывшихся надежд, тщеты, отчаянья и медленно разгорающегося гнева «малых сих». Железный ветер прожитой и проживаемой жизни народа, вдруг начинаемых осознаваться как попусту прожитые и неправильно проживаемые.

— Чего ты тут понаписал? — продолжил между тем генерал Толстой. — Какие парламентские выборы? Какое пикетирование банков? Легион обездоленных возникает из ничего, как вода превращается в лед, и берет власть в течение недели. Иначе на кой черт он нужен!

— Марш голодающих, — услышал удивленный Илларионов собственный голос. — Начинают бабы с детьми. Они выходят одновременно из Иванова, Перми, Твери и Рязани и идут как лавина на Москву. К ним присоединяются промышленные рабочие, колхозники, но главное, воинские части. Они со всех концов

вливаются в Москву, блокируют Кремль. Остальное – дело техники.

– Кто во главе движения?

– Желательно, чтобы это был очень богатый человек, – ответил Илларионов, – с сильными психическими отклонениями. Это должна быть полумифическая личность в легендах и слухах, как рыба в чешуе. Он должен называться не генеральный секретарь, не председатель, не лидер, а... царь! Царь нищих! После переворота с ним должно случиться какое-нибудь чудо, вроде вознесения в небеса на круглом хлебе или блюде с пловом, в результате которого он исчезнет навсегда!

— Ну вот, — довольно рассмеялся генерал Толстой. Илларионов не успел заметить, когда он избавился от гипнотических контактных линз. — А то, написали тут... Согласись, я прав, ведь так, сынок?

Илларионова приятно удивил царящий в управлении дух благодушия и свободы. На генерала Толстого наговаривали, когда утверждали, что его люди не знают друг друга. Знали. Вот только о работе между собой почти не разговаривали.

В управлении (когда Андропов стал Генеральным секретарем ЦК КПСС, оно разрослось, разделилось на отделы, один из которых и

возглавил Илларионов) было много тайн. Илларионов довольно быстро раскрыл первую: народ здесь... ничего не делал!

Генерал Толстой большую часть времени проводил в заставленной металлическими стеллажами с папками (а позже столами с компьютерами) архивной комнате. Илларионов удостоился чести попасть в святая святых не сразу. Примерно полгода новый начальник изнурял его аналитическими исследованиями. То на тему: смогут ли деньги превратиться в доминанту общественного сознания в России. То — о цене на имущество в России в момент цивилизационного кризиса

отношений в обществе.

В тот год Брежневу вручили
пятую золотую звезду.
Просиживающий штаны на
партийных и профсоюзных
собраниях, с томлением ожидавший
(очередь двигалась медленно)
загранкомандировки, Илларионов не
вполне понимал, какое, собственно,
отношение к действительности
имеют его аналитические изыскания.
Что с того, что он, можно сказать,
научно доказал, что деньги никогда,
ни при каких обстоятельствах — ну
хоть умри! — не превратятся в России
в доминанту общественного
сознания; цены же на имущество в
России в момент цивилизационного

кризиса в общественных отношениях будут предельно низки – народ как во сне будет разбазаривать имущество, отдавать его задарма разным мерзавцам, потому что не будет до конца уверен, что это происходит наяву. Вот сейчас прокричит петух, и...

Илларионов, рискуя быть изгнанным из очереди на заграникомандировку, честно поведал об этом генералу Толстому.

– Ты же сам знаешь, что скоро нам придется испытать это на своей шкуре, – шеф ласково обнял Илларионова за плечи, подвел к окну.

Немалый кусок площади перед зданием противостоит естественно

опустел. Но вот перед подъездом стремительно притормозила черная «Чайка». Из подъезда прямо в нее шагнул полный человек в плаще и в шляпе. Это был первый заместитель Андропова – Цвигун. И тут же кусок площади вновь ожил. Из подземного перехода выпростались цыганки в цветных платках, широких, метуших площадь юбках. Илларионов знал (хотя кто не знал?), что Брежнев плох. Но Илларионов знал (что мало кто знал), как хорош (в смысле здоровья) Андропов. Природа как будто отмерила этому отнюдь не афиширующему, скорее, напротив, сознательно скрывающему истинное состояние своего здоровья человеку

жить два века.

Илларионов не вполне понимал, о чем говорит генерал Толстой.

— То, что деньги ни при каких обстоятельствах не превратятся в России в доминанту общественного сознания, — объяснил тот, — свидетельствует как минимум о трех вещах. Денежная система новой России будет периодически и систематически разрушаться, в нее как бы инсталлируются, — когда генерал хотел, он говорил как средней руки социолог, — неизбежные печаль, хаос и отчаянье, переживаемые народом. Из этого следует, что наш рубль на какое-то время будет замещен иностранной

валютой, я думаю, это будет доллар. Но деньги — это часть сознания. Доллары — чужие деньги. Стало быть, сынок, нам предстоит стать свидетелями довольно интересного опыта по пересадке сознания. Полагаю, что ты, как и я, можешь с легкостью предсказать его результат...

Илларионов подумал, что шеф сошел с ума. Иначе чем было объяснить его частые — якобы с научными целями — поездки по сумасшедшим домам страны? «Убогий, — утверждал генерал, — значит — у Бога. Этим несчастным открыты пути Провидения». Он возвращался из поездок

переполненным идеями и планами.

Однажды генерал доверительно сообщил Илларионову, что большинство сумасшедших относит крах страны на период 1989—1992 года.

В другой раз (Илларионов как раз докладывал о предполагаемой цене на имущество) — о новом повороте (как будто Илларионов был в курсе старого) в истории с распространяемой по городам и весям благой (или неблагой) вестью о явлении в Сибири глухонемого Предтечи Христа, а может, Антихриста. Не было на сей счет стопроцентной ясности. Генералу Толстому наконец-то удалось

раскопать в архиве Колпашевского (Томской области) райотдела КГБ документы двадцатишестилетней давности. К глухонемому пророку, как выяснилось, прибилась некая — редкой красоты — медсестра. Когда его поздней ночью пришли вязать, он ушел через прореху в крыше, странно совпав с атмосферным, иногда имеющим место в этих краях в августе, свечением над крышей. Глухонемая столетняя бабка, которой принадлежал дом, естественно, не дала никаких показаний. Медсестру хотели было притянуть за нарушение паспортного режима, но она оказалась беременной, пришлось отпустить. Видимо, медсестра

тронулась умом. До встречи с пророком она была совершенно нормальной. А тут вдруг стала вести себя как самая настоящая глухонемая. Следы ее затерялись. «Я полагаю, — задумчиво проговорил генерал Толстой, — эта дамочка явилась родоначальницей весьма любопытной разновидности сектантства. Они сознательно уходят от слов, от человеческой речи. Им кажется, что в любых произнесенных словах изначально, как азот в воздухе, содержится ложь. Боюсь, они не бесконечно не правы».

Илларионов молча выслушал генеральский бред, а потом поллюбопытствовал — каковы все-таки

сверхзадача и практическое значение проведенного им аналитического исследования о цене на имущество в России в момент цивилизационного кризиса общественных отношений?

— Сверхзадача исследования заключалась в научном установлении обстоятельства, что деньги не превратятся в доминанту... и так далее, — объяснил генерал Толстой. — Но часть людей неизбежно вступит во владение как бы сделавшимся ничейным имуществом и получит деньги. В результате они перестанут быть частью народа, отпадут от него, как сухая, но тяжелая внутри от золота ветвь. Эти люди будут говорить на русском языке, но не

будут иметь ни малейшего отношения к душе России, как не имеет отношения к ее душе тот же доллар. Таким образом, – продолжил генерал, – или народ исторгнет из себя этих людей, изблует их из уст своих и явит миру некую новую – безденежную – цивилизацию, или же новые люди сломают хребет народу, и на территории России возникнет опять-таки новая страна. В ней будут говорить по-русски, но это уже будет не Россия. Как современная Греция не есть Древняя Греция, а нынешние итальянцы – римляне. Практический же, прикладной результат твоего аналитического исследования можно сформулировать так: нам следует

немедленно начать прикапливать доллары, пока доллар официально идет за шестьдесят семь копеек, а неофициально – за три с полтиной; заранее наметить материальную – я не имею в виду тайны бытия, мы владеем ими, как говорится, по определению – собственность, которой мы тоже должны будем завладеть. Необходимо прямо с сегодняшнего дня начать работать по этой собственности. Расставить своих людей, помочь им средствами и так далее. Чтобы в назначенный час быть, так сказать, во всеоружии. Если конечно, – странно закончил генерал Толстой, – нам не придется употребить собранные доллары на

другие цели.

Тогда-то Илларионов и был впервые приглашен в знаменитую архивную комнату, где были собраны труды известных и неизвестных, анонимных и не скрывающих себя авторов, опубликованные и неопубликованные, написанные от руки и напечатанные типографским способом, доступные прочтению и зашифрованные, но все без исключения посвященные будущему России. Самый ранний из этих трудов датировался одна тысяча сто вторым годом от Рождества Христова и был исполнен на необычной — с каким-то металлическим отливом — бересте. Генерал Толстой показал

Илларионову стеклянную страницу, отлитую в Пензе крепостным крестьянином двести лет назад. Тот предупреждал о долженствующей произойти в 1995 году ужасной войне в Южной Африке между племенами тутси (сквозь ноздри которых можно увидеть их внутренности) и хулу (головы которых напоминают задницу носорога). Увидел Илларионов и датированное тысяча девятьсот тринадцатым годом письмо некоего Сабита Хуснутдинова, отправленное дочери Наиле из Уфы в Париж, в котором представитель татарской интеллигенции сообщал дочери о предстоящей в 1941 году русско-

германской войне, а заодно указывал точную дату взятия немцами Парижа – 14 июня 1940 года.

Илларионов подумал, что все в этом пророчестве хорошо, за исключением малости: Сабит Хуснутдинов почему-то «просмотрел» куда более близкую по времени (до нее оставался год) первую мировую войну, начавшуюся в августе 1914-го.

– Каждый уважающий себя балаган, – усмехнулся генерал Толстой, – имеет комнату смеха. Я называю свою – комната будущего.

Илларионов посмотрел на убегающие вдаль стеллажи. Конец комнаты терялся в тусклом

металлическом свечении, в игре теней, одним словом, не угадывался, казался бесконечным как, вероятно, и будущее России.

Генерал Толстой снял со стеллажа металлическую коробку, поместил в нее сочинения Илларионова.

— Всякое знание, как известно, наркотик, — вздохнул, сожалея, генерал. — Знание будущего — это ЛСД, галлюциген, царь наркотиков. Построение собственной концепции будущего, сынок, признак половой зрелости ума. Как там у Маяковского? Калека срыгается в клетке и куда-то там ползет... Ведь так, сынок?

– Эти спортсмены, – кивнул Илларионов на железные коробки, в которых хранились рукописи, книги, плакаты, иконы, стекло, папирусы, глиняные таблички,; берестяные грамоты, восковые пластинки, магнитофонные ленты, перфокарты, рентгеновские снимки, микрочипы и Бог знает что еще, – можно сказать, добежали до финиша. Вы здесь, товарищ генерал, вроде как судья. Кто-нибудь донес эстафету?

– Иные еще бегут, – генерал Толстой с тревожным ожиданием посмотрел вглубь комнаты, как если бы и впрямь находился в сумерках на стадионе, а по большому кругу в сгустившихся тенях бежали

невидимые бегуны. — Но, к сожалению, тенденции очевидны. Всякое оформленное в виде теории ли, партийной программы, философского труда, полемического эссе, буллы, публицистической статьи или футурологического триллера предсказание, как правило, оказывается ошибочным, ложным. И дело вовсе не в том, что авторы недостаточно умны или образованны. Большинство из них — умнейшие люди своего времени. Дело в гордыне. Каждый текст, сынок, как бы взвешивается в небесах на аптекарских весах. И если обнаруживается хотя бы миллионная доля грамма гордыни — текст не

засчитывается. Фальстарт. Ну а кто из нас, писателей и философов, — весело рассмеялся, как ушедший от бабушки, дедушки и волка колобок, генерал Толстой, — берется за перо без мыслишки прославиться? Это все пустые, безмедальные бегуны, сынок, — укоризненно покачал головой, обведя взглядом железные стеллажи. — Умным людям не дано провидеть будущее.

— Кому же тогда дано? — поинтересовался Илларионов.

— Во всяком случае не тем, кто стремится о нем возвестить, — ответил генерал Толстой. — Я бы уподобил будущее колодцу без дна. В него можно заглянуть. Можно даже

услышать некое эхо, как, к примеру, его слышали крепостной стеклодув из Пензы или образованный татарин из Уфы. Но никому из желающих об этом возвестить, поймать будущее за штаны, установить его как, так сказать, научную истину не дано узнать, что там плещется — и плещется ли вообще? — в бездонной глубине слепого колодца. В этот колодец можно только кануть и пропасть, исчезнуть, превратиться в частицу праха... будущего. Будущее — товар, не подлежащий выносу из колодца. Все это, — обвел пухлой рукой стеллажи генерал Толстой, — или случайно услышанное случайными людьми случайное эхо,

или же подробное описание стен колодца без малейшего понятия, что там внутри. Мир устроен так, сынок, что любое знание о будущем изначально ошибочно и ложно.

— Согласен, — сказал Илларионов, — но как быть с теми, кому положено знать будущее по долгу службы?

— Им известны правила игры, — ответил генерал. — Они возделывают свое поле и собирают... — замялся, — поверь мне, довольно скудный урожай, не сбивая цену на товар, не нарушая границ, не сочиняя трактатов, а главное, не стремясь прославиться. Их ведет по жизни не гордыня, сынок, а тяжкий крест. Они

скользят по своему крестному пути, как состав по рельсам. Не завидуй им, сынок. Они крайне редко умирают своей смертью. Не советую, полковник, — дружески взял Илларионова за локоть, повел по направлению к двери, — оставаться последним у одра умирающей гадалки. Особенно, если тебя не приглашали на скромный праздник чужой смерти...

Илларионов-младший полюбопытствовал у отца в один из его приездов в Москву (отец в те годы был приписан к посольству СССР в Новой Зеландии в качестве военно-морского атташе), почему генералу Толстому дана такая воля?

В гражданском костюме, в лаковых темно-вишневых ботинках на доброй подошве, в шерстяном кепи отец походил на пожилого состоятельного английского туриста. Они встретились у входа в Политехнический музей, но вместо музея отправились ужинать в «Националь». Илларионову-младшему претил этот пошлый – в стиле вульгарного ампира – ресторан с решительно ничего не говорящим названием. У отца же с «Националем» были связаны какие-то приятные воспоминания, относящиеся, как понял Илларионов-младший, к началу пятидесятых годов.

В зале для иностранцев они уселись за накрахмаленную, такую белую, что тарелки в ней как будто тонули или растворялись, скатерть. Отец распорядился подать закуски и сухое красное вино.

— Видишь ли, — с удовольствием отпил из бокала, когда официант удалился, — на первый взгляд, генерал Толстой в госбезопасности — примерно то же самое, что Лысенко в биологии. Но не тот Лысенко, который боролся против Вейсмана и Моргана — генерал Толстой не настолько глуп, — а Лысенко, которому действительно удалось бы вывести сорт ветвистой пшеницы урожайностью в двести центнеров с

гектара. Генерал Толстой – уже не какой-то там реальный функционер, которого можно вызвать на ковер, исключить из партии, понизить в звании, он – фантом, дух, домовой, леший, демон, одним словом, та мистическая точка, сквозь которую уходит в никуда, вернее, в иные измерения энергия угасающей, обреченной системы. Уходящая энергия делает его бесконечно сильным. Наивысшего могущества он достигнет в момент окончательного краха. Но его трагедия в том, что он не понимает природы своей силы. Можно привести пример из астрономии: звезда – «красный гигант» – прежде чем взорваться

сжимается в «белый карлик». Я бы советовал тебе держаться от него подальше.

Илларионову-младшему не понравилось, что это было произнесено как-то походя, между салатами в преддверии блюда под названием «бризоль» и запотевшей «Столичной».

— А что же ты, — спросил он, — не помогаешь товарищу спасти вскормившую вас систему?

— Как бы тебе объяснить, — не обиделся отец, — есть генералы от наступления и генералы от отступления. Таланты первых проявляются, когда армии идут вперед. Таланты вторых, когда —

откатываются. Впрочем, – разлил по
рюмкам водку, – решай сам. Я в твои
годы уже ходил в комбригах.
Отступление – это, в общем-то,
родовые схватки новой цивилизации.
Некоторым умельцам удастся
проскользнуть в утробу, по-новой
ворваться в мир на плечах младенца.
Толстой собрал в своем управлении
людей, которым, как он полагает, в
силу их природных или
приобретенных способностей, или
по каким-то иным причинам, поверь
мне, такие причины имеют место
быть, по силам решать задачи
глобального масштаба. И, что очень
для него важно, без малейшего
участия со стороны государства,

вообще без всякой помощи извне. Грубо говоря, тебе, к примеру, семнадцатого августа одна тысяча девятьсот девяносто какого-то года может быть предложено сделать так, чтобы доллар к первому сентября этого же года перестал быть ведущей мировой валютой. Все. Остальное – твои проблемы.

– Это безумие, – чокнулся с отцом Илларионов-младший, – но такая вера в безграничные возможности человеческого разума достойна того, чтобы за нее выпить. За генерала Толстого – человека Нового Возрождения!

– Ты как никогда близок к истине, сын, – улыбнулся

Илларионов-старший. — Когда заходит речь о титанах Возрождения, я всегда вспоминаю золотого мальчика Леонардо да Винчи. Для какого-то празднества у очередного своего герцога ему пришлось выкрасить мальчика золотой краской, вручить ему лук и стрелы, чтобы он изображал резвящегося Купидона. Но по окончании празднества великий Леонардо забыл смыть с него золотую краску, а может, еще не успел придумать соответствующего растворителя. Одним словом, золотой мальчик умер в страшных мучениях. Все капилляры и поры на его коже были зацементированы золотой краской.

Дай-то Бог, чтобы я ошибался, но
сдается мне, все вы в этом
управлении — золотые мальчики и
девочки — специалисты одноразового
применения. Не обольщайся насчет
его дружбы. Он бережет тебя для
звездного часа, который назначит
тебе лично.

Илларионову-младшему
припомнилась мысль ныне почти
забытого римского философа
Семпрония Флакка, который
заметил, что закаты империй
угадываются, когда посреди
незыблемости, мощи и изобилия
присутствует нечто необъяснимо
странное. Илларионов-младший
ощутил это странное в пустом зале

ресторана «Националь» за столом,
застланным белоснежной
накрахмаленной скатертью,
заставленным мельхиоровыми
салатницами, соусницами,
салфетницами у огромного черного
окна, сквозь которое были видны
сюрреалистические в желтой (цвет
предательства и измены) подсветке
кремлевские башни под ярко-алыми,
как некогда увиденная то ли во сне,
то ли наяву на щеке огромного
черного ворона капля крови,
пятиконечными звездами.
Странность заключалась хотя бы в
том, что они вдвоем сидели в
огромном зале (почему больше
никого нет, где остальные

посетители?) и говорили о близком конце государства, в то время когда его подводные лодки несли боевое дежурство в устье Миссисипи, а его спутники фотографировали президента другого государства, справляющего нужду на поросшем ивами берегу ручья во время ловли форели на уик-энде в штате Вайоминг. Илларионов-младший своими глазами видел эту фотографию. Он осознал окончательную и бесповоротную правоту забытого (как всякого истинного пророка) Семпрония Флакка в день (уже правил Черненко), когда в герметично запертом с вечера храме Василия

Блаженного поутру обнаружили неизвестно как туда пробравшегося под километрами асфальта упитанного энергичного барсука.

Генерал Толстой пригласил Илларионова-младшего полюбоваться на помешенного в клетку и доставленного к нему в кабинет толстого хулигана. Барсук вел себя победительно, если не сказать, нагло, посматривая сквозь прутья на генерала Толстого и Илларионова-младшего с каким-то даже превосходством.

Поднимаясь к шефу, Илларионов-младший уже знал, что смертельно больной, ничем не интересующийся генсек Черненко не

только затребовал к себе в ЦКБ полный отчет об этом происшествии, но и распорядился засекретить информацию.

— Что вы с ним собираетесь делать? — поинтересовался Илларионов-младший, с детства относившийся ко всем без исключения животным с сочувствием за все те мучения, которые они (в смысле другие, вообще животные) принимали от людей.

Генерал между тем проводил над барсуком какие-то странные эксперименты. Он свернул трубочкой рубль и сунул прямо в нос барсуку. Тот презрительно отвернулся и

чихнул. Тогда генерал достал из кармана бумажку в один доллар, свернул трубочку, но даже не успел просунуть внутрь, так стремительно барсук сожрал доллар.

— Не прокормишь, — уважительно заметил Илларионов-младший.

Генерал Толстой вызвал помощника.

— Отвезите в ЦКБ, покажите Константину Устиновичу, а потом...

— В лес, — подсказал Илларионов-младший.

— А вот мы сейчас посмотрим, в лес или на псарню. Дай-ка монетку!

Илларионов отыскал у себя юбилейный рубль с Лениным.

— Решка — отпустим, орел — на псарню, — ловко, как если бы частенько этим занимался, подбросил вверх монету генерал, смачно поймал, стиснул в кулаке. Пригласил к кулаку помощника и Илларионова. — Решка. Повезло поросенку, — с некоторым даже разочарованием проговорил генерал Толстой.

Может быть, это только показалось Илларионову, но в глазах пожирающего американские доллары и брезгующего советскими рублями барсука определенно промелькнуло облегчение.

Помощник пригласил двух прапорщиков с носилками. Они

поставили на носилки клетку, унесли барсука, который на прощание сильно омрачил воздух в кабинете генерала.

— Значит, все-таки в храме, — вздохнул он, когда помощник прикрыл за собой дверь. — Жаль. Я надеялся, что он будет в Кремле...

— Какая разница, в Кремле или в храме? — удивился Илларионов. — В Кремле что... сожрет звезды? В храме — кресты?

— Рубль металлический, кстати, береги, — посоветовал генерал. — По пять долларов за железный будут давать. А бумажные деньги, если есть, трать, сынок, не стесняйся.

— Вы хотите сказать, что это

знамение? — осведомился
Илларионов.

— Да ну, какое там знамение, —
махнул рукой генерал Толстой, —
готовый сценарий! Это же новый
хозяин России! Храм Христа
Спасителя восстановит — спасибо, но
наворует, нажрет, нагадит... Выше
головы. Хорь-то посмышленнее будет
барсука. Хорь — охотник — двадцать
девять километров до курятника
покрывает. А барсук жрет все, что
вокруг. Где барсук сел, там народу
помельче — землеройкам, кротам,
ежам — делать нечего. После барсука
— выжженная земля. А после
выжженной земли что? — спросил у
Илларионова генерал Толстой и сам

же ответил: – Красное знамя! Но не сразу, – добавил задумчиво, – ох, не сразу... И... не красное...

Уже тогда Илларионов-младший догадывался, что отошедший отдел отец, превратившийся в Окленде в пожилого респектабельного джентльмена, мягко говоря, упрощает генерала Толстого, сравнивая его с Трофимом Денисовичем Лысенко. Сомнения генерала проистекали не из-за борьбы за ту или иную – правильную или неправильную – истину, идею. Сомнения генерала проистекали из-за того, что он (как в случае определения судьбы барсука) держал в своих руках сразу оба конца веревки – обе истины, оба решения,

оба исхода и мучился не тем, как склонить чашу весов судьбы в пользу одного-единственного, по его мнению, правильного исхода, а — какой исход выбрать. Сомнения генерала можно было уподобить сомнениям Господа во дни творения.

Осознав это, Илларионов-младший забыл про предостережения коротающего дни в Новой Зеландии отца и растворился в воле Демиурга...

Хотя ему казалось странным, что генерал Толстой принимал решения, советуясь с подброшенной в воздух и смачно пойманной в ладонь монетой.

Так было в августе девяносто

первого, когда Илларионов-младший и генерал Толстой смотрели из окна кабинета на огибающую железного Феликса колонну танков и бэтээров. Помнится, колонна вдруг дернулась и замерла.

— Ты будешь долго смеяться, — сказал генерал Толстой, — но они остановились на красный свет перед светофором.

— В таком случае нам надо отсюда сматываться, — пожал плечами Илларионов, — и чем быстрее, тем лучше.

Генерал медленно подошел к письменному столу, достал новейшее высокочастотное устройство, из тех, которыми пользовались выходящие в

открытый космос космонавты. Переговоры по этому устройству было невозможно ни запеленговать, ни подслушать.

— Подними дуло, — сказал генерал в устройство, — я хочу посмотреть, где ты.

Один из стоящих на площади Дзержинского танков поднял вверх дуло, как пустое древко без знамени.

— Жди команды, — генерал отключил устройство, опустил руку в карман брюк. Сегодня он почему-то был в форме. Лампас на штанине зашевелился, как змея, проглотившая кулак-лягушку. Генерал Толстой извлек из кармана... пятак. — Решка, полковник, — сказал он, — и они

разгонят этих вонючек у Белого дома к чертовой бабушке. Пара залпов зажигательными по вестибюлям — и... — подбросил в воздух монету. — Увы, полковник, — честно предъявил Илларионову орла. — Орел...~— задумчиво посмотрел на пятак. — Ладно, пусть будет орел. Только это не орел, сынок, а барсук. Барсука им надо в герб, а не орла, ведь так? — включил переговорное устройство. — Отбой! Пусть идет как идет. Предоставь это дело судьбе. Ну что, — посмотрел на Илларионова, — займемся эвакуацией комнаты смеха?

...Когда люди нового
председателя комитета, взломав

дверь, ворвались внутрь личного архива генерала Толстого, их взору предстали голые стены и чистые, смотрящие во внутренний двор окна.

— Как вам удалось так быстро вывезти? — спросил Илларионов-младший у шефа, когда мимолетный председатель покинул комитет, успев, правда, поменять его название и передать американцам кое-какие документы.

— Они отозвали его, — усмехнулся генерал Толстой, — им было нужно будущее, а он принес им на блюдечке гнилых посольских жучков... Кто тебе сказал, что я вывез? С Лубянки ничего и никогда не вывозят.

А в октябре девяносто третьего Белому дому повезло не так, как в августе девяносто первого.

Илларионов до сих пор помнил неурочное тепло, душно согревшее столицу, устлавшие набережную Москвы-реки желтые листья, торгующие круглые сутки спиртным ларьки с безвольно повисшими над ними в отсутствие ветра трехцветными флагами, дух угрюмого ожидания и покорности, витавший над расположившейся на набережной Москвы-реки перед Белым домом толпой. Толпа, как во все времена, хотела хлеба и зрелищ. Применительно к такой стране как Россия – водки и зрелищ. И получала

просимое. Ларечники отдавали простому люду дрянную водяру касимовского разлива почти даром. Люди посложнее приспособливали под столы гранитные столбики ограждения набережной и, опершись на парапет, как на стоячую трибуну знаменитого византийского стадиона в Константинополе, на котором, как известно, частенько решалась судьба государства, пробавлялись более изысканными напитками и закусками. К импровизированным кафе как тени подбирались утратившие человеческий облик бомжи, которым новые люди без сожаления отдавали недопитые бутылки. А напротив — через мост —

во всю мощь, как Рим во времена Нерона, полыхало огромное, странной архитектуры, уже и не белое, а черно-белое, как негатив фотографии, от копоти здание.

Илларионов и генерал Толстой оказались на набережной поздним вечером, когда над Москвой-рекой, над горящим зданием встала огромная желтая, как исполняющая желания одной из противоборствующих сторон лампа Аладдина, луна. Отражение пламени ложилось на воду, и казалось, под водой горит не избегнувший, стало быть, судьбы град-Китеж. Генерал Толстой велел шоферу притормозить.

— Это не оригинальный проект, —

недовольно произнес генерал, глядя на горящее здание. — В середине тридцатых по нему собирались строить представительство Аэрофлота. Они, — кивнул на Белый дом, — скопировали, но сделали хуже. По центру, по кресту между окнами должен был быть пропеллер...

— Не думаю, что это повод для того, чтобы стрелять по дому из танков, — заметил Илларионов.

— Но и восстание — не восстание, если его можно задавить тремя танками, ведь так, сынок? — возразил шеф. — Почему эти парни сидят там как кроты и ждут, когда их выкурят наружу? Впрочем, — добавил задумчиво, — можно, конечно,

переменить масть. Есть в загашнике одна десантная часть. Они здесь рядом. У них тактическое ядерное оружие и все что положено. Да только нужны ли нам эти матерящиеся чудачки? – посмотрел на горящее здание. – Что для них Россия?

– А для этих? – кивнул на стоящие, на мосту танки Илларионов.

Генерал Толстой достал из машины побитый, не генеральский какой-то «дипломат», распахнул крышку. Внутри «дипломата» скрывался компьютер, точнее некий переносной электронный КП.

– В сущности, – вздохнул

генерал, – нет более рутинного и неблагодарного занятия, нежели решение судеб мира. Видишь эту кнопку, полковник? Нажми ее три раза с перерывом в одну и две секунды. Через час ребята поменяют власть. Я могу отойти, чтобы не смущать тебя во время принятия исторического решения, – генерал Толстой и впрямь шагнул в сторону.

Дрожащий палец Илларионова завис над кнопкой. Он был уверен, что шеф не обманывает. Несколько раз он почти нажимал, но в последнее мгновение убирал палец.

– Ну что? – обернулся генерал. – А... понимаю, – порылся в кармане, протянул Илларионову неожиданно

тяжелую и большую монету.

«Klement Gottwald, Tricet let Komunisticke strany Ceskoslovenska» – с трудом разобрал Илларионов. Стало быть, почившему в один месяц со Сталиным вождю чехословацких коммунистов, как было сообщено в освободившейся после «бархатной революции» от оков цензуры чехословацкой печати – алкоголику и сифилитику, – предстояло определить судьбу России.

– Давай, сынок, – подбодрил шеф. – Орел – старая власть, решка – новая. Потом будешь внукам рассказывать.

– Нет. Решка – старая, орел – новая, – подбросил монету в воздух

Илларионов, поймал, разжал кулак. — Решка.

— Сынок, — положил ему руку на плечо генерал Толстой, — ты можешь изменить решение.

— Зачем? — пожал плечами Илларионов, смутно ощущая, что все это уже было. С ним или не с ним, но было.

...Много раз впоследствии он вспоминал этот эпизод. Чем больше проходило времени с октября девяносто третьего, тем очевиднее ему становилось, что он совершил ошибку. Ошибку, используя классификацию генерала Толстого, не уровня X, Y или Z, а — вмещающую в себя весь алфавит, ошибку альфа и

омега...

Точно так же и сейчас, сидя у себя дома на Сивцевом Вражке в длинном неосвещенном коридоре в раскритикованном отцом черном кожаном кресле, Илларионов-младший (в этом коридоре ему всегда хорошо думалось) был вынужден признать, что совершил не меньшую ошибку, приблизившись несколько часов назад к приколотой к двери театра имени Вахтангова, как бабочка «*Dermaleira junio Dalman*» к стенке стеклянного прямоугольника, гадалке Руби.

Он совершил ошибку X, когда вместо того, чтобы мгновенно утянуть умирающую гадалку Руби

под колоннаду, попытался оказать ей первую помощь, пережав наощупь пронзенную артерию. Уходящий сквозь толпу как сквозь тополиный пух исполнитель в струящемся кожаном пальто и невесомой, как бы парящей над его головой песцовой шапке вдруг оглянулся и в упор посмотрел на Илларионова.

Илларионов был готов поклясться, что ему знаком этот как стрела летящий и безошибочно настигающий взгляд. В следующее мгновение как будто птица промелькнула под колоннадой. Илларионов вскочил, естественно, ничего не увидел, но понял, что его сфотографировали, причем в

наихудшей — подходящей для обвинения в умышленном убийстве — позиции. Тем не менее, он опять склонился над гадалкой, уже пытаюсь через точку истечения энергии на шее замедлить кровообращение и тем самым снять нагрузку с разрывающегося сердца, и ужаснулся ее последним словам. Это был классический вариант ошибки Y.

Не зажигая света, вытянув ноги, он ожидал у себя в коридоре продолжения — стадии Z. Он был уверен, что ему достаточно просто сидеть и ничего не делать, чтобы совершить эту непоправимую ошибку. Потому что не Илларионов совершал ошибку. Ошибка совершала

Илларионова.

Долго ждать не пришлось.

Телефон вдруг как будто взорвался звонками, путая известные ему мелодии и вплетая в них что-то грозное, доисторическое, библейское, сродни ударам кимвал, которые, как уверял генерал Толстой, сводили с ума, вводили в религиозный и сексуальный экстаз оборванные толпы искателей истины.

— Это я, сынок, — услышал он спокойный и уверенный голос бывшего шефа.

До Илларионова не сразу дошло, что он даже не успел ответить на звонок, снять трубку. Голос звучал

так близко, как если бы генерал принял облик телефона и разговаривал с Илларионовым, глядя на него глазами-кнопками.

— Пришел твой звездный час, полковник. Я за тобой. Посмотри в Окно.

Илларионов, взяв трубку с собой, проследовал в комнату, осторожно выглянул из-за портьеры.

Прямо напротив его окон в ночном арбатском воздухе, как НЛО, висел, мигая единственным синим огоньком, легкий, почти неслышный вертолет, непривычной своей формой напомнивший Илларионову все ту же «Dermaleira junco Dalman».

— Накинь что-нибудь, сынок, и

выходи на балкон. Сейчас я спущу тебе лестницу.

Пухов не сомневался, что главе финансово-промышленной группы «Дровосек» приходилось принимать участие в бандитских разборках. Но, по всей видимости, не приходилось в столь внезапных, мгновенных и жестоких. Дровосек находился в сложном психологическом состоянии, известном как «постшоковая нирвана бизнесмена», когда радость чудесного избавления от смерти сильно омрачается видом пролитой крови и трупов, то есть самой смерти. Вернее, даже не столько видом (Пухов, кстати, был

вынужден признать, что в кабинете Дровосека в пансионате «Озеро» этот вид был ужасен), сколько кинжальным осознанием того, что за этой кровью, этими трупами неизбежно последуют новая кровь, новые трупы. Потому что эта кровь, эти трупы – да, избавление от смерти, но ни в коем случае не решение проблемы. В эти мгновения у бизнесменов возможны настоящие всплески отчаянья, суицидных рефлексов. Майору Пухову были известны случаи, когда люди выбрасывались из окон, хотя, казалось бы, самое неприятное (во всяком случае в этот день и час) уже позади.

Пухов отметил, что бледный, в испарине, как вишневым вареньем с косточками испачканный кровью и мозгами, Дровосек в общем-то держится молодцом. У майора еще было время, чтобы, используя подавленное состояние шефа, задать ему несколько вопросов, но оно стремительно убывало.

Собственно, во всей этой, пока складывающейся для майора крайне удачно, ситуации, два момента его сильно настораживали, ответы же хотелось получить на четыре вопроса.

Его настораживало неожиданное (сказочное) обретение могущественного союзника, почти

невозможное (как выигрыш в рулетку на zero), внезапное совпадение его и Дровосека намерений в отношении генерала Сака, вернее, того разбойничьего скорпионьего питомника, в который отчасти и благодаря усилиям генерала Сака была превращена так называемая Республика Гулистан – перманентно воюющее государство, то съезживающееся под ударами российских войск до периметра защищаемых туманами и лавинами гор, то (во время мирных переговоров) расползающееся по полям и равнинам Кавказа чуть ли не до границ Ставропольского края. Насторожило Пухова и совершенно

неожиданно возникшее на его пейджере сообщение, что директор Федерального центра по борьбе с терроризмом просит майора в отставке срочно связаться с ним по указанному номеру, а также вдруг переданная на пейджер информация о времени вылета из подмосковного Чкаловска очередного борта на Бердянск. Выходило, что желание майора Пухова нанести визит генералу Саку совпадало не только с желанием одного из богатейших людей России — Дровосека, но и — государства (в данный момент в лице Федерального центра по борьбе с терроризмом), которому Пухов когда-то исправно служил, но которое

последние несколько лет не вспоминало про верного майора.

Пухов не верил в подобные совпадения.

Если же говорить о четырех вопросах, которые начальник службы безопасности хотел задать главе крупнейшей в России финансово-промышленной группы «Дровосек», то Пухов руководствовался здесь не столько стремлением узнать не сильно интересующие его последние тайны из жизни шефа (в случае необходимости это сделать было не трудно), сколько желанием сэкономить время.

Майору хотелось знать: как избавляется от трупов Дровосек (его

люди)? Судя по тому, что труп куратора Черноземья Тукало до сих пор не был найден, они использовали достаточно эффективную технологию, обладали в этой области неплохим «ноу-хау».

Майора интересовало: что конкретно требовали от Дровосека братья Хуциевы? Естественно, они требовали деньги. И, естественно, деньги, на которые, как им представлялось, они имели все (или некоторые) права. Пухова интересовало, сколь велика гулийская составляющая в общем исчислении капитала Дровосека и насколько чувствительной длящегоо финансовой империи явилась бы

потеря этой составляющей?

Наконец, Пухов был не прочь задать шефу личный вопрос – о Лене Пак: свободная она девушка или как?

И вопрос для Пухова не очень приятный (он не любил без крайней на то необходимости вмешиваться в чужие отношения), но обязательный, потому что от ответа на него зависело главное – то, что дает преимущество в жестокой игре на выживание. А именно о гарантиях первичного (как дыхание) сохранения тайны в ближнем кругу Дровосека. Это было совершенно необходимым условием для нанесения первого удара. Вопрос о Ремере.

И Пухов его задал.

— Позови Ремера, — Дровосек уже вполне овладел собой и в данный момент пытался шагнуть к бару, чтобы налить себе выпить. Однако сделать это было непросто, потому что на его пути лежал, обратив к потолку то, что еще недавно было лицом (наглым и самодовольным, нехорошим лицом), свежий труп. — Он в курсе.

Пухов выглянул в приемную.

Ремера не было.

Распорядившись по рации никого не впускать и не выпускать из корпуса Дровосека, запретив охранникам подниматься сюда самим, Пухов бросил рацию

Дровосеку, чтобы тот подтвердил и разъяснил, сам же выскочил в коридор.

Коридор был пуст, но он уловил гаснущую тень недавнего движения возле одной из дверей. Это была дверь в женский туалет. Двигаясь в ее направлении, майор рассеянно размышлял, есть у Ремера пистолет или нет?

Вытащив из бумажника металлическую шпильку, Пухов на всякий случай заблокировал замок на двери в туалет, сам же неслышно вошел в соседний – мужской, открыл окно и, пройдя пару метров по почти отсутствующему карнизу, как сверло электродрели – головой вперед, –

ввинтился в небольшое помещение в грохоте разбитого стекла и холоде ворвавшегося внутрь снежного ветра. Он нашел Ремера, сидящего на полу в кабинке, крест-накрест обхватившего голову руками, как будто его прилепившиеся к голове руки могли послужить препятствием для пули, вздумай кто прострелить Ремеру голову. Пистолета у него не было. Майор встряхнул помощника главы крупнейшей в России финансово-промышленной группы за шиворот, заметил, что убегать, не предупредив начальство, нехорошо, после чего повел его, припадающего на ослабевшие ноги, в кабинет Дровосека.

Ремер решительно не нравился майору Пухову. Дровосеку не следовало приближать к себе такого труса.

Майор вспомнил давние (и вечные) споры ребят из своего (и других — аналогичных) подразделения: существуют ли в природе честные и верные трусы? Теоретически выходило, что да, существуют, если никто не предлагает им денег и сильно не пугает. Но в жизни так получалось редко. Честный и верный трус был чем-то вроде оставленного без присмотра поперек людной улицы витринного стекла. Сколько продержится, пока кто-нибудь не

расколошматит к чертовой матери?

Пухов не сомневался: Ремер никогда не простит его за то, что он понял его сущность.

Дровосек окончательно овладел собой. Он даже оттащил за ноги трупы к стене, освободив пространство вокруг круглого стеклянного столика, на котором уже стояла бутылка виски и три толстых коротких стакана-обрубка.

— Помянем грешников, — глаза у Дровосека блестели, и Пухову не составило труда догадаться, что за спасение собственной души шеф уже выпил. — А потом прикинем куда их, сердешных?

Майор почувствовал внезапные

угрызения совести. Он работал у Дровосека всего ничего, а уже дважды предал своего шефа. Конечно, можно было утешаться тем, что это были, так сказать, неумышленные, точнее некорыстные предательства. Некорыстные предательства, между тем, склонность к которым обнаруживают многие люди, являлись, по мнению генерала Толстого, не только неоспоримым свидетельством существования ада, но и неким приуготовлением душ к этому аду. Ибо у некорыстно предавшего страдает в первую очередь именно душа, а не ум или воля. В сущности, ведь и Иуда предал

Христа не за тридцать сребреников, хоть и немалую по тем временам, но отнюдь не решающую всех проблем сумму. Майор Пухов овладел в Германии (а потом и в Москве) девушкой Дровосека. А теперь подвел шефа под меч генерала Сактаганова. Если у генерала Сака доставало сил противостоять в Гулистане всей российской армии, то что для него показательная (и, по его мнению, абсолютно заслуженная) казнь главы крупнейшей в России финансово-промышленной группы?

Пухов прекрасно знал с самого начала, что братья Хуциевы не собирались убивать Дровосека. Иначе пистолеты у них не были бы

на предохранителях, и не сидели бы они беспечно в кабинете, не оставив в тылу человека, то есть не прикрыв собственные, как выражаются американцы, задницы.

...Майор вдруг вспомнил вечер негритянского юмора в Лос-Анджелесе, на который однажды занесла его судьба. Он хотел затеряться в бескрайнем разбросанном городе, но затерялся как-то странно: единственный белый в огромном зале среди негров. Негритянский юмор был своеобразен. «Джо, – обратился с эстрады один негр к другому, – у твоей матери была такая большая задница, что когда она предстала

пред очами Господа, он сказал ей: «Подвинься, Салли, твоя задница застилает мне вид на Землю!»

Майор подумал, что грубость американского английского во многом проистекает от его межрасовой универсальности. «Если бы на русском, – подумал Пухов, – разговаривали еще и негры, латины и китайцы – это был бы совсем другой русский».

Но на русском (кстати, удивительно лаконично, точно и по-своему образно) разговаривали гулийцы, в их числе генерал Сак, под меч которого путем неумышленного, некорыстного предательства, то есть старым и нечестным как мир путем

майор Пухов подвел главу финансово-промышленной группы «Дровосек».

Впрочем, Пухов недолго раскаивался. Он почувствовал себя, что называется, в форме. Майор чувствовал себя в форме, когда окружающая жизнь внутри намеченного им пространственно-временного круга (в данном случае достаточно обширного) – возможные решения, действия, моральные и прочие обоснования вовлеченных в круг людей – как бы растворялись в его воле. Воля майора Пухова была тем воздухом, которым они дышали. Люди превращались в пластилин, и майор был способен вылепить из

этого пластилина все что угодно.

Генерал Толстой вослед великому Декарту любил повторять, что всякая сильная воля — это, в сущности, наказание (бич) для человечества, потому что воля неизбежно побеждает ум. Воля сильнее ума. Трагедия юли, по мнению генерала, заключалась в том, что конечным смыслом ее развития являлась подмена собою ума, стремление избавиться от ума, а если не избавиться, то заставить его плясать под свою дудку. Революции, восстания, войны и прочие общественно-политические катаклизмы генерал объяснял неконтролируемым — раковым —

ростом клеток воли, оформляющихся (это единственная форма взаимодействия воли и ума) в почти всегда злокачественные опухоли-идеологии. Генерал Толстой однажды заметил майору Пухову, что истина заключается во взаимоуничтожении ума и воли. После этого человечество наконец-то обретет ту самую золотую середину, которая в незапамятные времена называлась золотым веком. «Да только где взять такой ум и такую волю, — помнится, опечалился генерал Толстой, — чтобы в результате их столкновения родилось золото, а не пепел?»

— Полагаю, не открою вам большой тайны, — Дровосек помянул

покойных братьев Хуциевых полным стаканом виски, как если бы они были самыми близкими и дорогими ему людьми, – если сообщу, что наша фирма располагает возможностями так похоронить славных гулийцев, что их не найдет никто и никогда.

Пухов в этом не сомневался «Как вора Тукало», – подумал он.

– Не думаю, что это хорошее решение, – спокойно возразил майор, уставясь на Ремера, не притронувшегося к виски. – А ну-ка, выпил... твою мать! – рявкнул Пухов, и Ремер, расплескивая содержимое, поднес стакан ко рту, чуть не захлебнулся виски. – Ему надо расслабиться, он в шоке, –

пододвинул ногой кресло майор. — Присядьте! — Он проделал все это автоматически. Испытывая волю близкого доверенного лица Дровосека, он тем самым опосредованно подчинял себе волю самого Дровосека, который в данный момент с интересом смотрел на упавшего в кресло помощника, но не пенял Пухову за грубость. — Их будут искать. За ними придут к нам. Их следует немедленно, я подчеркиваю, шеф, немедленно отправить... да хотя бы в Лондон или в Париж. Чтобы их нашли там в лесу и желательно с документами, свидетельствующими, что они предали генерала Сака, что они

хотели скрыться. Они застрелены своеобразно. Это надо использовать. Пусть раскручивают вариант мести. В Лондоне, кстати, живет один армянин, у которого вот этот, — кивнул на распростертое тело на ковре. Пухов, — изнасиловал сестру. Необходимо ввести консерванты, — продолжил он, потому что драгоценное время уходило, — чтобы трупы были свежими. Они должны улететь в Европу не позднее сегодняшнего вечера.

— Это будет стоить... — покачал головой Дровосек.

— Дешевле, чем если за нас возьмется генерал Сак, — возразил Пухов. — Хотя, конечно, решать вам.

– Мне нравится этот вариант, – подал петушиный какой-то от пережитого страха голос Ремер, – но у нас самолет летает только в Цюрих. Мы можем сегодня вечером уйти военным коридором. Шестиместный «Дуглас», мы всегда садимся на дозаправку в Кракове.

– А чем, собственно, плох Цюрих? – поинтересовался Дровосек.

– Ничем, – пожал плечами Пухов, – кроме того, что полиция будет устанавливать их личности и проверять въездные визы.

– А в Лондоне или Париже не будет? – усмехнулся Дровосек.

– Что вам за дело до Лондона

или Парижа? – Пухов подумал, что лучше бы Дровосеку больше не пить. – Если у вас коридор до Цюриха и ваши деньги, как я понимаю, в Цюрихе.

– Да, лучше не рисковать, – согласился Дровосек.

Бутылка на столике была почти пуста. Некоторое время глава финансово-промышленной группы смотрел на нее невидящим взглядом. Пухов подумал, что ему, должно быть, видятся миллиарды нелегально вывозимых и ввозимых в Россию долларов. Хотя, конечно, Дровосеку не было нужды возить наличные доллары на самолете. Деньги переправляются иными –

компьютерными – путями.

«Что же тогда он возит на самолете?» – подумал Пухов. – Коридор не есть наше частное предприятие, – вздохнул Дровосек. – Мы только лишь в доле. Свяжись с людьми, – повернулся к Ремеру, – организуй транспортировку груза в Лондон. Благодарю вас за то, что спасли мне жизнь, майор, – может быть, Пухову показалось, но как будто тонкая усмешка тронула губы Дровосека, – а также за дельные советы. Полагаю, что со всем остальным мы справимся сами.

– Полагаю, что нет, – резко возразил Пухов. Он вдруг вспомнил слова генерала Толстого, что жизнь

человека постоянно делится на «до» и «после» потери. «Какой именно потери?» – уточнил у генерала Пухов. «Это философская категория, – объяснил генерал. – Иногда она выражается в конкретном и осязаемом, иногда нет. Но человек знает, знает про свою потерю. В сущности, жизнь есть сплошной подъем, а может, сплошной спуск по лестнице потерь. И есть, наконец, главная потеря, – подвел итог генерал, – до которой человек был один, а после – другой». «Что означает, другой?» – поинтересовался Пухов. «Не знаю, – пожал плечами генерал, – наверное, ему больше нечего терять. Люди

после потери, способны на самые неожиданные вещи».

Майор Пухов подумал, что генерал был прав насчет главной потери. Сегодня утром он узнал про смерть матери, но не стал другим. Он стал другим после других смертей много лет назад в пустыне на границе Афганистана и Пакистана.

Капитан Сергеев, старший лейтенант Борисов, сержант Арцеулов...

Борисов – лучший из известных Пухову снайпер – умер легко. Он лежал на песке лицом вниз. С развороченным черепом, без сознания, но живой. Мозг выпирал из костяных проломов как серая в

красной паутине губка. Мозг был мертв, а сердце все еще билось. Смерть была для него избавлением. Арцеулов — водитель, корректировщик огня, контактный (голыми руками) убийца, подрывник — находился в болевом шоке. У него была до локтя оторвана правая рука и прострелены обе ноги. Пухова искренне удивил промелькнувший в его глазах ужас. Тогда Пухов подумал, что это неподконтрольный страх смерти. Сейчас он понимал, что Арцеулов перед смертью узнал его. Стало быть, причина ужаса была иная. Капитан Сергеев был всего лишь контужен. Он сидел на песке к Пухову лицом. «Ты не поверишь, —

громко, как все контуженные, прокричал капитан, — но я, как только это увидел, сразу понял, что ты это сделаешь». Это были его последние слова. Он неестественно долго оставался в сидячем положении, и Пухову пришлось сделать контрольный выстрел. Он подошел ближе. Капитан сидел на песке, прислонившись к черному, гладкому как зеркало камню. Пухов, помнится, подумал, что это не иначе как метеорит. Камень был гораздо симпатичнее на вид главного — священного для мусульман — черного камня в Мекке. Его удивило, что рядом с камнем лежал не пустой еще пистолет. У контуженного, частично

потерявшего координацию движений Сергеева, естественно, не было шансов, но по крайней мере он мог попытаться... Пухов свято верил в закон сохранения энергии. В конечном итоге главная потеря означала для человека ликвидацию частицы самого себя (собственной души). Майора сильно занимал вопрос: что, в соответствии с законом сохранения энергии, приходит взамен ликвидированного (утраченного) на освободившееся место? «Пепел, сынок, – объяснил ему генерал Толстой, – я называю это – живой пепел. Есть пепел, который стучит в сердце, а есть, который стучит, в душу. Второго в природе

много больше, сынок...»

— Вы что-то сказали? — лицо Дровосека было темно и непроницаемо, каким и должно было быть лицо человека, распоряжающегося жизнями и миллиардами.

Пухов подумал, что открытая генералом Толстым матрица отношений воли и ума вполне переносима на отношения денег и закона. «Большие деньги всегда безбожны и беззаконны, — подумал майор, — во все века деньги, как воля на ум, ведут наступление на закон. Конечная их цель — Подменить закон собою. Но только вернется ли золотой век, — засомневался майор, —

разные там лондонские прибабасы у них в карманах, вроде позавчерашних использованных билетов на подземку. Хотя, вряд ли они бы стали ездить там на подземке...

— Деньги? — спросил Ремер.

— Я понимаю, — усмехнулся Дровосек, — мстящий за сестру армянин вряд ли бы стал шарить по карманам...

— Но лондонские бомжи... — покачал головой Ремер, — вся эта сволочь, промышляющая на помойках вдоль Темзы...

— Перевод, — посоветовал Пухов, — миллионов двенадцать, не меньше, в Лондон на имя господина

Хуциева; через самый грязный банк со страховкой и отзывом суммы в случае не востребоваания в течение суток. Как только Хуциевы будут на месте — деньги должны уйти обратно.

— Логично, — прошептал Дровосек. — У меня такое чувство, майор, что происшедшее не застало вас врасплох. Ваш дар предвидения вызывает у меня искреннее восхищение...

— Это всего лишь моя работа, шеф, — ответил Пухов. — Когда-то она, не скрою, доставляла мне большое удовольствие, сейчас я действую, скорее, по инерции. Если вы испытываете временные финансовые

затруднения, я могу одолжить вам требуемую сумму.

Майор Пухов не собирался этого говорить. Фраза произнеслась сама собой, и это насторожило майора. Он вспомнил, как в добрую минуту в баньке на Лубянке на том самом как бы несуществующем этаже-музее генерал Толстой, всласть намахавшийся веничком, заметил вскользь, что момент присутствия дьявола, так сказать, свидетельство его заинтересованности в происходящем обнаруживается не по запаху серы или ядовитым клубам дыма, а по немотивированно возникающей в разговоре теме денег. Речь идет совершенно о других вещах

– и вдруг откуда-то деньги. «А знаешь почему? – хитро сощурился с полка генерал. – Потому что хозяин всех денег – он! Это его'тер-ритория, людишки, в особенности, богатенькие людишки, на ней сугубо временно. Вот почему, – издевательски закончил генерал, – я стараюсь как можно реже повышать зарплату сотрудникам. Будь моя воля – я бы им вообще не платил!»

– Пока еще я не беру займы у начальников собственной службы безопасности, – сказал Дровосек. – Хотя, не скрою, мне льстит, что у меня работают столь состоятельные люди, – повернулся к Ремеру. – Проведи платеж через

владивостокский Океан-банк. У
хозяина как раз подходящая
фамилия... Кутуб-заде, да? А
возвращение — только через
Центральный с соблюдением всех
формальностей. У нас мало
времени. — Ремер вышел. — Хотя вы и
богаты, как Крез, майор, — шеф
пригласил Пухова присесть в черное
кожаное кресло перед стеклянным
столиком, — я тем не менее почему-
то уверен, что ваше коммерческое
предложение не связано с деньгами.

Майор Пухов подумал, что всю
историю его отношений с генералом
Толстым можно уподобить долгому
качанию на качелях между двумя
мыслями: генерал гениален —

генерал безумен. Как всякий гениальный безумец или безумный гений, генерал Толстой много и с пафосом говорил на отвлекающие темы — о судьбе России, несчастьях, свалившихся на русский народ, и мимоходом и вскользь — о главном. Поначалу майор по наивности полагал, что главное — это деньги. Потом — что власть. Но и власть интересовала генерала только как средство реализации неких целей. Генерал почитал за благо жесткую консолидированную власть, у которой доставало сил и средств на проведение специальных операций в масштабах страны. Нынешнюю российскую власть генерал Толстой

как бы не замечал. Она не могла ни серьезно ему помешать, ни сколько-нибудь существенно помочь.

Пухов однажды спросил его, а как быть с известным тезисом о том, что всякая власть от Бога? «Сердцу Господа милы постепенность и несуетность, — ответил генерал Толстой. — Сей тезис уместен только в отношении наследственных монархий. Потому-то, кстати, они и были повсеместно ликвидированы. Но он совершенно неуместен в моменты роения, как сейчас в России. Неужели тебя не удивляет, майор, что на многих старинных гравюрах дьявол изображался в виде кошмарного насекомого. А ад — это

же классический муравейник, точнее — не будем оскорблять этих симпатичных созданий — антимуравейник». «И все же не понимаю, чем, собственно, плох момент роения? — помнится, не согласился Пухов. — В обществе утверждаются новые идеалы, к власти приходят новые люди, наконец, из ничего возникают огромные состояния...» «Насекомые, — перебил генерал, — самые жестокие твари, из всех живущих на земле. Есть мнение, — он понизил голос, как будто был членом Политбюро, в то время как Пухов — всего лишь членом ЦК, передавал же ему генерал Толстой неофициальную

точку зрения Генерального секретаря, — что их создал... вовсе и не Бог! Ладно пчелы, но... пауки, истязавшие животных оводы? В момент роения, майор, общество существует по законам преисподней, то есть вне жалости, милосердия и первичной совестливости, свойственных теплокровным млекопитающим. Ведь так? Затянувшийся момент роения, майор, это уже не временный, так сказать, прорыв некоей силы, это — приуготовление человечества к чему-то совсем новому, неожиданному, но неоднократно предсказанному». «Вы имеете в виду... Антихриста?» — Пухов в ужасе вспомнил его же,

генерала Толстого, слова, что умные люди в глубокой старости обычно свихиваются на Боге и дьяволе, простые же (генерал употребил средневековый термин — «простецы») — на еде и дерьме. Генерал Толстой, как гениальный человек, свихнулся не на Боге и дьяволе, а на Антихристе, не на еде и дерьме, а на («...изблюю тебя из уст своих...», вспомнил Пухов Библию) блевотине, и не в старости, а гораздо раньше, хотя ни майор Пухов, ни другие знавшие генерала люди не представляли, сколько ему лет. Он был всегда. И при этом его как бы не было. Как загадочного этажа-музея с банькой на Лубянке.

– Учитывая специфику товара, с которым вам приходится иметь дело, майор, – сказал Дровосек, – я полагаю, что ваше коммерческое предложение – это чья-то жизнь и чья-то смерть.

– Ваша, ваша жизнь, господин Дровосек, – Пухов разговаривал с главой крупнейшей в России финансово-промышленной группы, но почему-то думал о генерале Толстом, вдруг давшем ему вольную, когда Пухов не только о ней не просил, но был готов работать на генерала даром. «Это мой крест, – вздохнул, прощаясь с ним у дверей кабинета, генерал Толстой, – я отпускаю людей в моменты, когда

они мне нужнее всего». Необъяснимые и нелогичные поступки и действия генерала, столь удивлявшие и огорчавшие майора в последние месяцы их совместной работы, вдруг выстроились перед мысленным взором Пухова в прямую (и кратчайшую из всех возможных) линию к совершенно бредовой цели. «О Боже, – ужаснулся майор, – он действительно в это верит!»

– А чья смерть? – услышал майор Пухов голос Дровосека.

– Генерала Сака, – автоматически и без малейшего выражения произнес он. – Генерала Сака – президента и главнокомандующего вооруженными

силами Республики Гулистан, которому, как я понимаю, вы немного задолжали. Или я ошибаюсь, господин Дровосек?

— Круто, — чуть слышно произнес Дровосек. — Это звучит круто.

— Визит братьев Хуциевых в Лондон — всего лишь отсрочка платежа, — сказал Пухов. — Генерал Сак придет к вам. И вы это знаете.

— Я все время думаю, майор, — посмотрел в окно, где не было ничего, кроме возобновившейся метели, Дровосек, — зачем вы у меня работаете? Кто вас послал? И... не вижу в России такого человека.

— Иной раз, господин

Дровосек, – бросил быстрый взгляд на часы Пухов, – монета встает на ребро, а подстреленная птица падает не вниз, а вверх. Вы еще услышите в новостях про рейд гулийских террористов на станицу Отрадную. Они все время говорят про пожилую женщину, которая не расслышала приказа террористов следовать за ними и была расстреляна на крыльце своего дома. Эта женщина – моя мать, господин Дровосек. Она глухонемая. Как видите, наши намерения в отношении генерала Сака совпадают.

– Значит, вы это сделали...

– Ни в коем случае, – перебил шефа Пухов. – Поверьте, я неплохо

знаю этих людей. Один из них на моих глазах выстрелил совершенно невинному человеку в лицо. У меня не было другого выхода. Вернее, был. Но тогда на их месте сейчас лежали бы вы и Ремер.

— Вы верите в такие совпадения, майор? — покачал головой Дровосек.

«Если бы Бог сел с дьяволом играть в карты, — ни к селу ни к городу вспомнил Пухов слова генерала Толстого, — Бог бы, вне всяких сомнений, проиграл. Вот почему Бог никогда не садится играть в карты с дьяволом».

— Это уже не имеет значения, господин Дровосек. Боюсь, у нас просто нет иного выхода. Сколько вы

задолжали генералу Саку?

— Все, — развел руками Дровосек, — я задолжал ему все, что у меня есть и даже больше.

— Вы должны ему все, что Центробанк списал по так называемым гулийским авизовкам? Но ведь... — замолчал майор.

— Договаривайте, — усмехнулся Дровосек. — Вы ведь хотели сказать, что в этом случае и смерть генерала Сака для меня всего лишь очередная отсрочка?

— Он требует отдать долг?

— Часть долга и очень срочно, — ответил Дровосек. — Но этой части достаточно, чтобы компания рухнула. Они были очень настойчивы, майор.

– Пусть рухнет, – сказал Пухов. – Вы-то, надо думать, не рухнете.

– Что такое финансово-промышленная группа «Дровосек»? – спросил Дровосек и после паузы продолжил: – Когда говорят об историческом выборе России, то обычно говорят о демократии. Когда говорят о демократии в России, то говорят о рыночной экономике. Когда говорят о рыночной экономике, то в первую очередь говорят о частном капитале. Когда говорят о частном капитале, то сразу же вспоминают обо мне, майор, о моей финансово-промышленной группе. Таким образом, исторический выбор

России — это я, Дровосек. ФПГ «Дровосек» — витрина российских реформ, витрина российского рынка. Это сорок миллионов вкладчиков, майор. Если компания рухнет, у нынешнего президента нет ни малейших шансов на очередное переизбрание. Конец компании, майор, это конец правящего режима, пересмотр исторического выбора России. Меня уже предупредили. Вы не назвали цену, майор... Вы не из тех, кто работает даром. Допускаю, что вы не нуждаетесь в деньгах. Чем я должен с вами расплатиться? Неужели... — дико захохотав, Дровосек откинулся в кресло. Он был совершенно пьян.

Н

Едва Илларионов, притворив за собой балконную дверь, с опаской вцепился в гибкую лестницу, вертолет рванулся в ночное небо, как если бы Илларионов был схватившей крючок с червяком рыбой, а вертолет удилищем.

Еще несколько мгновений назад он сидел в теплом кресле в любимом коридоре и если и думал о Чем-то, то о горячей ванне, постели и плавно переводящем в сон детективе, но никак не о холодном осеннем небе и вертолете. Мелькнула мысль, что ют так, наверное (в крайнем отчаянье), отрывается от тела душа в случае неожиданной кончины.

Илларионову было смертельно одиноко в ночном небе над (внизу и справа) обитом медью шпилем МИДа на Смоленской площади. По шпилю, как по колпаку шута бубенчики, бежали красные огоньки. Квадратную верхушку здания как столб подпирал могучий зеленый луч, в сужающемся конусе которого встревоженно летали вороны, но может и предсказанные злокозненные апокалипсические птицы с красными глазами и железными клювами.

Очертания вертолета наверху не угадывались. Вероятно, он был штучно изготовлен по новейшей технологии и был неразличим не

только для локаторов, но и для
глазастых людишек, над головами
которых пролетал с неясными
целями.

Илларионов подумал, что если
крестный вознамерился с ним
покончить, то казнь обещает быть
весьма поучительной и
многоуровневой в смысле
ассоциаций. Тут и Икар,
возомнивший, что может не только
летать подобно птице, но и долететь
до самого солнца. И самонадеянный
Фаэтон, раздолбавший колесницу
Гелиоса. И, наконец, падший (в
переносном, а в случае с
Илларионовым и в самом что ни на
есть прямом смысле) ангел.

Единственно, огорчился раскачивающийся в холодном небе маятником Илларионов, он может не успеть выстроить адекватный своему положению ассоциативный ряд. «Если я маятник, — подумал он, — а судьба — часы-ходики, то самое время меня вздернуть, как гирьку, вверх».

В этот момент лестница и впрямь плавно устремилась вверх. Илларионов понял, что пилот включил лебедку. Он сам не заметил, как плавно втянулся в открытый люк, который мгновенно под ним закрылся, спрятав небо в створках железных пластин, так что Илларионов оказался хоть и в крошечной тьме, хоть и в

полусогнутом, как пейзаж перед сеньором, положении, но как бы на твердом полу. Он пополз вперед и вскоре уткнулся носом в дверь, ведущую — куда же еще? — в кабину.

Илларионов нащупал ручку. Дверь легко подалась, он шагнул внутрь и... ему показалось, что ожидаемое падение наконец-то свершилось — под ноги и навстречу ему, как злые разноцветные осы, бросились огни простирающегося внизу города. Илларионову еще не доводил ось летать в вертолете, кабина которого была прозрачна до такой степени, что казалось, нет никакой кабины, а есть странно отвердевший, принявший форму

эллипса (капли) участок неба.

Победив удивление, Илларионов разглядел штурвал, электронное мигание приборов на новомодной какой-то — вогнуто-выгнутой — панели управления, и, наконец, генерала Толстого в кресле пилота. Имелось и свободное кресло. Машина, стало быть, была двухместной. Илларионов с облегчением поместился в свободное кресло, не в силах оторвать взгляд от плывущего в огнях сквозь ночь, как рыба в чешуе сквозь воду, города.

Илларионов обратил внимание, что небо над Москвой слоисто. Оно как бы являлось безлюдным продолжением города. Определенно

можно было вести речь о некоей архитектуре неба, которое в нагромождении облаков, преломлении света и теней выстроило над настоящим городом воздушную пародию города, небесный, так сказать, антигород. Даже обязательная для всякого уважающего себя города реклама налицествовала в небесном антигороде. Над поразительно прямоугольным и темным, как стеклянный небоскреб, в котором отключили свет, облаком висел сорвавшийся с якоря аэростат с фосфоресцирующими буквами: «Финансово-промышленная группа «ДрoвoсeK»».

Илларионов не мог не обратить внимания, сколь неприкаян и грустен в кресле пилота (Илларионов до сих пор не знал, что ему, оказывается, не составляет сложности управлять сверхсовременным вертолетом) генерал Толстой. В шлеме с наушниками, в теплой кожаной куртке с пугающей эмблемой «U.S. Air Force» крестный выглядел едва ли не более одиноким, чем – совсем недавно – раскачивающийся в небе подобно маятнику крестник. Это была ни с чем не сравнимая печаль пророка, утомившегося от собственного знания. Не знающая исхода печаль человека, которого невозможно обмануть, но от

которого, тем не менее, сокрыта истина, как сокрыта от дальтоника замаскированная посреди белой страницы в красных и зеленых кружочках цифра «6» или «9». Печаль Кассандры, отчаявшейся кого-то в чем-то убедить, взявшейся самостоятельно уничтожить деревянного, наштигованного воинами, как спелый арбуз семечками, коня.

— Который час, сынок? — полюбопытствовал генерал Толстой.

— Без семи двенадцать, — Илларионов удивился, что в столь совершенной машине нет такого простого приспособления, как часы.

— Часы — символ протестантской

цивилизации, – вздохнул генерал Толстой. – Странно, что ни одно из западных государств не вынесло изображение часов на государственный флаг или герб.

– Наверное, они не знают, какое должно быть время на часах, – предположил Илларионов.

– Без семи минут двенадцать, какое же еще? – как о чем-то непреложном, раз и навсегда решенном (о чем глупо спорить) заявил генерал Толстой.

– Почему? – тем не менее уточнил Илларионов. Вертолет никуда не летел, бесшумно покачивался над городом. Илларионову показалось, что он

слышит свист ветра, обтекающего каплевидное тело вертолета. Он подумал о функциональном предназначении этой машины — штурмовик, разведчик, поисковый? Но так ни на чем и не остановился.

— Потому что двенадцать — это конец, исход, п...дец, ведь так, сынок? — охотно объяснил генерал Толстой, — а семь — Божье число. Бог из последних сил держит стрелки, но, похоже, силы его оставляют.

— Неужели отпустит стрелки? — Илларионов подумал, что ради того чтобы узнать о близком конце света, вне всяких сомнений, стоило взлететь среди ночи на вертолете над городом.

— В средние века, сынок, — доверительно склонился к нему генерал Толстой, — меня бы сожгли на костре.

Илларионов вежливо промолчал, не решившись озвучить мысль, что, может статься, это было бы не самое плохое решение средневековых людей.

— Тебе известна наивысшая точка — Джомолунгма, Пик коммунизма — грусти, сынок? Выше которой смертному человеку подняться не дано?

— Выше которой только орлы? — предположил Илларионов.

— Орлы? При чем тут орлы? Кого ты имеешь в виду? — с подозрением

посмотрел на него генерал Толстой.

— Вы полагаете, Пик коммунизма грусти существует?

— Боюсь, что да, — генерал коснулся штурвала и выправил положение вертолета в пространстве относительно некоего, одному ему известного ориентира. Быть может, той самой наивысшей точки — Пика коммунизма — грусти, сомнение в существовании которой выразил Илларионов. — Суть заключается в математическом доказательстве того, что категория истины есть категория отсутствующая. Грубо говоря, в основе политики, искусства, науки и прочих занятий человечества лежит нечто не имеющее места быть, то

есть вакуум, пустота. Или – что угодно.

Илларионов более не сомневался: генерал Толстой просто-напросто издевается над ним! «Кто дал ему этот вертолет? – ужаснулся Илларионов. – Кто позволил ему летать над Москвой? Полеты над Москвой запрещены распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 1998 года за номером ПН-406/8917!»

– В условиях математически доказанного отсутствия истины, – продолжил генерал Толстой, – в разряд чисто умозрительных мнимых величин переходят такие понятия, как долг, служение, идеалы. В

особенности, идеалы... — добавил задумчиво. — Который, говоришь, час?

— Без двух двенадцать, — Илларионову уже не казалась дикой мысль, что генерал Толстой вытащил его сюда с балкона только потому, что оставил дома часы.

— Да, конечно, внутри человека есть нечто отзывающееся, реагирующее на истину, так сказать, изначально встроенный прибор с заводской гарантией — душа, — продолжил генерал. — Но знания, сынок, особенно приобретенные без меры, в отягчающих объемах сначала дезориентируют, потом выводят из строя этот тонкий прибор. Если

верно, что человек на девяносто процентов состоит из влаги, то они выпаривают живую душу, оставляя в сухом остатке гремучую черную соль... А может, пепел. Душа, сынок, – генерал Толстой смотрел уже не Илларионова. Куда-то вбок, по касательной над городом летел его взгляд, – была дана человеку, чтобы ориентироваться в мире простых понятий. Возделывать сад, пасти коз, воспитывать детей, смотреть в окно, как петух топчет курицу, и советоваться с Господом. Так на кой черт надо было все усложнять? На кой черт понадобились деньги? Эти добрые люди были правы, когда сжигали на костре Джордано Бруно и

вразумляли Галилея. Но они проиграли, сынок. Причем не по своей воле... Ага! – буквально влип в прозрачную плоскость кабины генерал Толстой.

Два неоновых луча – зеленый и сиреневый – вдруг стремительно скрестились в некоей точке внизу. От их скрещения родился третий – ослепительно белый – луч, который на мгновение перечеркнул небо, как учитель лист тетради с неверным решением задачи. Вдоль луча, как горсть шелухи от семечек, стремительно пронеслись какие-то... птицы? Нет, пожалуй, не птицы. У тварей были слишком длинные крылья и летели они не по-птичьи –

легко и осмысленно, а тупо и безжалостно, как посланные судьбой дротик или копье. Илларионова неприятно удивило, что вершина странного луча уперлась прямо в крышу его дома. «Куда подевались эти твари? – подумал он. – Неужели сели... на мой балкон? Боже мой, я же не закрыл дверь!»

– Что это? – спросил Илларионов.

– Трагедия новейшей истории, Сынок, – повернулся к нему генерал Толстой, – заключается в том, что истина заменена предначертанием. А что такое предначертание? – сам у себя спросил и сам же себе ответил генерал Толстой: – Предначертание –

это, в сущности, схема, чертеж, под который приходится подгонять живую жизнь. Всякое творчество по живой жизни, всякое реформаторство, сынок, можно уподобить ваянию!.. не по мрамору, а по кровоточащему, сопротивляющемуся, воющему от боли и ненависти мясу! Ты не согласишься, сынок, но это была саранча. Хотя я и сам не верю...

— Саранча? Зимой? Не может быть.

— В отсутствие истины — еще как может, — вздохнул генерал Толстой.

— Если я вас правильно понял, товарищ генерал, — Илларионов более не сомневался, что лучи и

саранча — это какой-то хитрый оптический обман (генерал Толстой, как известно, был большим мастером таких обманов), — вы огорчены тем, что для вас открыто предназначение сущего, но скрыта истина, то есть смысл происходящего?

— Истина хотя бы в том, — ответил генерал, — что русские не любят деньги и собственность, не желают жить по законам денежно-собственнических отношений, но вся Россия сейчас сходит с ума из-за денег и собственности. Или в том, что японцам по складу их души более всего в жизни ненавистна техника. Но они заваливают своей техникой весь мир.

– И что же из этого следует? – Мысль показалась Илларионову интересной, но спорной. Поди разберись, ненавистна японцам техника или нет? Что же касается русских, то Илларионов лично знал многих, готовых ради денег и собственности на все.

– Всего лишь то, сынок, что тезис «пусть расцветают сто цветов» оказался в современном мире несостоятельным, – вздохнул генерал Толстой. – В настоящее время мы в России имеем дело с денежно-собственнической псевдоцивилизацией. Энергия псевдоцивилизации оказалась сильнее воли отдельно взятых

посвященных, скажем так, людей. Всякая же псевдоцивилизация, псевдокультура, как тебе известно из книг, есть преддверие эры Антихриста. Кстати, — генерал Толстой посмотрел вниз, но след белого луча давно истаял в рекламном небе, — как и ночная зимняя саранча.

«Не хотелось бы, — подумал Илларионов, — чтобы эта саранча в данный момент отогревалась у меня дома...»

— И я, и твой отец, — взял штурвал на себя генерал Толстой, и вертолет плавно устремился вверх, — как могли и даже сверх того служили государству. Но согласись, какой

смысл служить государству, когда оно превратилось в основной инструмент псевдоцивилизации? Что

представляет из себя сегодня наше государство? Наше государство, – с величайшим отвращением произнес генерал Толстой, – это машина по переводу денег за границу и наделению собственностью разной сволочи, которая эту самую собственность сжирает как саранча. Я умываю руки! – он поднял руки над штурвалом, и получилось, что генерал как будто решил сдаться невидимому, но определенно находящемуся в небе противнику.

– Куда мы летим? – поинтересовался Илларионов,

потому что внизу показались темная и извилистая под железными мостами Москва-река, Воробьевы горы, дома приемов и служебные особняки членов правительства.

– Я хочу подать рапорт, сынок, – в глазах крестного (или это только показалось Илларионову?) сверкнули слезы. – Мне пора на заслуженный отдых. Я хочу, чтобы ты заступил на мое место...

Илларионов и раньше знал, что его крестный любит покуражиться. Но нынешний его кураж был сродни знаменитому сталинскому: «Вы должны были жаловаться на меня в ЦК!», сказанному, кажется, Туполеву, которого после пяти лет отсидки в

телогрейке доставили в Кремль.

— На чье имя вы будете писать рапорт? — спросил Илларионов. — Кто ваш непосредственный начальник? Директор ДФБ? Президент?

— Президент? — удивился генерал Толстой. — Да-да, в России сейчас правит президент...

Илларионов вспомнил последние слова умирающей гадалки Руби. Собственно, он знал, зачем генерал Толстой выдернул его из теплой квартиры в холодное небо, но не знал, к чему эти бредни о рапорте и пенсии. В нынешней России не существовало человека, которому генерал Толстой мог бы подать

рапорт, вообще не существовало человека, который мог бы принять относительно генерала любое – не важно какое – решение.

– Говорят, что он еще жив, – добавил Илларионов, – и хочет досрочно переизбраться сразу на два срока. Чтобы больше не отвлекаться, не беспокоиться по таким пустякам.

Генерал Толстой заложил крутой вираж. Они прошли над высотным зданием университета в опасной близости от шпиля. Сидящие внизу на стилобате чугунные фигуры с книгами были освещены желтыми прожекторами, и казалось, страшные мужчина и женщина с прямыми спинами читают ночью книгу

судьбы.

— Ты мой самый любимый ученик, — смахнул слезу генерал Толстой, — но у тебя есть один-единственный недостаток: ты непочтителен к старшим.

— Просто я ценю ваше время, товарищ генерал, — возразил Илларионов.

— Как ты думаешь, сынок, — задумчиво посмотрел вниз на определенно превышающий дозволенную скорость «мерседес-600», который буквально брали в клещи два не озаботившихся включить фары джипа, генерал Толстой, — что предопределило конец западной цивилизации?

— Конец? — усомнился

Илларионов.

«Мерседес» в результате хитрого маневра с вылетом на проезжую часть почти ушел от джипов, но люди в джипах решили не искушать судьбу. Сразу две пунктирные огненные линии ушли в темный салон «мерседеса». Он ткнулся бампером в гранитную тумбу набережной, потом, как гимнаст на руки на перекладине, встал на фары и, проломив секцию ограды, ушел метров с пятнадцати, не меньше, вниз, в воду. Илларионов еще сильнее засомневался в близком конце западной цивилизации, когда увидел, что «мерседес» продолжает светить

фарами и в воде, выявляя на дне какие-то бревна и завязанные в узлы металлоконструкции. Илларионов подумал, что вряд ли цивилизация, производящая столь совершенные механизмы, сдастся без боя.

— Конец, — повторил генерал Толстой. — Возникновение псевдоцивилизаций — верный признак конца основной цивилизации. Это метастазы. Вы — молодые — как-то невнимательно читаете Священное Писание. Никто же не говорит о царстве Люцифера или республике Бафомета. Люди, скажем так, в основной своей массе психологически не готовы славить огнедышащую сволочь, которая

пришла, чтобы сжить их со свету. Речь идет о вполне интеллигентном парне, который даже внешне будет напоминать Христа. И речи его на первый взгляд будут звучать логично и убедительно. Я думаю, он будет говорить о праве наций на самоопределение, бичевать пороки власть имущих и провозглашать примат прав отдельной личности над правами организованных сообществ людей, то есть государства. Я бы так определил понятие псевдоцивилизации, сынок: внешняя копия с не поддающимся осмыслению внутренним содержанием — преддверие скорых потрясений.

Илларионов подумал, что определение — хоть сейчас огненными буквами на страницы черной книги, которую (в двух экземплярах) читали на стилобате перед университетом чугунные мужчина и женщина со страшными лицами и прямыми спинами.

— Сказано же, — продолжил генерал Толстой: — «И погубит их душа мертвая, механическая, коей дерзнут они подменить Божий промысел, то есть душу живую, богоданную».

— Где сказано? — удивился Илларионов.

— Ох уж эти древние рукописи, — покачал круглой лысой головой

генерал Толстой, — чем ближе к оглавлению, тем проще с ними работать. В их пророчествах есть одна странная закономерность. Они наполняются смыслом по мере невозможности что-либо изменить. Эти древние письма, сынок, расшифровываются исключительно при помощи тех самых новейших технологий, которые, как явствует из расшифрованных пророчеств, способствуют гибели мира. Сказано, сынок, сказано...

Илларионов взглянул на часы на руке. Одна минута первого. Это было совершенно невозможно! Не могли же они облететь всю Москву, обсудить проблемы мироздания за...

три минуты?

– Компьютер, сынок, – сказал генерал Толстой, – есть альфа и омега конца цивилизации. Я понимаю, что рискую показаться дремучим ретроградом и врагом прогресса, но компьютер, сынок, это и есть покушение на человеческую душу в том виде, в каком замыслил ее Господь, замена ее некоей суммой скверных, разрушительных знаний, создание мертвого, механического аналога души. Компьютер – это медленная или быстрая смерть души. Всемирная компьютерная сеть Интернет имеет все шансы превратиться в отстойник вселенского зла. Эта электронная

вершина горы Брокен, куда, как тебе известно, слеталась на шабаш вся нечисть мира. Но они слетались туда всего раз в год, то есть арендовали гору только на одну ночь. Интернет будет принадлежать им целиком и полностью. Мне, естественно, можно возразить: по Интернету, мол, как по венам течет живая и светлая кровь знаний. Да, отвечу я, но эта кровь заражена СПИДом! Интернет открыт злу, сынок, равно как и всем низменным, извращенным инстинктам. Никто, сынок, ни генеральный секретарь ООН, ни папа римский, ни президент Соединенных Штатов Америки, не в силах контролировать входящие туда и

исходящие оттуда потоки информации. Попавшему туда поначалу кажется, что он попал в райский мир знаний, но на самом деле он попал в страну Антихриста! Как только создание всемирной компьютерной сети будет завершено, как только в нее будет вовлечена большая часть человечества — настанет его эра. Он уже сейчас — нематериально — живет в компьютерных сетях. Но, я полагаю, не так уж долго осталось ждать и его материального воплощения. Я пытался этому помешать. Но каждый раз обстоятельства оказывались сильнее меня, сынок. Один раз я потерял друга — твоего отца, — горько

вздыхнул генерал Толстой, – другой – семьдесят семь миллионов долларов. Я знаю, что не в деньгах счастье, но... – вдруг замолчал. – Я остался без ста рублей и ста друзей...

Илларионов прекрасно знал, что его начальник никогда не говорит ничего лишнего. Особенно когда делает вид, что жалеет о сказанном. Цифра семьдесят семь миллионов возникла не случайно. Илларионов подумал, что лично для него, полковника-отставника, это очень значительная сумма. Но в то же время сумма ничтожна, если речь идет о попытке предотвратить рождение (воплощение, материализацию?) Антихриста.

— Что остается делать нам — скромным контрразведчикам — в сложившейся ситуации? — отчески посмотрел на Илларионова генерал Толстой. — Только читать древние рукописи. И скорбеть... Ты, конечно, можешь послать меня куда подальше, сынок, но его появление предсказано.

— Боже мой, неужели вы верите в эту галиматью? — ужаснулся Илларионов.

— Я бы не верил, сынок, — развел руками крестный, — если бы там речь не шла о том, чему я сам был свидетелем. Видишь ли, сынок, его путь прослежен, начиная с шестого колена. Это страшные страницы — их

можно расшифровать только с помощью самого современного компьютера, но смысл этих древних текстов меняется в зависимости от сегодняшних обстоятельств! Более того, — понизил голос, как будто приготовился сказать что-то крайне вынужденное и неприличное, — от изменений политической обстановки... Я выдаю тебе последнюю государственную тайну России, сынок. Чего ее хранить, раз государство превратилось в инструмент уничтожения государства? Иногда мне кажется, — продолжил генерал Толстой, — что основная цель этих страниц не столько предупредить о нем, сколько

защитить его! То есть увести охотников по ложному следу. Я действительно хочу на пенсию, — потер пальцами виски. — Хотя, сынок, у нас есть еще в запасе лет... тридцать относительно спокойной жизни. Не обязательно в России. Мне так хочется приобрести остров где-нибудь в Полинезии, естественно, подальше от атолла Муруроа, где эти подонки-французы взрывают ядерные бомбы. Я бы позаботился, чтобы ненужные люди меня не беспокоили, открыл бы на острове школу пророков... Потом бы передал ее тебе, сынок... Тридцать лет, конечно, не Бог весть какой срок, но... как там у Пушкина? На свете

счастья нет, но есть покой и воля. Тридцать лет покоя и воли... — мечтательно покачал головой генерал Толстой.

— Сколько вам будет через тридцать лет? — не выдержал Илларионов. — Сто двадцать?

— Я знаю, о чем ты думаешь, сынок, — погрозил ему пальцем крестный.

— Я готов хоть сейчас на остров, — решил не продолжать скользкой (опасной) темы Илларионов. — Как говорится, не выходя из вертолета.

Он подумал, что если и впрямь уподобить душу компьютеру, то слова: «Я знаю, о чем ты думаешь»

всегда таят в себе опасность. На жестком диске души было много разных файлов и далеко не всеми из них следовало гордиться.

— Ты думаешь, отчего бы мне не заняться более приличествующими вещами, такими, к примеру, как поиски философского камня, определение формулы эликсира вечной юности, выращиванием в колбе гомункулуса? — спросил генерал Толстой. — Все это было и ушло, исчезло. Все сущее, сынок, уходит исчезая и исчезает уходя...

— Полагаю, это для вас пройденный этап, — уважительно заметил Илларионов. — Принимая за доказательство ваш возраст,

физическую форму, а также понесенные финансовые потери.

— Я вынужден констатировать, сынок, — рассмеялся генерал Толстой, — что мне не удастся задурить тебе голову. Это еще один довод в пользу того, что ты должен занять мое место.

— Предпочел бы составить вам компанию на острове в школе пророков, — не согласился Илларионов.

— Я не могу бросить страну, сынок, — тихо произнес генерал Толстой, — пока не исчерпаю всех своих и чужих, — бросил быстрый взгляд на Илларионова, — возможностей спасти ее. Благо

страны для меня превыше всего. Я не могу, как твой отец, сойти с дистанции.

— Категория блага темна и многопартийна, генерал, — возразил Илларионов. — Но прежде чем вы поставите передо мной задачу, так сказать, исчерпаете мои возможности, я бы хотел знать, хотя бы в общих чертах, конечную цель.

— Я научу тебя видеть сквозь стены, — словно не расслышал его крестный, — гипнотизировать с помощью стеклянного паука, приколотого к галстуку, предсказывать ближайшее будущее по положению луны относительно средней звезды на кремлевской

башне, определять верность или неверность женщины по левой стороне листа фикуса, научу гадать по кошачьему глазу, по...

— Картам Руби, — подсказал Илларионов, — картам мертвых. — Он посмотрел вперед, и инстинктивно выставил руку. Прямо на лобовое стекло кабины неудержимо наплывал огромный аэростат с фосфоресцирующей надписью: «Финансово-промышленная группа «ДровосеК»».

Но генерал Толстой бросил вертолет вниз как пикирующий бомбардировщик, а над самыми крышами в тонких шипах и белых лилиях спутниковых телевизионных

антенн плавно вывел машину из пике. Крыша была так близко, что Илларионов заметил полыхнувшие у трубы многочисленные кошачьи глаза. Сейчас гадать по ним было просто — кошки были насмерть перепуганы.

— Мы вступаем в область еще более темную и многопартийную, чем понятие блага, — устало произнес генерал Толстой. — Зачем тебе туда, сынок? Человек должен жить в единственном — своем — мире. Проникнув в смежные миры, ты можешь приобрести власть или богатство, но тамошние приобретения здесь оказываются для тебя бесполезными, потому что

нарушается основной принцип мироздания — принцип подобия. Добытые там дары превращаются здесь в свою противоположность, а попросту говоря, в страдание. Смертным людям, сынок, не дано понять эту тоску. Она сильнее времени, сильнее пространства, не говоря об обычных человеческих чувствах. Мы — самые несчастные существа во Вселенной, сынок. Граница между мирами, сынок, есть граница превращения нечто в ничто. Я могу жить еще хоть десять тысяч лет, но я ничто во всех мирах, потому что однажды я имел несчастье перейти границу.

— Я бы этого не сказал, —

Илларионов посмотрел на генерала Толстого и сам испытал ужас, сравнимый с ужасом кошек на крыше у трубы, когда на них спикировал вертолет. У крестного вдруг ввалились глаза, круглая лысая голова как-то съежилась или усохла. Илларионову показалось, что он смотрит в пустые глазницы мертвеца, точнее не человека. Ему захотелось перекреститься. Он едва удержал рвущуюся ко лбу руку.

— Крестись, крестись, сынок, иногда это помогает, — философски заметил вернувший себе прежний облик генерал Толстой. — Кстати, тебе пригодились подарки, которые я дарил тебе в детстве?

— Зеркало, медный жук и бабочка? Нет. Разве только зеркало. Один раз.

— Вот видишь, — опечалился генерал Толстой, — а ведь эти вещицы суть отражение той власти, которая, как ты полагаешь, что-то значит. Теперь ты понимаешь, сынок, сколь иллюзорно мое могущество...

— Где мой отец? — задал Илларионов совершенно неуместный для присутствовавшего на отцовских похоронах сына вопрос.

— Боюсь, что не смогу ответить на твой вопрос, — пожал плечами генерал Толстой. — Там, где он сейчас — там нет логики, там не действуют привычные для нас законы. Я даже

не знаю, помнит ли он тебя?

— О чем он плакал тогда? — перед мысленным взором Илларионова-младшего пронесся рассекающий пространство и время черный ворон со стекающей кровавой слезой. — О чем лил кровавые слезы, когда был вороном?

— О чем может лить слезы ворон, сынок? — усмехнулся крестный. — Или о том, что клевал падаль, или — что пил живую кровь. Но скорее всего — что запивал падаль живой кровью.

— Я... увижу его? — Илларионов-младший, впрочем, не был уверен в точном соответствии глагола «увижу» предполагаемому действию.

— Обещаю, сынок, —
проникновенно и искренне, как и
положено при обмане, произнес
генерал Толстой. — Я знаю, тебя
беспокоит «Технология-36». Я
расскажу тебе про нее, сынок, хоть и
не думаю, что это доставит тебе
удовольствие. Я отвечу на любые
твои вопросы. Это твое последнее
задание, сынок. Потом ты примешь
решение. Если захочешь — займешь
мое место, я проведу решение через
коллегию, подготовлю
соответствующий указ президента.
Или купишь себе остров в
Полинезии, сам откроешь школу
пророков и будешь жить там в свое
удовольствие.

Ядам тебе столько денег, сколько ты пожелаешь. Это даже не задание, сынок. У меня уже нет морального права тебе приказывать. Я всего лишь прошу тебя, сынок, помочь России. Я не могу оставить эту страну, пока существует хоть малейший шанс... Ты ведь знаешь, зачем я поднял тебя в небо, что мне от тебя нужно?

— Выборы, — сказал Илларионов. — Гадалка Руби сказала про выборы. Но почему вы так уверены, что они состоятся?

— Не имеет значения, состоятся они или не состоятся! — генералу Толстому, похоже, надоело играть роль доброго дяди, ласкового

мудреца, волшебника из страны Оз. — Пусть эта плоскость реальности тебя не волнует. Отдай мне выборы, сынок.

— Вы хотите сказать, что не знаете результатов предстоящих выборов? — тихо спросил Илларионов. — Вам не известен результат этих сраных выборов? Гадалка Руби сказала, что...

— Мне известен результат сраных выборов, — еще тише ответил генерал Толстой. Илларионову не раз приходилось наблюдать приступы управляемого генеральского бешенства. — Я знаю, что сказала гадалка Руби. Я не сказал, что мне хотелось бы узнать результаты

выборов, полковник Илларионов! – в прозрачной вертолетной кабине голос генерала гремел, как голос пророка в храме или сержанта на плацу. – Мне нужны сами выборы! Мне нужны все возможные и невозможные варианты их окончательного исхода! Ваша задача заключается не в том, чтобы сообщить мне, кто победит, а кто проиграет – это мне и без вас известно, а в том, чтобы предоставить мне возможность самому решить, кто победит, а кто проиграет. Я ясно излагаю свои мысли, полковник?

– Вы хотите подменить на этом отрезке истории России Господа

Бога? Я вас правильно понял, товарищ генерал? – Илларионов посмотрел вниз. Вертолет висел на Сивцевым Вражком. Длинный, извилистый переулочек был тих и непроницаем, как мистическая река народного волеизъявления. Но рядом ярко и нагло, как фальсификация, светил огнями пьяный Арбат.

– С одна тысяча девятьсот сорок девятого года, – ответил генерал Толстой, – мир управляется по законам киберпространства, то есть незаконно. Сразу во все стороны, задом наперед и в темноте. Путь человечества более не освещается светом праведных душ. Я хочу вернуть Божий промысел на рельсы

линейности, сынок. И ты мне в этой поможешь.

– А если нет?

– До сих пор у нас речь шла о прянике, – генерал Толстой плавно повел вертолет вниз. – Мне бы не хотелось говорить о кнуте, сынок. Единственно могу сказать: это не смерть, это гораздо хуже.

– «Технология-36»? – спросил Илларионов.

– Ты вынуждаешь меня цитировать Достоевского, – рассмеялся генерал Толстой, без малейшего смущения посадил вертолет прямо во дворе дома Илларионова. – С умным человеком и поговорить приятно... Я не ставлю

жестких сроков, сынок, но, сам понимаешь, затягивать смысла нет. — Нажал кнопку на пульте, и прозрачная полость кабины со стороны Илларионова плавно раздвинулась. В теплую кабину ворвался холодный ветер.

— Мне будут нужны те древние рукописи, — сказал, покидая кабину, Илларионов.

— Я знаю, сынок, — ответил генерал. — Всю свою жизнь я только тем и занимаюсь, что меняю прошлое на будущее. Ты их получишь.

И когда Илларионов удалился на несколько шагов:

— Сынок! Ты ничего не хочешь

сказать своему старому крестному?

— Только одно, товарищ генерал, — остановился Илларионов. — Надеюсь, вы знаете, что делаете.

— Хорошо сказано, сынок! — одобрил генерал Толстой. — Помни про саранчу.

Над вертолетом почти бесшумно закрутился винт. Генерал Толстой погрозил кулаком слишком близко приблизившимся к машине бомжам. Бомжи, однако, не сильно держались за жизнь, а потому проявляли в своем движении настойчивость зомби. Возможно, мысль подставить пропащую голову под рубящий винт казалась им не лишенной смысла.

Генералу Толстому пришлось поторопиться со взлетом.

Когда вертолет оторвался от земли, Илларионов, наконец, понял, что именно он напоминает: саранчу!

...Через мгновение вертолет был высоко над Москвой в слоистом рекламном небе. Пролетая мимо неприкаянного аэростата с фосфоресцирующей надписью: «Финансово-промышленная группа «ДровoseK», генерал Толстой снял с пульта телефонную трубку, набрал номер.

Номер ответил не сразу.

— Мельхиорова, — сказал генерал в трубку, — я лечу к тебе на крыльях любви. Можешь встретить

меня на крыше. Я сейчас над
Красной Пресней.

Покойные братья Хуциевы, как и следовало ожидать, приехали в пансионат «Озеро» навестить Дровосека на хорошей машине — японском джипе «Яшида-450». Этот восьмицилиндровый (как его называли, «гоночный вездеход ХХІ века») джип было очень трудно догнать и еще труднее остановить. Его колеса густо пронизывал бронированный корд. Выпущенные из стандартного оружия пули увязали в тяжелых литых колесах чудомашины, как в бронежилете. Было известно, что пять подобных джипов

закуплены управлением охраны президента.

На хуциевском, однако, стояли обычные правительственные номера. Имелась и мигалка. Объявленные во всероссийский розыск как государственные преступники, братья, стало быть, не томились в пробках у светофоров, в отличие от прочих московских водителей.

Пухов еще раз мысленно похвалил братьев-гулийцев за то, что они приехали одни — без шофера и без охраны. Майору в общем-то нравился этот строгий и мужественный кавказский народ. В большинстве своем гулийцы были прямыми, открытыми людьми. Они

открыто и прямо дружили (делали дела) с людьми других национальностей, в случае же необходимости (когда дела заканчивались или шли не так, как планировали гулийцы), не менее открыто и прямо убивали бывших деловых друзей.

Пухов, впрочем, не уставал удивляться их странному простодушию, видимо, основанному на завышенной самооценке. Долгая (слишком, как выяснилось, для них тесная) близость гулийцев с Россией, в особенности с ее преступным миром, который за годы российско-гулийской войны им удалось в значительной степени под себя

подмять, развратила гулийских паханов, внушила им по отношению к русским (преступным авторитетам и, вообще, народу) презрение, граничащее с беспечностью. К примеру, братьям Хуциевым и в голову не могло прийти, что если лично они не собираются убивать Дровосека, то в его окружении может отыскаться кто-то, кто захочет (как майор Пухов) убить их. Это явилось для них настоящим откровением. Гулийцы слишком уж уверились в своем праве с легкостью распоряжаться русскими жизнями, которые они ценили не дороже истраченной пули. Подобная уверенность иной раз оказывала им

плохую услугу. Пухов решительно не имел ничего против гордых и свободолюбивых гулийцев, но только до тех пор, пока они не убивали русских.

Впрочем, он допускал наличие так называемой гулийской правды. Пухов имел честь лично выслушать основные ее тезисы из уст самого генерала Каспара Сактаганова, тогда еще не президента и главнокомандующего вооруженными силами Республики Гулистан, а то ли беженца, то ли политэмигранта из СССР, перебивающегося с хлеба (гамбургера) на квас (кока-колу). Генерал сам не понимал своего тогдашнего статуса и, будучи

приверженцем ясных решений и решительных действий, очень от этого страдал. Пухов, помнится, сказал ему, что «гулийская правда» в его толковании — верный путь к истреблению (исчезновению) собственного народа. На что генерал-беженец возразил, что существуют более серьезные, нежели жизнь и смерть, вещи, о которых русские, похоже, забыли. Скажем, честь и достоинство, или суд потомков. Малые народы, объяснил генерал Сак, могли, несмотря на пролитую кровь и доставленные им русскими страдания, разделять судьбу царской и советской России в ее величии, но никакая сила не заставит их

разделять судьбу нынешней (неизвестно какой) России в бесчестье и позоре. Быть сегодня русским, заметил генерал Сак, и не бороться за честь и достоинство своей страны и собственного народа – попросту стыдно.

Не сказать, что Пухову пришлась по сердцу эта прямота. В ней присутствовала изрядная доля истины. Их спор, впрочем, тогда казался майору чисто теоретическим. Ему и в страшном сне не могло привидеться, что генерал Сак начнет последовательно, пункт за пунктом претворять «гулийскую правду» – программу освобождения Гулистана от России

любой ценой, в том числе и ценой самоистребления, в жизнь.

Исследуя салон джипа, майор обнаружил техпаспорт, согласно которому джип значился служебной машиной Министерства Российской Федерации по делам национальностей и региональной политике, а также выправленное честь по чести (в вишневых корочках с гербом) удостоверение начальника отдела этого министерства Нимрода Хуциева. С фотографии на Пухова смотрела надменная усатая морда старшего брата Хуциева. Майор вспомнил, что его зовут Салман, а не Нимрод. У гулийцев не было такого имени – Нимрод. Так звали древнего

ассирийского царя, изумившего тогдашний мир своей жестокостью и массовыми убийствами. Майор же Пухов «изумился числу абсолютно подлинных, заверенных всеми мыслимыми печатями пропусков, предоставляющих право джипу без досмотра и с любым количеством пассажиров въезжать хоть в Кремль, хоть в Дом правительства, хоть в Барвиху. Отыскался и дипломатический паспорт Хашимитского Королевства Иордании, в который опять же была вклеена фотография старшего брата Хуциева, которого на сей раз звали Ахмед Хуциев (достойный гулиец, похоже, ни при каких

обстоятельствах не желал носить другой фамилии, кроме той, которая досталась ему от отца), а под сидением (помимо столь любимого гулийскими боевиками израильского «Узи») — дипломатические иорданские номера. Все это, впрочем, не так сильно озадачило майора Пухова, как авиабилет до Франкфурта-на-Майне с открытой датой на текущий месяц. В течение пяти оставшихся до конца месяца дней «дипломат» из Иордании Ахмед Хуциев должен был или улететь из России, или сдать билет. Хотя, конечно, что такое для уважающего себя гулийца жалкие пятьсот двадцать марок — цена

люфтганзовского билета первого класса?

Впору было порадоваться уместности лондонской версии, но майор Пухов вместо радости ощутил смутную тревогу. Он неплохо знал гулийцев. Их называли ворами, бандитами, разбойниками, террористами, но никто и никогда не называл их трусами. Гулийцы искренне презирали нынешнюю Россию — ее полуизбранного, полусамозванного, полувечного (инфаркто-инсультник, циррозник, алкоголик и лекарственный, подверженный суицидному синдрому токсикоман с одним действующим мозговым полушарием,

он и не думал ни помирать, ни уходить от дел) президента, правительство, Думу, Совет Федерации, воров, народ, казаков, армию, деловой и преступный мир. Даже русских женщин, на которых они когда-то охотно женились, они теперь возили за своими партизанскими отрядами в автобусах, приспособленных под походные бордели. Были известны случаи, когда отцы-гулийцы убивали сыновей, если те не слушались их и женились на русских (украинках, белорусах).

Гулийцы отныне не знали милосердия к славянским женщинам, и в прошлые свои

приезды в Гулистан известный в войсках специалист, консультант, борец против терроризма майор Пухов объяснял армейским старлеям, прапорам и сержантам, что войну с гулийцами лучше было вообще не начинать. А если уж начали, давить надо было сразу, изо всех сил, всей мощью и без пощады. Что сейчас (после того, что сделали с их страной) о чем-то договариваться с гулийцами, заключать с ними какие-то договора —дохлое дело. Они, стиснув зубы, еще терпят русских предателей — разного рода посредников и миротворцев — но до судорог ненавидят всех прочих — нормальных — русских, вообще не

считают их за людей, а потому, если и ведут переговоры, то не держат в мыслях соблюдать записанные условия. Гулийцев надо или отпускать из России, или убивать всех до единого. Поэтому, хоть это и чудовищно звучит, но лучший (для России) гулиец сегодня – мертвый гулиец.

Доводилось Пухову и сиживать на пресс-конференциях, «круглых столах», где речь шла о нарушениях российской армией прав человека в Гулистане, а иной раз и о зверствах российских военнослужащих. Пухов осуждающе кивал, как бы целиком и полностью соглашаясь с говорившими (то из Amnesty

international, то из ООН, то из ОБСЕ, а то и из российских общественных организаций), однако перед глазами у него стоял автобус-бордель, в котором отступающие в горы гулийцы сожгли четырех русских невольниц, предварительно выколол им глаза, отрезав груди и вспоров животы. Автобус должен был сгореть дотла, но неурочный сильный дождь сбил пламя. Подошедший спецназ увидел то, что увидел. То есть истинное, очищенное от слов, эмоций и политики отношение гулийцев к русскому народу (бабам – наиболее обездоленной и беззащитной его части). Пухов вполне допускал, что, возможно, и

русские солдаты иногда вспарывали животы гулийским женщинам, но сути дела это не меняло. В любом вооруженном гулийце он видел личного врага и ненавистника своего народа, которого надо было убить. Пухов, естественно, понимал, что неправ, но ему было плевать. В Гулистане сражались не федеральные войска (федералы, как их презрительно именovala российская пресса) и мятежники-сепаратисты (гулийские бойцы), а народы, и никакой вины Пухова не было в том, что он принадлежал к одному из них.

Поэтому ни один уважающий себя гулиец — а приближенные к

генералу Саку братья Хуциевы входили в элиту гулийской военно-криминальной аристократии — не стал бы приобретать авиабилет в другую страну с открытой датой из одного лишь страха перед российской милицией, которую гулийцы считали трусливой, стопроцентно продажной и бездарной. Даже если братья Хуциевы замыслили гробануть Центробанк или Грановитую палату, им не было нужды в случае неуспеха бежать в Германию. Во-первых, криминальный чин братьев в преступной иерархии был весьма высок. У старшего, по крайней мере, никак не ниже генерал-лейтенанта.

Вряд ли бы они самолично полезли под пули, а потом бы удирали с награбленным от погони. Для этого существовали специальные тренированные, толерантные к наркотикам (чтобы подавить страх) люди. Во-вторых, даже в результате полного провала (это при том, что ни одно крупное банковское и любое другое ограбление в России принципиально не раскрывалось) у них было достаточно времени, чтобы отбыть из столицы с достоинством, приличествующим их положению. К услугам братьев были сотни квартир в Москве, Питере и в других городах России. Их ждали в новых независимых странах, откуда по

требованию российской прокуратуры еще ни разу не выдали ни одного преступника-гулийца. И, наконец, свободная от российских войск горная часть Гулистана – вотчина генерала Сака, – куда им было раз плюнуть добраться из Москвы через Азербайджан или Грузию, а то и напрямик (за хорошие деньги) на российском военном транспортнике с аэродрома в Чкаловске еще и с попутным прикупом оружия.

Речь, выходит, шла об акции, рискованной даже по гулийским понятиям.

Пухов, в принципе, был готов в путь. Все, необходимое для путешествия, лежало в сумке на

сидении джипа. Немалая ценность заключалась в секретных номерах телефонов и пейджеров доверенных людей Дровосека в нужных Пухову – от Смоленска до Краснодара и Нальчика – городах России.

Майор знал государственную власть. Знал криминальную. Знал изменчивую, противоречивую, но достаточно организованную и эффективную власть спецслужб. Теперь-ему представлялась возможность познакомиться с неведомой доселе властью – финансовой. Ремер сообщил, что дал соответствующее зашифрованное уведомление по спутниковой компьютерной сети для всех

региональных структур финансово-промышленной группы «ДровосеК».

— Наши люди сделают для вас все, — заверил Ремер.

— А что могут ваши люди? — поинтересовался Пухов.

— Ну... — задумался Ремер, — скажем, уронить или, наоборот, повысить курс рубля. Закончить гулийскую войну. Поменять правительство. Развалить или вновь собрать страну.

— Почему же тогда, — спросил Пухов, — ваша империя — колосс на глиняных ногах, слон на паутинных ножках? Почему, если вы можете все — вы все время стоите на краю пропасти, готовые каждую минуту

рухнуть вниз?

— Это вопрос не столько экономики, сколько метафизики, — усмехнулся Ремер. — Деньги, конечно, ключ ко многим дверям, но не ко всем. В России с помощью денег открываются двери, которые, казалось бы, не должны открываться этим ключом, но почему-то не открываются те, которым самой природой назначено открываться с помощью денег. В больших деньгах, — задумчиво продолжил Ремер, — присутствует некий дьявольский туман, как в компьютерном гиперпространстве, где не действует линейная логика, в частности, в отношении понятий добра и зла.

Поэтому путь денег не всегда постигается умом. Но одно я могу сказать определенно: деньги ничто там, где ничто — человеческая жизнь.

В государстве генерала Сака — Республике Гулистан — человеческая жизнь почиталась за ничто едва ли не больше (если ничто, конечно, имеет сравнительную степень), чем в России. Но почитались ли там за ценность деньги?

...Майор Пухов вспомнил славный осенний вечер в предгорьях Гулистана. Он коротал его вместе со своими ребятами в просторном — красного кирпича — доме известного гулийского бандита, контролировавшего оборот

наркотиков Юга России, а в данный момент отошедшего с боевиками в горы, где, можно было не сомневаться, у него имелись дома не хуже. Трехэтажный дом стоял посреди реликтовой дубовой рощи на берегу отсутствующей на географической карте быстрой реки, в которой водилась форель. По причине войны форелью не занимались, и она жировала и торжествовала, выпрыгивая из воды, вспыхивая в прохладном воздухе огнем, унося в воду малиновый свет садящегося солнца. В голову шли совершенно неурочные мысли о рыбалке, охоте, а также о красоте и чистоте Божьего мира, неустанно

оскверняемого людьми.

Все было бы хорошо в неразграбленном палаццо на берегу отсутствующей на географической карте быстрой реки, если бы не доносящиеся из гаража стоны гулийцев, от которых ребята Пухова стремились получить ясный и недвусмысленный ответ: где в данный момент находится командующий южным фронтом и одновременно начальник службы безопасности Республики Гулистан Нурмухамед? Команда Пухова планировала взять его именно в этом благословенном месте, в этом просторном доме. Ребята были очень раздосадованы тем, что свидание с

Нуром не состоялось.

Гулийцев было трое. Они держались мужественно. Телохранитель Нура даже успел плюнуть на руки специалиста, подносящие к его яйцам оголенный — естественно, под напряжением — электропровод. Второй — брат жены Нура, то есть шурин главы службы безопасности непризнанной республики — отменный снайпер, уложивший не один десяток русских офицеров (он стрелял только по офицерам и целился всегда только в глаз), похоже, уже ничего не соображал, бормоча монотонные молитвы, повернувшись превращенным в фарш безглазым

лицом к Востоку, в сторону садящегося солнца, которого он более не мог видеть. Должно быть, он готовился к встрече с Аллахом. За свою земную жизнь он убил немало врагов, в смертный час не предал своих и принял муку от неверных. У него были все шансы оказаться в мусульманском раю среди цветов и плодов, шелестящих фонтанов и готовых к любовным утехам гурий.

Единственной надеждой оставался четырнадцатилетний троюродный брат Нура. У него был высокий красивый голос. Он пытался вести себя достойно, как подобает молодому гулийскому аристократу. Но боль была сильнее его воли.

Мальчишка кричал от боли, и его переходящий в рыдание крик стелился над водой, натываясь на выпрыгивающую из воды форель.

— Боюсь, кончится, — подошел к Пухову работавший с мальчишкой специалист. — Уходит, паршивец, в болевой шок. Два раза уже сердце останавливалось. Пусть чуток передохнет?

— Уходим в пять утра, — напомнил Пухов.

— Я еще с ним, конечно, повожусь, — вздохнул специалист, — но ничего не обещаю.

На ночь Пухов устроился в большой комнате у камина. Он уже

засыпал, глядя в огонь. Ему снился сон про какого-то странного собственного сына – с тонким, как бы выточенным из темного дерева лицом и неправдоподобно яркими зелено-синими глазами, смуглого, как если бы его матерью была мулатка. По сну выходило, что майор Пухов разминулся с сыном при жизни. Сын – уже достаточно взрослый парень – сам отыскал его в... Пухов затруднялся ответить где именно. Во сне место напоминало глубокую яму, так называемый мешок генерала Сака, куда гулийцы частенько бросали русских пленных. Только этот мешок был гораздо хуже – ледяной, совершенно без света и с

торчащими из земли острыми шипами. Ни до, ни после мимолетного сна майор Пухов не испытывал такой нечеловеческой, химически очищенной тоски, как на дне земляного мешка, где ему (каким-то образом он это понимал) предстояло пребывать едва ли не вечно. Приснившийся сын был не иначе как большим начальником. На краю ямы вместе с ним стояла почтительная свита. Едва сын успел сообщить Пухову, что отправляется на поиски своего второго(?) отца, отыскать которого будет потруднее, ибо второго отца уже его отец (стало быть, дед сына Пухова, но отнюдь не отец самого Пухова) вытащил с

территории скорби, майора разбудили, сообщив, что пришел старик.

— Какой старик? — Пухов был уверен, что это тот самый отец, вытащивший второго отца сына Пухова с территории скорби. У майора мелькнула безумная мысль: может, он и его вытащит из ледяного, уснащенного острыми иглами мешка? Окончательно проснувшись, Пухов подумал, что в последнее время ему снятся дурные сны.

— Сказал, что хочет говорить с командиром. Без оружия.

Пухов посмотрел на часы. Половина второго. На небе сияли звезды, но вокруг было так много зла,

что небо казалось той самой территорией скорби.

Документы у старика были в полном порядке. Даже слишком в порядке. Одно удостоверение свидетельствовало, что старик является заместителем главы администрации района, признавшего российский протекторат. Оно было подписано марионеточным, сидящим на русских штыках, правителем Гулистана, штаб-квартира которого находилась непосредственно в аэропорту — в пятидесяти метрах от готового взлететь самолета. Пластиковая же карточка с фотографией старика утверждала, что этот пожилой и вряд ли шибко

грамотный гулиец состоит
ответственным наблюдателем
миссии ОБСЕ в Гулистане и, стало
быть, всякое насилие по отношению
к нему есть не что иное, как
преступление против человечности,
что, как известно, приравнивается к
самым тяжким военным
преступлениям. Надпись на русском
и французском языках напоминала,
что виновные в преступлениях
против человечности (читай, против
старика) неизбежно предстанут
перед международным трибуналом в
Гааге.

Обветренное в морщинах лицо,
натруженные руки выдавали в
старике чабана. Но каким-то образом

— раз ему дали такой документ — он был вовлечен в политику. Скорее всего, вынужденно.

Старшее поколение гулийцев, в отличие, скажем, от армянских или грузинских патриархов, практически не участвовало в преступном бизнесе. Пухов относился к гулийским старикам, пережившим гонения и ссылки, с симпатией. Не вызывал у него неприязни и этот старик, хотя взгляд его был абсолютно непроницаем и, казалось, безучастен ко всему на свете. Пухов знал в чем тут дело. Старик переживал глубочайшее разочарование как в русском народе, от которого последние сорок лет в

Гулистан шли законы, врачи, пенсии, учителя, сельскохозяйственная техника, вакцина для прививок людей и скота, а ныне – самолеты с бомбами, танки, гаубицы и убивающие гулийцев солдаты, так и в собственном, как бульдозером, сдвинутом войной в ярость и бешенство, народе. Старик не мог не знать, какие деньги имеет на этой войне гулийская верхушка, включая рядовых командиров. Но вряд ли он мог это выразить словами.

– Слушаю вас, – сказал Пухов, делая знак, чтобы их оставили одних.

– Отпусти мальчишку, командир, – попросил старик. – Зачем вы его мучаете?

— Как только он скажет, где Нурмухамед. Скажи ты. И забирай мальчишку. Он мне не нужен.

— Он не знает, — без малейшей надежды на то, что Пухов поверит, произнес старик.

Все это, впрочем, была прелюдия.

И они оба это знали.

Вздохнув, старик извлек откуда-то из-за плотного шерстяного пояса внушительную пачку стодолларовых купюр. Доллары были совершенно новые, еще пахли типографской краской и странно смотрелись в кривых как сучья, растрескавшихся, с вьевшейся землей руках старика. Отделив на глаз примерно две трети

пачки, старик протянул деньги Пухову. Тот не взял, и старик положил их на низкий столик перед камином. Пухов поначалу подумал, что это так называемые иранские доллары. В Иране еще со времен Второй мировой войны старый, но добротный пресс шлепал вполне качественные доллары и фунты безнадежно устаревших серий. Долгое время станок простаивал, но с началом российско-гулийской войны вновь заскрипел. В условиях боевых действий негде было проверять подлинность банкнот, расчеты же между воюющими сторонами проводились главным образом в долларах. «Иранские

доллары» неплохо ходили и в российской глубинке, но в Европе с ними делать было нечего – в них (в дополнение к устаревшим сериям) содержались фиолетовые волокна, которые Федеральное казначейство США перестало использовать для защиты своей национальной валюты аж в пятьдесят первом году.

Но это были не «иранские доллары». По характерно загнутым правым нижним углам банкнот Пухов определил, что доллары пересчитывали в турецком банке. Это были самые настоящие доллары.

Пухов по-прежнему не прикасался к ним, и старик пододвинул пальцем пачку к нему

поближе. Глядя на его руку, майор вспомнил, как однажды выиграл немалую сумму в казино в Александрии. Примерно такую же пачку долларов в обмен на фишки пододвинул ему в окошке кассы кассир. Касса была устроена таким образом, что лицо кассира увидеть было невозможно. Пухов запомнил только его, пододвигающую доллары, руку — холеную, белую с посеребренными ногтями и огромным бриллиантом на пальце.

— Ты плохой купец, старик, — сказал майор. — Никогда не следует показывать покупателю сумму большую, чем ты хочешь заплатить за товар.

Старик без сожаления присоединил отложенное к лежащему на столе.

— Это все, — сказал он. — Больше у меня нет.

— Сколько здесь?

— Тридцать пять тысяч. Отдай мне мальчишку и разреши взять тела.

Пухов молча смотрел на лежащие на столе перед пылающим камином доллары, и ему было не отделаться от не шибко умной мысли, что Восток и Запад потому так отличаются друг от друга, что деньги на Востоке — это совсем не то, что деньги на Западе, и наоборот. И еще майор подумал, что, можно сказать, уже прожил жизнь (редкий

спецназовец доживает до тридцати девяти), но так насчет себя и не решил: восточный он или западный человек?

— Как ты думаешь, отец, — спросил он у старика по-гулийски, — что я сделаю с тобой и с твоими деньгами?

Старик вздрогнул, как будто его ударили по лицу.

— Это ты, — тихо произнес старик. — Значит, ты опять в Гулистане. Как только вошел, я подумал... Твои приметы... — замолчал.

— Если бы ты заранее знал, что я здесь, — спросил Пухов, — что бы ты сделал?

— Ты бы отсюда не ушел, майор, — просто ответил старик. И, помолчав, добавил: — Ты говоришь по-нашему как гулиец, выросший в Казахстане.

— Будь моя воля, отец, — сказал Пухов, — я бы вывел из Гулистана войска. Хотя мне сильно не по душе, как вы обошлись со здешними русскими. Вы превратили их в рабов...

— Они сами превратили себя в рабов, — перебил старик. — Мы двадцать лет жили в ссылке — в Казахстане, в Сибири, на Колыме, но мы не стали рабами.

— Я вынужден здесь находиться, — продолжил майор

Пухов, – вынужден вас убивать, потому что здесь решается судьба моей страны, моего народа. – Он прекрасно знал, что всякие подобные объяснения гулийцы почитают за слабость и, в принципе, был готов с этим согласиться. Пухов сам не понимал, зачем говорит это старику. «Много говорит тот, кто не прав», – вспомнил он гулийскую пословицу.

– Ты думаешь, что решишь судьбу России, уничтожив всех гулийцев? – покачал головой старик.

– Вам платят за вашу ненависть к России! Это единственный товар в Гулистане, на который есть покупатели! – крикнул Пухов. – Откуда у тебя доллары? Продал овец?

Намолотил зерна? Вас забивают под фундамент России, как лом! Чтобы следом за вами восстали другие. Но если мы уничтожим вас всех до единого — никто больше не восстанет.

— Я не верю ни одному твоему слову, — старик положил руки на колени, закрыл глаза, собираясь молиться.

— Не торопись на свидание с Аллахом, отец, — сказал Пухов. — Почему ты мне не веришь?

— Потому что это ты привез сюда, посадил нам на шею генерала Сака! — открыл глаза старик. Лицо его помолодело от ненависти. — Не оскверняй мой язык, говори со мной

по-русски, майор!

— Если я тебя отпущу, — перешел на русский Пухов, — ты обещаешь мне, что...

— Я свяжусь по рации с Нурмухамедом и с генералом Саком. У нас достанет бойцов, чтобы перекрыть тебе все пути. Хотя зачем тратить на тебя гулийскую кровь? Пусть они вызовут самолет и забросают тебя бомбами!

— Молись, отец, — сказал по-гулийски майор, — надеюсь, Аллах примет тебя с миром.

— Да уж не так, как тебя твой православный Бог, — закрыл глаза старик, но тут же и открыл. — Ты волк, майор. Такой же злой и

беспощадный, как генерал Сак. И больше ничего. Россия тут не причем. Ты просто жрешь человечину, майор. Единственное, о чем я жалею — что не могу прихватить тебя с собой. Но тебе все равно осталось недолго. Такие как ты долго не живут. Твоя жизнь — оскорбление Бога. Любого Бога.

Майор Пухов взял со стола пачку долларов, раздвинул банкноты веером и бросил в камин на угли. Сухая бумага горела хорошо. На трепещущих крыльях тончайшего пепла, как на старых гравюрах, можно было разглядеть доброе толстое лицо Франклина, цифры, буквы и печати. Пухов пошевелил в

камине кочергой, и пепельные гравюры рассыпались, как будто не было никаких долларов.

— Я знал, что ты так сделаешь, — вторично прервал молитву старик.

— Вот как? — удивился Пухов, который, честно говоря, уже об этом жалел. Деньги бы ребятам не помешали.

— Ты — волк, для которого тридцать пять тысяч не деньги. Но ты не думаешь о стае. Ты волк, — посмотрел майору прямо в глаза старик, — который жрет и волков. Генерал Сак прав. Он оценил твою голову дороже.

— Во сколько оценил мою голову генерал Сак? — поинтересовался

майор Пухов, но старик ушел в молитву, как в сон наяву.

– Отец, – произнес Пухов, когда он открыл глаза, уже очистившийся от земной жизни, но вряд ли простивший майора Пухова, – я глубоко уважаю гулийский народ, но никак не могу понять: что для вас деньги?

– Деньги? – задумался старик. – Ничто... Хотя нет, наверное, деньги – это лотерея. Но не такая, которая была раньше. Новая лотерея. Поскребешь монеткой по фольге, и сразу видно, выиграл или нет.

– Только не по фольге, отец, а по живому человеку, – уточнил Пухов, – вы хорошо скребете своими

монетками по русским душам.

— Нет нашей вины в том, что у вас такие податливые к монеткам души, — с презрением ответил старик.

— Что ж, отец, — вздохнул майор Пухов, — будем считать, что в этот раз ты не выиграл в лотерею.

Старик не ответил. Больше в этой жизни он не сказал ни слова. Ни в комнате, где горел камин, ни под звездным небом на берегу горной, отсутствующей на географических картах реки, в чистом холоде которой дремала, вибрируя плавниками в такт текущей воде, форель, куда отвел его сержант-спецназовец, мягко привинчивая по

пути к дулу пистолета черный глушитель.

Майору Пухову нравилась эта быстрая и глубокая река. Она не только охотно уносила трупы на запад — в Грузию, но по пути размалывала их о камни, лишая индивидуальных примет.

...Пухова удивило, что пока он сидел в джипе, вспоминая давний, решительно никакого отношения к происходящему не имеющий эпизод из своей жизни, никто не осмелился побеспокоить братьев Хуциевых ни по одному из трех — простому, сотовому и спутниковому — телефонам. Между тем ему было известно, как любят гулийцы звонить

друг другу – справляться о здоровье родственников, да просто чтобы засвидетельствовать свое почтение.

Все необходимое для изменения облика всегда было у майора под рукой. Он чисто автоматически наклеил себе усы, напылил на лицо щетину, изменил цвет волос, добавил несколько фрагментов в прическу, утяжелил щеки с помощью расплывающихся во рту, прилипающих к слизистой силиконовых шариков. Теперь майор мог без опасений разговаривать с ГАИ и с ОМОНОм, в случае если они затребуют его (Нимрода Хуциева) документы.

Майор вспомнил, сколько

прежде испытывал неудобств, связанных с необходимостью переклеивать фотографии и дорисовывать печати на документах. Пока генерал Толстой не сказал: «Господь слепил все лица по образу и подобию своему. Стало быть, люди похожи друг на друга как братья. Ведь у них один отец – Господь. Ищи не различие, но сходство, сынок. Найдя сходство, увеличь его до подобия с помощью нехитрого набора подручных средств. Смотри, сынок, что у меня общего с этой тетей Салли?» – положил перед Пуховым цветную фотографию губастой пожилой негритянки в бриллиантах. «Выражение лица», –

произнес после долгого раздумья Пухов. «Ты прав, сынок, – удивился генерал Толстой. – Знаешь, кто она? Владелица крупнейших в Бразилии птицекомплексов. В Рио ее называют «мамой всех кур». Видит Бог, наблюдая, – она за курами, я – за людьми, – мы пришли к одинаковым выводам». Генерал Толстой открыл кейс и буквально за пять минут преобразился в бразильскую маму всех кур. «Заведи себе такой кейс, сынок, – посоветовал генерал Толстой, – и жизнь твоя станет проще».

Майор Пухов вызвал по сотовому Ремера.

– В каком виде и как быстро они

хотели получить деньги?

— Наличными. Рублями и долларами. Первую партию хотели забрать прямо сегодня. Вторую — послезавтра. И последнюю — в конце месяца.

Определенно, братья Хуциевы собирались сыграть в куда более масштабную лотерею, нежели та, в которую когда-то неудачно сыграл старик — наблюдатель миссии ОБСЕ в Гулистане, — уплывший звездной ночью горной речкой в Грузию. И, похоже, не планировали проиграть. Затребованная у Дровосека сумма свидетельствовала, что братья не иначе как вознамерились скупить все билеты этой лотереи.

Когда Пухов выезжал на Ленинградское шоссе, ему на пейджер передали очередное приглашение связаться с директором Федерального центра по борьбе с терроризмом, а также время отправления очередного – уже со спецназом – борта на Бердянск. Майор посмотрел на часы, включил радио. В сводке новостей передали, что операцией по захвату станицы Отрадной руководил лично генерал Сак, командный пункт которого в настоящий момент, впервые за три года военных действий, находится не на территории горного Гулистана, а на территории Ставропольского края, то есть России. «Российские войска

так долго и так бездарно воевали в Гулистане, – заявил в прямом эфире генерал Сак, – что мы решили предоставить им возможность реабилитировать себя в войне на территории России. Посмотрим, способны ли русские защищать свою Родину так, как все эти годы защищали свою Родину мы, гулийцы».

Гаишники адекватно реагировали на правительственный номер и тонированные стекла джипа – не останавливали. Пухов с очевидным превышением скорости летел по осевой в сторону кольцевой. У него были шансы успеть на спецназовский борт.

И все же, несмотря на кажущуюся ясность происходящего, три обстоятельства беспокоили майора Пухова. Почему братья Хуциевы так припозднились со сбором денег? Зачем им так много? (Военная операция в Ставропольском крае столько не стоила). Почему они держали при себе авиабилеты в Германию с открытой датой?

«Если деньги для истинного гулийца — лотерея, — подумал майор, — что может напугать его да такой степени, что он покупает авиабилет в Германию с открытой датой?»

Чем дольше майор Пухов над

всем этим размышлял, тем к все более удивительным выводам приходил. Братья Хуциевы, вне всяких сомнений, были задействованы в операции, конечной цели которой или не знали, или же она казалась им нереальной. Иначе бы они не заявили к Дровосеку без приличествующего важности визита сопровождения. Кто-кто, а братаны доподлинно знали, где счет идет на сотни миллиардов, там стреляет сам воздух.

В этот момент пискнул сотовый. Майор Пухов, отчетливо сознавая, что рискует, раскрыл трубку. К счастью, когда-то в Гулистане ему приходилось разговаривать по

телефону с Салманом Хуциевым. Тот — и когда ему звонили, и когда сам звонил — говорил когда по-русски, когда по-гулийски: «Это я!» или «Ач ной!»

— Ач ной! — полуприкрыл трубку, воспроизводя тембр голоса Салмана Хуциева, сознавая, что, к сожалению, голос не очень похож, глухо произнес майор Пухов. — Ичдан тулэ шортари! — что означало по-русски: ^ «Обгоняй быстрее эту тварь!»

— Магомет? — услышал майор Пухов. — Извини, я не в одиннадцать тридцать, как договаривались. Ты слышишь меня, Магомет?

«Какой, к черту, Магомет? — ужаснулся майор Пухов. — Кто здесь

Магомет?» Голос, однако, показался ему знакомым. С трудом удержав рвущиеся слова: «Перезвони, ничего не слышно», Пухов узнал голос Володи Кольцова – интеллигентного второстепенного «авторитета» из останкинской группировки, неплохого специалиста-компьютерщика, выпускника философского факультета МГУ. У майора отлегло от сердца. Он вспомнил, что Володя (кличка Кольцо) в конце восьмидесятых сидел вместе с Салманом Хуциевым в тюрьме в Абакане. Вора в законе там звали Гора. Он весил полтора центнера и временами терял из-за чрезмерного пристрастия к

наркотикам ощущение реальности. В частности, ждал нерегламентированного изъятия покорности от Хуциева, который, отслужив в Афганистане, пришел в тюрьму, как говорится, далеко не мальчиком. Гора всячески осложнял ему жизнь. И дождался. Хуциев приблизился к нему для братского (по восточному обычаю) объятия с зажатым в зубах лезвием бритвы. Припав к груди Горы, он перерезал ему бритвой сонную артерию, после чего, безгласно оттолкнув фонтанирующую кровью китовую тушу, произнес: «Если Гора хочет унижить Магомета – Магомет срезает Гору на х...!»

Володя, стало быть, знал эту историю.

Останкинская группировка ничего серьезного из себя не представляла. Володин авторитет искусственно поддерживался кавказцами, которые использовали его как посредника при разрешении конфликтов с московской братвой. Были кое-какие выходы на Володю и по линии ГБ (нынешнего ДФБ). Года три назад он, не желая мотать срок за мошенничество, сдал Департаменту зампреда Центробанка, через которого гулийцы гнали бюджетные миллиарды в фиктивный негосударственный северокавказский пенсионный фонд. За зампреда,

однако, заступился премьер-министр. Он ушел с повышением в Минфин. Володина бумага лежала в сейфе у генерала Толстого. Хотя, конечно, это был не тот козырь, с которого следовало начинать игру с очень даже неглупым Володей, вздумай Пухов вот так сходу ему открыться. Это вообще был не козырь.

— Привет, Кольцо! — отозвался майор Пухов, как ему показалось, почти что голосом Хуциева. — Я ждал твоего звонка.

— Что у тебя с голосом? — поинтересовался Володя.

— Горло болит, — на всякий случай кашлянул Пухов, сделал радио

громче.

Кольцо молчал, набивая себе цену. Молчал и Пухов, ощущавший себя одиноким рыбаком, уносимым на отколовшейся льдине в открытое море. При этом льдина продолжала колоться. Вода же в океане была — кипятилок.

— Ну, я поговорил с людьми, — наконец-то соизволил продолжить Кольцо. — Не скажу, чтобы все были в восторге. Я сказал им про письмо.

— Не тяни за яйца! — перебил Пухов. — Они согласились?

— В принципе, да, — сказал Кольцо. — Как говорили раньше, проголосовали и приняли за основу. Но имеются некоторые нюансы.

Пухов подумал, что если бы их разговор случайно услышали непредвзятые люди, они могли бы подумать, что речь идет, скажем, о защите диссертации. За экономическими реформами в России майор Пухов признавал один неоспоримый результат: бандиты всех калибров – от воров в законе до рядовых членов уличных бригад – получили возможность жить красиво, не пряча свои деньги. На исходе XX века бандит в России был уважаем, хорошо одет, не преследовался законом и в общем-то со сдержанным оптимизмом смотрел в будущее. Бандит стал тем самым «третьим сословием», в интересах

которого, как известно, свершаются буржуазные революции. Логика реформ неумолимо подталкивала бандитов к тому, чтобы принять на свои плечи всю полноту исполнительной власти в России, выстроить бандитскую властную вертикаль «регионы-центр», и тем самым сделаться ответственными за сохранение России как единого государства и субъекта международного права. Крупные «авторитеты» понимали, что это неизбежно, однако средняя и мелкая «братва» саботировала организованный переход к кропотливому государственному строительству. В российском третьем

сословии назревала крутая разборка между бандитами-государственниками и бандитами-анархистами; бандитами-патриотами и бандитами-демократами.

— Вот как? — недовольно спросил Пухов. — Какие нюансы? Им что, мало?

— Крупняк на эти дни отъедет, — в голосе Володи появилась твердость. Пухов понял, что речь идет уже и о его личных интересах. — Кто на Кипр, кто в Штаты, кто в Грузию. По сумме тоже высказывались претензии.

— Какие претензии, асварц! Ичкер дин чене! — от волнения Пухов перешел на гулийский.

— Я сброшу тебе по факсу перечень банков, активы которых не должны пострадать ни при каком исходе. Доллар до весны не может опуститься ниже четырех новых рублей. До первого марта Асет передает Измайлово...

— Измайлово? Об этом речи не было! — крикнул Пухов.

— Речь шла о том, чтобы к первому мая, — напомнил Кольцо. — Но решили до первого марта. Да, и пересматривается квота азербайджанцев в пользу узбеков. У узбеков, во-первых, без кидалово, во-вторых, дешевле, в-третьих, качество лучше. Азербайджанцев убираете вы. Будто бы все.

— А в столице нашей Родины,

стало быть... — скептически протянул Пухов.

— В Москве гарантируется полная тишина до пятого следующего месяца. Если ты увеличишь сумму на пять процентов, братва пошумит и постреляет на улицах, когда ты скажешь. На десять — уберет народ по вашим спискам. Но большой крови ребята не хотят. Это все, Магомет.

— Я должен проконсультроваться, — глухо и недовольно произнес в трубку майор Пухов. — Вы выдвигаете новые пункты по Измайлово, азербонам и по общей сумме.

— Когда дашь знать?

– Мне надо в Лондон, – быстро пробормотал Пухов. – Тебя найдут.

– Кто? – удивился Кольцо.

Но Пухов, не прощаясь, прервал разговор, как это и должен был сделать разгневанный гулиец.

Он оставлял обе стороны в состоянии неопределенности, тревожного ожидания. И это было хорошо. Майор подумал, что, по всей видимости, Володя Кольцов вскоре сможет получить ответы на все свои вопросы непосредственно у Салмана (Нимрода, Магомета) Хуциева в месте его нового пребывания. Пухов не сомневался, что это не менее дрянное место, нежели то, где отыскал его во сне несуществующий

сын. И еще майор подумал, что и у него шансы оказаться в тех краях весьма велики. Чтобы, так сказать, рассудить спорщиков.

Он подъезжал к первому – предварительному – КПП у военного аэродрома. Пухов решил было стереть со своего лица черты Нимрода Хуциева, однако сержант с КПП уже смотрел на него хоть и издали, но в упор и не просто в упор, а в специальный (против тонированных стекол) бинокль, положив руку на АКМ. У майора Пухова возникла мысль, что сержанту может не понравиться столь стремительное преобразование водителя в подозрительном джипе.

Поэтому он остался Нимродом Хуциевым.

– Слюшай! – протянул сержанту служебное удостоверение и пропуск. – Мена мой мыныстр с дачи сдернул, да? Лети немедленно в Бырданск, да? Я – у мена паспорт нэ с собой, джип где поставлю, да? Он – лэти, да, распоряжение премьера! Будь друг, скажи, когда следующий борт на Бырданск? Я успею домой – переодеться, паспорт взять, машину в гараж поставить? Я недалеко живу, на Лэнинградском шоссе...

– Какой следующий? – вернул удостоверение и пропуск сержант. – Один только борт с утра. И тот стоит.

– Мена ждут? – испуганно

выдохнул Пухов.

— Не знаю, может и тебя.
Проезжай!

— Ай, ладно! Слюшай! — махнул рукой Пухов. — Опаздаю — опаздаю, нэт — нэт! Мнэ машина дорожэ! Слюшай, во дэрут, сорок две штуки вынулы! Пазванят, спросят про Нимрода Хуцыивича — запомныл имя? — из мыныстерства по дэлам нацыаналностей, скажи, бу-дэт чэрэз полтара часа. Нэ позванят — нычэго нэ говори! А кэй? — резко сдав назад, майор Пухов развернулся перед открытым шлагбаумом.

Кому-то очень хотелось, чтобы он непременно улетел в Бердянск.

Майор вспомнил ледяные

волчьи глаза генерала Сака, его разъезжающуюся на голове пилотку. «Генерал Сак всегда делает не то, чего от него ждут, – сказал он как-то майору Пухову. – Генерал Сак никогда не бывает там, где, как все считают, должен быть».

Майор Пухов знал, где (вернее, где его нет) генерал Сак.

И почти знал, что он собирается делать.

Августа любила латиноамериканскую прозу. Видимо, люди на том континенте много страдали, поэтому литературу у них можно было уподобить безошибочному и целеустремленному (neverending – в смысле открытия новых акваторий и материков горя) колумбову плаванию. Ей запомнилось определение любви как «грустной муки совокупления», а дружбы как «катамарана, в хорошую погоду достаточно просторного для двоих, в шторм же – тесного для одного». Она

долго думала об альбатросе, которому казалось, что поднять рыбу в воздух – доброе дело. Он подолгу летал на закате над волнами и скалами, белый, как одежды Господа, альбатрос, ища сотоварищей в скорби. Августа ощущала себя сестрой альбатроса в неизбывной скорби, имя которой было – одиночество посреди Божьего мира.

Она сделала открытие, что истинное – продуктивное или контрпродуктивное – страдание возможно лишь там, где присутствует воля к жизни, где люди, изнемогая под натиском превосходящих сил противника (судьбы), с боями оставляют территорию радости и

покою, вынужденно отходя на территорию лишений и горя. Бледная тень воли к жизни блуждала в бесконечных латиноамериканских сериалах, которые на исходе XX века жадно смотрела Россия, без боя (в прямом и переносном смысле) сдававшая все свои территории.

Августа знала из книг, что страдающих людей следует жалеть. Но она не знала, следует ли жалеть людей за отсутствие воли к жизни? Ее сосед по лестничной клетке вдруг развелся с женой, сдал двух сыновей в приют, продал квартиру то ли чеченцам, то ли таджикам, ураганно пропил деньги и теперь бродил по окрестностям неузнаваемый — в

неопрятной кривой бороде, с перманентно свежеразбитым (или в незаживающих язвах) лицом, в чудовищном (независимо от времени года и погоды) пальто, обнаруживающем по всему своему пространству бурунчики ватина, и всегда — с двумя большими, непобедимо воняющими помойкой, полиэтиленовыми пакетами.

По мнению Августы, куда большей жалости заслуживал околевающий в подворотне бездомный пес с запекшимся от крови гуталиновым боком и острым красным кораллом вместо левого глаза. Пес, по крайней мере, в отличие от соседа, осознанно не

выбирал себе такой судьбы, а, можно сказать, бессловесно страдал от изначального несовершенства мира.

Не жалела Августа и мать, которая в одночасье бросила ее и отца, ушла в никуда – в омут, на дно, где на исходе XX века обосновалось немало граждан России, сдавая квартиры, заполняя за деньги подписные листы за кандидатов в президенты, продавая анкеты у американского посольства, торгуя на улицах швабрами и странными приборами под названием «крошкособиратели», безнадежно судясь с давно исчезнувшими с лица земли финансовыми компаниями, которым они отдали деньги в рост.

Мать изредка (как правило, на гребне краткого, как обморок, благополучия) выныривала из омута, всплывала со дна, то «челноком», то распространительницей «гербалайфа», то уборщицей в «фирме», то владелицей устрашающего вида варана, которого якобы у нее вот-вот должны были с руками оторвать какие-то очень богатые люди.

После смерти отца мать пришла к Августе в больницу, завела речь о том, что не худо бы им обменяться квартирами. Августа, по ее плану, должна была перебраться в однокомнатную, доставшуюся матери после развода с отцом, «хрущобу»,

где та жила в мерзости запустения с издыхающим вараном и очередным алкашом. Мать, варан и этот (или другой) алкаш должны были въехать во вполне приличную двухкомнатную квартиру Августы.

— Ты, в сущности, еще маленькая девочка, Мельхиорчик, — сказала мать, — зачем тебе такая большая квартира? Где ты возьмешь деньги, чтобы за нее платить?

— Даже маленькой девочке понятно, — возразила Августа, — что жить в большой квартире лучше, чем в маленькой.

Мать заговорила про какую-то опеку, про то, что любит своего Мельхиорчика больше жизни, что

есть и другой вариант – Мельхиорчик может переехать к ней (алкашу и варану) в однокомнатную, а двухкомнатную они будут сдавать, она уже нашла подходящих квартиросъемщиков – денег будет выше крыши, но встретившись с дочерью взглядами, осеклась, погрустнела.

– Я знаю, – вздохнула мать, – ты всегда держала меня за мусор.

– Когда ты кормила меня грудью – нет, – возразила Августа, – я тебя любила.

– Я не кормила тебя грудью, – ответила мать, – хотя у меня было много молока. Но едва я подносила тебя к груди – оно высыхало, грудь

как иглой пронзало.

— Как же вы тогда меня
вырастили? — рассеянно
поинтересовалась Августа,
поглаживая забинтованные руки. К
тому времени она окончательно и
бесповоротно утвердилась в мысли,
что родители, в общем-то, сделали
это зря.

— Я пошла на молочную кухню, —
вспомнила мать. — У дверей меня
перехватила усатая старуха в берете.
Я еще, помню, удивилась, какая она
загорелая, как с юга приехала. Она
сказала, что ее дочь тоже родила
девочку, что молока у нее
невпроворот, ищет с кем бы
поделиться. Она носила для тебя

молоко почти даром целый год...

— Вот видишь, — усмехнулась Августа, — свет не без добрых людей. Притом чужих. А ты хочешь «обуть» меня, родную дочь, с квартирой.

— Да это я так... по инерции, — махнула рукой мать. — Не только мне, Мельхиорчик, никому в этой жизни тебя не «обуть». Я хотела принести тебе апельсинчиков, но... — замялась.

— Чего же не принесла? — полюбопытствовала Августа. — Решила купить водочки?

— А хотя бы и так, — уже от двери нагло улыбнулась мать, — лучше уж я водочки выпью, а о тебе, доченька, один хрен, кто-нибудь да позаботится, — кивнула на блюдо с

яблоками и апельсинами на столике перед кроватью. — Ты не пропадешь.

Августа с трудом вспомнила, что фрукты принесла худая восточного вида санитарка с как будто выточенным из кости лицом. «Ешь, доченька, — сказала она, — это раненому бандиту из третьей палаты принесли, а он уж три дня как помер».

Августа иногда вспоминала отца, но годы шли, и его образ таял, растворялся во времени. Хотя Августа до сих пор помнила, как маленькой девочкой бежала ему навстречу по скверику, где гуляла с матерью, а он ловил ее на бегу, прижимал к себе, подбрасывал вверх.

Августа обхватывала отца за шею, и ее маленькое сердце трепетало от счастья.

Отец Августы был не очень известным, но все же издающимся писателем, сочинявшим романы на исторические темы. Августе было тринадцать лет, когда родители расстались. Она знала, что мать изменяет отцу. Похоже, что и отец знал. Однако продолжал любить попивающую, пропадающую неизвестно (известно) где мать, добирающуюся до дома к часу ночи, лепечущую что-то заплетающимся языком про день рождения подруги. До сих пор у Августы стояла перед глазами сгорбившаяся у

занавешенного окна фигура отца. Отец подолгу стоял, не включая света, у окна, высматривая идущую по скверу мать! Иногда он как бы оживал, расправлял плечи — это означало, что по двору шла женщина, похожая на мать, — но потом опять сутулился, убеждаясь в ошибке.

Августа не понимала, зачем он мучает себя, высматривая ее в темноте, зачем делает вид, что верит ее нелепым рассказам про неудачно захлопнувшуюся у очередной мифической подружки дверь, открыть которую с помощью соседей удалось только в половине второго ночи. Пока не догадалась, что человек живет не только умом и душой, но

еще и сердцем, над которым он невластен, пожалуй, еще в большей степени, чем над умом и душой. Жизнь сердца, в сущности, была проста и заключалась в том, что человеку на его век отпускалась, как правило, единственная сильная страсть (влечение), которое (хотя бы в силу закона больших чисел) крайне редко совпадало по насыщенности со встречным влечением (взаимностью) противоположной стороны (объекта влечения). Церковь знала об этом и пыталась исправить дело венчанием. Но жизнь сердца не подчинялась не только церковным обрядам, но даже элементарной логике, как в случае с родителями Августы. Отец —

положительный, образованный и серьезный человек — страдал от неразделенной любви к решительно его недостойной матери.

Августа довольно быстро уяснила, что судьба как мстит, так и вознаграждает за сердечные раны. Вознаграждает того, кто, победив страсть, возвращается в жизнь в ледяных доспехах. Судьбе были милы люди с умерщвленной душой. Им она давала все и даже сверх. Мстила же тому, кто упорствовал в заблуждении (страсти), пытался перехитрить судьбу. Перехитрить судьбу на (не суть важно, длинной или короткой) дистанции жизни представлялось невозможным. Чрезмерно любящего

деньги банкира она разоряла дотла, любящего власть и победы полководца лишала государства и армии, не совладавшего с привязанностью к женщине мужчину наказывала... новой женщиной, причем уже не обязательно на территории секса или ревности.

Отцу Августы в его жизни не повезло дважды. Первый раз, когда он женился на матери Августы. Второй – когда, разведясь с женой, остался жить с дочерью. Хотя Августа не питала к отцу зла, напротив, по-своему любила и жалела его.

Первый год в новой квартире они прожили дружно и согласно.

Отец написал за этот год две книги — жизнеописание великого восточного поэта Низами и приключенческий роман о византийском императоре Андронике. У них появились деньги, и они отправились на десять дней в Египет.

Прилетели в Каир ночью, но Августе во что бы то ни стало захотелось увидеть сфинкса и пирамиды. Они поехали на такси. Августа долго стояла перед сфинксом, одолеваемая смутными, быстро летящими воспоминаниями. Наконец они, как исходные материалы в тигле алхимика, отлились в воспоминание о некогда

приснившемся Августе с не – таком невообразимо ярком, страшном, и, как напрасно полагала Августа, случайном, что у нее закружилась голова. Отец подхватил ее на руки.

Она надеялась, что навсегда забыла тот сон, но почему-то (во всех красках и даже ярче) вспомнила его под мертвым взглядом древнего сфинкса.

Время предстало перед Августой в образе огромной бритвы, корректирующей символы человеческой цивилизации. Каменному сфинксу бритва срезала половину # лица, мраморной Афродите – руки. Со сна Августы она срезала забвение, и он предстал

живым, кровоточащим.

Таксист, убедивший ночную стражу пропустить их в неурочное время к сфинксу (бесплатно!), заметил, что обмороки у девушек-туристок – дело обычное. Долгий перелет, перепад температур, атмосферное давление. Отец угрюмо молчал, видимо полагая, что таксист требует денег сверх условленного. Августа без труда разобрала его английский. Таксист сказал, что волосы мисс в лунном свете светятся как мельхиоровые. И еще сказал, что если отец мисс не возражает, он с удовольствием завтра покатает их по Каиру, покажет все достопримечательности,

естественно, совершенно бесплатно. У египтянина были нетипичные для араба светлые глаза и тонкое, цвета высушенного папируса, лицо.

Едва взглянув на таксиста, Августа поняла, что он один из тех, постоянно встречающихся на ее пути людей, которые не должны давать ее в обиду. Она понятия не имела, откуда возникают эти люди и почему во что бы то ни стало хотят услужить ей и называют принцессой (какого королевства?), но воспринимала это как должное.

Отец резко отказался от услуг египтянина. По лицу таксиста скользнула тень. Он как бы сквозь отца продолжал смотреть на Августу,

ожидая ее слова. Августа поняла, что расположение странных людей распространяется исключительно на нее, но никак не на ее близких, в частности отца. Напротив, в случае необходимости (если Августа попросит), они с радостью сделают ее сиротой.

Августа не хотела об этом думать.

Августа хорошо училась, много читала, у нее не было конфликтов с отцом до тех пор, пока в их восьмой класс не пришла беженка из Батуми – девочка с красивым греческим именем Епифания.

Августа и Епифания – для одного класса это было чрезмерно.

Как два крутых (с эротикой) боевика по двум телевизионным каналам одновременно.

У Августы были светло-серые — мельхиоровые — волосы, ярко-зеленые глаза, мельхиоровая — ослепительно-белая на солнце и нежно растворяющаяся в сумерках («трещине между мирами», как полагали индейцы Мексики) — кожа.

Епифания была смугла, черноволоса, кареглаза и горбоноса. Она не растворялась в сумерках, летела сквозь них как бесшумная темная птица.

Августа успела привыкнуть, что смуглые, тонколицые люди спят и видят как бы ей услужить. Она

ожидала от гадающей на картах и по руке Епифании изъяснений покорности.

Но ошиблась.

Епифания решительно не испытывала перед ней ни малейшего трепета. Более того, Августа почувствовала в ней (ее гаданиях) некую тревожащую — сродни собственной — силу, смысла и сути которой Августа пока не понимала, но которая, видимо, была важна для мира, потому что побуждала совершенно незнакомых ей людей защищающе простирать над ней крылья, как если бы они были орлами, а она маленькой птичкой, хотя едва ли для орлов существовало

более противоестественное занятие, чем защищать маленьких птичек.

Стало быть, маленькая птичка была сильнее орлов.

Августа знала за собой еще одну не поддающуюся объяснению особенность – смотреть в упор на человека, но видеть вместо него дрожащее в воздухе цветное облачко, оплетенное светящимися, как лучи лазера, и темными, как струйки летящих чернил, узкими, как ремни, линиями. Августа не вполне понимала, как это происходит, но люди, на которых она смотрела, в эти мгновения как бы засыпали наяву, превращались в самоходные манекены, живые игрушки,

исполняющие волю Августы. Она, впрочем, не злоупотребляла своей волей, не стремилась даже определить ее границы. В лучшем случае, просто смотрела на человека, пытаясь определить, нравится ей или нет цветное, стреноженное светящимися и темными ремнями облачко. В худшем — заставляла человека сделать шаг влево или вправо, или — идущего — остановиться и стоять как вкопанного.

Епифания довольно долго ускользала от ее взгляда, пока наконец Августа не поймала ее — в неурочное (вернее урочное, все сидели по классам) время в

школьном коридоре, напротив кабинета химии у открытого по причине хорошей погоды окна, возле которого на крашеной фанерной тумбе стоял гипсовый бюст то ли Менделеева, то ли Бутлерова, а может Паскаля или Лавуазье.

Епифания попыталась опустить глаза, но с Августой такие номера не проходили. Епифания с дерзким вздохом подчинилась, устремив на Августу темный ненавидящий взгляд. Как будто рой пчёл встал на пути летящей по воздуху волны расплавленного мельхиора. Августа впервые в жизни встретила с очевидным сопротивлением собственной силе. Это не только

бесконечно удивило ее, но и заставило внимательнее всмотреться в Епифанию.

Пчелы влипли в мельхиор, как в воск, в мед, в смолу, превращающуюся через тысячу лет в янтарь. Августа вдруг увидела открытое окно. В следующее мгновение Епифания стояла на подоконнике, и весенний ветер трепал ее длинную цыганскую юбку, должно быть приятно холодя ноги. Тяжелый мельхиоровый гнев до краев наполнил Августу, как горькое вино хрустальную рюмку. Ей уже не было дела, что цветной (точнее черно-синий как грозовая туча) эллипс над головой Епифании почти

выпутался из стреноживающих, соединяющих его с брэнной плотью ремней; что не безгласна Епифания под мельхиоровым взглядом Августы, как все остальные люди; что как будто некая бессловесная мольба доносится до Августы из отлетающей сине-черной души Епифании; что как будто кто-то (кто имеет право) интеллигентно (если данная категория здесь уместна) заступает за Епифанию, оставляя тем не менее последнее слово за Августой. И — это вообще ни в какие ворота не лезло — сама дрянная Епифания, несмотря на сон наяву, самоходность манекена, не потеряла связи с миром, а умоляюще и покаянно простирала с

подоконника навстречу Августе
дрожащие руки.

Августа подумала, что, как
всякая истинная гадалка, Епифания
не смогла разобраться со своей
собственной жизнью, которой у нее
осталось всего ничего.

Епифания уже ступила одной
ногой в весенний заоконный воздух,
уже длинная ее цыганская юбка
вздулась парусом, открывая
стройные смуглые ноги. Асфальт
внизу распахнул серые — цвета
смерти — объятия.

Как вдруг последняя — уже не
темная, уже не Епифании, а
инкрустированная мельхиором
(смирением пред волей Августы),

как крохотный рыцарь в кольчужке, — пчела с невероятным трудом преодолела выталкивающую Епифанию из окна и из жизни силу, ласково и покорно опустилась у ног Августы, чтобы тут же перевернуться и замереть лапами вверх.

Августа, почти было отпустившая Епифанию в законный воздух (отчего-то ей хотелось, чтобы та летела вниз, облепленная цветастой поднявшейся юбкой, как в мешке или в пламени), вдруг ощутила то самое нечеловеческое одиночество, впервые пережитое в раннем детстве во время страшного сна, забыть который Августа старалась изо всех сил, но была не в

силах. Ей стало ясно, как если бы кто-то написал большими буквами по воздуху как по бумаге, что ее сущность – одиночество, ее время – мельхиоровые сумерки (трещина между мирами), ее жизненное пространство – расходящиеся швы мироздания.

В следующее мгновение Епифания (уже двумя ногами бывшая за окном) вернулась из воздуха на подоконник – не спрыгнула, а как бы пролилась цветастой юбкой, смуглой кожей, черными волосами на паркет, подползла к Августе, поцеловала сначала край ее платья, затем тяжелую мельхиоровую руку.

«С тобой, – прошептала

Епифания белыми губами, – до самого огненного центра Земли! Прости меня!»

Августа закрыла глаза.

Гипсовый бюст Менделеева, а может Бутлерова, Паскаля или Лавуазье вдруг оглушительно взорвался, мелко (пулеметно) простучав осколками по стенам и потолку. Высыпавшие из классов ученики и учителя увидели распахнутое окно, двух перепуганных девочек, белую пыль в воздухе на паркете. Завуч высказал предположение, что, вполне возможно, гулийский террорист, как это у них водится, выстрелил в гипсовый бюст из проносящейся по

проспекту машины. На всякий случай закрыли окно и вызвали милицию.

Уже потом, на уроке Августе пришла в голову мысль, что если Епифания бросила к ее ногам покаянную мельхиоровую пчелу, которую все почему-то приняли за сложную разрывную пулю гулийского террориста, если Епифания протягивала к ней в мольбе с подоконника руки, то, стало быть, она что-то видела. Августа видела над головами людей стреноженные светящимися и темными узкими ремнями цветные облачка-пятна. Что, интересно, видела (если видела) Епифания?

«Что было надо мной?» – немедленно написала Августа записку, отправила Епифании, сидевшей в другом ряду.

Епифания прочитала, побледнела от ужаса.

«Я не знаю. Не спрашивай, умоляю тебя!» – пришел ответ.

Этого не может быть, подумала Августа. Она не знала, как описать существо из давнего детского сна, потому что оно было вне привычных (выражаемых словами) человеческих понятий и сравнительных категорий.

«Коричневый, – с трудом вывела на бумаге Августа, – с зелеными глазами?»

Епифания долго не хотела

разворачивать записку. Но развернула, вскрикнула, закрыла лицо руками.

— Он... твой, — сказала на перемене Августе Епифания, — то есть... в тебе, принцесса. Он взглянул на меня, он сказал, когда и как я умру.

— Почему же он мне ничего не говорит? — удивилась Августа.

— Потому что сейчас у вас одно сердце, — не очень понятно ответила Епифания.

— Когда и как ты умрешь? — вежливо поинтересовалась Августа.

— Не завтра и не послезавтра. Я еще поживу, — взяла ее за руку Епифания, — пока ты не приколешь

меня стилетом к двери театра имени Вахтангова.

Августа вспомнила, как Епифания висела за окном пятого этажа над асфальтом, и подумала, что ее новая подруга, должно быть, спятила от счастья, что осталась живой.

— Боже мой, зачем так усложнять? Разве только я стану жрицей, ты — агнцем, а театр имени Вахтангова святилищем Ваала, — пожала плечами Августа.

— Так будет, — исступленно (как будто не было для нее известия радостнее) прошептала Епифания. — Он мне объяснил, как ты это сделаешь.

— Кто? — не выдержала Августа. — У него есть имя? На Епифанию опять накатил ступор — она побледнела, закусил губы.

— В жизни нет ничего, чего бы стоило так бояться, — презрительно заметила Августа. — Даже смерти.

— В жизни да, — согласилась Епифания, — но это не жизнь и не смерть, это гораздо хуже, а главное, невыразимо печальнее! Ты ведь знаешь, принцесса...

В тот день они отметили чудесное спасение Епифании — выпили в подъезде две бутылки шампанского.

Возвращаясь вечером по двору домой, Августа подняла глаза на свои

окна. Край занавески определенно был сдвинут. Когда-то отец точно так же высматривал из окна мать. Почему-то ему не хотелось, чтобы другие это видели. Он всегда смотрел сбоку, лишь самую малость сдвигая занавеску. Если же, допустим, Августа входила в комнату, он отходил от окна или делал вид, что смотрит на градусник, определить по которому в сумерках температуру воздуха было крайне затруднительно. Не говоря о том, что люди, как правило, интересуются температурой воздуха утром, но никак не вечером.

Августе сделалось бесконечно грустно. Ей открылась горькая суть повторения как предвестия конца,

скрытого свидетельства
исчерпанности существования. Но
она любила прикованного
невидимыми наручниками к
занавеске отца. Августа решила
рассказать ему про давний детский
сон, про бескорыстно оказывающих
ей услуги людей, про сегодняшний
случай с Епифанией.

Однако едва она переступила порог, отец начал кричать, что она пьяна, что ему давно известно, что она пьянствует (Августа никогда раньше не пила), что она пошла в свою проб...дь-мать, что отныне он будет каждый раз ее обнюхивать, и если она хоть раз еще, то он...

Августа смотрела на

брызжущего слюной отца и думала, что гнев — не только и не столько слабость, сколько глупость. В гневе человек подобен безумному каменщику, замуровывающему изнутри выходы из помещения.

На следующий день Августа по-настоящему напилась на скамейке в парке с Епифанией и двумя одноклассниками, промышлявшими перепродажей талонов на водку (в тот год в России полагался литр в месяц на живую душу) и билетов в театр (их почему-то не полагалось вовсе).

Если верить ребятам (а как было им не верить?), народ буквально сошел с ума из-за водки и билетов в

театры. За водкой и в театральные кассы очереди занимали с ночи.

— А что там такое ставят? —
полюбопытствовала Августа,
отклеивая от своих гладких
прохладных мельхиоровых ног
липкие теплые (лучше бы ловил мух)
пальцы одноклассника.

— Да разную галиматью, —
засмеялся тот. — Я раз сходил,
посмотрел, полный отпад. Какая-то
баба жила с мужем-торгпредом за
границей. Чего-то ходит, бубнит,
якобы муж кого-то заложил и того
отозвали из торгпредства. Во б...
трагедия, да? Зачем-то она дает
этому отозванному козлу, который,
оказывается, скрытый еврей. Пока

сидел в торгпредстве, молчал, а как выгнали — тут же вспомнил и намылился в Израиль... Там еще его мать порет хреновину про какие-то погромы. Знаешь как называется? «Кампари 1986 года». Опять х...ня. Кампари — это же б... такая гадость в чистом виде, составная часть для коктейлей, ну там с кока-колой или с соком еще туда-сюда. Чистая химия. Как оно может быть 1986 года? Это что, рислинг, рейнвейн, мускат? И не лень же людям время тратить! Ты не согласишься, со мной рядом молодая сидела в очках, вся изрыдалась... Да над чем, б...?

— Знаешь, что такое история? — спросила Августа у одноклассника.

Вино настроило ее на философско-просветительский лад. —

Отложенное во времени исполнение тайных желаний народа. Говоришь, на водочке помешались, на театре? Значит, скоро водки будет хоть залейся и в театр ходить будет не надо. Страна будет сценой, а жизнь — театром. А потом... — покосилась на Епифанию, позавидовала, как та изгибисто и ловко целуется с пареньком, — наблюют, набезобразят, поломают декорации.

— Ты умная, Гутька, — вздохнув, убрал руку с ее плеча одноклассник, — и красивая, как б... королева. Скажешь мне кого замочить, я мигом замочу и даже не

попрошу, чтобы в награду дала. В зоне за тебя срок буду мотать, не пикну. Насчет жизни-театра согласен. Но только откуда водочка-то возьмется у этих козлов, а, Гутьк? Если по две бутылки в месяц – и то не хватает?

– Не знаю, – пожала плечами Августа, – но ты... если доживешь, конечно, вспомнишь мои слова.

– Понимаю, – серьезно заметил одноклассник, – водочка как прилив и отлив. То ее нет совсем, то – сколько влезет и неизвестно откуда. Но что тогда театр, Гуть? Та же водочка, опиум для народа или... искусство?

– Видишь ли, – объяснила

Августа, – не все могут пить водочку. К примеру, та молодая в очках, которая обрыдалась, она точно не пьет. А сходит в театр, словно литр на грудь возьмет.

– Стало быть, и там, и там обман, – печально заключил одноклассник, на умственное развитие которого торговля театральными билетами, определенно, повлияла благотворно, – но как быть с латинским присловием, что истина в вине, а, Гуть? В вине или в театре?

– В Кампари 1986 года истины нет! – рассмеялась Августа.

– А ну как истина в деньгах? – предположил одноклассник. – Жопой

чую, Гутьк, к этому идет.

— Истина в том, — ответила Августа, — что neverending пьес не существует. Каждой пьесе, пусть даже в финале оркестр и актеры играют tutti, приходит конец.

— И что дальше? — спросил одноклассник.

— Оптимистическая трагедия. Или пессимистическая комедия, — икнула Августа. — Смена жанра.

Она едва держалась на ногах, но совершенно не беспокоилась, как доберется до дома. Августа почти физически ощущала, как усиливается ее власть над окружающим миром.

Однако же нет-нет да встречались посреди покорного мира

отдельные повстанческие
территории — людишки, остро
ненавидящие Августу,
испытывающие при ее появлении
отчаянье и ужас, как, к примеру,
учительница химии.

Она, помнится, оставила
Августу после уроков в классе и
долго смотрела на нее сухим, как
пепел, взглядом.

«Вполне допускаю, что ты пока
не знаешь, зачем явилась в мир, —
сказала учительница, — но я-то знаю.
Ты, конечно, можешь сказать, что я
сумасшедшая, но мы обе знаем, что
это не так. Я уйду из школы. Я не
хочу и не могу тебя учить. Я, к
сожалению, ничего не могу тебе

сделать, но я не ручаюсь за остальных. Держись от нас подальше, девочка!»

Августа, шатаясь, двинулась по дорожке в сторону дома.

Она не сделала учительнице химии никакого зла. Но та ее ненавидела. Многим другим людям она не сделала никакого добра. Но они бесконечно ее любили, были готовы ради нее на все. Дело, стало быть, заключалось не в том, хорошим или плохим человеком была Августа, а в самом факте ее существования. Одних это почему-то искренне радовало, других — не менее искренне — огорчало.

Епифания и промышляющий

водочными талонами и билетами в театр одноклассник бережно подхватили ее под руки, как фарфоровую довели до подъезда, поднялись с ней в лифте на этаж. «Хочешь я зайду к тебе и объясню этому козлу – твоему папаше – как он должен себя вести?» – предложил одноклассник. Августа покачала головой. Она уже знала, что ее отец по принадлежности относится к повстанческим территориям, хоть и не отдает себе в этом отчета.

«Это не ваши проблемы», – Августа дождалась, пока Епифания и одноклассник уехали вниз на лифте, и только потом позвонила в дверь.

Когда отец ударил ее по лицу,

она тихо заплакала и — хотя мгновение назад совершенно об этом не думала — вдруг сказала, что было бы лучше всего, если бы он прямо сейчас ее убил, потому что вчера у них был медосмотр, врач выписал ей направление в онкологический диспансер, потому что у нее в груди опухоль. Ну, может быть, еще не опухоль, но какое-то уплотнение — совершенно точно.

У отца затряслись руки. Он прижал ее к себе, забормотал, что мало ли что говорят разные случайные врачи, завтра прямо с утра они поедут, а сегодня он созвонится с одним своим приятелем, у него брат — заводделением в Боткинской

больнице. Как они вообще смеют что-то говорить до получения результатов анализов, проведения комплексного обследования?

Августа не знала, зачем так чудовищно и нелепо обманывает отца, которому, естественно, и в голову не могло прийти, что дочь его обманывает. Родительский инстинкт — составная часть души. А среднестатистическая человеческая душа, как открылось Августе, представляет из себя набор первичных (предельно простых) чувств, но никак не набор первичных логических построений. Душа всегда проста и бесхитростна, каким бы умным ни был человек. Августе

хотелось, чтобы отец продолжал любить ее. Но он мог продолжать любить ее, только продолжая страдать за нее.

Августа отдавала себе отчет, что нынешнее их примирение – всего лишь временная отсрочка перед неизбежным. Пошатываясь в прихожей, со слезами на мельхиоровых щеках она как бы прощалась с отцом, ни в чем, в сущности, перед ней не виноватым, кроме того, что ему выпало несчастье быть ее отцом.

Августе уже тогда открылось, что близкие ей люди почему-то всегда оказываются по другую от нее сторону, берут пример не с

Епифании, а с учительницы химии, в отличие от которой, однако, не могут просто так взять и уйти от Августы.

Она отдавала себе отчет, что уже мысленно простилась с отцом и сейчас удерживает его возле себя обманом. Те несколько лет – внешне, спокойные, почти идиллические – в действительности можно было уподобить стремительно убывающей в воронке жидкости. По странному стечению обстоятельств конец идиллического времени, конец жидкости в воронке оказался для отца Августы концом его жизни.

Точно так же получилось и с мужем Августы, который ее любил и которому она зачем-то изменила на

шестой день после свадьбы с его ничем не примечательным (кроме бицепсов и стриженной башки) телохранителем. Муж, помнится, уложил в два чемодана вещи, закрылся в своей комнате, позвонил по мобильному телефону шоферу.

Августа стучала ему в дверь, но он не открывал.

Она развела в стеклянной банке красную гуашь, забрызгала ею пол и кафель в ванной, щедро залила бинты, перевязала бинтами руки. Потом позвонила Епифании, которая уже уволилась из морга и работала разъездной медсестрой на «скорой помощи».

Когда муж вышел из своей

комнаты, то увидел бледную в кровавых бинтах Августу на диване под капельницей, залитую кровью ванную, Епифанию в белом халате, кричащую в телефонную трубку, чтобы немедленно прислали реанимобиль, потому что тут — тяжелейшая попытка суицида.

Муж остался.

Через пять лет, хороня мужа, влипшего на белоснежном, как одежды Господа, «форде-скорпио» на скорости в сто восемьдесят, как определила экспертиза, в подавшийся по вине задремавшего пьяного водителя на полосу встречного движения асфальтоукладчик, Августа упала без

чувств на открытый еще, лакированный, в белых кружевах, как в пене, — гроб в струящемся, переливающимся мельхиоровой чернью траурном платье.

Лицо мужа подштопали, подремонтировали в похоронном бюро, куда он поступил уже как бы заключенный в покореженный металлический фоб «форд-скорпио».

Лицо мужа показалось Августе чужим и строгим. Примерно таким же было лицо учительницы химии, когда она оставила Августу после уроков. Только на лице учительницы ненавидящим сухим огнем горели глаза. Глаза мужа были закрыты. Его лицо напомнило Августе лицо отца,

скоропостижно — в два месяца — скончавшегося от рака легких. Августа всматривалась в измененное смертью и похоронным бюро лицо мужа и не могла взять в толк, отчего он — бандит, мошенник, несправедливый богач — не встал на ее сторону, не подчинился ее силе и тем самым подписал себе смертный приговор?

Впрочем, он был нетипичным бандитом. Ходил в церковь. И не просто ходил, но отваливал батюшке деньги, на которые тот строил на церковном дворе хоромы едва ли не выше самой церкви. Однажды на глазах Августы, которая иногда принимала участие в делах, пренебрег полумиллионом долларов,

отказавшись закопать контейнеры с радиоактивными отходами в глухом лесном углу Ярославской области. Августа подумала, что муж сошел с ума. Работы было всего ничего — отправить под ночь грузовик с десятью бочками якобы порошка для ксерокса, откупиться от ГАИ, заплатить по сотне работягам и тысячу первому встреченному экскаваторщику, чтобы поглубже закопали бочки да навалили сверху деревьев.

— На моей бедной земле и так слишком много ядовитых захоронений, — сказал муж Августе.

— Если узнает шеф, — заметила Августа, — станет одним

захоронением больше.

Ее муж был вторым человеком в сложной отраслевой бандитской иерархии.

— Ты отстала от жизни, — усмехнулся он, — шеф теперь я. И пока я жив, ни одна сволочь не закопает в моей земле никакой гадости!

Он был нетипичным бандитом.

Очень хотел детей. Женился на Августе, как открылся ей позже, когда их супружеская жизнь потеряла смысл, потому что она, по его представлениям, должна была рожать потрясающе красивых детей.

Но Августа никак не могла забеременеть.

Не помогли ни знаменитые итальянские курорты, ни купание на Кипре возле торчащего из вечной пены черного, как член неффа, камня Афродиты, ни считающаяся лучшей в мире клиника в пригороде Лос-Анджелеса Санта-Монике.

Гинекологи не ставили диагноз «бесплодие». По женской части у Августы было все в порядке.

— Сеньора, природа позаботилась о том, чтобы вы были совершенной матерью, без малейшего труда производящей на свет совершенных детей. Поверьте, сеньора, им будет грустно выходить из вашего чрева, настолько хорошо оно приспособлено для

деторождения. Успокойте своего мужа. Просто вам еще не настало время рожать, — сказал ей по завершении обследования старый, как истлевший лист, со сморщенной, как у черепахи, кожей и в черепаших же затемненных очках врач — индеец, а может мексиканец, берущий за консультацию пятьдесят тысяч долларов.

— Милый, — ангельским голосом поинтересовалась у мужа Августа, — ты подписал чек дону Антонио?

— Благодарю вас, сеньора, — церемонно поклонился дон Антонио, — вы мне решительно ничего не должны. Я буду счастлив получить от вас финансовую

весточку, когда вы, наконец, принесете потомство. Надеюсь, что это событие не заставит себя долго ждать. Счастливого пути, сеньора! Я никогда не был в России, но слышал от своих пациенток, что это прекрасная и с большим будущим страна!

Августе, помнится, показалось странным, что этот велеречивый старый пень (она так и не поняла, почему его считают лучшим в лечении бесплодия), говорящий по-английски с ошибками и расписывающийся на рецептах каракулями, сидел в шикарном, но темном как склеп из-за опущенных жалюзи кабинете в затемненных

очках? Когда автоматические ворота клиники мягко закрылись за их машиной, Августа забыла о доне Антонио.

И, как выяснилось, напрасно.

Она ощутила смутную тревогу над Атлантическим океаном в салоне огромного головастого «Боинга», летящего из Лос-Анджелеса в Париж. Августа вдруг поняла, что происходит что-то нехорошее и что это связано с ней и ее мужем, находящимся в данный момент на втором ярусе «Боинга» в баре с видом на облака.

Августа прогулялась по салону, вглядываясь в лица людей, как бы сматывая в клубочек невидимую

нить, указывающую путь к источнику опасности.

Источник находился за вакуумной бронированной дверью, ведущей в помещения команды и кабину пилотов. Августа не задумываясь протянула руку к кнопке звонка, но не успела позвонить. Из кабины по потолку вглубь салона уходила затемненная (Августа сразу вспомнила гадкий цвет, поняла свою ошибку!) пластиковая труба пневматической почты. Внутри трубы раздался глухой щелчок. Августа проводила взглядом летящую внутри трубы (она знала куда) капсулу с посланием. Ее охватила ярость. Она могла изымать и вводить

взглядом нужную информацию в компьютерные сети, выключать волевым импульсом свечи зажигания в моторе, заклинивать электронные рулевые колонки. Могла, к чертовой матери, уронить в океан огромный металлический, оскорбляющий небесную синь, головастик-«Боинг». Но была бессильна против древних как мир простейших механических движений, будь то неторопливое вращение мельничных или масляных жерновов, ход башенных часов на площадях, полет выпущенной из лука стрелы, брошенного крепкой рукой копья, плевков пневматической почты.

С детства Августа делила людей

на три вида: свои — то есть готовые служить ей; чужие — такие как учительница химии, которые открыто и не таясь ненавидели ее; и, наконец, — никакие (их было подавляющее большинство), которые не могли ни помочь, ни навредить ей. Но, оказывается, были еще и четвертые — такие как дон Антонио, рассыпающиеся, как истлевшие листья, живущие сколько им вздумается, носители древнейших, дочеловеческих, ускользающих как наркотический дым и как наркотический дым же воздействующих на мир знаний, маскирующиеся под никаких, но готовые нанести коварный, хитрый

удар в момент, когда она лишена возможности ответить.

Августа была слишком беспечна в последнее время. Она должна была разглядеть спрятанные под затемненными стеклами (о, ей были известны эти, усыпляющие бдительность, особой – на вороньей крови – плавки стекла!) глаза дона Антонио, стереть мексиканско-индейскую вонючку в порошок! Августа не сомневалась, что даже если пошлет по его следу своих помощников, они уже не найдут врача-миллионера в клинике под Лос-Анджелесом. Эти люди были старше мира. Они приходили в мир как наркотический дым,

воздействовали на мир как наркотический дым, и как наркотический дым растворялись в нем – без следа, цвета и запаха.

Оставляя «ломку» Августе.

Когда Августа добежала до бара с видом на облака, конверт и послание, сделанные из специальной мгновенно сгорающей бумаги, лежали кучкой пепла в пепельнице. Муж дрожащей рукой наливал себе из бутылки виски. Он вздрогнул, увидев Августу. Он был человеком неробкого десятка и к тому же бандитом, контролирующим целую отрасль. Но сейчас выглядел как проворовавшийся коммерческий директор, на которого «наехали»

крутые ребята то ли из группировки, то ли из налоговой полиции.

Августа молча налила себе виски. Выпила.

— Я догадываюсь, что старый ублюдок написал какую-то мерзость, — сказала она. — Он приставал ко мне. Всадил под видом снотворного наркотик, потом тряс у меня перед лицом своим чудовищным татуированным индейским членом. Но я не отключилась. Я начала кричать, он убрался. Я не хотела тебя расстраивать. Поэтому, кстати, он побоялся взять с нас деньги... — Августа с тревогой посмотрела на мужа. Муж ответил ей

бессмысленным взглядом никакого человека, склоняющегося, однако, к тому, чтобы сделаться чужим.

— Откуда он знает русский язык? — спросил он.

— От русских б...й, которых трахает в своей сраной клинике!

В это было трудно поверить, но муж, похоже, принял ее слова близко к сердцу. Августа вспомнила, что он ревнив. Телохранитель, с которым она ему изменила сразу после свадьбы, был послан с поручением в Гулистан, где неизвестные похитители содрали с него — живого! — кожу. После этого прискорбного случая другие телохранители, вообще все знакомые

мужа, даже приезжающие на деловые встречи гулийцы и чеченцы, смотрели на Августу как на женщину-невидимку, то есть в упор де видели Августу.

— Что означает в русском языке слово «шагина»? — поинтересовался муж.

— Шагина? — удивилась Августа. — В литературном русском языке такого слова нет.

Они летели над Атлантикой с востока на запад, можно сказать, висели на хвосте у садящегося солнца. Который уже час «Боинг» болтался в закате, как железная соринка в закрывающемся циклопьем глазе светила. Августа

подумала, что сумеречная трещина между мирами бесконечно расширилась. И еще подумала, что неплохо было бы ускользнуть в нее вместе с «Боингом», чтобы избавить себя, мужа и всех остальных людей от сомнений и страданий. Она увидела косо вонзающийся в океан, как белое лезвие в желе, самолет, бестолково мечущиеся над водой цветные облака, постепенно растворяющиеся в сумерках. Но она знала, что подобный конец — невозможное для нее счастье, что «Боинг» долетит до Парижа, даже если у него откажут все двигатели и отвалятся крылья. Августа была вполне самостоятельна в принятии

любых решений. Но только не в решении – жить ей или не жить. Тут воля Августы растворялась в иной – бесконечной и непреклонной – воле, как соринка-самолет в закатном небе.

– Слова «шагина» в литературном русском языке нет, – тупо повторил муж, не отрывая взгляда от щепотки пепла в пепельнице, – но не станешь же ты отрицать, что в литературном русском языке есть слово «вагина»?

– Вагина? – поморщилась Августа. – Это какой-то медицинский термин, что-то связанное с гинекологией.

– Ты никогда не родишь мне

ребенка, сука, – плеснул в стакан
виски муж. – Семя умирает в твоей...
вагине. По химическому составу...
вагины... ты... не женщина. Ты –
самка шакала. Вернее, помесь
шакала и гиены. Это животное
называется «шагина». Их с огромным
трудом всего по несколько штук в год
выводят в лабораторных условиях для
суперсекретных медицинских
экспериментов. У них три
особенности. Во-первых, рождаются
только самки. Во-вторых, они
стопроцентно бесплодны. В-третьих,
они бесконечно живучи и
невосприимчивы к земным болезням.
В их... вагине погибает даже вирус
СПИДа. Что случилось с твоим

отцом?

– Хочешь, пойду вместе с тобой в церковь, как вернемся в Москву? – спросила Августа. – Боже мой, как ты можешь верить в эту галиматью?

– Первый раз меня посадили за незаконные валютные операции – так это тогда называлось – когда я учился на третьем курсе Института восточных языков, – произнес муж, глядя мимо Августы в вечные сумерки (трещину между мирами), сквозь которые летел самолет. – Всего-то купил у негра триста долларов. Мне дали пять лет. Рубал уголек в Караганде. Но дело не в этом. Я изучал арабский и фарси. Я знаю кое-что про шакала. Более

того, — без малейшего страха, с не лишенным мужества отчаяньем посмотрел Августе в глаза, — я думаю, что это справедливо.

— Что справедливо? — Августе было никак не избавиться от острого желания самой превратиться в дым и лететь, лететь над мексиканскими пустынями, горами, кустарниками и кактусами, над пересыхающими ручьями и пенящимися водопадами, над кукурузными полями и каменистыми холмами, высматривая дона Антонио. Почему-то она была уверена, что отыскала бы его в сумерках — в дупле, где он затаился в облике «эль рихо» — желтой желудевой мексиканской совы.

— Что ты досталась именно мне, — сказал муж. — Я, видишь ли, в силу своих занятий был приверженцем теории допустимости и даже необходимости на определенных исторических этапах, таких как, скажем, смена экономической формации, ограниченного, относительного зла. Более того, я сам, мое дело — являлись наглядным воплощением необходимого, неизбежного, малого зла, которое в конечном итоге должно было превратиться в благо для страны и народа. Но, оказывается, так не бывает. Прав не Булгаков, а Достоевский. Зло — лестница, по которой можно

двигаться исключительно в одном направлении – вниз. Зло не признает иных арифметических действий, кроме геометрической профессии. Зло не может – даже косвенно, опосредованно – содействовать благу. Справедливость в том, – почти весело закончил муж, сложным, но понятным жестом призывая бармена убрать со столика пустую бутылку и принести полную, – что так называемое относительное, управляемое, малое зло обязательно сменяется абсолютным и неуправляемым. Там, где я и такие как я – грабящие, но и любящие несчастную страну, – обязательно появляешься ты, чтобы довести,

когда у нас опустятся руки, начатое нами дело до логического завершения!

– Чем лучше идут твои дела, – вздохнула Августа, – чем больше у тебя денег, тем ты больше пьешь. Ты разрушаешь себя, сходишь с ума. Мне больно слушать этот бред. Ну хорошо, – тяжело вздохнула, как бы приняв нелегкое решение, – давай вместе сходим к гинекологу. Пусть сделает мазок, пусть немедленно отправит в лабораторию...

– Знаешь, что еще там было написано? – недослушав ее, кивнул муж на щепотку пепла. – Что если я ничего не скажу тебе, то, возможно, еще проживу на этом свете. Может

быть, у меня появится другая жена, родятся дети... — мечтательно и завороченно проследил за льющейся из бутылки в стакан тонкой маслянистой струйкой виски. — Если же я открою тебе содержание письма, то жить мне осталось недолго... Я всегда думал, что погибну от пули, — продолжил муж, — но судьбе угодно, чтобы я, как вирус СПИДа, растворился в твоей... вагине.

— Боже мой, за что? — прикоснулась пальцами к вискам Августа.

— Знаешь, как я погибну? — спросил муж. — В автомобильной катастрофе. Меня будут вырезать

автогеном из металла. Но ты, естественно, здесь совершенно ни при чем, — зачем-то поднес пепельницу к губам, дунул. Крохотная горка пепла исчезла. — Ты будешь горько плакать на моих похоронах.

Никогда Илларионов не чувствовал себя таким одиноким, как в момент достижения поставленной цели. Не только потому, что любая достигнутая цель приближала к смерти, которая, как известно, является для человека наивысшим моментом (абсолютом) одиночества и, следовательно, аллегорией всех вместе взятых — достигнутых и недостигнутых — целей. Мир во все времена не приветствовал добивавшихся поставленных целей героев, платил им за насилие над собой отвращением и отчуждением,

поворачивался к мнимым победителям неожиданной, острой как бритва, гранью.

Единственным утешением было, что цель ему поставил генерал Толстой. Это была его, а не Илларионова цель. Но Илларионов (какой бы странной поначалу ему ни казалась поставленная цель) всегда растворялся в ней, как в судьбе. Мир становился безвариантным. По внутренней своей сущности Илларионов был исполнителем, то есть стрелкой, а не прибором. Поставленная цель становилась смыслом его жизни. И чем невероятнее представлялась цена цели, тем желаннее была ему цель.

Конечный результат был ничего не значащей точкой на карте, до которой ему предстояло, как сгорающему в ночной атмосфере метеориту, прочертить короткую (или длинную), но обязательно красивую и совершенную огненную линию. Не точка, следовательно, была отражением сущности Илларионова, но линия.

«Для истинного исполнителя, — любил повторять генерал Толстой, — не имеет значения, кто поставил ему цель. Как для истинного охотника не имеет значения, по какой небесной траектории прилетела под его выстрелы дичь».

Господин Джонсон-Джонсон

назначил встречу на девять вечера.

Илларионов специально вышел из дома пораньше, чтобы убедиться, что за ним никто не следит.

Повернув с Сивцева Вражка на Арбат, оказавшись в полупьяной, хаотично движущейся толпе, он подумал, что в современной России нет смысла кому-то за кем-то следить, потому что в случае необходимости этого «кого-то» всегда можно убить. Отказавшись от коммунизма, Россия тем не менее (еще решительнее) продолжила жить по принципу: нет человека — нет проблем.

Людей с каждым днем действительно становилось меньше.

Но проблемы не исчезали. Просто на решение каждой требовалось все возрастающее количество трупов. Это была так называемая криминальная математическая генетика — кримматген. Илларионову запомнился сей термин из курса социальной психологии. Суть заключалась в том, что число членов непреследуемой, то есть находящейся как бы в лабораторных (чисто экспериментальных) условиях банды росло вместе с числом совершаемых ими убийств в классической «менделеевской» — генетической, «гороховой» — пропорции. На каждых трех новых

членов банды в год приходилось в среднем одно убийство. В то же время число членов неустанно преследуемой банды сокращалось, равно как и число совершаемых ими убийств. Тут пропорция зеркально менялась. Каждый уничтоженный (посаженный) бандит снижал показатели банды в среднем на три трупа в год. Потому-то криминальная полиция большинства стран мира неустанно (с библейской последовательностью и библейским же безнадежным отчаяньем) преследовала бандитов.

В России, похоже, придерживались на этот счет другого мнения. Илларионову было

доподлинно известно, что существуют (естественно, не преследуемые милицией) отраслевые, скажем, «держашие» железные дороги, или энергетику (в том числе атомную) целых регионов, банды численностью до тысячи человек.

Но государство не ставило перед собой цели их уничтожить.

Илларионов вспомнил слова генерала Толстого, что конечным, но не окончательным смыслом цели является ее очевидное обесмысливание в момент достижения.

— Что же тогда — окончательный смысл? — поинтересовался

Илларионов, заподозрив генерала в бернштейнианстве, в исповедовании в равной степени ни подтвержденного, ни опровергнутого жизнью принципа: «Движение — все, конечная цель — ничто».

— Окончательный смысл, сынок, — ласково посмотрел на него генерал, — не в движении, а в ожидании.

— Ожидании чего? — удивился Илларионов. — Коммунизма?

— Так и быть, — вздохнул генерал Толстой, — открою тебе одну из тайн бытия: каждый в этой жизни получает то, что хочет. Вот только не всегда в приемлемой форме и почти всегда не в самой правильной

пропорции.

Никогда Илларионов не чувствовал себя таким одиноким, как в толпе на улицах родного города. Он уже миновал колоннаду театра имени Вахтангова, где была заколота несчастная гадалка Руби, и сейчас шел по переулку, чтобы подняться у одного из высотных домов по лестнице на Новый Арбат.

«Это Москва, – подумал, ступая на скользкие ступеньки, Илларионов, – столица самого загадочного в новейшей истории человечества государства».

Ему вспомнилась поистине тропическая жара, изнурявшая Москву этим летом. Город, как

гамбургер в духовке или сандвич в ростере, поджаривался сверху и снизу. По асфальту было невозможно ходить, как если бы асфальт превратился в сплошную электроплиту. В отсутствие ветра бензиновые выхлопы свивались в лохматые ленты. Дома стояли как прямоугольные сюрреалистические головы в обвисших синих локонах. Старые люди падали замертво прямо на улицах. Бомжи искали спасения от жары в относительно прохладных шахтах и подземельях.

Во избежание подземных пожаров, мэр Москвы отдал приказ временно (до начала отопительного сезона) затопить пронизавшие город

лабиринты. Воду пустили ночью. На следующее утро поверхность Москвы-реки была расцвечена экзотическими нарядами задохнувшихся в потоках воды бомжей. Прямо на Белый дом под окна служебного кабинета премьер-министра вынесло цыганский табор в полном составе — с шатрами, тюками с гипюром и каким-то образом уведенными в подземелья конями. Кони, в отличие от людей, не растерялись в слепых потоках воды, продемонстрировали замечательную плавучесть, все как один выкарабкались, цепляясь мокрыми копытами за камни, на набережную у построенного Армандом Хаммером

Международного торгового центра. Пара гнедых оказалась запряженной в повозку, которую и выдернула как пробку из воды, подала к самому Дому правительства. В повозке сидел, скаля золотые зубы, веселый утопленник – цыганский барон с черной на манер ассирийских царей – крупными кольчужными кольцами – завитой бородой, в плисовых штанах и с внушительной, как выяснилось, пачкой долларов в кармане. «Слава Богу, – будто бы вздохнул вышедший к невиданному посетителю премьер-министр, когда саперы обыскали (на предмет взрывчатки) цыганского барона, – хоть этот не просит у меня денег

на... реконструкцию табора». «Напротив, — заметил, забирая у недовольных саперов намокшие доллары, помощник, — сам пополняет государственную казну по статье... «Реконструкция правительства».

Небывалая жара изменила гамму цветов над городом. Воздух на закате становился зеленым, как морская вода. Малиновое солнце напоминало огромного, шарящего в нем щупальцами (в поисках долларов?) осьминога. Редкие, перенасыщенные электричеством облака — летом над Москвой гремели исключительно сухие грозы — казались в освещающих вечером высотные здания прожекторах железными.

Высотные архитектурные излишества — башни, шпили, купола, портики, колоннады, каменные скульптуры шахтеров с отбойными молотками и колхозниц со снопами в руках — на фоне фаллически освещенного (устремленными вверх прожекторами) зеленого неба в отблесках металлических облаков-цепеллинов казались фрагментами второго — над первым городом людей — города падших ангелов.

Над некоторыми домами были установлены зеркальные, улавливающие солнце, энергетические экраны. Утром и днем экраны аккумулировали энергию, а вечером транслировали

специальные – повышенной яркости и четкости – гелиотелепрограммы. Они неожиданно полюбились народу, так что только вечером и ночью в Москве начиналась настоящая жизнь.

Неестественное тепло до того прокалило атмосферу, что и сейчас – зимой – снег если выпадал, то мгновенно таял. Воздух так и не пожелал вернуть себе естественный цвет, разве что слегка поступился зеленым в пользу фиолетового, сделался многослойным, как неизвестно кем испеченный и неизвестно перед кем приглашающе выставленный на блюдо торт.

Момент некоего сущностного превращения отчетливо

прочитывался в родном Илларионову городе. Это усугубляло одиночество, превращало Илларионова в Вергилия, без спутника бродящего в «сумрачном лесу». Он сравнивал себя с воздушным шаром – слишком тяжелым, чтобы оторваться от города людей и недостаточно легким, чтобы подняться до города падших ангелов.

Повсеместное изменение сущности представлялось настолько наглядным и очевидным, что Илларионов усомнился в утверждении генерала Толстого, что никакая сущность не может изменяться – может только развиваться в соответствии с заключенной в ней внутренней

логикой.

— Гусеница, куколка, бабочка —
суть разные проявления одного
процесса, — помнится, привел
пример генерал.

— Какого? — полюбопытствовал
Илларионов.

— Но это же очевидно, — с
некоторым даже недоумением
посмотрел на него генерал
Толстой, — процесса истечения
жизни, или движения к смерти.

Однако свернувшему на
Суворовский бульвар под сень
чахлых, не пожелавших сбросить
осеннюю листву деревьев
Илларионову казалось, что Москва
одновременно — как куколка —

зарывается этажами и
многочисленными фобами в землю;
как гусеница — ползет по
сжираемому собой же листу-стране;
как бабочка — рвется ночными
крыльями-гелиотелеэкранами в
измененный воздух, чтобы
взлететь... куда?

К смерти?

К городу падших ангелов?

Илларионов смотрел на идущих
навстречу прохожих, но на глаза все
время попадались измененные люди.

Изможденные — в струпьях,
язвах, лишайных пятнах — бомжи, с
некоторых пор редко ходящие по
одиночке, а все чаще подобием
самодвижущегося (в стиле старой

гвардии императора Наполеона) каре. Вооруженные палками, прутьями, цепями и прочим подручным оружием относительно крепкие особи двигались (держали оборону) по краям. Инвалиды на костылях, раненые и больные, шатающиеся синелицые женщины, источая стоны и проклятия, ползли по центру.

Матерящиеся ломкими тонкими пронзительными голосами, бритые наголо, или напротив с вплетенной в длинные грязные волосы проволокой, серьгами в ушах, в носу, в губах и даже в веках, пьяные или с притушенным наркотиками сознанием дети, иногда

сомнамбулически невосприимчивые к действительности, иногда немотивированно агрессивные. Они, как и бомжи, предпочитали держаться стаями. Одиноким прохожим лучше было не попадаться им на глаза в поздний час в глухом (и со стопроцентной слышимостью) месте.

Похожие на недогоревшие кучи мусора старухи, в отличие от стариков (те умирали молча и вдали от чужих глаз), цеплялись за продолжение в общем-то безрадостного для них физического существования, кланчили подавание у выходящих из магазинов, останавливающихся перед

витринами, фланирующих по улицам великолепно одетых людей.

Овладевший Москвой дух превращения был многолик и изменчив. Он позволял случайному (или неслучайному) наблюдателю фиксировать и отслеживать отдельные следствия, но никак не свою ускользающую суть, которой (если верить генералу Толстому) не было вовсе.

Хоть и «адресный», но очевидный голод немалой части населения России конца XX века соседствовал с повсеместным неестественным пренебрежением к продуктам. Помойки постоянно и во все возрастающих количествах

заполнялись вздутыми
невостребованными пластиковыми
коробками с йогуртами,
просроченными, превратившимися в
вонючую кашу рыбными и мясными
консервами, сгнившими бананами,
апельсинами и киви. Там и здесь у
скамеек на Суворовском бульваре
виднелись недопитые бутылки пива,
лежала на картонных тарелках
недоеденная, щедро политая
кетчупом, закуска. Удивительно, но
голодающие бомжи не бросались
доедать и допивать — подходили,
придирчиво осматривали и — иной
раз — надменно удалялись,
пренебрегая дармовыми хлебом и
солью. Продукты и напитки

(Илларионов знал это по себе) как будто не насыщали. Красивая, отменно упакованная импортная еда представлялась изначально невкусной, какой-то ложной, как вода во сне, которой, как известно, невозможно утолить жажду.

Илларионову казалось, что он понимает природу странной пресыщенности во время массового недоедания. Работая над превращением неканонических библейских текстов в гиперроман для Интернета, он обратил внимание на переданные одним египетским автором слова Иисуса, что каждый, желающий сохранить сущность народ должен питаться плодами

своей земли.

К этому времени господин Джонсон-Джонсон обеспечил доступ их поисковой программе ко всем доступным (и недоступным) информационным компьютерным сетям. У Илларионова появилась уникальная возможность уходить вглубь не только конкретных имен, но и понятий, если, конечно, компьютер верно их расшифровывал.

Компьютер истолковал слова Иисуса как «морально-этическое обоснование экономически оправданного принципа защиты местного сельхозтоваропроизводителя». Илларионов намеревался этим

удовлетвориться, как вдруг совершенно случайно — на самой периферии поиска — в поздневангельского периода рукописи, хранящейся в исторической библиотеке в Дамаске (ее аутентичность, впрочем, оспаривалась специалистами из Джорджтаунского университета) — набрел на имя ЛОИМ, которому будто бы и были адресованы слова.

Илларионов, как ковш экскаватора, устремился вглубь этого имени и выяснил, что Лоим — дальний родственник апостола Павла (в прежней жизни налогового инспектора Савла) — поставлял из Сирии в Египет запеченное в

керамических горшках мясо, вино и сушеные фрукты, которые стоили значительно дешевле местных и которые вынужденно приобретала на рынке стесненная в средствах мать Господа Христа Мария.

Видимо, у повзрослевшего Иисуса остались не самые радужные воспоминания об этих продуктах, потому что, случайно встретив на Иерусалимском крытом рынке Лоима — дряхлого, но с тех пор значительно расширившего свой бизнес старца, — он вспомнил его восковую печать (торговую марку) и заметил, обращаясь к обступившим его слушателям: «Хлеб и вино чужой земли сладки в чужой земле, где ты

гость, но невыразимо горьки в родной, ибо нет печальнее земли, что не кормит обитающий на ней народ, потому что это земля без работника и без хозяина».

«Почему говоришь так? — возмутился богач Лоим. — Мое запеченное с каштанами мясо едят в Египте и на Кипре! Вино из моих амфор пьют в кабаках Галлии, в тавернах на берегах дикого Анубиса!»

«В твоём вине нет сладости жизни, но есть горечь изгнания. Твое мясо не укрепляет, но расслабляет тело, ибо не для утоления голода после трудов праведных готовят его твои люди, —

ответствовал Иисус, — но единственно для получения денег, то есть преумножения твоих богатств!»

Прямо посреди Тверского бульвара — под ногами (гусеницами) у бронзового изваяния первого президента России на натуральном с облупившейся, правда, от дождей краской танке — недавно был открыт большой подземный книжный магазин. Илларионов давно перестал покупать книги современных российских авторов, но зачем-то спустился по замусоренным ступенькам вниз, долго бродил вдоль стеллажей, рассматривая розовые от обнаженных тел, красные от крови, коричнево-зеленые от змей, драконов

и прочей нечисти с рогами и клыками глянцевые обложки.

Определенно и здесь имело место превращение. Даже на обложке только что изданного труда В.И. Ленина «Развитие капитализма в России» Илларионов обнаружил совершенно голую рыжую девицу, широко раскинувшую ноги на куче угля.

Название одной из книг показалось ему знакомым.

Илларионов полистал страницы с просторно набранным текстом.

— «Невменяемый-4» — лучший роман Эльмирова во всей серии, — подошел продавец. — «Невменяемый-5» еще туда-сюда, а с

шестого по одиннадцатый... – махнул рукой. – Говорят, сейчас на выходе последний, девятнадцатый – «Смерть-6 Невменяемого».

– Эльмирова? Ну да, Эльмирова... – Илларионов вспомнил, как, устав от безденежья и задержек пенсии, подался в издательство, где заправлял разжалованный и уволенный из конторы за кражу секретных документов его бывший сослуживец. Он был в общем-то безобидным парнем, и Илларионов приложил немало усилий, чтобы его всего лишь уволили, а не посадили. Тогда за это еще могли посадить.

– Ты не генерал Толстой, – с

порога заявил тот, — и даже не писатель Толстой. Поэтому единственное, что могу предложить тебе — сто долларов за авторский лист.

Предложение показалось Илларионову заманчивым. Сто долларов по тем временам были большими деньгами.

— Сейчас я вызову ответственного за серию «Невменяемый», — сразу взял быка за рога приятель, — он скажет от и до чего писать.

— Что значит от и до? — удивился Илларионов. Он еще не написал и строчки, но почему-то чувствовал себя ущемленным странным «от и

до».

Но приятель уже снял телефонную трубку. В кабинет вошел полный кудрявый молодой человек с кругами под глазами.

— «Тройка» ушла вся, — доложил он. — «Четверки» осталось пачек семьсот на складе во Владимире-на-Клязьме, но я договорился с ребятами из Благовещенска. Возьмут за семьдесят процентов предоплаты. Остальное — по реализации. Если не запустим до конца месяца пятого и шестого «Невменяемого» — потеряем серию.

— Не потеряем, — успокоил приятель. — Это блистательный автор, звезда жанра, познакомься, —

кивнул на Илларионова.

— За вами три листа к одиннадцатому, — протянул холодную вялую руку молодой человек, — успеете раньше — премия сто пятьдесят долларов. Но учтите, «раньше» — это не день, не два, а минимум пять. Ни в коем случае не читайте предыдущие выпуски. Я вам дам специальную таблицу с приметами, именами, фамилиями героев, основными сюжетными ходами. Начнете с эпизода, когда Невменяемый греет в зоне руки у костра, обдумывая побег. Потом побег, встреча в поезде с Зиной, ограбление почтового вагона, бросок на Кавказ, конфликт с Рустам-ханом.

Разборка. Мнимое случайное убийство Зины. Знакомство в плавающем по Черному морю теплоходе-борделе с наркоманкой-стриптизершей Беллой. Она из приличной семьи, но наркотики ее сгубили. Невменяемому надо отсидеться, его ищут, Белла прячет его в своей каюте, потом – уже в Москве – устраивает в казино «Коррида» охранником. Она кончает с собой – вскрывает вены в ванне или выбрасывается обнаженная из окна. Передозировка, а может, ломка. Сами решите. Бедная, бедная Белла, – чуть не прослезился кудрявый парень. – Одним словом, Невменяемый должен через нее зацепить

наркомафию. Разборка между московскими группировками за право контролировать игорный, бизнес. Он участвует как рядовой боец. Заканчиваете так: Невменяемый случайно видит в казино Рустам-хана, который, как ему представляется, виноват в смерти Зины. Он вышибает из него мозги бильярдным шаром и, сам того не ведая, расстраивает покушение на президента России, которое готовится осуществить кавказская мафия, недовольная тем, как он ведет нефтяные дела в Гулистане и Адыгее. Координировать это дело как раз и приехал в Москву Рустам-хан. Невменяемому

предлагают перейти на работу в службу охраны президента. Все. Конец. Успеете до одиннадцатого? Если да, я запускаю следующего автора со сцены знакомства в сауне Невменяемого и начальника президентской охраны.

Илларионов успел, но это был его первый и последний литературный опыт. К одиннадцатому числу он сам превратился в невменяемого.

— Интересно, чем сейчас занят Невменяемый? — полюбопытствовал Илларионов у озверевшего от безлюдья продавца.

— Насколько мне известно, баллотируется в президенты

России, — ответил тот. — Но я, к сожалению, не читал последних выпусков.

Магазин был свободен от покупателей. Ряды глянцевого обложек тянулись в бесконечность, как грешная кровоточащая плоть во врата ада. Как не одобренные Господом мясо и вино древнего Лоима, эти книги сочинялись не для постижения истины, но исключительно для имитации переживаний, то есть для денег. Илларионова, впрочем, изумило не столько количество людей, вдруг пожелавших стать писателями, сколько то, что кто-то (несмотря на пустоту магазина) все-таки покупал

и, вероятно, читал эти книги. Иначе бы их не издавали, как не издавали, к примеру, Пушкина или Достоевского.

Поднявшись из магазина на Тверской бульвар, уставясь на транслирующий рекламу американского клюквенного сока гелиотелеэкран, Илларионов подумал, что для окончательного (когда ни убавить, ни прибавить) завершения превращения не хватает одного-единственного компонента. Его поразила яркость американского клюквенного сока. Мужчины, женщины, дети со странно-красными ртами жадно пили его из высоких хрустальных бокалов. Нежный голос шептал: «Мы готовы пить сок

«Гранни» вечно...» Илларионову вдруг открылось, что никакой это не сок, а кровь. В то же самое мгновение он понял, какого именно компонента не хватало стране для окончательного превращения.

Этот компонент назывался — смерть.

Илларионов вздрогнул, ощутив знакомый озноб, словно кто-то провел ледяным пальцем по его позвоночнику. Так напоминала о себе смерть, неизменно находящаяся (если верить древнему учению магов) чуть снизу и слева от человека на расстоянии вытянутой руки.

Умению распознавать смерть, а в редких случаях общаться с ней был

посвящен раздел в специальном курсе эзотерических знаний, который Илларионов прошел, повышая профессиональную квалификацию лет двадцать назад. Лекции читали странные преподаватели. Слепой узбек – усто Данияр – неслышно и без малейших сложностей перемещался по аудитории, не касаясь ногами пола. Он сумел не только вплотную приблизиться к смерти, так сказать, ухватить ее за локоток, но и задать ряд вопросов, за что смерть была вынуждена наказать его слепотой. «Теперь ты будешь видеть только меня, – будто бы ласково потрепала его по векам смерть, – не отвлекаясь

на прочее, если я так тебе интересна». «Ты и сейчас видишь ее, усто Данияр? — спросил Илларионов. — Опиши ее». «Увы, — вздохнул, слепой узбек, — этим знанием делиться бесполезно». «Почему?» — поинтересовался Илларионов. «Потому что оно вне математических действий, — объяснил узбек. — Оно само есть действие. Тогда как мы — всего лишь разные числа».

Ритмично постукивающий в бубен шаман Агай, утверждавший, что выходящий из чрева матери младенец кричит не потому, что радуется жизни, а потому, что сразу видит перед собой смерть,

устраивающуюся у него под левой
рукой. Беловолосый, белобородый
альбинос-литературовед в
партийном китайском френче,
приведший свидетельство
французского писателя Трильо,
автора знаменитого романа
«Кораблекрушение» о якобы
имевшей место беседе между ним и
смертью, явившейся к писателю в
обличье строгого господина в наглухо
застегнутом черном сюртуке. «Когда
смерть сама выходит на контакт, она,
как правило, не ослепляет, не
наносит увечий, — успокоил
литературовед. — Естественный и
любимый цвет смерти — белый. Когда
смерть появляется в черном, она

неукоснительно соблюдает все правила хорошего тона». Литературовед напомнил слушателям замалчиваемые (или превратно истолковываемые) исследователями последние слова Пушкина, обращенные к смерти: «Я узнал тебя. Ты всегда была у меня под рукой. Ну води же, вот моя рука. Не все же время тебе ходить под ней. Теперь я уйду под твою...»

Илларионов, помнится, высказал отцу сомнение в столь близком и очевидном присутствии смерти.

Отец играл в большой комнате на рояле вальс Шопена. Внимательно выслушав Илларионова-младшего, не

прерывая вальса, он заметил:

— Иногда она подходит еще ближе, можно сказать, вплотную. Не знаю, говорили ли вам на лекциях, что смерть очень любит музыку?

— Вот как? — Илларионов-младший подумал, что отец над ним издевается. — Отчего же она так рано прибрала Моцарта?

— Смерть действует... если, конечно, это слово здесь уместно... вне границ привычной нам логики, — завершил вальс звучными аккордами, свидетельствовавшими о вере Шопена в грядущее величие Польши, отец. — Неужели ты никогда, — посмотрел на сына, — не ощущал подобие движения, колебание

воздуха чуть в стороне, снизу и слева от себя?

Илларионов-младший вдруг с ужасом подумал, что ощущал и не раз.

— Как же наука объясняет эти колебания воздуха? — поинтересовался он.

— Как напоминание о неизбежном, — серьезно ответил Илларионов-старший. — Наука о смерти — танатология — древнейшая из наук. Жрецы Шумера называли ее матерью всех знаний. К примеру, доказано, что приставленная к человеку малых дарований, но долгих лет смерть зачастую испытывает сильную скуку. Тогда она

начинает развлекаться.

– Сокращает долгие годы? Или увеличивает дарования? – спросил Илларионов-младший.

– Классическое развлечение смерти – едва слышно окликнуть человека. Ее голос лишен тембра. Он как будто звучит из ничего, из подсознания. Лучше всех об этом написал Гоголь. Ты помнишь, кто там у него услышал голос смерти среди звенящей летней тишины в лопухах?

– Во всяком случае не Тарас Бульба, – предположил Илларионов-младший.

– Но смерть никогда не зовет человека по имени. Всегда слышится

какое-то другое имя. Чаще других она употребляет так называемый дубль: Петр Петрович, Иван Иванович. Видимо, смерти позволительно назвать человека правильно один-единственный раз — в момент их истинной встречи.

Илларионов-младший готов был поклясться, что совсем недавно он проснулся ранним утром (или глухой ночью) то ли от ужаса, то ли от удивления, явственно расслышав в предрассветной (или ночной) мгле: «Петр Петрович...»

— Смерть обладает полом, — продолжил отец, — хотя вовсе не обязательно к мужчине приставлена смерть-женщина и наоборот.

Танатология знает немало случаев самой настоящей ревности со стороны смерти. Мужчины, в которых влюбляется смерть, как правило, уходят от жен, приобретают деньги, славу и почести, но заканчивают жизнь в одиночестве.

— Как ты, — чуть было не сказал Илларионов-младший.

— Во всех учебниках написано, — поднялся из-за рояля отец, — что смерть является превосходным, лучшим из всех советчиков.

— Мне что-то ни разу ничего не посоветовала, — возразил Илларионов-младший.

— Да нет же, советовала, советовала, — сказал отец. — Разве

тебе не знакомо это ощущение глубочайшего внезапного покоя? Хотя только что сходил с ума из-за неразрешимых житейских проблем, тупиковых отношений, неудач и интриг на службе, обижался на что-то, что-то кому-то мысленно доказывал, высчитывал, как чего-то добиться... Впрочем, — вздохнул отец, — в сущности, совет всем дается один: земное, житейское — ничто, невидимая пыль у престола смерти...

— Если я тебя правильно понял, — вздохнул Илларионов-младший, — за каждым ходит его персональная смерть. Куда же она девается после того как, так сказать, выполнит свою миссию? Тоже... умирает? Или сразу

становится слева снизу и чуть в стороне от очередного младенца?

— Ты задаешь вопросы, на которые нет ответов, — покачал головой отец, — во всяком случае, в доступном нам понятийном ряду.

— А в недоступном? — Илларионов-младший вспомнил зеркало генерала Толстого, ворона с кровавой слезой на черной блестящей щеке.

— Я думаю, — посмотрел в окно на секущий розгами ветвей мокрый черный воздух парк отец, — есть сила, которая сильнее смерти. Видишь ли, беда, а точнее суть мира — в его бесконечности. За каждым абсолют, — а смерть, согласишься,

это абсолют, — неизменно следует что-то еще более абсолютное.

— То есть бессмертие возможно? — воскликнул Илларионов-младший. Он был молод, полон сил, ему хотелось жить вечно.

— Пред чередой абсолютов, — задумчиво произнес отец, — смерть — такая же пыль, как все житейское у ее престола... Как выясняется, престола мнимого... Ты можешь себе представить, — поднял на сына тяжелый, окаменевший какой-то взгляд, — какая же тогда невидимая — бактериальная — пыль пред бесконечной чередой этих сил... наша жизнь? Я так отвечу на твой

вопрос: данная наша жизнь абсолютно конечна. Но конец — смерть — благо в сравнении с теми силами, которые почитаются нами за бессмертие.

— Но та сила может потеснить смерть? — помнится, спросил Илларионов-младший, сам не вполне понимая, что имеет в виду.

— Вероятно, — пожал плечами отец. — Но зачем? Любые изменения и превращения в стопроцентно конечном мире, в принципе, не имеют ни смысла, ни значения.

— Значит, наши привязанности в земной жизни, — уточнил Илларионов-младший, — та же самая пыль, ничто... там?

Отец долго молчал, как бы глядя сквозь него. Определенно, он смотрел под левую руку сына и чуть в сторону. Илларионову-младшему показалось, что отец смотрит прямо на его смерть, испрашивая у нее какого-то совета, потому что смерть, как он только что объяснил — превосходный и лучший среди прочих советчик.

— Единственное, что я могу тебе сказать, — наконец прервал молчание отец, — это то, что любой знак, любая весть оттуда — предвестие скорого собственного конца. Смерть, если угодно, твой шит в этой жизни. Она чуть отодвигается, пропуская знак или весть оттуда. Но получив знак

или весть, ты обречен, твой скорый конец predetermined, и это... не тот конец, к какому тебя бы подвела естественным путем твоя смерть. Грубо говоря, смерть отступает от тебя. Ты переходишь в ведение сил, неизмеримо более... жестоких... нечеловеческих, чем просто смерть.

...Илларионов уже стоял на углу Тверской под огромным гелиотелеэкраном, не устающим транслировать рекламу американского клюквенного сока. Может быть это только показалось Илларионову, но он вдруг увидел, как зеленоватый вечерний воздух тяжело и мощно, подобно морской волне, колыхнулся снизу и чуть слева от

залитого алым клюквенным соком гелиотелеэкрана. Илларионов в ужасе прислушался, но не услышал ничего, кроме шума машин, шарканья ног, гула голосов, одним словом, обычных уличных звуков.

До встречи с господином Джонсоном-Джонсоном оставалось совсем немного времени. Илларионов более ни мгновения не сомневался, что выполнит задание генерала Толстого.

В этот самый момент реклама клюквенного сока исчезла с гелиотелеэкрана. Появилась заставка новостей.

Симпатичная дикторша с неуловимо порочным лицом

сообщила, что лидер гулийских сепаратистов, президент самопровозглашенной республики Гулистан генерал Каспар Сактаганов погиб во время танковой атаки федеральных войск на станицу Отрадная в результате прямого попадания танкового снаряда. Останки генерала Сактаганова удалось идентифицировать по обнаруженной на месте взрыва пилотке. Группа крови на пилотке, согласно утверждению медицинского эксперта военной прокуратуры, совпадает с группой крови генерала Сактаганова.

L

Конечно, майор Пухов сильно рисковал, отправляясь на трофейном джипе в скором гриме в мотель «Глория» – укрепленную базу гулийцев в столице России – но, как и всегда в подобных случаях, он утешал себя мыслью, что предстоящий риск, в сущности, ничтожен в сравнении с определенно имевшим место риском его появления на свет. В отличие от Иммануила Канта, душу которого, как известно, наполняло «все возрастающим изумлением» созерцание звездного неба над

головой и морального закона внутри него (Иммануила Канта), душу майора-спецназовца Пухова «все возрастающим изумлением» наполняла констатация простого, но не перестающего быть от этого фантастическим, факта, что он до сих пор жив. Его могли столько раз убить, но почему-то не убили, что майор давно (и с облегчением) перестал рассматривать собственную жизнь как нечто принадлежащее исключительно ему. Жизнь майора Пухова являлась, выражаясь языком генерала Толстого, «невостребованным до поры достоянием». «Чьим?» — помнится, попробовал выяснить майор. «Не

знаю, сынок, – пожал плечами генерал Толстой, – считай, что тебя несет теплое течение Гольфстрим». «Во льды?», – не то спросил, не то подумал вслух Пухов. «Теплые течения всегда несут во льды, – вздохнул генерал Толстой. – Не думай об этом. Ты даже не успеешь заметить этих льдов».

У генерала Толстого всегда имелось под рукой несколько вариантов толкования законов мироздания, порой совершенно взаимоисключающих.

С некоторых пор майор Пухов обратил внимание, что принцип взаимоисключения становится отправным (краеугольным, как

сказал бы философ) в большинстве рассуждений генерала.

Когда – много лет назад – Пухов познакомился с генералом Толстым, тот был кругл, как колобок, румян, щекаст, на голове – прореженный ежик седых волос.

Последний раз они встречались (парились в музейной баньке на загадочном лубянском этаже) совсем недавно.

Майор уже работал у Дровосека, ездил на солидном полубронированном «BMW» цвета ночи. Он заметил, что когда на его серо-черный лимузин падал лунный свет, тот становился мельхиоровым и как будто растворялся в атмосфере.

Это сообщало определенные преимущества в ночной езде без света фар.

Над Лубянской площадью в ту ночь висела большая круглая Луна. Оглянувшись от подъезда, майор Пухов не увидел своего лимузина.

В ту ночь Пухова встретил совершенно другой генерал Толстой — худой, жилистый, широкоплечий старик с прямой спиной, абсолютно голым (бритым?) черепом, надменным выражением лица, глубоко посаженными, прожигающими до самой души лазерными глазами. Пухов долго вспоминал, кого напоминает ему генерал Толстой в новом обличье,

пока, наконец, не вспомнил: бронзовую статую древнеегипетского жреца Сета из каирского исторического музея. Попадая в Каир по делам и проездом, Пухов непременно посещал этот великолепный музей и каждый раз как вкопанный останавливался перед статуей. В фигуре бритого наголо старика заключалось столько «заархивированной» (если здесь уместен компьютерный термин) силы и надчеловеческой воли, что было совершенно невозможно поверить в то, что он мог вот так просто взять и умереть, как прочие смертные люди.

И потом, когда, завернувшись в

простыни, пили чай в предбаннике, Пухову было не отделаться от ощущения, что перед ним сидит не генерал Толстой, а совсем другой человек.

– Что делать, майор, худею, – не оставил без внимания его недоумение генерал Толстой, – так сказать, меняюсь вместе со страной.

– Со страной? – удивился Пухов.

– Со страной, – подтвердил генерал Толстой, – жилистые да костистые лучше переносят голод и невзгоды, реже служат объектом немотивированного насилия, не столь вызывающе смотрятся в толпе, как толстяки-здоровяки. Полнота, майор, ассоциируется в сознании

народа с удовлетворением плотских страстей. К толстякам относятся снисходительно во времена относительного экономического благополучия, но их начинают ненавидеть во дни лишений и политической нестабильности.

Мысль не нуждалась в пояснении. Майор Пухов с интересом посмотрел на разливающего по стаканам чай генерала Толстого. Из темного угла предбанника лазерные глаза генерала светились как глаза шакала. В самом предбаннике, прежде бесхитростном, как деревенская русская жизнь, тоже появилось немало новшеств, начиная от

жаровни, над которой курилась тревожным терпким дымом сухая трава, плетеных ковриков под ногами, заканчивая странным (пальмовым?) вкусом и изумрудно-зеленым, как тина в пруду, цветом чая.

— Вы хотели, чтобы это случилось со страной? — спросил Пухов. — Или не смогли помешать?

— Уже и не знаю, — ответил генерал, — знаю только, что чему быть, того не миновать.

— Ответ хороший, — усмехнулся Пухов, — но малость неконкретный.

— Неужели ты полагаешь, — откликнулся из дыма над жаровней генерал Толстой, — что ход событий,

пусть даже чисто теоретически, может зависеть от некоего конкретного, кем-то составленного и последовательно осуществляемого плана?

– Полагаю, что нет, когда речь идет о человечестве в целом, – сказал Пухов, – и уверен, что да, когда – обо мне, или о вас, вообще, о любом конкретном человеке.

– Не о любом, майор, – покачал головой генерал Толстой. – В сущности, смысл истории заключается в том, чтобы поколения людей, сменяя друг друга, как волны на урезе океана, жили по раз и навсегда заведенному порядку. Порок же истории заключается в том, что

появляются, точнее, не исчезают силы и люди, которые стремятся изменить заведенный порядок.

— Ну да, — ехидно подсказал майор Пухов, — Иисус Христос, Будда, Магомет.

— Те, кого ты назвал, майор, — торжественно, как жрец к алтарю, прошеествовал в парную генерал Толстой, — напротив, пытаются вернуть человечество к исходному. Они не покушаются на основы мироздания. Смысл истории корректируется посредством людей, которых я называю «невостребованным до поры достоянием». Это такие как ты, майор. Или я. Мы сами не знаем —

кому служим, чью волю исполняем.

— Ну я-то, положим, знаю, — заметил Пухов. — Вашу волю, товарищ генерал. А вы — свою.

— Не смейся, майор, — возразил генерал. — Ты выполняешь только те приказы, которые выполняешь. И не выполняешь те, которые не выполняешь. Никто не заставит тебя сделать то, чего ты не хочешь делать. И, — улыбнулся (или это только показалось Пухову?) — наоборот. Твоя свободная воля заключается в том, чтобы делать то, что ты делаешь. И не думать, какая сила заставляет тебя это делать. Как тогда, в пустыне. Ведь так, майор?

— Нет ничего проще, — напомнил

генералу Толстому его же, генерала Толстого, слова Пухов, — чем разрушить картину мироздания в сознании простеца. И нет ничего глупее, подлее и бессмысленнее, чем делать это без очевидной необходимости.

— Во-первых, не коси под простеца, майор, — строго заметил с полка генерал Толстой, — во-вторых, я еще не закончил мысль. В-третьих, поддай-ка полковничка!

Майор охотно (с перехватом) выполнил приказ старшего по званию. В баньке стало невозможно дышать. Пухов скрючился в три погибели у равнодушно смотрящего в мельхиоровое лунное небо (это

свидетельствовало, что банька находится в башне) оконца. Худой же, жилистый старик, которого майор Пухов знал как генерала Толстого, блаженствовал на раскаленном, как воздух ада, полке, охаживая себя березовым веничком.

— Смысл истории, сынок, заключается в том, — продолжил, легко и замедленно, как если бы сила земного притяжения была над ним невластна, спрыгнув с полка, генерал Толстой, — чтобы люди жили большими семьями, называемыми народами, чтобы семьи-народы создавали государства, чтобы в государствах, в справедливых и честных законах воплощались души

народов, потому что только через государство, законы и собственную принадлежность к тому или иному народу отдельно взятый человек осознает свое место и предназначение в этом мире. Иначе не было бы необходимости разрушать Вавилонскую башню. Людей, исповедующих моральные и духовные ценности тех или иных народов, верящих в спасительную силу созданных этими народами государств и законов, как известно, называют в лучшем случае консерваторами, традиционалистами, в худшем — ретроgrадами, мракобесами, ястребами, националистами и так

далее. В то же время, сынок, — продолжил генерал Толстой, — не устают появляться люди, воинственно враждебные извечным ценностям человечества, так сказать, перманентные строители Вавилонской башни. Жизнь таких как мы, сынок, — меланхолически продолжил генерал Толстой, — в сущности, не что иное, как бессмысленные метания между двумя полюсами. Причем, майор, то, что ты истово и с полной выкладкой служишь одним идеям, зачастую способствует необъяснимому усилению, победительному утверждению диаметрально противоположных. И наоборот.

Пухов не уставал восхищаться талантом генерала Толстого одевать любое, порой, самое заурядное умопостроение в одежду откровения. Каждый раз его откровения очерчивали действительность таким образом, что генералу Толстому не оставалось ничего, кроме как брести, подобно буддийскому монаху, по миру неведомо куда с дырявым зонтиком над головой. Как если бы он был не генералом ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСК, ФСБ, ДФБ, а генералом некоей печальной надмирной правды о жизни, оставшимся под конец собственной жизни ни с чем.

— А может, смысл истории в

том, — задумчиво отследил мелькнувшую в банном окошке ночную птицу, должно быть, сову генерал Толстой, — что люди, которые могут себе позволить черт знает что, не позволяют себе практически ничего, в то время, как те, кто не должен позволять себе ни черта, лезут из кожи вон, чтобы кое-что позволить.

Майор Пухов примерил спорную мысль старшего по званию к себе и был вынужден констатировать, что, действительно, он не позволяет себе многое из того, что мог бы, и в то же время иногда лезет из кожи вон, чтобы позволить то, что не должно.

Кое-что из того, что не должно.

– Все что угодно, – возразил Пухов, – но только не покушение на смысл истории и мироздания.

– Кокаиновый барон, владеющий фабриками по производству наркотиков, почти никогда сам их не употребляет. А разная нищая сволочь в больших городах спит и видит как бы заполучить это зелье... Много лет, сынок, – вздохнул генерал Толстой, – я правил судьбу России острой бритвой по живому мясу. А теперь...

– Теперь Россия правит острой бритвой вашу судьбу по живому мясу, товарищ генерал? – не очень вежливо перебил начальника Пухов.

– Да, майор, – не обиделся,

впрочем, генерал Толстой, — в особенности, по части понимания исторических закономерностей.

— Что вы имеете в виду? — поинтересовался Пухов, прекрасно понимая, что генерал имеет в виду что угодно, но только не то, что сейчас скажет. Майор давно смирился с тем, что они видят мир по-разному. Иногда ему казалось, что генерал Толстой — пришелец из космоса. Иногда — что он представитель цивилизации, которая была на Земле до людей. У предшественников «*Homo sapiens*» было не пять, а гораздо больше чувств. Им были ведомы иные, неизвестные людям, измерения. Но

был в них и некий изъян, в конечном счете сводящий на нет все их усилия в мире людей. Наблюдая за генералом Толстым, Пухов сумел словесно его сформулировать: сами будучи тайной, эти люди тем не менее отрицали тайну бытия; направляя события, отрицали промысел Божий и, как следствие, были сами отрицаемы Богом, независимо от того, какие цели преследовали. Видимо, это была их беда, а не вина.

— Я устал в одиночестве сражаться за счастье дрянных людишек, — просто ответил генерал Толстой. — Если они не нуждаются более в государстве, если им не

нужна защита, не нужны законы, если они не хотят быть народом, то, как говорится, скатертью дорога! Да-да, майор, – окатил себя из ковшичка холодной водой, – боюсь, мы последний раз паримся в этой баньке. Я намерен подать рапорт об отставке...

– Кому? – поинтересовался майор Пухов.

– Как кому? – как будто даже обиделся генерал Толстой. – Этому... с квадратной золотой серьгой... Или он уже не возглавляет наше ведомство?

– Как это не возглавляет? – с удовольствием возразил майор Пухов, – Еще и года не прошло, как

его перебросили к нам с разведки полезных ископаемых. Президент, подписывая указ, еще уточнил: «Из разведки на разведку? Сколько же у нас в России разведок?» Какие-то он толкнул англичанам в восьмидесятых секретные данные по шельфу, отсидел пять лет, а теперь говорит, что сидел за то, что возвысил голос в защиту прав народов Севера, свободы и демократии.

— Ему и подам, — не потерял хладнокровия генерал. — Спрошу у секретарши, как его зовут и в каком он звании.

— Два года назад он съел перед входом в министерство обороны свой военный билет в знак протеста, что

сына призывали служить в армию, — сказал Пухов. — Тогда он был младшим лейтенантом запаса.

— Я бы взял тебя с собой в это путешествие, сынок, — задумчиво произнес, глядя на майора Пухова из банного сумрака светящимися лазерными или шакальими глазами, генерал Толстой. — Путешествие внутри исторической закономерности, то есть внутри того, что сильнее всех воль и сил мира, что изменить нельзя...

Пухов подумал, что вряд ли это будет приятное и безопасное путешествие.

— В конце концов, сынок, пора разобраться с этим чертовым

механизмом исторической
закономерности. Помнишь, великий
Ленин говорил, что электрон столь
же неисчерпаем, как и атом. Мне
кажется, — продолжил генерал
Толстой, — истина выковывается в
войне обстоятельств. Много лет, —
сокрушенно покачал головой, — я
ограничивал себя, наступал на горло
собственной песне, жил, как
кокаиновый барон, который не
нюхает кокаина. Но теперь, сынок,
мое терпение иссякло. Даже если я
не сделаю человечество счастливым,
так хоть проверю на крепость чертов
механизм исторической
закономерности! Россия, сынок, во
все времена служила лабораторией

по проверке исторических закономерностей. Но я не зову тебя с собой, сынок, в это свое последнее путешествие... – светящиеся глаза генерала Толстого вдруг погасли. Но он смахнул слезы, глаза снова засветились. – Собственно, я позвал тебя, чтобы проститься. У тебя есть минутка, чтобы выпить со стариком рюмочку после баньки?

– Хоть ведро.

Майору Пухову было некуда спешить. Дровосек отбыл в Европу, прихватив с собой в последний момент Лену Пак, с которой майор уговорился встретиться сегодня вечером. Собственная жизнь в эту ночь была как-то особенно не дорога

(если не сказать противна) Пухову. Он давно заметил противоречивую закономерность: денег полный карман, вроде еще не стар, не обижен здоровьем, девушки не шарахаются, при хоть и казенной, но почти своей машине, в любом кабаке желанный гость, а жизнь — тосклива и безысходна, как холодный ветер на пустыре у чужих домов. Пухов вспомнил слова генерала Толстого, что деньги могут служить утешением и оправданием лишь для слабых духом. Майор подумал, что хитрый старик рассудил безошибочно — он сам попросится в путешествие внутрь исторической закономерности. Потому что все

прочие путешествия, за исключением, быть может, последнего (к которому майор в общем-то всегда был готов) он уже совершил.

— Но я не могу тебя взять с собой, сынок, — вздохнул генерал уже за столом, наливая в рюмки текилу.

Пухов не понимал его пристрастия к этому, вероятно, неплохому, но воинственно чуждому русской душе кактусовому самогону.

— Это древнейший спиртной напиток на земле, — объяснил однажды генерал, когда Пухов решительно отказался от текилы. — Сейчас для его приготовления используют унифицированные

технологии, а раньше в дело шли особые кактусы, и пить текилу было истинным наслаждением. Нынешняя текила — всего лишь воспоминание о том, что когда-то пили настоящие люди.

Впрочем, майору Пухову приходилось употреблять и гораздо более странные, нежели текила, спиртные напитки. Скажем, ежевичную гулийскую водку «хачтлах», для очистки которой использовался специальный порошок, одним из компонентов которого была сухая кровь убитого в бою врага. Или семидесятиградусный самогон бедуинов, получаемый из браги, в

которую в качестве бродильного компонента вместе с финиками добавлялась верблюжья моча.

— Я не могу тебя взять с собой, сынок, — выпил и закусил копченым угрем генерал Толстой, — потому что это не столько путешествие, сколько паломничество. Тебе известно, чем паломничество отличается от путешествия, ведь так, сынок?

— В общих чертах, — Пухов не сомневался, что генерал Толстой вряд ли бы удовлетворился его объяснениями.

— Во-первых, сынок, паломничество — это поход одновременно во все стороны времени и реальности. Во-вторых,

исправление допущенных ранее ошибок. В-третьих, охотничья экспедиция за истиной. И, наконец, в-четвертых, приуготовление к расставанию с земной жизнью, так сказать, наведение порядка в квартире перед уходом. Не скрою, сынок, мне бы очень хотелось, чтобы ты был рядом, но я понимаю, что это невозможно, совершенно невозможно... — вновь наполнил рюмки генерал Толстой.

Стало быть, подумал майор Пухов, он принял окончательное решение, что самую грязную работу должен сделать именно я!

— В чем суть операции, товарищ генерал? — спросил Пухов.

– Впервые в жизни, – задумчиво посмотрел на него генерал Толстой, – я обсуждаю намеченную операцию с человеком, который не будет принимать в ней непосредственного участия.

Но будет, подумал Пухов.

– Хорошо, майор. Считай, что суть операции в наглядном выявлении и, скажем так, максимально допустимой активизации сразу всех закономерностей исторического развития России. Я хочу, чтобы древо истины выросло, зацвело и принесло плоды прямо на моих глазах, чтобы с него сами собой отпали лишние сухие ветви. Я устал бродить во тьме

с огнеметом, майор. Я хочу, черт побери, прочитать, что там начертано про Россию на этих невидимых скрижалях, которые, как известно, определяют путь человечества от вонючей пеленки до савана смердящего и которые не освещаются огнеметом... — определенно что-то вольно (в смысле добавления огнемета) процитировал генерал Толстой.

— Каким образом вы намерены побудить древо истины к столь стремительному росту?

Как ни странно, поставленная генералом Толстым цель не показалась майору Пухову чрезмерной или нелепой. Не он один

хотел ясности. Ясности хотела вся Россия.

– Путем создания новых реальностей, которые, уничтожая, или, напротив, дополняя друг друга, будут последовательно, или непоследовательно, сменяться, пока, наконец, не утвердится единственная и, стало быть, истинная реальность.

– Не все реальности обладают необходимой энергией, – заметил Пухов.

– Но она неизбежно возникает в результате форсированного доведения до логического завершения основных, определяющих ныне путь, точнее беспутье, бездорожье России,

тенденций, — возразил генерал Толстой.

Перед глазами майора Пухова встал обезьяноподобный вождь племени Шоша, поливающий в азербайджанском райцентре двухэтажное здание местной администрации из ручного пулемета. Почему-то на губах у Шоши была пена, а горячие стреляные гильзы отлетали от его обнаженного торса, не оставляя следов, как будто Шоша уже прошел закалку в ином пламени.

— Война всех против всех, — констатировал майор Пухов.

Он вспомнил, что говорил генерал Толстой о двух обязательных компонентах формулы стабильности

в обществе. «Сначала пролитая за идею большая кровь, — говорил генерал, — потом воля меньшинства плюс искусно дозируемый страх большинства. Других рецептов стабильности общества человечество не выработало. Жаль только, — помнится, добавил генерал Толстой, — что и эта формула отнюдь не на все времена. Она, как и все сущее, конечна, стремительно конечна во времени и пространстве».

— Я бы не стал столь категорично утверждать, что это война всех против всех, — вилка генерала, как вертолет, зависла над столом, а потом подцепила с тарелки странного вида кривой соленый или

маринованный корень, как если бы корень был эвакуируемым десантником. — Скорее, это конкурс сценариев, сынок.

— Какую именно сцену, товарищ генерал, вы хотели бы доверить мне в сценарии-паломничестве или пьесе-путешествии? — поинтересовался Пухов, который сколько ни блуждал взглядом по столу, не мог отыскать, кроме копченого угря, не то чтобы приемлемой, а мало-мальски привычной закуски. Стол был накрыт с капризом. К своему ужасу, Пухов увидел, что то, что он раньше принимал за жареные баклажаны, в действительности является... тоже жареной, но... саранчой! Видимо,

странный стол соответствовал новому физическому облику генерала Толстого. Прежде он утолял голод блинами с искрой. Сейчас – жареной саранчой.

– Я же сказал, что тебя это не касается! – важно ответил генерал Толстой.

Майор Пухов подумал, что, старик, пожалуй, переигрывает.

– Но если бы... ты, чисто теоретически, естественно... я бы доверил тебе красивую ностальгическую сцену по так называемым уходящим объектам.

– В вашем распоряжении достаточно специалистов, отменно работающих по уходящим

объектам, — усмехнулся Пухов. — В былые дни, товарищ генерал, вы доверяли мне более интересные сцены.

— Ты не прав, сынок, — подцепил на вилку саранчу генерал Толстой, стремительно отправил ее в рот. — Речь идет об эпической — в духе Тараса Бульбы — сцене. Я тебя породил, я тебя и... убью, — со вздохом выговорил глагол, который ни при каких обстоятельствах не употреблялся, когда речь шла об «уходящих объектах», говоря по-простому, намеренных к уничтожению людей. — Возьми себе генерала Сака, сынок. Сковырни с нежного белого тела России сосущую

ее кровь вошь!

— Разрешите идти, товариш генерал? — поднялся из-за стола Пухов.

— Я бы не обиделся, сынок, даже если бы ты опрокинул этот чертов стол, — ласково посмотрел на него генерал Толстой. — Хочешь, представлю тебя к очередному воинскому званию? Будешь подполковником российской армии. Ты знаешь, что такое быть подполковником российской армии, сынок?

— Так точно, — автоматически ответил Пухов. — Похороны с оркестром и пенсия вдове.

— Согласись, сынок, — тоже встал

из-за стола генерал Толстой, – ты сам заставил меня сказать про генерала Сака, ведь так,?

– Мне очень понравилось определение: «сосущая кровь России вошь», – оглянулся в дверях Пухов. – Но, боюсь, вы употребили его не по адресу.

– И это прощаю тебе, сынок, – с невыразимой грустью посмотрел на него генерал Толстой. – Больше в этой жизни мы не встретимся. Отныне ты совершенно свободен во всех своих действиях, майор. Дело о семидесяти семи миллионах долларов, которые ты взял в пустыне в качестве трофея, застрелив своих товарищей, закрыто. Деньги твои,

майор. Только не забывай, сынок, — слышал майор Пухов голос генерала Толстого уже в коридоре, — предначертание выше судьбы, а судьба выше воли. В этом случае не имеет ни малейшего значения, от кого исходит приказ. Он может исходить от шелудивого пса, или камня посреди поля. И ты выполняешь его, майор, потому что ход вещей не зависит не только от одной твоей воли, но и от воли всего человечества, ведь так, сынок?

...Мотель «Глория» был для гулийцев в Москве чем-то средним между прифронтовым укрепленным штабом, гостиницей, госпиталем, местом отдыха, резиденцией для

переговоров, вероятно, тюрьмой для
подследственных, которых сюда
доставляли в просторных
багажниках «линкольников» и в глухих
железных салонах микроавтобусов,
казино, публичным домом,
тренировочной базой, авторемонтной
мастерской, а также
информационно-аналитическим и
разведывательным центром, куда
стекались данные о криминальной и
политической (иные данные
гулийцев не интересовали) ситуации
в Москве. Здесь же принимались
решения, которые или немедленно
передавались на места (когда там
могли обойтись своими силами), или
же из ворот «Глории» на дикой

скорости вылетали джипы с вооруженными бойцами, что почти всегда обеспечивало в общем-то немногочисленным в столице России гулийцам количественный и качественный перевес над их азербайджанскими, чеченскими, да, пожалуй, и русскими конкурентами.

Не раз Пухов предлагал руководителю Центра по борьбе с терроризмом ликвидировать осиное гнездо, но у того на сей счет имелась собственная теория, суть которой сводилась к тому, что у ос, когда их изгоняют из старого гнезда, неизбежно происходит цивилизационно-генетический сдвиг по фазе. В новом гнезде верх берут

новые — младшего поколения — осы, куда более жестокие и безжалостные, нежели прежние зажавшиеся старшины. «Я знаю, чего можно ожидать от Нура и Сака, — утверждал руководитель Центра, — и не хочу иметь дело с новыми молодыми беспредельщиками».

Мотель «Глория» располагался чуть поодаль от многоярусной автомобильной развязки. Все подъезды присматривались и в случае необходимости простреливались. Застать гулийцев врасплох было практически невозможно. Разве что спустить им на голову непроглядной цыганской

ночью спецгруппу на дельтапланах.

Пухов демонстративно остановил свой (братьев Хуциевых) джип примерно в ста метрах от мотеля. Он знал, что на въезде, как правило, дежурят русские продажные шкуры, и надеялся, что кто-нибудь из них позвонит в джип узнать в чем дело, он же, выдав себя за гулийца, попробует разобраться в обстановке.

Но никто не звонил. Мотель казался вымершим.

Майору Пухову это не понравилось. У него появилось чувство, что он не поспевает за событиями.

Сняв с предохранителя полубившийся ему «Fovea», Пухов

подъехал вплотную к закрытым воротам, требовательно засигналил. Из будки, не сказать чтобы вприпрыжку, к джипу вышел накачанный стриженный малый, определенно славянской национальности. Майор Пухов не жаловал этих, торгующих физической силой ублюдков. На их долю выпадала самая грязная и подлая работа. Когда малый приблизился к тонированному боковому окну, Пухов резко открыл его и харкнул прямо ему в глаза, рассудив, что нечего тому напрягать редкие мозговые извилины: похож он или нет на кого-нибудь из братьев Хуциевых, с которыми малый вряд ли

был знаком лично, но наверняка знал в лицо, открывая им ворота мотеля.

— Ш-шта, с-сука! — злобно прошипел Пухов. — Н-нэ аткрываешь? Твою маму е...!

— Так ведь это... сорвались все, — опешил, но стерпел малый. — Как слышали объявление, так и...

— Согласись, сынок, — тоже встал из-за стола генерал Толстой, — ты сам заставил меня сказать про генерала Сака, ведь так?

— Мне очень понравилось определение: «сосущая кровь России вошь», — оглянулся в дверях Пухов. — Но, боюсь, вы употребили его не по адресу.

— И это прощаю тебе, сынок, — с

невыразимой грустью посмотрел на него генерал Толстой. — Больше в этой жизни мы не встретимся. Отныне ты совершенно свободен во всех своих действиях, майор. Дело о семидесяти семи миллионах долларов, которые ты взял в пустыне в качестве трофея, застрелив своих товарищей, закрыто. Деньги твои, майор. Только не забывай, сынок, — слышал майор Пухов голос генерала Толстого уже в коридоре, — предначертание выше судьбы, а судьба выше воли. В этом случае не имеет ни малейшего значения, от кого исходит приказ. Он может исходить от шелудивого пса, или камня посреди поля. И ты

выполняешь его, майор, потому что ход вещей не зависит не только от одной твоей воли, но и от воли всего человечества, ведь так, сынок?

...Мотель «Глория» был для гулийцев в Москве чем-то средним между прифронтовым укрепленным штабом, гостиницей, госпиталем, местом отдыха, резиденцией для переговоров, вероятно, тюрьмой для подследственных, которых сюда доставляли в просторных багажниках «линкольнов» и в глухих железных салонах микроавтобусов, казино, публичным домом, тренировочной базой, авторемонтной мастерской, а также информационно-аналитическим и

разведывательным центром, куда стекались данные о криминальной и политической (иные данные гулийцев не интересовали) ситуации в Москве. Здесь же принимались решения, которые или немедленно передавались на места (когда там могли обойтись своими силами), или же из ворот «Глории» на дикой скорости вылетали джипы с вооруженными бойцами, что почти всегда обеспечивало в общем-то немногочисленным в столице России гулийцам количественный и качественный перевес над их азербайджанскими, чеченскими, да, пожалуй, и русскими конкурентами.

Не раз Пухов предлагал

руководителю Центра по борьбе с терроризмом ликвидировать осиное гнездо, но у того на сей счет имелась собственная теория, суть которой сводилась к тому, что у ос, когда их изгоняют из старого гнезда, неизбежно происходит цивилизационно-генетический сдвиг по фазе. В новом гнезде верх берут новые — младшего поколения — осы, куда более жестокие и безжалостные, нежели прежние зажавшиеся старшины. «Я знаю, чего можно ожидать от Нура и Сака, — утверждал руководитель Центра, — и не хочу иметь дело с новыми молодыми беспредельщиками».

Мотель «Глория» располагался чуть поодаль от многоярусной автомобильной развязки. Все подъезды присматривались и в случае необходимости простреливались. Застать гулийцев врасплох было практически невозможно. Разве что спустить им на голову непроглядной цыганской ночью спецгруппу на дельтапланах.

Пухов демонстративно остановил свой (братьев Хуциевых) джип примерно в ста метрах от мотеля. Он знал, что на въезде, как правило, дежурят русские продажные шкуры, и надеялся, что кто-нибудь из них позвонит в джип узнать в чем дело, он же, выдав себя за гулийца,

попробует разобраться в обстановке.

Но никто не звонил. Мотель казался вымершим.

Майору Пухову это не понравилось. У него появилось чувство, что он не поспевает за событиями.

Сняв с предохранителя полюбившийся ему «Fovea», Пухов подъехал вплотную к закрытым воротам, требовательно засигналил. Из будки, не сказать чтобы вприпрыжку, к джипу вышел накачанный стриженный малый, определенно славянской национальности. Майор Пухов не жаловал этих, торгующих физической силой ублюдков. На их

долю выпадала самая грязная и подлая работа. Когда малый приблизился к тонированному боковому окну, Пухов резко открыл его и харкнул прямо ему в глаза, рассудив, что нечего тому напрягать редкие мозговые извилины: похож он или нет на кого-нибудь из братьев Хуциевых, с которыми малый вряд ли был знаком лично, но наверняка знал в лицо, открывая им ворота мотеля.

— Ш-шта, с-сука! — злобно прошипел Пухов. — Н-нэ аткрываешь? Твою маму е...!

— Так ведь это... сорвались все, — опешил, но стерпел малый. — Как слышали объявление, так и...

— Какой объявлэный, сволыч? —

сунул под нос малому «Fovea» Пухов. И это было вполне по-гулийски. Все должны были видеть новое оружие. — Гелисхан у себя?

Гелисханом звали хозяина симпатичного заведения, и уж он-то никогда бы не спутал майора Пухова ни с одним из братьев Хуциевых.

— Замочили же в Отрадной генерала Сака, — малый наконец прочистил рукавом глаза. — Гелисхан уехал. Не сказал, когда вернется.

— Я знаю, что замочылы, — покачал головой Пухов, ругая себя, что последние несколько часов не включал радио. — На, — вытащил из хуциевского бумажника стодолларовую купюру, — помянэшь

после смэны. Изви-ны, шта обыдел.
Горэ у нас...

Захлопнул дверь, въехал на территорию мотеля. У Хуциевых в карманах были целые связки ключей, и майору представлялось нелишним пройти по комнатам.

Перед тем как выйти из джипа, Пухов привинтил к «Fovea» глушитель, пристроил на всякий случай под курткой пару ножей и хуциевские пистолеты. Все это вместе с решительно не стесняющим — последней модели — бронежилетом, прикрывающим тело от горла до яиц, давало основание майору Пухову чувствовать себя достаточно уверенно, если бы не

идиотская привычка гулийцев сразу и без малейших раздумий стрелять прямо в лицо не нравящимся им людям.

В холле скучал еще один стриженный славянин, но постарше и видимо посмышленей. Скользнув взглядом по его лицу, Пухов понял, что парень сидел и положительно относится к наркотикам. Небрежно ему кивнув, майор проследовал к лестнице, но что-то ему не понравилось. Пухов как бы ощутил неочевидное движение воздуха чуть слева от себя.

Обычно майор незамедлительно «умиротворял» возникающее у него предчувствие и никогда потом не

думал – ложное или истинное оно было. Пухов искренне верил в солдатскую присказку, часто произносимую на гулийской войне: «Смерть – лучший миротворец».

Поднявшись на несколько ступенек, он резко обернулся, одновременно выбрасывая вперед руку с «Fovea», давая парню единственный, почти невысказанный шанс – оказаться к нему затылком, предстать не проявляющим к персоне майора ни малейшего интереса. Парень шансом не воспользовался, представ пред очами майора Пухова одновременно смотрящим ему в спину (уже, впрочем, не в спину, а на летящую

руку с «Fovea») и нажимающим кнопки на трубке мобильного телефона. Поймав пулю лбом, парень мягко откинулся на палас. Пухов в три прыжка вернулся вниз, подхватил парня, пристроил в кресле перед телевизором, как раз повторяющим известие о невероятной (Пухов, естественно, в нее не верил) смерти генерала Каспара Сактаганова от прямого попадания танкового снаряда.

Майор еще раз мысленно похвалил немецких оружейников — пуля из «Fovea» не насквозь пробивала череп, разбрызгивая как из шланга по сторонам мозга, но выверенно тормозила у задней —

затылочной – стенки. Таким образом, Пухову не составило ни малейшего труда привести парня в подобающий вид, заклеив проступившую на лбу капельку вишневого варенья специальным – телесного цвета – пластырем.

У апартаментов Гелисхана охраны не было, но на стене у дверного косяка вызывающе мигал крохотный красный огонек сигнализации. Это свидетельствовало, что гулийцы покидали свою базу отнюдь не в панике.

...До сего времени Пухов был в мотеле «Глория» один-единственный раз, да и то не в самом мотеле, а в

казино, куда из основного корпуса, где он сейчас находился, вела застекленная галерея – зимний сад. Накануне гулийские повстанцы сожгли очередную колонну российской бронетехники, и Пухову с колоссальным трудом удалось убедить руководителя Центра по борьбе с терроризмом нанести удар по их базе в Москве.

Мотель окружили по периметру. Пухов с несколькими спецназовцами, переодетыми под «крутых», вошел в игровой зал. Он знал, что генерал Сак вынес ему смертный приговор и объявил награду за его голову. Майор надеялся, что кто-нибудь из находящихся в зале гулийцев захочет

привести приговор в исполнение, а заодно поправить свои финансовые дела. Руководитель Центра поставил жесткое условие: гулийцы должны были напасть (обнажить оружие) первыми. Их скрытые камеры писали все происходящее в казино на пленку. Запись должна была быть приобщена к делу.

Пухов молча прошествовал к рулетке. В зале стало тихо. Потом откуда-то появился Гелисхан в аспидно-черном костюме и белоснежной рубашке. Пухов вздохнул с облегчением, когда увидел, что Гелисхан медленно опускает руку в карман брюк. Пухов не боялся (даже и в лицо — он

успевал уклониться) столь картинно обставляемого выстрела. К тому же майор был прикрыт жилетом. Пухов поправил бриллиантовую заколку на галстук. Это означало, что он поймает пулю в жилет, упадет, а ребятам всего-то останется: покосить из автоматов собравшуюся сволочь, щадя по возможности красивых баб. Хотя, возможно, они того и не заслуживали.

К величайшему разочарованию Пухова, Гелисхан извлек из кармана горсть... игральных фишек.

— Дорогой гость желает сыграть? — спросил Гелисхан. — Но опасаясь, здесь нет для него равных партнеров.

– В игре, как и в смерти, все равны, Гелисхан, – возразил Пухов.

– В таком случае, прошу! – Гелисхан поставил на красное сто одну тысячу долларов. Это была именно та сумма, которую назначил за голову Пухова генерал Сак. – Или уважаемый не при деньгах? – усмехнулся Гелисхан. – Могу одолжить. Мне ничего не жалко для героя, который режет на части наших мальчишек, стреляет в затылки старикам, а потом сплавляет трупы по реке, как бревна...

Пухов подумал, что, в сущности, скрытые камеры – туфта. Он сам потом смонтирует какой угодно сюжет.

— Я всегда при деньгах, Гелисхан, — чуть сильнее, чем требовалось при изъятии дружеских чувств, похлопал гулийца по плечу. — Ты оставил мне черное. Я согласен.

— Ты забыл про зеро, — напомнил Гелисхан.

— Зеро — это жизнь, Гелисхан. Оно еще возможно, — не сдерживая себя, во весь рот (он знал, что становится похожим в этот момент на волка, но ему было плевать) улыбнулся майор Пухов. — Только для тебя, Гелисхан, единственного в мотеле. Если ты прямо сейчас по телефону распорядишься выключить камеры...

– Мой дорогой гость требует невозможного, – жестом подозвал крупье Гелисхан. Пятидесятитысячные фишки были из чистого золота с голубыми сапфирами по центру. – Мы являемся законопослушными гражданами великой России. Нам здесь нечего скрывать. Я бы мог, конечно, выключить камеры, но только в том случае, если уважаемый предъявит мне письменное распоряжение начальника департамента налоговой полиции... Пухов молча вручил крупье пластиковую банковскую карточку. Тот жестом пригласил Пухова к банкомату, чтобы проверить, есть ли на счете деньги,

но Гелисхан не позволил.

— Какие проблемы? Мы верим уважаемому гостю, тем более что речь идет о столь ничтожной сумме...

В казино было тихо, как в склепе. Люди Пухова рассредоточились по залу, выбирая позиции для довольно сложной даже для профессионалов стрельбы полувеером. Белый в крапинках шарик прыгал по рулетке с сухим костяным стуком, и майору Пухову казалось, что это крохотный череп мечется между цифрами, красными и черными секторами странного человеческого творения — рулетки, столь напоминающего изначальным

отсутствием логики и справедливости человеческую жизнь. Гелисхану было назначено проиграть, независимо от цвета гнезда, в котором успокоится шарик.

Выпало черное.

– Что я могу сказать? – развел руками Гелисхан. Крупье молча положил на поднос две пятидесятитысячные фишки и пластмассовую – тысячную. – Только одно. С этой минуты ты стоишь двести две тысячи! Кто бы не доставил генералу Саку твою голову, я доплачу этому человеку сто одну тысячу долларов!

Майор Пухов уже определил, где находится панорамная камера – в

светильнике над столом с рулеткой. Если что камера сейчас и писала, так это майора Пухова крупным планом. Он представил себе тихое (а может и не тихое) бешенство руководителя антитеррористического центра, когда тот будет просматривать пленку.

— Слишком много слов, Гелисхан, — покачал головой майор Пухов, — ты, похоже, забыл гулийскую поговорку: кто много говорит, тот неправ.

Ему вдруг расхотелось стрелять (даже в лицо, как он только что собирался) в Гелисхана из пистолета. Майор Пухов уже почти летел к нему, разворачиваясь вправо, чтобы выставленными костяшками пальцев

сломать Гелисхану гортань, а когда он упадет, добить каблуком в висок, как змею.

Гелисхан, однако, проворно отступил, схватившись за вышедшего (стремительно вытолкнутого) из боковой двери человека в очках, с редкими рыжими волосами и веснушками на круглом, но отнюдь не добродушном лице.

Маневр Гелисхана не мог остановить Пухова, готового отмахнуться от лишнего человека, как от большой бескрылой (если такие бывают) мухи. Но этот лишний человек был главой миссии ОБСЕ в Гулистане, шведским дипломатом в ранге посланника. Пухов знал, что

гулийцы платят ему тридцать тысяч долларов в месяц. Вероятно, продажный швед заслуживал смерти, но не здесь и не сейчас.

Получилось, что майор Пухов сделал перед Гелисханом что-то вроде пируэта, как если бы Гелисхан был сеньором, а Пухов вассалом, вознамерившимся почтительно махнуть перед ногами сеньора шляпой с пером, но вдруг обнаружившим, что шляпы на голове нет.

– Хочу представить тебе моего доброго друга Эриха, – засмеялся Гелисхан. – Он завтра будет докладывать о положении в Гулистане на сессии Европарламента

в Страсбурге.

Пухов понял, что его ждали. В общем-то это можно было предположить — осведомители у гулийцев были практически везде. Но операция была спланирована всего три часа назад. Майор надеялся, что не успеют предупредить. А если успеют, то они здесь не успеют подготовиться. Но успели и предупредить и подготовиться.

Майор взял с подноса тяжелые золотые фишки с сапфирами. Гелисхан брезгливо, но понимающе улыбнулся.

В следующее мгновение Пухов вбил фишки в рот Гелисхану, с

удовольствием ощущая под рукой хруст крошащихся зубов. После чего небрежно – освобожденной пятерней как поршнем – запихнул Гелисхана под стол.

– Желаю вам хорошо повеселиться и, если повезет, выиграть еще тридцать тысяч долларов, господин Линд! – кивнув шведу, вышел из зала. Собственно, можно было не церемониться с сигнализацией, но Пухов не сомневался, что она подключена к ближайшему милицейскому пульту. Разбираться с родной милицией, которая как на крыльях прилетит защищать богатых клиентов, ему не хотелось.

Вздохнув, он отправился вниз по лестнице в подвал, где должен был находиться щиток и откуда доносились громкие гортанные голоса.

Майору не о чем было разговаривать с двумя усатыми парнями, не озаботившимися собственной безопасностью. Они так и остались за нардами, только, как бы внезапно задремав, уронили головы на стол.

Три камеры в подвале были пусты. В последней – четвертой – жалась к стене прикованная стальным наручником на длинной цепочке к идущей вдоль стены специальной круглой перекладине

обнаженная девочка-подросток с едва оформившейся грудью и бритым лобком. По отсутствию на теле кровоподтеков, а на локтях следов от инъекций, Пухов понял, что за девчонку надеялись получить выкуп и обращались с ней по гулийским понятиям гуманно. У него не было времени искать ключи, поэтому одним выстрелом из «Fovea» он вскрыл камеру, другим – отделил цепочку от наручника, оставшегося на руке девчонки. Возиться с ним у майора времени не было.

— Папа... Деньги... — пробормотала девчонка, испуганно прикрывшись сразу двумя руками.

— Не бойся, я из милиции, —

протянул ей плащ одного из успокоившихся за нардами джигитов Пухов. – Сейчас ты отсюда уйдешь. Я провожу тебя к выходу.

Он уже отключил сигнализацию.

– Подожди, – велел Пухов девчонке в холле.

Дрянной малый, которому майор дал сто долларов, зачем-то ходил вокруг хуциевского джипа, пытаясь в отсутствие хозяина, каковым по праву полагал себя майор Пухов, что-то высмотреть сквозь тонированные стекла. Смерть не только лучший миротворец, подумал майор, бесшумно обходя на мягких ногах джип, но и превосходный

преподаватель хороших манер. Вот только воспользоваться полученными знаниями ученики не всегда успевают. Он выстрелил из «Fovea» (воистину, «яма для ловли диких зверей» сегодня не пустовала) малому под левую лопатку, уложил его, испускающего последний нечистый выдох, под джип, чтобы не мозолил глаза проезжающим мимо.

— Не жалея его. Он напрасно жил. К тому же он бы не позволил тебе уйти, — лаконично объяснил Пухов дрожавшей под плащом девчонке, подтолкнул ее к выходу. — Иди по темной стороне вдоль ограды до остановки и не смотри на машины, — посоветовал майор. —

Подними воротник.

По Москве ходило много странных людей. У босой в чужом плаще на голое тело девчонки были неплохие шансы добраться до ближайшего метро.

Она буквально растворилась в темноте.

Майор Пухов прикинул, что осмотр кабинета Гелисхана вряд ли потребует больше пятнадцати минут. Он решил (чтобы потом не возиться) приоткрыть створки ворот. Но едва он успел сделать это, на мосту — на верхнем ярусе развязки — показался шестисотый «мерседес», который на скорости километров в двести, не меньше, летел к мотелю. Пухов знал

Этот — пепельного цвета — с литыми дисками лимузин. На нем ездил Гелисхан. Единственное, что удалось майору — распахнуть ворота (машину хозяина надо знать!) и спрятаться за будкой.

Пепельный «мерседес-600», светя овальными фарами, замер перед приглашающе открытыми воротами. Затаившись за будкой, сделавшись частью отбрасываемой будкой тени, майор Пухов видел фрагмент верхнего яруса автомобильной развязки, по которому светящейся рекой текли машины; узкий сегмент ночного неба с вонзившейся в него, как нож по самую рукоятку, рекламой: «Ломбард. Решение всех проблем». Майора удивил необычный – сиреневый – цвет неба над столицей

России в этот ночной час. Как будто
небо, подобно Гулистану,
Золотоордынской республике,
Сибири Плюс, Южному Уралу,
Мангазее или иной российской
провинции, тоже объявило
независимость и вывесило
собственный — сиреневый —
государственный флаг.

У майора была отменная память
на масштабные цветочные
комбинации, которые, как утверждал
генерал Толстой, являлись
творчеством Господа.

— Если народы — мысли Бога, —
заметил как-то генерал Толстой, — то
широко раскинувшиеся перед
глазами пейзажи — страницы, на

которых записаны эти мысли.

— А что же тогда запахи, товарищ генерал? — помнится, полюбопытствовал майор Пухов.

— Твои мысли движутся в верном направлении, сынок, — ответил генерал Толстой после долгой паузы. — Запахи — знаки препинания между словами Бога. Но люди не знают, точнее, не хотят учиться этой письменности. Если они не видят начертанных на небесах слов, что им знаки препинания?

...Пухов вспомнил, что точно таким же — сиреневым, пульсирующим, как если бы внутри билось некое светящееся сердце, — было небо над (точнее, между)

горами Тибета, где майор побывал в прошлом году, выполняя необычное поручение генерала Толстого.

Пухов подумал, что генерал сошел с ума, когда тот попросил его положить руку на письменный стол. Достав лупу, включив лампу, генерал Толстой долго разглядывал сплетение линий на ладони майора. Затем принес из комнаты отдыха, которая одновременно служила ему лабораторией, склянку с прозрачной, но тяжелой, тягучей как резина жидкостью, и тончайшей стеклянной палочкой написал что-то на ладони майора, причем так, что сугубо индивидуальные линии – жизни, ума, сердца и так далее (вернее, их

отрезки) – на ладони Пухова как бы сделались составными частями начертанных генералом Толстым невидимых знаков (иероглифов?). Сколько Пухов ни вглядывался в свою ладонь – ничего не видел, только ощущал странный холод внутри руки, как будто постоянно здоровался за руку со снежным человеком, который к тому же был еще и человеком-невидимкой.

– Долетишь до Катманду без проблем, – сказал генерал Толстой, – для российских граждан въездная виза не требуется. В отеле тебя найдет человек по имени Цзю. Переправит через китайскую границу, покажет, где живет Хамбо.

Войдешь к Хамбо, протянешь руку ладонью вверх. Он посмотрит, кивнет или покачает головой – да или нет. Если нет, сразу уходи, не беспокой учителя. Если да, задашь ему только один вопрос: «Имя?» Все.

– Чье? – спросил майор Пухов.

– Какая тебе разница? – ответил генерал Толстой. – Не бойся, это не прививка. Можешь мыть руку, купаться, тереть наждаком, совать в огонь. Письмо уже запечатано, сынок. Ты же не хочешь, чтобы я, так сказать, переклеил почтовую марку? Отрезал твою руку и послал ее в контейнере с сухим льдом учителю Хамбо?

– Учитель Хамбо говорит по-

русски? – поллюбопытствовал майор Пухов.

– Не забивай себе голову пустяками, майор, – посоветовал генерал Толстой. – Тебе предстоит легкое и приятное путешествие. Какие у нас сейчас командировочные? Пятьдесят долларов в сутки? Я попробую выбить у начальства для тебя семьдесят пять!

– Но почему именно я должен ехать? – спросил Пухов.

– Не знаю, сынок, – развел руками генерал Толстой. – Ты сам встрял в эту историю. Ты спрашиваешь, чье имя? Я могу дать тебе тысячу толкований, но ни одно

из них не будет исчерпывающим. Хорошо. Это земное имя грядущего воплощения силы, которая заставила твою рацию услышать именно тот караван, бросила твой джип именно в тот угол пустыни, заставила тебя сделать именно то, что ты сделал.

— Зачем вам знать это имя?

— Неназванные силы, сынок, правят миром, ведь так? — спросил генерал Толстой. — Познание начинается с определения, с термина, с имени. Жизнь, история делятся сразу во многих измерениях и направлениях. Имя для всякого явления есть момент заземления, отрыва от непознаваемой и, в конечном счете, божественной, хотя

я понимаю это определение иначе, чем вы — люди, сущности, момент отсечения пуповины, связывающей явление со Вселенной. Зло перестает казаться непобедимым, когда у него появляется имя, сынок. Точно так же и названное благо перестает казаться далеким и недоступным. Всякое имя приходит в мир раньше его носителя. Вот только расшифровать его не так просто, потому что для каждого имени изобретается, так сказать, персональная, индивидуальная письменность. Но мы попробуем прочесть, ведь так, сынок?

— Разве зло и благо еще не названы? — удивился майор Пухов.

— Названы, конечно, названы, —

успокоил генерал Толстой, – да только что нам с этого, когда нас интересует конкретная личность. Мы же с тобой оперативники, сынок...

В Катманду в отеле «Princess», который непальцы почему-то выдавали за четырехзвездочный, майора Пухова в первый же день отыскал Цзю – двухметрового, наверное, роста китаец с определенно откорректированным (природой, но может и пластической операцией) на европейский манер лицом и абсолютно непроницаемым, как у сфинкса, взглядом.

Майору Пухову приходилось иметь дело с занимающими достаточно высокое положение в

своих иерархиях бандитами в самых разных странах, и ему, как правило, удавалось определять по неким (лично им систематизированным) признакам основную сферу деятельности того или иного бандита. Имеющих отношение к производству, транспортировке, сбыту наркотиков майор Пухов вычислял по надменно кривящимся от презрения к человечеству губам, пустой и черной – вакуумной – тоске в глазах. Наемных убийц – по участливому, но несколько отстраненному, как у католических священнослужителей, интересу к живым людям, их проблемам и сложностям. Предводителей уличных

боевиков – по волевым, беспокойным
рукам. Кураторов борделей,
поставщиков проституток – по
неочевидной, проступающей сквозь
внешне мужественные черты,
женственности. Компьютерные же
хакеры, без чьих услуг ныне было
немыслимо ни одно серьезное дело,
большой частью представляли из
себя стопроцентное воплощенное
ничтожество, как будто долгое и
напряженное общение с
компьютером вычищало из них, как
ненужные файлы, личность. Этим
ребятам было чуждо все живое,
включая самый вид живых денег. Они
предпочитали иметь дело с
пластиковыми кредитными

карточками. Лена Пак как-то сказала (а уж она-то знала) Пухову, что все эти свихнувшиеся на компьютерах ребята – сплошь импотенты. «Они кончают, когда им удастся пробиться в какую-нибудь защищенную сеть, или сочинить новую программу, – сказала Лена, – бабы им не нужны». Дровосек знал людей, кончавших при получении больших сумм денег. Лена знала людей, кончавших при решении компьютерных задач. Единственное майору было странно, что вокруг Лены столько импотентов. Вполне возможно, она вкладывала в это понятие что-то иное, неизвестное майору Пухову. Ему хотелось уехать с Леной куда-

нибуть подальше и там изо дня в день и из ночи в ночь доказывать ей, что он не импотент. Пухов знал людей, кончавших в момент убийства других людей. Определенно, человечество вырождалось. Приближающийся Страшный Суд, таким образом, не должен был казаться таковым. Страшной должна была казаться отсрочка, перенос слушания дела, освобождение человечества под подписку о невыезде или под залог.

Сколько майор Пухов ни вглядывался в Цзю, не мог даже приблизительно определить род его занятий на преступном поприще. Все и... ничего — такое составилось у Пухова представление о Цзю. Судьба

еще не сводила майора с бандитом столь необычного – не попадающего ни под одну известную единицу измерения – масштаба. О себе Цзю посчитал нужным сообщить, что зовут его Константином (по матери он русский, точнее украинец), но родился и вырос он в Австралии. Потом жил в Сингапуре. В Китае у него небольшая фирма, занимающаяся изданием календарей, компьютерными технологиями и исследованиями, связанными с оптикой. Жизнь распорядилась, что он как на родных говорит и думает одновременно на трех языках – русском, китайском и английском. На этих языках говорит восемьдесят

пять процентов населения Земли. Поэтому у Цзю есть все основания считать себя гражданином мира.

Пухов спросил у него, как в таком случае быть с часто поминаемым генералом Толстым утверждением, что народы – это мысли Бога? Константин Цзю ответил, что Бог взрослеет, набирается житейского и прочего опыта, у него появляются новые, более правильные, мысли.

Вечером Цзю заехал за Пуховым в отель, и они отправились на небольшой загородный аэродром, с которого и взлетели на двухместном самолете. Цзю управлял машиной, как профессиональный пилот. Майор

Пухов не сомневался: это далеко не единственное дело, которое Константин Цзю делает профессионально. Цзю был предупредителен, но абсолютно закрыт. Это не была закрытость сноба, или, напротив, возомнившего о себе ничтожества. Это была отдельность существования, то есть высшее и практически недоступное для обычного человека состояние, суть которого состояла в том, что воля Цзю была отнюдь не слабее воли, управляющей миром. Но она не могла быть такой же сильной, поэтому условием равновеликости воли – Цзю и мира – была готовность Цзю сражаться с волей мира до

полной своей победы, в случае же поражения — спокойно и непроницаемо (как он сейчас вел самолет) уйти из мира. Пухов подумал, что гражданин мира Константин Цзю — воин (только вот какого войска?), стоящий на более высокой ступени, нежели он — гражданин России майор Пухов.

Цзю посадил самолет на почти неразличимую сверху, пересекающую табачное поле, дорогу.

— Пойдешь прямо, — объяснил он, — до самого дома учителя. Он всегда один. Я буду ждать тебя здесь.

Дорога тянулась вдоль горного склона. Пухов не видел в общем-то ничего, за исключением крупных

звезд в небе и камней под ногами. Но вскоре дорога вывела его на ровное место. Пухов увидел прилепившийся к горе дом учителя, а под ним сиреневую с пульсирующим внутри светом ленту неба.

Майор вдохнул полной грудью чистейший воздух и испытал ни с чем не сравнимое чувство отчаянья от открывшейся ему красоты мира. Стоя над сиреновой пропастью неба, майор Пухов понял, что иной раз самоубийство есть не что иное, как невыразимая степень восхищения жизнью, та наивысшая для человека грань понимания сущего, за которой — пустота и сплошное разочарование, а позади — отчаянье и деградация.

Ему открылось, что многие сводят счета с жизнью не от бессилия, а, напротив, от избытка победительной силы, которой нет применения в несовершенном и конечном мире смертных.

Учитель Хамбо уже ждал майора у калитки, держа в руке суперсовременный электронный фонарь. Пухов, во всяком случае, таких еще не видел. Наверное, с таким фонарем можно было смело выходить в открытый космос.

Майор положил ладонь на стол. Хамбо немедленно направил на нее сиреневый, точь в точь как небо в пропасти, луч. Майор увидел, как на его ладони вспыхнули холодным

пламенем, а затем как будто поднялись в воздух иероглифы. Но они сразу погасли, как только Хамбо выключил фонарь. Пухов почувствовал, что холод, все это время нет-нет да напоминавший о себе покалыванием внутри ладони, ушел.

— Генерал Толстой спрашивал насчет какого-то имени, — произнес Пухов по-английски, с удивлением разглядывая десятки, если не сотни пустых и запечатанных пластиковых стаканов из-под и с сухими американскими супами, стоящие на полках. Он подумал, что генерал Толстой вполне мог бы сказать ему об этой слабости учителя и Пухов

привез бы ему упаковку самого лучшего американского сухого курино-кукурузного супа.

Хамбо несомненно понял вопрос, потому что погрузился в глубочайшую задумчивость. Из тьмы материализовался некто бритый – с черепом как дыня – в коричневом рубище, подал ожидающему ответа Пухову пиалу с густым и жирным тибетским чаем.

Когда майор поставил пустую пиалу на пол, Хамбо сунул руку под ковер, на котором сидел, скрестив ноги, вытащил из-под ковра лохматую, судя по всему не одним человеком читанную, брошюрку.

Пухов подумал, что сходит с ума.

Брошюрка была без обложки, на русском языке и называлась совершенно по-идиотски: «Смешные афоризмы и веселые анекдоты».

Полистав брошюрку, Хамбо вырвал страничку, передал Пухову. Там была одна-единственная строчка: «Скажу отцу, чтоб впредь предохранялся...» Другая сторона была чистой. Хамбо поднялся, давая понять, что аудиенция закончилась.

Когда Пухов вернулся к самолету, начало светать. Майор не поверил своим глазам. На табачном поле расположились... сотни серых диких гусей. Они были до того уставшими, что у них не было сил реагировать на идущего сквозь их

порядки Пухова. Только один горбатый гусак, вытянув шею, зашипел, как проткнутая крышка на велосипедном колесе, ухватил майора за штанину, но тут же и отпустил.

Пухов знал, что весной и осенью гуси совершают перелеты, но не знал, что они приземляются на рассвете в Гималаях на табачных полях.

— Сумеем сквозь них взлететь? — спросил у Цзю, казалось, не замечавшего гусей.

— Конечно. Они не разрешают им сидеть на дороге.

— Кто? — удивился Пухов, обративший внимание, что,

действительно, ни единого гуся на дороге не было.

— Орлы, — Цзю указал на камень в дальнем конце поля. На камне, как бы вырастая из него, увенчивая вершину конусом перьев, сидел огромный орел, надменно повернув к поднимающемуся солнцу кривой клюв. Пухов посмотрел по сторонам. По всему периметру поля на камнях сидели неподвижные, как изваяния, орлы.

— Только так кажется, — заметил Цзю, запуская двигатель, — что птицы совершают перелеты, подчиняясь; природному инстинкту. Они летят туда, куда их направляют орлы.

— Не все птицы, — возразил

Пухов.

– Не все, – согласился Цзю, – но суть в том, что в конечном итоге сила превышает природного инстинкта. То есть сила превышает всего в этом мире.

– Что будет дальше с гусями? – Пухов вдруг подумал, что его симпатии на стороне перехваченных в воздухе несчастных гусей, а не открывшихся с неожиданной стороны орлов.

– Орлы знают, что с ними Делать, – сказал Цзю.

– В таком случае, люди поступают неправильно, охотясь на гусей, – заметил Пухов, – им следует охотиться на орлов.

– Но пока что они охотятся на

гусей, – возразил Цзю. И добавил после паузы: – Ты неплохой специалист, но если мы сойдемся в бою, ты не выдержишь против меня и минуты.

– Сколько тебе лет? – поинтересовался Пухов.

– Да, я моложе тебя, но не в этом дело, – засмеялся Цзю. – Независимо от национальности и рода своих занятий, люди могут быть гусями, а могут – орлами. Ты слишком силен, слишком много знаешь о жизни, чтобы быть гусем, но ты слишком чувствителен, слишком много думаешь, чтобы быть только орлом. Ты, конечно, орел. Но ты нуждаешься в отделке. Орлы и

гуси живут по разным законам. Ты не можешь жить по законам гусей, но отказываешься полностью подчиниться законам орлов. Я думаю, мы скоро встретимся в России.

...«Мерседес» наконец въехал на территорию мотеля. Из машины по-прежнему никто не выходил, и это не нравилось майору Пухову. Если Гелисхан продвинется еще на десять метров вперед, то увидит хуциевский джип и, может быть, торчащие из-под него ноги охранника. Пухову не улыбалось бегать за Гелисханом и его телохранителями по территории мотеля, которую те знали как свои пять пальцев, а майор Пухов совсем

не знал. К тому же он хотел говорить с живым Гелисханом.

Понимая, что времени осталось всего ничего, Пухов змеей скользнул внутрь будки, перевернулся на полу лицом вверх, рассматривая помещение. Тут не было ничего примечательного: пара помповых ружей и гранатомет в приоткрытом шкафу, телевизор, внушительная стопа порнографических журналов на столике. Имелся и небольшой железный письменный стол, на котором не лежало ни единой бумажки. Майора изумило количество презервативов – ими был плотно набит нижний ящик стола. Презервативов было недостаточно

для оптовой торговли, но избыточно для индивидуального потребления. Пухов подумал, что на вахте у гулийцев работают (работали?) ребята не промах — лютые гигиенисты и враги СПИДа. На столе стоял магнитофон. Майор не раздумывая врубил его на полную мощность, потом поднялся в полный рост, чтобы Гелисхан увидел силуэт из «мерседеса», прошел по будке в куражливом танце, громко и пьяно хрипя: «Братва! Пошли они на х... эти гулийцы! Х... мы им ж... лижем! Мочить сук, мочить! Ща девочки будут!» — с грохотом (прихватив со стола пепельницу) рухнул на пол. Это должно было успокоить

Гелисхана. Или, напротив, разъярить до такой степени, что он немедленно бросится в будку. Но майор знал: гулийцы не любят иметь дело с вооруженными, в особенности с вооруженными и пьяными русскими.

«Мерседес» плавно тронулся вперед. Пухов выхватил из шкафа готовый к бою гранатомет. Как только Гелисхан поравняется с джипом, из-под которого торчат ноги охранника, придется стрелять. Вряд ли Гелисхан подумает, что паренек в столь поздний час осматривает вмятины на днище чужой машины. Пухову приходилось стрелять из гранатомета под днища легковых машин. Машина сначала как бы

замирала, затем медленно (иногда вставая как монета на ребро) устремлялась вверх, сначала складываясь, а потом неправдоподобно, как гармонь на разрыв, растягиваясь в воздухе. После чего оглушительно взрывалась в огненном шаре, разлетаясь по округе железными, пластмассовыми, матерчатыми и мясными охвостьями. Майору было обидно, что пострадает не в добрый час оказавшийся поблизости джип, который он по праву считал своим, но краем глаза Пухов уже приметил приткнувшуюся за будкой (по всей видимости, тоже оставшуюся без хозяина) «Ниву».

Он держал палец на спусковом

крючке гранатомета, прицеливаясь под бензобак, когда «мерседес» остановился, не доезжая буквально сантиметров до точки, определенной ему майором Пуховым. Фары погасли. Мотор замолчал. Лишь марсианский – красно-желтый – свет от горящего вполне галогенного фонаря над автостоянкой освещал сцену.

Майор Пухов часто ловил себя на мысли, что рассматривает происходящее и собственное участие в происходящем как игру на сцене. На сцене, впрочем, не уставал уточнять майор, где из зрительного зала постреливают. Он подумал, что нынешняя пьеса вполне

соответствует классическому – в духе Еврипида – сюжету. Пухов мстит за мать. Единственно, как-то было слишком много трупов (ритуальных жертв). Ни сидящий в холле, ни лежащий под джипом, ни оставшиеся за нардами гулийцы знать не знали, ведать не ведали про мать майора Пухова. Поэтому проще было считать, что он мстит за униженную, поруганную гулийскими и других национальностей бандитами Россию. Мысль, однако, была достаточно спорной. Еврипид, к примеру, вряд ли согласился бы поставить знак равенства между любовью к матери и любовью к Родине. Майор честно признался

себе, что, выслеживая и убивая гулийцев и работавших на гулийцев русских, он совсем не думал о матери. И все же Пухов был уверен, что в только что открытой им психологической дефиниции — «комплексе Родины» — мать играет не последнюю роль.

Майор услышал хлопок двери, увидел человека в расстегнутом светлом плаще, торопливо устремившегося к входу в мотель. Это был не Гелисхан. Гелисхан был плотнее и ниже ростом. У майора Пухова сладко защемило в груди. Если у нынешней постановки был режиссер, он явно выделял в труппе (ставил на самые выигрышные

эпизоды) актера Пухова.

На «мерседесе» Гелисхана в мотель «Глория» приехал Нурмухамед – начальник службы безопасности республики Гулистан и старый знакомец майора Пухова.

Нур приехал один.

Он очень спешил.

Августа уже запомнила, когда именно поняла, что ей нет пары в мире. Впрочем, это было вечно живое чувство, которое она не уставала переживать, вновь и вновь оставаясь в одиночестве. Епифания, меняющая привязанности, как лак на ногтях, любила повторять: «Если бы ты знала, Гутька, как я была счастлива с Петькой!» (Васькой, Генкой, Сашкой, Махмудкой и т. д.) Августе было в пору отвечать: «Если бы ты знала, Пифка, как я была одинока с Петькой!» (Васькой, Генкой, Сашкой, Махмудкой и т. д.)

Но зато ей было даровано чувство летящей свободы, несвязанности с установлениями и положениями окружающей жизни. Жизнь, мир даже не были тряпкой, о которую Августа вытирала ноги, потому что к ее ногам не приставала грязь жизни и мира.

Как, впрочем, и кровь.

Августа довольно быстро разочаровалась в вине и в любви. Ухищрения Епифании, чья фантазия по части извлечения радости из физической стороны отношений (пол партнера не играл для Епифании существенной роли) не знали истощения, вскоре прискучили Августе. Епифания любила

повторять, что готова снять урожай любви с какого угодно – пересохшего, заболоченного, пересоленного, каменистого и так далее – поля. «В этом деле, – утверждала Епифания, – как в райском саду плодоносит не только живое, но и мертвое. Мертвое иногда даже плодоносит веселее».

– То, что ты делаешь – отвратительно, – однажды (застав Епифанию с одноногим негром) возразила Августа, – потому что в этом нет красоты.

Потом, однако, она поняла, что ошиблась. Красота была в отстегнутом, аккуратно прислоненном к кровати, черного дерева, инкрустированном

карминным камнем,
отполированном до базальтового
блеска ножном протезе. Черный негр
приехал в Москву из Нигерии
торговать белым как снег кокаином.
Он сказал, что его предки были
леопардами и что в иные моменты
его беспокойной жизни чудесная
протез-нога обретает легкость и силу
леопардовой лапы. «Если бы вы
знали, девчонки, — застенчиво
улыбнулся негр, — сколько плохих
голов я проломил этой лапой...»

Августу преследовал
навязчивый кошмар. Она смотрела на
Епифанию — живую, красивую,
энергичную с летящей на плечи
черной кавалерийской лавой волос, —

а видела почему-то ее отрезанную голову, лежащую с высунутым языком между своих раскинутых ног. Августа смотрела на Епифанию и чувствовала, как сухая морозная судорога сводит бедра.

Она перестала допускать до себя Епифанию.

К этому времени Августа уже отдавала себе отчет, что является частью силы, которой определено повелевать миром. Она была достаточно начитанна, чтобы иметь представление, что это за сила. Собственно, это не являлось тайной для человечества. Суть и смысл предстоящего были неоднократно предсказаны и описаны. Но это

являлось так называемой тайной бытия. Все знали, что именно должно произойти, но не знали, когда именно и как именно. А потому делали вид, что верить в это — предрассудок. Во все века любимым занятием образованных людей и простецов было прятать, подобно страусам, головы в песок.

Аналогом тайны бытия на молекулярном — человеческом — уровне являлась смерть, о которой, как известно, думать никому не нравится, а если и нравится, то не о своей и тем более не о близкой своей смерти.

Как и о близком пришествии силы, которой назначено повелевать

миром.

На страже знаний о предстоящем — в научных залах библиотек, музеях и закрытых архивах — в основном находились люди, которым Августе не надо было ничего объяснять. Ее пропускали всюду и немедленно предоставляли все имеющиеся в наличии материалы по интересующему ее вопросу. Что было невозможно получить в России, она без труда получала через Интернет. При МГУ, куда Августа собиралась поступать на философский факультет, уже несколько лет действовал Интернет-центр. Старшей там была пожилая испанка по имени Пилар. Она

оборудовала для Августы отдельную комнату, где ее никто не беспокоил. Когда Августа навещала Интернет-центр, Пилар опускалась перед ней на колени и целовала ей руку.

Августа стремилась осмыслить человеческие представления о предстоящем неизбежном. Чем основательнее она знакомилась с разрозненными и систематизированными, популярными и научными теоретическими трудами, хрониками, художественными произведениями и документальными фактологическими изложениями, тем очевиднее ей становились

провалы и несоответствия в человеческом понимании грядущего неизбежного. Люди не понимали самой его природы, а потому трактовали все на свой человеческий (изначально ошибочный) манер.

Так, к примеру, они рассматривали идущую к власти над миром силу как стопроцентное – абсолютное, законченное – зло.

Между тем Августа доподлинно знала, что это не так.

...В ту весну Москва казалась по вечерам пустынной и тихой. В городе появился маньяк, насилующий и убивающий молоденьких девушек. Счет жертвам перевалил за два десятка.

Августа возвращалась по Кутузовскому проспекту домой из кафе «Baskin Robbins», где ее и Епифанию щедро угощал разноцветным мороженым и фруктами, поил шампанским черный как ночь одноногий негр-леопард, торгующий белым как снег кокаином. Он был очень грустен в тот вечер и много говорил о китайцах, которые окутывают Москву, как смог. Другим (видимо, он имел в виду нигерийцев) нечем дышать.

— Но ведь верная леопардовая лапа по-прежнему при тебе, — помнится, подбодрила симпатичного африканца Августа.

– Китайцы оторвут леопардовую лапу и засунут мне в задницу, – грустно улыбнулся одноногий друг Епифании. – Ты не представляешь себе, что это за люди. Это не те китайцы, которых вы знаете. Это новые – коричневые, специально обученные китайцы. Может, они даже не китайцы.

Он непременно хотел довести Августу до подъезда на своем лиловом (в цвет кожи?) «линкольне», но Августа отказалась, пошла пешком.

Молодой человек в светлом костюме догнал ее около большого, отделанного мясным мрамором овощного магазина, именуемого в

народе «мавзолеем». Он был красив, уверен в себе. У него было открытое хорошее лицо. От него как бы летела по воздуху волна обаяния. Волна накрыла Августу с головой. У нее закружилась голова. Она вынырнула, но уже идущая под руку с молодым человеком в светлом костюме. Краем сознания она понимала, что это мнимое, смертельно опасное обаяние, но внезапно вспыхнувшая симпатия, почти что любовь с первого взгляда, к молодому человеку определенно побеждала осторожность и естественный в таких случаях страх.

Августа была готова идти с ним куда угодно.

Она вдруг обратила внимание, что ноздри молодого человека едва заметно трепещут. Он как будто незаметно обнюхивал ее. Она ответила ему тем же и быстро (шестым чувством?) вычислила, что в основе немыслимого обаяния молодого человека лежит исходящий от него запах. Стоило Августе ценой невероятных усилий отвлечься от этого как бы не существующего, но совершенно точно существующего запаха (или чего-то другого, для обозначения чего в русском языке еще не было слов) окутывающего ее как смог, а Москву — новые, плохие китайцы, — она немедленно замечала, что у молодого человека скверный

скошенный (как срезанный ножом) подбородок, серые истонченные, прокуренные и нелеченные зубы, неровная, как розовые с тиснением обои, кожа на лице. И не таким уж молодым вдруг представал этот человек.

Но он, как выяснялось, мог (как сантехник напор воды в системе) регулировать силу исходящей волны и пока что играл с Августой далеко не на пределе своих возможностей.

Они же были воистину безграничными.

На Августу обрушился настоящий каскад образов: принц в серебристом костюме, как в блистающей чешуе; нежнейший

сказочный эльф с трепещущими за спиной радужными крыльями; голливудский актер с благородной сединой и искренним честным взглядом; наконец, какой-то и вовсе сверхчеловек, как будто выбравшийся из холодильника — с длинными ногтями, покрытыми перламутровым лаком, белоснежными до плеч локонами, голубыми, как космическая сталь, глазами. У Августы закружилась голова. Она была готова отдаться странному — из комиксов или мультфильмов — существу прямо на проспекте.

Августа сама не заметила, как пропахший мочой, в черной свастике, эсэсовских молниях лифт вознес их

на чердак. Должно быть, здесь собирались, оставляя граффити, поклонники скомпрометировавшего себя в истории германского Третьего рейха.

Ее спутник запер дверь на ключ. По полу чердака, как толстые черные змеи, ползли, переплетаясь и расплетаясь, залитые в битум трубы. Здесь были круглые, как иллюминаторы, окна, как если бы чердак был германским линкором или цеппелином. Сквозь них внутрь проникали (тоже похожие на трубы) солнечные лучи. Сухой пыльный воздух на чердаке был поделен трубами-лучами на светящиеся и темные параллелепипеды.

Августа отчетливо уловила в
душащей ее волне обаяния
составляющую кошмарного
насильственного совокупления,
свежей и свертывающейся крови,
расчленяемой и разлагающейся
плоти — одним словом,
составляющую боли, страха, смерти
и тлена. По ее красивым сильным
ногам прошла дрожь. Ноги стали как
из пластилина. Она ощутила в
поделенном на светящиеся и темные
параллелепипеды воздухе
концентрацию зла, совершенно
недопустимую для человеческого
мира. Августа почувствовала себя
одинокой и оставленной на пыльном
чердаке-корабле или цеппелине,

плывущем сквозь холодное светлое небо, равнодушно заглядывающее в окна-иллюминаторы. Из чего следовало, что под небом творились и более жуткие вещи. Природа силы, с которой ей в данный момент пришлось столкнуться, была неизмеримо низменнее и примитивнее, нежели ее собственная сила, но в этом месте, в этот час чужая сила была сильнее.

Молодой человек вдруг отпрянул от Августы, внимательно посмотрел, как если бы увидел впервые. Волна обаяния смешалась, разбилась о невидимый волнолом, разлетелась по увитому толстыми черными змеями полу ключьями тошнотворной пены.

Мгновение они смотрели в глаза друг другу.

Августа увидела перед собой холонокровное чешуйчатое, вставшее на жало-хвост отренье с плоской, как блин, головой, мертвыми ледяными глазами. Августа отпрянула, прижалась к стене. В этом месте сухая штукатурка была проломлена. Больше всего на свете Августе хотелось уйти в пролом. Грядущая власть над миром была ничто в сравнении с этим чисто человеческим желанием. Но это было невозможно. Слишком мала была дырка. Пролезть в нее могла разве лишь кошка. Питающемуся живой кровью и разложившейся

плотью отродью, Похоже, не было ни малейшего дела до изменяющих сущность мира предначертаний. «Большое гибнет в малом, а общее в частном», — вспомнилась Августе формула самоуничтожения зла, выведенная в 1247 году монахом Корнелиусом.

Ей не хотелось самоуничтожаться в малом и частном.

Вероятно, и молодой человек в светлом костюме увидел Августу в ином образе. В его взгляде появилась растерянность. Августа буквально влипла спиной в стенку, вжалась затылком в пролом, закрывая путь к бегству неведомой кошке,

превратиться в которую в данный момент мечтала сильнее всего на свете.

— Ты правильно встала, девочка, — пробормотал молодой человек. Его дыхание пахло могилой. Он вдруг сделался до такой степени безликим и незаметным, что Августу оставили малейшие сомнения: никакая милиция никогда его не поймает; он будет убивать кого хочет, как хочет и сколько хочет.

Пока он повелевает запахами. Пока ему будет позволено. Кем?

Августа поняла, что их встреча — не случайность. Это было невероятно, но Августа почти забыла о его присутствии.

— Я догадываюсь, кто ты, — услышала она его голос, — но раз уж мы встретились, принцесса, позволь... — приблизился к ней вплотную. У Августы возникло чувство, что ее хоронят стоя и заживо — обкладывают ее теплое тело богини, высокую дышащую грудь липким, просверленным грибницами шампиньонов дерном, — хотя бы поцеловать...

У Августы мгновенно пересохли губы. Она подумала, что поцелуй не доставит молодому (или не очень молодому?) человеку ни малейшего удовольствия. С таким же успехом он мог бы поцеловать полуденный песок в пустыне или раскаленную

сковородку. Августа не обольщалась мнимым смирением молодого человека в светлом костюме. Зло, воплощением которого он являлся, было настолько низменным и примитивным, что предстоящие его телодвижения не просчитывались. Воздействовать на полузмеиное, оперирующее запахами отродье было столь же сложно, как, скажем, выплавить железо из грубой руды для наконечника копья с помощью тончайшей компьютерной технологии, используемой для получения суперстали из сложнейшей комбинации цветных и белых металлов. Августа закрыла глаза.

– Не в губы... – услышала она уже не человеческий голос, а стопроцентное змеиное шипение, – точнее, не в эти губы... Я хочу причаститься к створу ворот, из которых... – молодой человек в светлом костюме опустился перед Августой на колени. Взлетевшая рука легко расстегнула ее юбку, длинный палец, как острый коготь, зацепил, разрезал, стянул вниз трусы. – Девочка, ты даже не представляешь, какой сладкий у меня язычок! – задыхаясь от страсти, молодой человек требовательно развел стоящей у стены Августе ноги, приклеился мокрыми ладонями – лягушачьими лапами – к ее ягодицам.

Некоторое время он сосредоточенно сжимал и тискал их, покрывал липкими поцелуями бедра, потом, застонав, запрокинул вверх голову. Августа едва не потеряла сознание, когда увидела мечущийся в пыльном чердачном воздухе, как мертвое адское пламя, длинный раздвоенный — неуловимого (мертвого) цвета — змеиный язык.

— Мой язык обладает антисептическими свойствами, — прошипел снизу молодой человек, — я подмету твое лоно, как пол в храме... Если, конечно, ты хочешь, чтобы мы расстались добрыми... живыми друзьями... — Августа уже ощущала стремительные, щекочущие касания

змеиного языка, — а ты ведь хочешь, чтобы мы расстались друзьями, я прошу тебя... Нет, я требую... Раздвинь ноги, сука, если хочешь остаться в живых! Смотри, смотри, что я делаю! — спустил с себя штаны, прижался к коленям Августы холодным безжизненным членом. — Нам некуда спешить, принцесса... Это только первая серия... — раздвоенный язык молодого человека медленно вошел в Августу.

До сих пор ей еще не доводилось испытывать столь сильного и странного наслаждения. Едва сдерживая рвущийся наружу животный стон, Августа прижала тыльную сторону ладони ко рту,

другую руку что есть силы впихнула в стенной пролом.

— Наш фильм будет многосерийным... Или я ошибаюсь, принцесса?

Она почувствовала, как язык молодого человека в светлом костюме разделяется на две подвижные самостоятельные части. В то время как первая часть занималась своим делом (подметала лоно как пол в храме) в одной полости, вторая нежно и осторожно скользила вдоль промежности, нащупывая путь, чтобы внедриться в другую. Почти теряя сознание от сотрясающих ее судорог, Августа нащупала в проломе закрепленный

на специальном держателе стилет. Она как будто знала, что он хранится именно там. Этим стилетом проклятый ублюдок закалывал несчастных загипнотизированных девиц. Августа выхватила стилет из пролома, ухватилась за рукоятку двумя руками, ногой отпихнула молодого человека в светлом костюме, а когда он поднял на нее удивленное лицо, что есть силы, не обращая внимания на протестующе и умоляюще взметнувшийся язык, вонзила — по самую рукоятку — стилет точно ему в левый глаз, после чего упала на поверженное, приколотое к облитой битумом трубе тело, обессиленно растекаясь в

последнем — самом сильном — оргазме.

...Таким образом, расхожее представление о силе, частью которой была Августа, как о законченном — абсолютном — зле решительно не соответствовало действительности. Августа могла вспомнить немало случаев, когда она напрямую карала зло. Она доподлинно знала, что в грядущем мироустройстве (по крайней мере на верхних его этажах) не предусмотрено места для самых примитивных и отвратительных проявлений зла.

Августа не могла не думать о грядущем мироустройстве, в

создании которого ей была отведена столь серьезная роль. Пока еще она не видела картины во всей ее блистательной завершенности. Видела отдельные фрагменты-прообразы в таких, казалось бы, малосвязанных между собой проявлениях, как некоторые газетные публикации и телевизионные передачи, отдельные слова и поступки находящихся у власти или стремящихся к власти политиков.

Иной раз Августа задумывалась над тем, чем явится новый миропорядок для так называемых простецов, то есть для подавляющего большинства жителей Земли. Она не могла согласиться с лукавыми

утверждениями, что они пострадают безвинно. Более того, Августа вообще не считала, что они пострадают. Переход к новому порядку должен был свершиться легко и естественно, как изящное выпрастывание и немедленный полет мягкой пластичной бабочки из жесткой хитиновой куколки.

Глубинный смысл нового порядка заключался в доведении до логического конца (бытовой материализации) начал, имевших место быть в самих людях. И не больше. В человеческий мир не привносилось извне никакое дополнительное (сверхнормативное) зло. Грядущий миропорядок всего

лишь по-новому организовывал (инвентаризовал), по более совершенной формуле расставлял уже накопившееся в мире зло. Грубо говоря, грядущий миропорядок существенно облегчал и исправлял человеческую жизнь, выставляя мешающее (как лишняя мебель в квартире) людям зло в иную плоскость (на улицу), то есть плоскость естественной (за которую человек уже как бы не отвечает) обезличенной жизни. Огромный массив зла, прежде застилавший человечеству панораму грядущего, мешавший двигаться вперед, превращался таким образом в ничто, подручный материал для бомжей,

своего рода благотворительность. Грядущий миропорядок представал отпущением грехов ради дальнейшего прогресса. Он был зеркалом, в котором отражалась душа среднестатистического человека, но никак не заговором неких таинственных сверхсил против этого самого человека.

Человек отнюдь не слаб, полагала Августа, если сумел так быстро угробить Землю. Человечество было внутренне готово к новому миропорядку.

Оставалась самая малость — преступить через разные старые религии (конфессии) и всем разом соединиться в единственной новой.

Августа знала, что новая религия придет к людям через всемирную компьютерную сеть Интернет.

Она отказывала людям в праве судить о происхождении того, что они считали злом и о чем слагали сентиментально-мистические поэмы в духе Откровения святого Иоанна Богослова. Им не дано было осмыслить слитное существование отца, сына и не духа, но мысли, равно как и не усеченное, но истинное непорочное зачатие, когда воля свыше исполняется не одной лишь женщиной, но и мужчиной.

Августа знала свою роль в предстоящем неизбежном, но когда начинала думать о земном отце ее

будущего первенца, его образ раздваивался, как язык молодого человека в светлом костюме — повелителя запахов и трупоеда, — окончившего земной путь, как редкая бабочка — на булавке (стилете) у залитой в битум трубы на чердаке.

Августа категорически не соглашалась со ставшим общим местом тезисом об изощренном уродстве грядущего повелителя, изначальной его порочности, реализующейся в том числе и через неизменную сексуальность. Существо с коричневой кожей и ярко-зелеными глазами, которое она видела во сне, нельзя было сравнить ни с чем из известного людям. Следовательно,

оно было вне их критериев оценки, как были вне их критериев оценки, скажем, метагалактика или черная сверхновая звезда в созвездии Рака. Его можно было сравнить с волей, которую люди воспринимали как абстрактное философское понятие, но ни в коем случае как материализовавшуюся (чтобы быть им понятной) в образе и подобии человека плоть. Или с мыслью, если бы она отлилась в некую общую форму, олицетворяющую собой совокупность всех когда-либо посещавших головы людей мыслей, начиная с самой первой (очевидно, насчет еды, а потом чтобы трахнуться) мысли неандертальца.

Пока что пребывающий в сознании Августы (какая иная утроба может быть у мысли и воли?) первенец был прекрасен и совершенен, как все невыраженное, но стремящееся выразиться, прорваться сквозь мыслимые и немыслимые преграды. И в то же время грозен и страшен, как судьба, от которой, как известно, не уйти, не спрятаться. Он был красив, бесконечно красив, как всякая изменяющая мир сила.

Августа знала, как будет выглядеть ее долгожданный первенец. Он будет походить на Иисуса Христа, но черты лица у него будут более глубокими и выраженными. В чертах Христа

сквозило небо (воздух). В чертах ее первенца будет сквозить непознанная человеческим разумом Вселенная (черный вакуум). У него будет лицо человека, вместившего в себя знания обо всех добродетелях и всех пороках мира. Он не будет добрым или злым повелителем. Он будет электронными весами, через которые пройдут все грешники и праведники на свете, дабы узнать свои окончательные вес и цену. Августа уже ощущала голубовато-серое мерцание миллионов компьютерных экранов, на которых неотвратимо и четко высвечивалось, как резцом на гравюре, суровое лицо ее ненаглядного первенца. Она знала,

что на него будут молиться, как на живого Бога, и против него будут восставать, как против живого предтечи Сатаны. Она знала, что вся его короткая жизнь – тридцать три года и тридцать три дня – протечет в видимых и невидимых сражениях. Она знала, что его путь в души подданных будет лежать через всемирную компьютерную сеть Интернет и там же, в Интернете, ему придется сражаться с отступниками и врагами новой веры. И еще Августа знала, что крови не дано приставать к ее первенцу. Его судьба – ходить по крови аки посуху и утолять жажду людей кровью, как водой или вином.

Как не дано было приставать

крови к ней, его будущей матери.

...Августа часто вспоминала тот давний день, когда отец порезал руку. Она училась в десятом классе. К этому времени Августа окончательно разочаровалась в вине, и, казалось бы, поводов для конфликтов с отцом не осталось. Но он продолжал их находить, не хотел жить спокойно. Иной раз Августе казалось, что жизнь отца – нерасчетливый полет с уже пройденной точкой возврата, стремительный слепой штопор, из которого нет выхода. Когда человек идет навстречу своей судьбе, его невозможно не только остановить, но просто чуть придержать за полу пиджака, рукав свитера или край

платья. Человеческие чувства (скажем, ее любовь к отцу) на магистралях судьбы представляли не более чем мигающими лампами, бессильно высвечивающими predetermined смертельные траектории.

Вот и в тот раз отец взялся нудно выговаривать Августе за шесть мельхиоровых колечек, которыми она украсила по периметру левое ухо. Она была готова немедленно извлечь из уха мельхиоровые колечки, но вдруг поняла, что, в сущности, дело не в колечках, а в несовместности двух мыслей, воплощением одной из которых (побеждающей) является она, а другой (отступающей по всем

фронтам) – отец. Их борьба была неравной. Августа как будто сидела по уши в электронике в танке, отец же брел по полю навстречу танку без оружия и с повязкой на глазах. Он, в отличие от Августы, понятия не имел, что означают шесть мельхиоровых колечек в левом ухе, но некая тень понимания, как явившаяся во сне не по назначению и благополучно забытая поутру формула мироздания, сквозила в нудном морализаторстве моющего после обеда на кухне тарелки отца.

Подобное понимание иной раз сквозило и в поведении больших масс людей, тем не менее безропотно двигавшихся по

определенной им траектории. Страну сотрясали выборы и референдумы. Их суть заключалась в том, чтобы заставить большинство (таких как отец) проголосовать за волю меньшинства (шесть мельхиоровых колечек в левом ухе Августы). Августа была глубоко равнодушна к политике, как равнодушен к разрозненным усилиям отдельных взводов и рот по взятию ничтожных деревень и шатающихся мостов через ручьи полководец, мысленно составляющий план кампании, призванной изменить лицо мира. Она понимала демократию как практическое пособие по руководству стадом.

Демократия, по мнению Августы, была тем совершеннее, чем эффективнее действовала технология обеспечения конечного итога так называемого волеизъявления масс. Массы должны были принимать предложенную им волю как свою. Если же добиться этого по какой-то причине было невозможно, они должны были выбирать между подобным, то есть между несколькими проявлениями единой воли.

В России конца XX века главным инструментом демократии – электронным пастухом – было телевидение. Августу искренне огорчал этот примитивизм.

Расчищающие путь ее первенцу людишки до того любили преходящую власть и решительно не влияющие на траекторию судьбы деньги, что ставили слишком много на голубую, вспыхивающую каждый вечер в каждом доме карту-экран. Между тем достаточно было противникам захватить, уничтожить передающие телевизионный сигнал центры, и страна оказывалась в положении разбредавшегося в отсутствие электронного пастуха стада. Каждый день без телевидения был смертельно опасен для демократии, ибо в народе, в так называемых простецах начинали восстанавливаться первичные

ИНСТИНКТЫ, неумолимо
выталкивающие их за очерченный
круг навязанной воли. Августа знала,
что путь ее первенца к вершинам
власти — это скольжение
скейтбордиста на гребне волны
свободного народного
волеизъявления. Следовательно,
история вряд ли знала второго
человека столь же приверженного
ценностям демократии, как Августа.

Она знала, что всемирные
выборы, на которых победит ее
первенец, пройдут в Интернете.

Августе было известно и другое
определение демократии — как
товарной, то есть продающейся и
приобретаемой за деньги власти.

Августа любила читать газетные и журнальные статьи, книги, фундаментальные исследования, доказывающие порочность и ущербность демократии как «способа существования белковых тел» или временного (до достижения определенной цели) мироустройства. Авторы верно – на уровне первичных инстинктов, то есть так называемой души – угадывали, что нет ничего более фантомно-призрачного (сотканного из голубого экранного света), легко изменяющегося применительно к текущему политическому моменту, нежели «вечные ценности» демократии. Они в общем-то провидели итог сквозь

постоянно возобновляющуюся дымовую завесу «народного волеизъявления». Но им было неведомо основное – разрывающее разум и сердце – противоречие демократии (продаваемой за деньги власти), а именно: онтологическая (во времени, пространстве и мыслях) бесконечность наслаждений, доставляемых властью и деньгами, и относительная краткость сроков физической жизни обладателя власти и денег.

Речь, таким образом, шла об эликсире вечной юности, а в конечном итоге о бессмертии обладателей власти и денег.

Но эликсиром вечной юности

обладали только деньги.

Кроме того, что деньги являлись эликсиром вечной юности.

Вечная юность денег казалась насмешкой над стремительно убывающим человеческим веком. Противоречие между неизбывной (даже и покупаемой за деньги) красотой мира (скажем, лазурных вод или божественных женских тел) и старческой немощью усыхающего или, наоборот, расползающегося, как тесто в бадье, тела казалось непереносимым. Мысль о неминуемой смерти воспринималась как абсурд, когда у человека было достаточно денег, чтобы жить тысячу лет. Еще более абсурдной она

становилась, когда человек наблюдал бешеное (как леммингов) размножение собственных денег, в то время как его физические силы (отпущенные годы) вели себя отнюдь не как размножающиеся лемминги.

Августе была известна самопожирающая природа денег. Во все века в мире больше всего денег тратилось на губительные для человечества проекты. Такие, скажем, как системы ядерных вооружений, могущих в одночасье уничтожить на планете все живое. Августа знала, что высвободившиеся из оборонных комплексов деньги вскоре хлынут в секретные масштабные исследования по

продлению человеческой жизни. В них будут задействованы лучшие научные силы, безграничные финансы пятидесяти крупнейших транснациональных корпораций. Августа давно обратила внимание, что человеческое общество развивается по законам алхимии: от философского камня (извлечения золота из свинца) к эликсиру вечной юности, и в конечном итоге — к гомункулусу (искусственному человеку). С выведением искусственного человека — гомункулуса — история *homo sapiens* должна была завершиться, дойти до логического конца.

Памятью о цивилизации «Номо

sapiens» и одновременно ее памятником должен был стать Интернет.

...Отец продолжал что-то бубнить насчет шести мельхиоровых колечек в ее левом ухе. Взгляд Августы упал на тарелку, которую в данную минуту старательно (он все делал аккуратно и старательно) тер щеткой отец. Тарелка вдруг разломилась в его руках. Острая грань вонзилась отцу в руку. Стекающая в раковину вода сделалась красной.

Сколько отец ни держал руку под холодной струей, сколько ни лил на рану йод, кровь не унималась. Отец побледнел, на лбу выступил

пот. Августа увела его в ванную, заставила поднять руку вверх, перетянула резиновым ремнем запястье. Алая кровь из руки отца падала на ее руку и тут же продолжала свой путь дальше, как если бы была красной ртутью, а может, мельхиором или бисером, который, как известно, не следует метать перед свиньями. Отец и дочь были похожи, но сделаны из разного материала. Августа вспомнила присказку из Киплинга насчет одной крови, подумала, что к ней это не относится.

Она вообще не любила крови, красного цвета. Красные фонари светили на входе в бордели.

Красными знаменами одевались
оружие толпы, требующие
социальной справедливости.
Красные цвета преобладали в казино
и в художественных изображениях
преисподней. Кровь была куда более
эффективным и всеобъемлющим,
нежели деньги (сдачу здесь никто не
предлагал и не брал), средством
расчета между отдельными людьми и
целыми народами. Августа знала, что
последняя — самая страшная и
необъяснимая из всех когда-либо
существовавших — болезнь придет к
растворяющемуся, исчезающему в
Интернете homo-sapiens через кровь.

Августа перевязала руку отцу, и
кровь остановилась. Именно тогда

она как бы случайно подумала о благородной (исправляющей мир) сущности рака, иссушающего сырую плоть внутренних органов, пронзающего их копьями метастазов и внутренних кровотечений.

Августа в ужасе выбежала из ванной.

Она совершенно спокойно относилась к тому, что в голову ей приходили самые разные желания. Одни из них исполнялись, другие — нет. Теперь, похоже, было назначено исполняться тем, которым не следовало исполняться. Ей открылось, что ее желание первично, а его исполнение или неисполнение — вторично. Любая, самая дикая и

странная мысль Августы, таким образом, имела такое же право на существование, как мысль честная и правильная. Мысли (в смысле материализации, появления на свет) можно было уподобить неродившимся младенцам. Некая высшая сила (ее называли по-разному) определяла место и время появления на свет того или иного младенца, материализацию (воплощение в конкретное дело) той или иной мысли. Августа не хотела, чтобы отец поранил руку. Но он поранил. Августа не хотела, чтобы он заболел раком легких. Но он заболел им в тот самый момент, когда она перевязала ему руку.

Следовательно, она этого хотела.

...Августа тогда еще не знала генерала Толстого. Они познакомились позже. Не знала она и президента крохотной (на какие внезапно, как уроненное на пол фарфоровое блюдо, рассыпался в конце девяностых годов отделившийся от России Кавказ) республики, проводшего короткий срок своего президентства в старинной из замшелого камня неприступной башне на скале над падающей вниз горной рекой.

Президенту еще не было сорока, но он был совершенно сед и, по слухам, ущербен по мужской части. Было известно, что он занимается

окультурными исследованиями. Часть граждан крохотного, зажатого между двумя горными хребтами государства считала своего президента чуть ли не святым, остальные — колдуном и вором, расхищающим достояние республики.

Достоияния, впрочем, было кот наплакал. В республике отсутствовало промышленное производство. Народ дышал чистым горным воздухом, кормился натуральным хозяйством.

Президент не жалел средств на охрану здоровья своего небольшого народа. Республика была занесена в книгу рекордов Гиннеса по количеству различных прививок на

душу населения и совершенства (в смысле полноты сведений) типовых (электронных) медицинских карт. Граждане перемещались по стране на ослах, зато из деревни в деревню летали небольшие самолеты — специализированные медицинские лаборатории. Уклонение от диспансеризации, в особенности от анализа крови из пальца рассматривалось в Уголовном кодексе республики как серьезное преступление. Видимо, президенту хотелось, чтобы в экологически чистой стране жил экологически чистый (свободный от бактерий) народ.

Мир бы вряд ли когда-нибудь

проявил интерес к экологически чистому, затерянному в горах между двумя морями, одно из которых считалось озером, государству, если бы не нефтяная труба. Ее тянули от богатейшего прикаспийского месторождения к морскому порту в Турции, где заинтересованные фирмы спешно возводили циклопический терминал для нефтеналивного флота. Маршрут трубы пролегал по территориям новых независимых государств Азии и Кавказа. Каждый метр трубы обещал большие деньги. Кавказ взорвался войнами за независимость и вооруженными конфликтами из-за спорных территорий, в которые вдруг

превратилась полоса земли и гор
вдоль намеченного маршрута трубы.
Именно здесь, как утверждали
историки новых государств, жили
далекие предки едва ли не всех
современных кавказских народов.
Древний Вавилон был заштатным
городишкой в сравнении с узкой, как
клинок, полосой земли в горах,
являвшейся, как выяснилось, не
только колыбелью всех великих
цивилизаций, но и истинным местом
рождения Магомета, Христа и Будды.
Уже девятнадцать независимых
государств (в их числе Республика
русских старообрядцев Белогорье –
РСБ, забравшихся сюда в
восемнадцатом веке, да тут и

осевших) делили между собой трубу, как девятнадцать Георгиев Победоносцев тело поверженного, но по самое горло наполненного нефтью-кровью змея.

Только президент-оккультист пренебрегал дележом, хотя с точки зрения географии и экономической выгоды (речь шла об уникальном проекте подвесного нефтепровода) именно ему-то и были карты в руки. Согласись упрямец пропустить летящую между специальных опор нефтяную трубу над бараньими папахами своих подданных, он бы не только оказался в долларах, как рыба в чешуе, но и изрядно бы спрямил (и тем самым удешевил) строительство

нефтепровода. Не говоря о том, что по выходу из ущелий его смехотворного государствишка труба бы уперлась в территорию России, и просто глупостью было бы ее не завернуть от Турции в сторону Новороссийска, где бездарно простаивал бывший крупнейший в Союзе нефтяной терминал.

Российское правительство много раз пыталось связаться с президентом по официальным каналам, но тот под разными предлогами уклонялся от контактов. Пробовали переговорить с ним и через своих людей в штабе генерала Сака, который, отступая в горы, из последних сил пытался зацепиться за

трубу. Президент, однако, вместо того чтобы назвать сумму и номер анонимного счета в швейцарском банке, на какой эту сумму перечислить, вел речь о каком-то всенародном референдуме под контролем международных наблюдателей из Турции и Ирана. Он явно издевался над геополитическими и экономическими интересами России, а точнее, над хозяином ее недр — премьер-министром. Ведь именно Турция и Иран были крайне заинтересованы в том, чтобы труба ни в коем случае не ткнулась рылом в территорию России.

Директор ДФБ и генерал

Толстой были вызваны к премьер-министру, который в ультимативной форме предложил решить проблему в двухнедельный срок. «Наша нефть, – заявил премьер-министр (он считал «нашей», точнее своей, всю разведанную и неразведанную нефть на просторах бывшего Союза, – не может течь мимо нас!»

– Сволочь, – сказал, вернувшись из Дома правительства, генерал Толстой, – сначала он отдает за деньги нашу нефть, а потом возвращает ее, проливая кровь наших солдат.

– Это разумно, – помнится, заметила Августа, – потому что кровь наших солдат, в отличие от

нефти, не стоит ни гроша.

— Ты славная ученая девочка, — усмехнулся генерал Толстой, — но кровь как предмет, как учебную дисциплину еще не изучала. И тем более не сдавала зачета. Съезди в Ираклию, этот парень — тамошний президент — неплохой специалист. Он расскажет тебе кое-что о крови. И, может статься, кое-что покажет. Ты не только сдашь зачет, но и получишь удовольствие от общения с ним.

— Зачем мне ехать в забытую Богом Ираклию, когда есть ракеты космического наведения, легкие бомбардировщики, десантники-дельтапланеристы? — удивилась

Августа. – Не дури, дед, существуют тысяча и один способ прижать этого горного козла.

– Дух народа не может быть уничтожен даже с помощью самого современного оружия, – возразил генерал Толстой, – дух народа может быть только разложен на составные части, атомы, красные и белые тела и антитела. Потом из них, как из деталей конструктора «Lego», составляется что-то другое. Народ перестает быть тем, чем был. То есть люди вроде бы ходят, едят, голосуют, но они уже не народ. Это гораздо гуманнее, нежели сводить с лица земли тысячи невинных душ. Поезжай в Ираклию. Тебя ведь

интересует кровь. Ты помнишь, как она пошла из руки твоего отца. Потом ты приказала ей остановиться. А потом он умер от рака легких.

— Причем здесь рак легких?

— Ты приказала его крови остановиться, — перебил генерал Толстой, — а потом приказала ей, чтобы он умер от рака легких. Кровь подчиняется твоим приказам. Я хочу, чтобы ты стала отличницей по этому предмету, сержантом, а может, капитаном кровяных тел! О Боже, где моя молодость? Если бы ты знала, как я любил учиться!

— Хорошо. Что я должна сделать? — остановила

бессмысленный поток слов Августа.

— В сущности, ничего особенного, — рассмеялся генерал Толстой. — Всего лишь приехать, увидеть и победить... кровь. Человеческий материал неоднороден! — крикнул ей в спину, потому что Августа в бешенстве пошла прочь из кабинета. Ей смертельно надоела игра: иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. — Тебе придется определять стратегию в отношении небольших народов! Я похлопочу, чтобы тебе выписали приличные командировочные!

Попасть в забытую Богом Ираклию оказалось, однако, не так-

то просто. Августа не захотела прыгать ночью с парашютом или высаживаться из вертолета на горном перевале. Это посчиталось бы нарушением обычаев страны. По законам Ираклии, въехавших в страну нелегально сажали на неопределенно долгий срок в земляные ямы, прибывших же законно (для этого требовалось нотариально заверенное приглашение и переданное в консульство Ираклии специальное ручательство по меньшей мере двух уважаемых ираклийцев) встречали как дорогих гостей, желания которых были для хозяев священны.

Августа вылетела в Гулистан, в распоряжение частей одного из

полевых командиров, контролировавшего прилегающий к Ираклии район и имевшего в Ираклии многочисленных родственников. Двое из них и должны были поручиться за Августу.

Наверное, она была хороша в высоких черных ботинках и в камуфляже, потому что стройный, рыжебородый, не лишенный мужской привлекательности, с зеленой повязкой оруженосца Аллаха на лбу полевой командир — его звали Хасан — устроил в ее честь пир, хотя не в обычаях гулийцев было воздавать почести женщине, тем более иноверке. Но он вышел из положения, объявив Августу личным

представителем премьер-министра России. В ту пору как раз начались очередные переговоры о мире. Гулийцы без боя под видом мирных жителей занимали позиции, с которых русская армия ранее вытеснила их ценой большой крови. Ничто, следовательно, не могло помешать пиру, сопровождаемому демонстрацией гулийской военной удали — гонке со стрельбой по македонски на джипах, танцам с кинжалами в зубах, бросанием ножей в вековые дубы, переправе через реку по дну с камнем в руках и со специальным пузырем на голове. Гвоздем программы было снесение голов шашками из проносящихся

джипов у поставленных на колени посреди поля русских пленников, но из уважения к национальным чувствам Августы Хасан опустил эту часть.

Какая-то в нем жила неизбывная печаль, в этом Хасане, бывшем министре культуры Гулийской АССР, справившем несколько месяцев назад свадьбу с немолодой французской тележурналисткой. О свадьбе «Гулистан-Париж» шумели российские и европейские газеты, камер на свадьбе было едва ли не больше, чем бокалов. Бракосочетание «Гулистан-Париж» было чисто пропагандистской акцией, попыткой не столько породнить Хасана с

похожей на цаплю немолодой женщиной, сколько — гулийскую войну с Европой. Европа отныне должна была видеть в гулийских повстанцах не только мужественных борцов за свободу, но и превосходных мужей для одиноких европейских женщин.

Августа знала имя этой печали: ясность.

Ясность являлась несовершенным способом познания мира, поскольку исключала возможность анализа фактов действительности (данностей), раз за разом размещая их по ледяным сусекам сложившихся представлений. Несовершенство

ясности как способа познания заключалась в том, что она позволяла видеть суть явления, но при этом увиденная (зачастую правильно) суть ошибочно принималась за единую, неделимую и неизменную. Грубо говоря, человек постигал мир до некоей черты, полагая ее пределом, за которым нет ничего, кроме разочарования, подлости и горя, в то время как самое интересное начиналось именно за чертой. Но если бы это понимали все люди, мир сделался бы во все стороны бесконечным и неуправляемым. Ясность была якорем, цепляющим за дно корабль познания. Ясность была порогом, за которым мужчина,

который еще долго мог оставаться молодым, начинал неудержимо стареть. Одержимые ясностью мужчины почти не улыбались, морщины на их лицах углублялись, волосы стремительно седели.

Хасан, как истинный оруженосец Аллаха, не пил на пиру вина. Тоскующий его взгляд все время стремился вдаль — поверх крон вековых дубов — к линии чистого неба, на котором не было ни облаков, ни звезд, ни закатных сполохов. Небо было стерильным и ясным, как смерть.

— Что ты там видишь, Хасан? — спросила Августа, которая, в отличие от Хасана, пила вино и к тому же

знала, что мучающая Хасана ясность — всего лишь ступенька на лестнице познания, к которой, конечно, можно надолго приклеиться подошвами, но которую можно и преодолеть. — Вместо неба?

— Ты не согласишься, — ответил Хасан, — но вместо неба я вижу там доллар — длинный и зеленый, как знамя Аллаха.

— Тогда останови эту войну, Хасан, — сказала Августа. — Зачем она твоему народу? Ты второй человек в Гулистане. Стань первым, займи место генерала Сака.

— Я не подчиняюсь генералу Саку, — усмехнулся Хасан. — У меня другой командир.

— Аллах? — предположила Августа, с удовольствием отхлебнув сладкого орехового вина, от которого, по слухам, не отказывался сам аятолла Хомейни.

— Не так высоко, — ответил Хасан, — чуть ниже. Премьер-министр России.

— А кто тогда командир у Али? — спросила Августа про третьего человека в Гулистане, любимого в Европе за неуступчивость на переговорах и жестокость к пленным и заложникам.

— Али получает деньги от московских гулийцев, — ответил Хасан. — Московские гулийцы слушаются московского мэра.

– У Карима?

– У Карима сейчас нет хозяина, – поправил на лбу зеленую повязку Хасан. – Его командира в Москве убрали. Со дня на день уберут и Карима.

– Но по твоей логике генерал Сак...

– Да, – перебил Хасан, – единственный, кому подчиняется генерал Сак, не считая, конечно, Аллаха, это президент России.

– А они? – кивнула Августа в сторону, где за дубовыми лесами, рекой и горами предположительно располагались блок-посты российской армии. – За что они воюют и кому подчиняются?

Хасан долго молчал, поглаживая сделанную из слоновой кости, инкрустированную серебряной вязью – спорным изречением из Корана: «Меньше читай – больше думай» – рукоятку старинного ножа на поясе.

– Я думаю, – задумчиво произнес он, – они подчиняются судьбе. Но мне не ясна их судьба. Их много. Они достаточно сильны, чтобы навести порядок не только здесь, но и в России. Но они предпочитают умирать в боях за наши аулы, которые их правители потом возвращают нам, а их – под наши пули. Ты спрашиваешь, за что они воюют? Они воюют, потому что Россия всегда была слишком

большая, русских всегда было слишком много, в России всегда всего было с избытком, чтобы народу некуда было отступать, чтобы он замер у черты, встал на «нет», как мы, гулийцы. Русские не понимают, что такое «нет». В этом их беда. Очевидные вещи для русских слишком долго не очевидны. Они никак не могут поверить, — рассмеялся Хасан, — в то, что их сжигают со свету. Мне их не жалко, — махнул рукой Хасан. — Как можно жалеть народ, который не знает, что ему надо, и умирает ни за что?

После пира вечером они долго гуляли в дубовом лесу. Будто бы случайно вышли к бревенчатому

домику на опушке. В одной комнате был накрыт стол, в другой стояла огромная кровать. Хасан легко подхватил Августу на руки, понес мимо стола к кровати. Она могла не менее легко убить его ударом ножа в шею, но вдруг прочитала на его печальном лице, в его прозрачных немигающих, как у хищной птицы, глазах близкую смерть.

– Доллары не сделали тебя счастливым, Хасан, – прошептала она, – будь осторожен. На тебе печать смерти.

– Хочешь скажу, зачем ты едешь в Ираклию? – Хасан осторожно опустил ее на кровать, начал расстегивать на ней камуфляж.

Известие о скорой смерти, похоже, нисколько его не огорчило. Августа поняла, что он сам ищет смерти.

— Зачем? — Августе было интересно, как он сформулирует то, что она сама еще не сформулировала.

Рука Хасана коснулась ее шеи:

— Ты уже ходила по этой дороге, — скользнула по едва заметному шраму.

— Пыталась, — Августа показала ему перечеркнутые тонкими шрамами запястья.

— Но не преуспела в этом путешествии, — констатировал Хасан.

— Меня вернули против моей воли, — Августе было интересно, снимет ли он с головы зеленую

повязку оруженосца Аллаха.

Хасан неторопливо, как перед баней или купанием в уединенном месте, снял с себя все, за исключением повязки. Выходило, Аллах не имел ничего против любви с иноверками.

– Ты едешь в Ираклию, – грубо схватил ее за плечи Хасан, – чтобы уничтожить президента Глахуну и его народ!

– Ты спятил! – легко сбросила его руки, уперлась ему коленкой в грудь Августа. – Не я, а такие как ты уничтожают народы! Разве тебе не известно, что маленькие народы живут одной, душой, что если для большого народа предательство

верхов — исправимая во времени беда, для маленького — национальная катастрофа, трагедия. Хочешь скажу, когда на твой народ и на тебя легла печать смерти? На гулийский народ, когда вы — его аристократия и вожди — продали его за доллары, которые не принесли вам ни победы, ни счастья. На тебя — когда ты, воин, символ мужества и сопротивления, как последняя дешевка лег в кровать со старой французской шляхой!

Хасан размахнулся, но Августа ребром ладони, стараясь не сделать ему больно, выключила его руку — она повисла как плеть. Другой рукой выхватила из лежащего на полу пояса Хасана нож с рукояткой из слоновой

кости, инкрустированной серебряной
вязью.

— Хочешь, открою тебе
последнюю тайну гулийской
войны? — несильным ударом ноги
отбросила Хасана к стене — подальше
от лежащего на одежде оружия. — Вы
— доблестные гулийские командиры —
не мужики, сражающиеся за свободу
своего народа, а жалкие безвольные
б...и, продающиеся за доллары
русским, американцам, туркам, всем
кто захочет. Но вы хуже, чем б...и,
потому что расплачиваетесь за
доллары не своим телом, хотя ты,
Хасан, заплатил своим, а кровью
своего народа! А теперь, — едва
заметным движением руки послала

нож в бревенчатую стену – лезвие глубоко вошло в дерево в миллиметре от уха Хасана, так что он не мог не расслышать волнения обманутой стали – упала на кровать, распахнула объятия, – иди ко мне, мы ответили друг другу на все вопросы!

...Ираклия изумила Августу патриархальной тишиной, разлитым в чистом горном воздухе спокойствием. Заканчивался сбор винограда, и добрые ираклийцы, угадывая в Августе чужестранку и гостью, охотно угощали ее разнообразнейшими шашлыками и молодым вином.

В массе своей ираклийцы были восточными христианами – их вера

считалась даже более древней, чем православие, — но в Ираклии терпимо относились к другим религиям. В ореховой роще Августе попался на глаза костел. Видела она и протестантскую кирху, и мечеть с минаретом, похожим на остро очинённый, воткнувшийся в воздух карандаш, и синагогу. Довелось Августе оказаться свидетельницей и вовсе невиданного зрелища — вакхического шествия менад. Рослые дамы в состоянии священного опьянения, с вплетенными в волосы цветами и виноградными листьями, славя Диониса и разрывая на себе одежды, направлялись по горной дороге к развалинам

древнегреческого храма, возле которого находилось озеро, где менады по своему обыкновению совершали ночное ритуальное омовение.

Августе до того понравилось в забытой Богом Ираклии, что она забыла о цели командировки. Августа не искала встречи с президентом Глахуной. Она знала, что он сам ее найдет.

Так и случилось.

Она собирала грибы на опушке леса, когда услышала тревожные звуки охотничьих рожков, а потом увидела скачущих по желтому убранному полю всадников, пестрых, свесивших розовые языки до земли,

взявших след собак.

Августа на всякий случай спряталась за вековой, по какой-то причине не срубленный русскими рубщиками леса в первую Кавказскую войну вяз. Собаки, кавалькада пронеслись мимо. Но два всадника остановились у вяза. Августа узнала в спешившемся седом человеке с правильными, но какими-то неживыми чертами лица президента Глахуну. Президент Глахуна и, как определила по вооружению Августа, телохранитель направились прямехонько к ней. Президент Глахуна прихрамывал. Августа впервые видела его так близко. Он не казался ущемленным по

мужской части, но было в нем что-то искусственное, временное, внесущностное. Солнечный свет определенно был ему в тягость. Августа подумала, что человеческий облик — лишь одна из возможных ипостасей президента Глахуны.

В этот момент над полем показался белоснежный вертолет с красным крестом на фюзеляже. Лицо президента прояснилось. Он что-то сказал телохранителю по-иракийски. Тот промолчал, всем своим видом, однако, выражая несогласие.

— Я сказал ему, — обратился к вышедшей из-за вяза Августе президент, — чтобы он уступил тебе

своего коня. Они погонят кабанов по полям и завалят всех, за исключением одного. Я знаю место, где последний кабан попытается уйти в лес. Оно недалеко отсюда, мы успеем. Я приглашаю тебя принять участие в охоте. Ты здесь по мою душу. А я — всего лишь по душу кабана. Если, конечно, у кабана есть душа. Я знал про тебя, — продолжил Глахуна, когда Августа вскочила в седло, и кони тронулись кромкой поля, — но я не думал, что ты начнешь с крохотного, спрятавшегося в горах, ираклийского народа.

— Мне нет дела до твоего народа, Глахуна, — возразила Августа.

— Тебе есть дело до трубы, —

вздохнул Глахуна. – Но ведь это же совершенно очевидно: или труба, или ираклийский народ. Я давно не говорил по-русски, – мрачно улыбнулся президент, – кажется, это звучит так: ираклийскому народу труба, если в Ираклию придет труба.

– Не надо драматизировать ситуацию, Глахуна, – посоветовала Августа. – Ираклийцы даже не заметят небесную трубу. Соглашайся на концессию и продолжай править страной. Россия гарантирует независимость и суверенитет Ираклии.

– У каждого народа свой путь исчезновения, – задумчиво заметил Глахуна. – Гулийцы исчезают через

войну. Ираклийцам ты предлагаешь исчезнуть через трубу. Вылететь в трубу, так это звучит по-русски. Мне известно, что ты будешь править миром. Но ты, похоже, не знаешь, кто я. Иначе бы не предлагала мне соглашаться на концессию.

— Я знаю, что ты очень долго живешь на свете, Глахуна, — взбодрила каблуками коня Августа, — но я знаю и то, что я сильнее.

— Ты ошибаешься, — одними губами улыбнулся Глахуна, — верность традициям сильнее крови. Даже такой страшной крови, как у тебя.

Он или слишком увлекся разговором, или не рассчитал

маршрут и прыть кабана, а может кабан самостоятельно (а не как за него президент) определил место, где прорываться в лес. Августа толком не поняла, что произошло. Конь под Глахуной, коротко заржав, рухнул, выпустив на стерню скользкие красные и белые кишки, придавив вдетую в стремя ногу президента к земле. Карабин отлетел в сторону. Августа увидела огромного вепря со вставшей на хребте щетиной, красными глазами и желтыми кривыми клыками. Он уже почти ушел в лес, но предсмертный хрип поверженного коня разъярил его. Вепрь, крутнувшись вокруг своей оси, развернулся, опустил голову,

помчался на коня и придавленного конем президента, выдвигая вперед страшную челюсть с клыками. У Августа, естественно, был пистолет — девятимиллиметровая «беретта». Теоретически она успевала разрядить обойму в кабанью башку. Мелкокалиберные пули, стопроцентно смертельные для человека, не были, однако, рассчитаны на каменный кабаньей череп. Кабан, вне всяких сомнений, завершил бы задуманное и с девятью застрявшими в башке, как никелевые занозы, пулями.

Он был в метре от протестующе воздевшего руки к небесам президента, когда Августа выхватила

из-за голенища мягкого егерского сапога стилет, что было силы послала его не под лопатку — слой твердого с мясными прожилками бекона был слишком толст, — а в горло, в набухшую кровью, пульсирующую яремную вену вепря. Даже не хрюкнув, кабан, как бульдозер, зарылся клыками в стерню, пропахал черную борозду, изумленно уставясь широко открытыми стекленеющими глазами в затуманенные ужасом глаза президента. После чего, шумно вздохнув, замер, оросив бледное лицо Глахуны, распоротый бок поверженного коня, желтую стерню и землю фонтаном густой малиновой

крови.

— Нуда, — с трудом поднялся президент, — если суждено утонуть, то можно не бояться быть повешенным.

После дружеского — в узком кругу — суаре при свечах Глахуна пригласил Августу в свои покои на верхний этаж башни. Августа обратила внимание, что за ужином президент Ираклии ничего не ел и не пил.

Выйдя из лифта, они долго шли по скупо освещенному редкими светильниками коридору, пока наконец не оказались в большой, залитой лунным светом зале, которую Глахуна открыл, приложив

большой палец к считающему устройству электронного замка.

– Я не ангел, – сказал Глахуна, подойдя к окну.

– Да, ты не ангел, – согласилась Августа, оглядывая огромный колдовской глобус в углу, невероятных размеров письменный стол, заваленный книгами и рукописями, шкафы с химическими препаратами, старинные тигли и сосуды, мирно соседствующие с современнейшими электронными приборами, что-то отсчитывающими, показывающими какие-то цифры и символы в темноте. Августа не любила висящих, как ядовитая пыль, между мирами колдунов. Однажды

Епифания горестно ей заметила: «Это не добровольный выбор. Это судьба». «Судьба-иллюзия, — объяснила ей Августа, — судьба-фантом. Неужели ты не понимаешь, что власть, которую ты приобретаешь — это случайно найденный ключ от чужой двери. Кто-то обязательно придет и отнимет ключ». «Вместе с жизнью», — вздохнула Епифания. «Вместе с жизнью, — подтвердила Августа, — потому что ты и такие как ты — не цель, а всего лишь вехи в достижении другой цели. Запомни, цель одна — власть над миром. У тебя еще есть время отойти, не путаться под ногами».

– Ты не ангел, – повторила Августа, глядя на стоящий посреди стола, накрытый салфеткой вместительный хрустальный сосуд – слишком маленький для вазы, но слишком большой для фужера.

– Но и не дьявол, – Глахуна подошел к столу, снял с сосуда салфетку. В сосуде была кровь.

Августа вспомнила пролетевший над убранным полем белоснежный вертолет с красным крестом.

– Да, – подтвердил Глахуна, бережно поднося сосуд навстречу льющемуся из окна лунному – мельхиоровому – свету. – Это собранная из сотен пальцев кровь моего народа. Она дает мне силу

противостоять враждебному миру. Ты не сможешь меня уничтожить. Я — живая кровь ираклийского народа. Кровь — это дух народа. Мне четыре тысячи лет. Я вечен!

— Как все в мире, — сказала Августа. — Не мне, Глахуна, говорить тебе про превращения и исчезновения.

Башня Глахуны как будто плыла сквозь звездное небо. Внизу лежала прекрасная, как райский сад в ночную пору, Ираклия. Августа не уставала удивляться странной самоуверенности колдунов. Что из себя, в сущности, представляла забытая Богом Ираклия? Беда Глахуны заключалась в том, что он не

мог выйти за очерченный горами и долинами круг. Беда Глахуны заключалась в том, что мир народа Ираклии был смехотворно мал. Беда Глахуны заключалась в том, что оставшийся (за вычетом Ираклии) мир был безмерно велик. Беда Глахуны заключалась в том, что ираклийский народ был соринкой в глазу неожиданной проблемы, которую была призвана разрешить Августа. Беда Глахуны заключалась в том, что он имел несчастье быть всего лишь духом крохотного, затерянного в горах, обреченного народа.

Но им, как водится в предшествующие исчезновению или

превращению мгновения, овладела мания величия. Дождавшись какого-то одному ему ведомого сигнала на светящемся в лунном свете электронном приборе, Глахуна медленно выпил кровь из хрустального сосуда.

— Дух народа не дано уничтожить никому, — произнес он, — даже тебе. Ты не сможешь приказать мне — воплощенной крови, а следовательно, душе ираклийского народа!

— Я знаю, Глахуна, — Августа не могла оторвать взгляда от мельхиорового лунного мира за окном. — Генерал Толстой любит повторять, что народы — это мысли

Бога. Но у Бога нет конечных, застывших, отлитых в неизменные, как монеты, формы мыслей.

— Но почему именно мы, ираклийцы? — воскликнул Глахуна. — Почему ты начинаешь с нас? В мире столько разных народов!

— У каждого из них свой путь, — пожала плечами Августа. — И он не в том, Глахуна, чтобы противиться предопределению.

Президент Ираклии молча развернул на столе старинную кожаную карту Кавказа. Ее делали настоящие мастера, какими славилась в прошлые времена эта земля. Карта была рельефной. Августа узнала под лунным светом

крохотный Эльбрус, извилистые синие линии Терека и Куры. Глахуна извлек из выдвижного ящика стола скальпель, тщательно протер его смоченным в спирте ватным тампоном.

— Ты хочешь меня зарезать скальпелем, Глахуна? — искренне удивилась Августа.

Ей вспомнились слова генерала Толстого, что в народах, исповедующих на протяжении веков идею этнической чистоты и патриархальности (а ираклийцы были именно таким народом), процент сексуальных и интеллектуальных извращенцев едва ли не выше, чем в народах, напрочь

отрицающих собственную историческую сущность, смешивающихся с кем и чем угодно, довольствующихся так называемой массовой культурой, то есть, в сущности, ничем, телевизионным экраном. По генералу Толстому, таким образом, все народы были похожи друг на друга, все были полусумасшедшими братьями, независимо от того, какими представлениями вдохновлялись их вожди.

Глахуна тем временем сделал на своем запястье аккуратный, но глубокий надрез. Кровь, темная в лунном свете, как гранатовое вино, пролилась тонким ручейком на

старинную кожаную карту. Августа увидела, что предполагаемая линия нефтепровода вычерчена на карте черной тушью. Кровь из руки Глахуны не пожелала течь вдоль черной линии, прихотливо соскользнула с территории Ираклии.

– Ты видишь, мой народ не хочет нефтепровода, – поставил локоть на карту Глахуна. – Возьми скальпель, принцесса, сделай надрез, увидим, чья кровь сильнее.

Впервые в жизни Августа участвовала в столь странном армрестлинге. Она, как только что Глахуна, чуть надрезала руку, поставила локоть на стол, переплела свои горячие пальцы с холодными,

как снег на горных вершинах,
пальцами президента Ираклии.
Августу приятно удивила чудесная
сила, вдруг снизошедшая на ее руку.
Рука Августы сделалась
непреклонной и твердой, как
мельхиор. Пальцы президента
Глахуны таяли в ее пальцах.

Августа и представить себе не
могла, что у нее такая умная и
организованная кровь. Едва
коснувшись кожаной поверхности
карты, кровь Августы разделилась на
капли, построилась в геометрически
безупречное каре, наподобие
знаменитой фаланги Александра
Македонского. Ручеек крови
президента Глахуны бестолково

заметался между гор и долин.

Августа забыла об армрестлинге, так увлекло, захватило ее происходящее на карте. Кровь президента Глахуны уже напоминала перепуганную змейку, пытающуюся скрыться, спрятаться от преследующей ее длинноногой цапли или дрофы. Фаланга Августы между тем вытянулась в прямоугольник, наглухо заперев глупую змейку в ущелье. После чего стремительно вылетевшие из прямоугольника стрелы рассекли тело змейки, превратили его в дрожащие лужицы, которые некоторое время обнаруживали тенденцию к соединению, но после

коротких дополнительных ударов совершенно успокоились, безвольно и покорно вытянулись вдоль вычерченного на карте черной тушью маршрута нефтепровода.

Все было кончено.

Августа посмотрела на президента Глахуну. Он бледнел, растворялся в лунном свете, как ирреальное существо, из сновидения вышедшее и в сновидение же возвращающееся. Августа увидела в глазах Глахуны уже нечеловеческую тоску, неизбежно сопровождающую переход в мир, где нет смерти, но нет и жизни.

— Скажи ему, принцесса, что он будет следующим, — расслышала

Августа гаснувший в астрале,
лишенный эмоций голос президента
Ираклии. – Ты, принцесса, никогда
не сумеешь родить, потому что
можешь зачать только от смерти. Но
смерть, принцесса, в мире, который я
покидаю, а ты пока остаешься –
бесплодна, как свет погасшей звезды!

Известие о смерти генерала Сака навело Илларионова на мысли об иллюзорности, а точнее, о некоей искусственности, если не сказать ложности задаваемых параметров земной славы. Илларионов-старший, помнится, однажды заметил, что слава и смерть – сестры. Слава тоже (только не по левую, а по правую руку) ходит следом за человеком всю его жизнь, но, в отличие от смерти, вовсе не стремится во что бы то ни стало к нему прикоснуться. Поэтому подавляющее большинство людей умирают не прославленными. Из

двух сестер, таким образом, слава представлялась куда более привередливой и разборчивой.

Но не менее своевольной и несправедливой по отношению к человеку.

Если для смерти не было ничего слаще, чем прикоснуться к человеку в канун ожидаемого исполнения желаний, утоления страстей в момент взлета, когда человек мнит себя равным Богу, для славы обычным делом было возвысить человека не за то, что тот полагал в своей жизни главным, чем гордился, а (в лучшем случае) за второстепенные дела — видимые следствия невидимых причин. В

худшем же — за в высшей степени
вынужденные поступки,
являющиеся, так сказать, негативом
воли прославленного.

Илларионов впервые услышал о
генерале Сактаганове ранней зимой
1991 года. Тогда единственный в
истории гулийского народа
советский генерал командовал
базировавшейся на Украине
эскадрильей стратегических
бомбардировщиков.

Эскадрилья с ядерными и
обычными бомбами на борту
находилась в воздухе на боевом
дежурстве (облетала по периметру
западную границу СССР), когда
радист случайно поймал хвост

разговора по спутниковой связи между помощником президента России и кем-то из американского посольства. Из разговора следовало, что в ближайшие часы будет подписано соглашение о выходе России, Украины и Белоруссии из состава СССР, то есть о прекращении существования СССР как единого государства.

Генерал Сактаганов – он лично пилотировал ведущую машину – немедленно приказал эскадрилье изменить маршрут, приготовиться к прицельному – обычными бомбами – бомбометанию по пансионату ЦК Белорусской компартии в Беловежской Пуще.

В тот день – день исчезновения «ядерного» чемоданчика – в России не было наземных и воздушных сил, способных помешать генералу осуществить задуманное. В войска, расквартированные на Украине и в Белоруссии, шли противоречивые, взаимоисключающие распоряжения. Во второй половине дня военная связь между ними и Москвой вообще была прервана.

Лететь до цели эскадрилье оставалось примерно час. Атаковать истребителями или ракетами «земля-воздух» начиненные ядерными и обычными бомбами тяжелые бомбардировщики Ту-203 было чистым безумием. Главком ПВО

Западного военного округа вышел через спутник на министра пока еще союзной обороны. Министр связался с президентом СССР. Тот лично переговорил с генералом Каспаром Сактагановым, ведущим эскадрилью ТУ-203 над неприятным заснеженным Полесьем. Присутствовавшие при разговоре утверждали, что, внимательно выслушав монолог первого и последнего президента СССР, генерал Сак послал его на х...

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы поднятый с постели генерал Толстой не распорядился применить абсолютно засекреченное, а потому явившееся

полной неожиданностью для
пилотов Ту-203 атмосферное
метеорологическое оружие.

Когда ведомая генералом-
гулийцем эскадрилья вышла на цель,
Беловежская Пуша оказалась
затянутой тройным слоем облаков.
Над Белоруссией разразилась
невиданная — с шаровыми молниями
— зимняя гроза. На
бомбардировщиках немедленно
отказала практически вся
электроника. Генерал Сактаганов
отдал приказ самолетам уйти из-под
грозового фронта, возвращаться на
базу. Свою же машину посадил на
базе морской авиации под
Клайпедой. Базу уже не первый

месяц пикетировали объявившие себя независимыми литовцы. В тот зимний день, точнее, вечер они прорвали оцепление и носились по взлетно-посадочной полосе, выкрикивая угрозы небу и размахивая желто-зелено-красными знаменами.

Внезапно появившийся в небе в реве двигателей и свете прожекторов, как трубящий ангел мщения поруганного СССР, бомбардировщик генерала Сактаганова, надо думать, немало их перепугал.

Командир базы успел получить шифровку, предписывающую задержать опасного государственного преступника, но не сумел, а может,

не захотел выполнить приказ вышестоящего начальства, которое в свою очередь не разрешало ему применить силу, чтобы защитить базу от бесчинствующих литовцев.

Следы генерала Сактаганова затерялись в Литве.

Разорванный в клочья (если верить сообщению службы новостей) прямым попаданием танкового снаряда, генерал Сактаганов прославился (вошел в историю) как злейший ненавистник и разрушитель России, хотя в действительности оказался единственным военным, пытавшимся спасти СССР, за что, собственно, и был объявлен опасным государственным преступником.

Генерал Толстой по прошествии времени рассказал Илларионову, как был изумлен президент СССР, когда узнал про секретное метеорологическое оружие, с помощью которого удалось шугануть из белорусского неба обезумевшего гулийского орла. Уступая престол российскому коллеге, союзный президент потребовал в обмен на ядерную кнопку документацию на метеооружие и право на продажу «ноу-хау» американцам. Российский президент с утра тяжело соображал, а потому согласился. Как он объяснял потом (когда уже ничего нельзя было изменить), он думал, что речь идет о воздушных шарах —

аэростатах, — с которых из специальных пушек снайперы в тулупах и меховых ушанках расстреливают облака.

Приближенные берегли его здоровье. От российского президента (в особенности от его семьи) скрывали цену, которую получил за метеороооружие бывший союзный президент. В сравнении с ней, деньги, полученные за вывод из Германии советских войск, были сущими чаевыми.

...Когда Илларионов предложил генералу Толстому поступить так же, как некогда американцы с метеороооружием, — купить у Джонсона-Джонсона «ноу-хау», позволяющее

программировать и получать нужные результаты выборов, старик горько рассмеялся: «Сынок, невозможно приобрести новое в обмен за старое, живое за отжившее, качество за количество. Да, конечно, конец света подготавливается с помощью денег, но благая весть о его конкретной дате за деньги не покупается...»

— За что же она покупается? — поинтересовался Илларионов, смутно чувствуя правоту генерала Толстого.

— Давно ли ты был в Парке Победы на Поклонной горе? — полюбопытствовал генерал Толстой. — Или ты туда не ходишь?

— Был и совсем недавно, —

Илларионов, как и многие москвичи, приехал в парк посмотреть на сорвавшуюся со шпиля, рухнувшую со стометровой высоты золотокрылую Нику — загадочное творение грузинского монументалиста, по странному стечению обстоятельств полюбившегося московским властям.

Ника, по счастью, упала ночью. Человеческих жертв не было, если не считать десятка не в добрый час коротавших там ночь бомжей. Вместе с Никой на гранитный стилобат свалился и один из трубящих купидонов, причем труба, как стрела, насквозь пронзила отнюдь не его сердце, но головы

сразу трех несчастных бомжей. Другой купидон остался на накренившемся шпиле и теперь напоминал не возвещающего победу вестника, но вздернутого за ногу на виселицу (была в средние века такая казнь) гонца, принесшего горькую весть о поражении.

— Значит, ты видел там роликобежцев? — уточнил генерал Толстой.

Еще бы Илларионов их не видел.

Москва предпоследнего года XX столетия считалась всемирной столицей роликобежцев, как в свое время Катманду столицей хиппи. Неведомая сила ставила самых разных — не только молодых и

спортивных, но и седых старцев с синими подагрическими ногами, почтенных матерей семейств, китайцев, негров, а однажды кошерный еврей в лапсердаке, кипе, с развевающимися на ветру пейсами вылетел с неприметной боковой аллеи и чуть не сбил с ног Илларионова, — людей на ролики и гнала, гнала их, как перелетных птиц, по асфальтовому небу Москвы.

— Каждому, кто их видел, совершенно очевидна тенденция, — сказал генерал Толстой. — Но тенденция — это, так сказать, рациональное зерно. Есть еще и иррациональное, прорастающее в виде внезапного и совершенно

неожиданного на первый взгляд превращения.

– Сколько бы ты заплатил за то, чтобы я сообщил тебе точный день и час превращения роликобежцев?

– Столько же, сколько за то, если бы вы мне сообщили точный день и час превращения развитого социализма в коммунизм. Ни копейки, – ответил Илларионов. – Во-первых, я не понимаю, о каких тенденциях, рациональных и иррациональных зернах вы говорите. Во-вторых, меня абсолютно не интересует поле, на котором произрастают эти зерна, то есть роликобежцы. Плевать я хотел на роликобежцев. Вспомните, как мы

все мучились, когда Москва была столицей ротвейлеров и бультерьеров. И ничего. Куда подевались ротвеллеры и бультерьеры?

— Напрасно это тебя не интересует, сынок, — искренне огорчился генерал Толстой. — Кто такие роликобежцы? Передовой отряд человечества — крысы, бегущие с пока еще не тонущего корабля, дельфины, чувствующие приближение цунами, без видимых причин уплывающие прочь от берега. Ты еще вспомнишь мои слова, сынок, когда, проходя по Парку Победы, увидишь... голых роликобежцев!

— Голых роликобежцев? —

Илларионов никогда не знал наверняка — издевается над ним генерал Толстой, или он просто сошел с ума? Впрочем, чем дальше, тем очевиднее Илларионову становилось, что генерал Толстой, сойдя с ума, издевается над ним.

— Как ни горько признавать, сынок, — вздохнул генерал Толстой, — но человечество по сути дела стопроцентно, законченно выразилось, точнее, выразится в образе голого роликобежца. Что есть прогресс, сынок, если отбросить демагогию о свободе, равенстве, братстве и счастье народов, а также научно-технической революции? Всего лишь возможность быстро

перемещаться в пространстве, демонстрировать и созерцать обнаженное тело. Только кто купит мое открытие, мое «ноу-хау» за деньги? Разве какой-нибудь редактор, чтобы поместить снимок голой девушки на роликах на первой полосе газеты... Я так тебе скажу, сынок: кого интересуют деньги, те не интересуют нас — это люди прошлого; кого же интересуют роликобежцы, а Джонсон-Джонсон из их числа, тех не интересуют деньги. За сведения о новом, сынок, существует единственная плата — сведения о новейшем.

Илларионов не к селу ни к городу вспомнил, как пресс-

секретарь президента России вдруг на каком-то брифинге заговорил... по-польски. Сначала все изумились (неделю, наверное, газеты писали об этом инциденте), а потом как-то успокоились, и журналисты на пресс-конференциях в администрации президента, ломая язык, обращались к пресс-секретарю уже только по-польски. Даже с президентом (страшном в своем гневе) наглец осмеливался говорить по-польски, и тот, не знавший польского языка, долго размышлял над словами пресс-секретаря, не помышляя его уволить или, на худой конец, отправить послом в Польшу.

— В таком случае, не

переплачиваем ли мы Джонсону-Джонсону, товарищ генерал? — усмехнулся Илларионов.

— Не думаю, сынок, — ответил генерал Толстой. — Новое всегда дороже новейшего, потому что ближе по времени и, скажем так, используемее в личных целях.

— Если я вас правильно понял, — сказал Илларионов, — деньги в недалеком будущем превратятся в ничто? Только рубли? Или доллары тоже? Что будет вместо денег?

— Я не могу ответить, — одними губами прошептал генерал Толстой.

— Пишут? — изумился Илларионов, оглядываясь по сторонам. — Вас здесь пишут?

– Но не те, про кого ты думаешь, сынок, – громко и даже как-то победительно произнес генерал Толстой. – Бесы, – опять прошептал одними губами.

– Вас здесь пижут бесы? – спокойно уточнил Илларионов. Он вспомнил слова отца, что генералу Толстому суждено в этой жизни пережить собственный разум.

Генерал приложил палец к губам, воровато прокрался в дальний угол кабинета, врубил на полную мощность радио. Он и прежде так делал. Однажды они целый час, наверное, разговаривали под прямую трансляцию речи Брежнева с очередного партийного

съезда. Генерал тоже прекратил разговор на самом интересном месте. «Они не смогут долго слушать этот бред», — кивнул на радио. Илларионов тогда не понял, кого он имел в виду. Не Юрия же Владимировича Андропова? Неужели... бесов?

— На волне «Европа плюс», с вами ди-джей Андрей Водолей, — бодро возвестил развязный юношеский голос. — В столице всех времен и народов семнадцать ноль-ноль. Как говорится, вечерило. По календарю зима, а на улице тепло как у нефа в... Курс доллара... Какая, блин, разница, какой сегодня курс доллара! Если и изменился, то по

децилу. Пора бы сесть поближе к говорящему ящику, захомячить палку колбасы, засосать банчонку пивка, а, рейверы-засранцы?

— Неужели ты забыл, что бесы не могут читать мысли людей, с трудом разбираются в сложных, насыщенных специальными — за исключением термина «хилиазм» — понятиями умопостроениях, зато великолепно слышат простую, в особенности наполненную эмоциями и страстями человеческую речь? — укоризненно покачал головой генерал Толстой. — Сейчас мы можем говорить совершенно свободно, — кивнул на радио, — они обожают эти новые станции. Мне иногда кажется, —

рассмеялся генерал, — что большинство передач как раз и выходит в эфир для отвлечения бесов...

Если бы, подумал Илларионов. И еще подумал, что лично он, к примеру, давно запутался, кто бес, а кто не бес. Илларионову было не отделаться от мысли, что бес — Андрей Водолей.

— Бесы обожают все эти новые слова, — продолжил генерал Толстой, — в особенности, выражающие неясные действия глаголы — тусоваться, лизинговать, хеджировать, рейповать, таможить, контрацептиро-вать. А раньше — в двадцатые — они балдели от слов

типа: политпрос, военмор, наркомбум, вобезборрег. Бесы дико радуются, когда один язык «наезжает» на другой, как сейчас английский на русский — прессинговать, скроллинговать, джоггинговать, сканировать; их восхищают разные нелепые словосочетания — евроремонт, иномарка, синглдиск, лэйаутмэн, нонфрестоп. Ты не поверишь, — понизил голос генерал Толстой — видимо, бесы уже начали отвлекаться от нонстопхиаринга (увлеченного слушания) радиостанции «Европа плюс», — но они... просматривают газеты! Да вот, — взял со стола газету, — смотри, заголовок: «Старуха

с голодухи обожралась помоями и отправилась на тот свет». Или вот: «Коммунистическая сволочь выбросилась с седьмого этажа и сильно попортила пятисотый «мерс» генпродюсеру НТВ». Они... просто сходят с ума от подобных текстов, потому что их сущность – насмешка, гримаса над вечным. Сегодня я услышал потрясающее новое слово – «рыбинг»! Оказывается, это всего лишь рыбалка, рыбная ловля, сынок...

– А что такое «вобезборрег»? – спросил Илларионов.

– Обещающее было словцо, – вздохнул генерал Толстой, – но не прижилось. Воинствующий

безбожник, борец с религией.

— Длинновато, — возразил Илларионов, — и труднопроизносимо.

— Бесы умеют воздействовать на нервные окончания языка, — заметил генерал Толстой. — Люди, которые сочиняют такие заметки, — кивнул на газету, — с удивительной легкостью произносят самые непроизносимые и странные слова. Я открою тебе еще одну тайну, сынок, — наклонился к уху Илларионова. У того мелькнула мысль, что генерал Толстой — сам бес, но не простой, как Андрей Водолей, а бес-контрразведчик, которому разрешено во имя общего дела насмехаться и — до известного предела, естественно — открывать

непосвященным сущность
бесовского мира. — Люди, которые
сочиняют такие заметки и без труда
произносят странные слова, как
правило... импотенты. Бесы
перегоняют их силу из детородного
органа в язык. Потому-то они и валят
валом на радио, телевидение и в
газеты. Да-да, сынок, не смейся, эти
парни работают языками как
проклятые, боятся показывать их
докторам, потому что языки у них в
мозолях. Помнишь, спецгруппа
исследовала этот вопрос? Они
научно доказали, что к исходу первой
половины XXI века восемьдесят
процентов мужчин на планете Земля
будут импотентами. Идиоты будут

лечиться через Интернет, ха-ха! Интернет их вылечит! Отмена мужской функции, сынок, – верный способ стабилизировать рост народонаселения, ведь так, сынок?

– Одна заметка подписана женской фамилией, – сказал Илларионов.

– Женщины бесов не интересуют, – вздохнул генерал Толстой, – потому что женщины и все, что с ними связано, видишь ли, их изначальная среда обитания. То есть они их, конечно, интересуют, но у бесов с женщинами практически не возникает проблем и противоречий. Ты же изучал «Критику чистой магии», сынок. Как

там написано? «За добродетель женщина отмщается в младом возрасте уродством, в зрелом — несчастьями и болезнями». Недобродетель, стало быть, ее естественное состояние.

— И все-таки я не понял, — сказал Илларионов, — почему при бесах нельзя, к примеру, ответить на вопрос, что будет в мире после и вместо денег, или каким таким нашим российским новейшим мы заплатим Джонсону-Джонсону за его американское новое?

На радио «Европа плюс» диджей Андрей Вололей уступил микрофон Линде Эмби. Илларионов некоторое время размышлял над

непривычной для русского уха фамилией, пока не догадался, что фамилия (артистический псевдоним?) Линды состоит из двух латинских букв М и В. У бесов, таким образом, не было причин отвлекаться на посторонние разговоры.

— При бесах нельзя говорить ни о чем существенном и важном, — ответил генерал Толстой, — потому что, узнав о наших намерениях, они обязательно постараются сделать так, чтобы ничего из задуманного нами не осуществилось. Это для них столь же естественно, как для большинства людей убегать, когда они видят, что кого-то убивают в

темном углу.

— Согласен, это трагедия, если мы хотим улучшить мир, желаем людям добра. А если нет? С какой стати тогда бесам мешать? Наоборот, они должны нам помогать.

— Самое удивительное, сынок, — внимательно посмотрел на Илларионова генерал Толстой, — что для бесов, в сущности, не имеет значения, хорошего мы хотим или плохого. Суть их воздействия на мир отнюдь не в том, что они мешают хорошему и способствуют плохому. Природа бесов, сынок, заключается в том, что они одновременно предпринимают все возможное и невозможное, чтобы помочь довести

до конца любое — не важно, хорошее или плохое — это понятия относительные, меняющиеся во времени и пространстве, — задуманное дело, и одновременно делают все мыслимое и немыслимое, чтобы помешать довести его до конца. Природа бесов, сынок, заключается в циничном истреблении логики, естественных причинно-следственных связей, доведения сущего до абсурда, бессмыслицы, ликвидации общепринятой границы между понятиями и, в первую очередь, правдой и ложью, порядочностью и бесчестьем, добром и злом. Бесы, сынок, никогда не стремятся

однозначно к плохому или однозначно к хорошему. Они всегда стремятся к чему-то третьему, что вне нашего понимания. Бесы, сынок, существа иного мира. Да, принято считать, что они посланы к нам из преисподней, но я думаю, сынок, речь идет не о погублении человеческого мира как такового, а о некоей трансформации того, что принято называть душой. Может статься, сынок, homo sapiens как вид изжил себя и ему пришла пора измениться!

— Стало быть, они непобедимы? — спросил Илларионов.

— Я бы не стал этого утверждать, — вдруг выключил радио

генерал Толстой, – но победить их можно только их собственным оружием.

Для Илларионова не являлось секретом, что существуют люди, для которых, в свою очередь, не является секретом будущее. Они провидят его настолько легко и естественно — живут в будущем? — что те, кому судьбой назначено жить в настоящем, вполне могут уловить смутное отражение будущего, наблюдая за этими людьми, как за некими подобиями зеркал, где изображение возникает и исчезает моментально, неожиданно и из ничего.

Примерно с этой же целью

древнеримские авгуры наблюдали за полетами по небу – другому зеркалу будущего – небесных птиц. А иногда – ловили небесных птиц и уже предсказывали будущее по их теплым дымящимся внутренностям. Илларионов в свое время изучал орнитофутурологию – так назывался этот предмет. В основе учения авгуров лежало научно обоснованное и экспериментально доказанное египетским фараоном (бывшим жрецом птицеголового бога Гора) Нехо утверждение, что, безостановочно летая по небу, любая птица фактически по несколько раз на дню «проваливается» в «прорехи», «карманы», «окна»

между настоящим и будущим. Оказавшись в будущем, птица каким-то образом запоминает местоположение «прорехи», «кармана», «окна» — Нехо свидетельствовал, что для птиц они выглядят как яркие оранжевые пятна — и стремится вернуться в свое время. В так называемом Папирусе Гора Нехо подробно описал собственное (под руководством Гора) превращение в сокола, полет в будущее и обратно. По всей видимости, Гор «пробросил» Нехо в XX век, потому что на месте стоящего посреди пустыни святилища Гора Нехо увидел ровный Нил (Суэцкий канал), огромных

белых крокодилов со спинами, как у дикобразов, и трепещущими на иглах цветами (корабли с флагами на мачтах).

Простые птицы, если верить авгурам, как правило, залетали в будущее не столь отдаленное. Добыча птицы-путешественницы была делом довольно сложным. Специальные наблюдатели держали (каждый определенное число) кружащихся в небе птиц в поле зрения. Важно было не пропустить момент исчезновения птицы во временном «кармане», равно как и момент ее возвращения. Затем обученный стрелок «срезал» птицу легкой стрелой, но обязательно

так, чтобы она легла на мраморный стол гаруспика еще живой. По содержимому желудка вернувшейся из будущего птицы уже другие жрецы-гаруспики определяли виды на урожай (полон или пуст желудок), вероятность ведения в этом месте военных действий (редкая птица отказывала себе в удовольствии поклевать мертвечину), возможность грядущих наводнений и прочих стихийных бедствий.

Лекции по орнитофутурологии читал сухой, седой, как птичье перо, армянин с пронзительными птичьими черными глазами и длинным птичьим же носом-клювом. Он рассуждал о птичьих

делах, как если бы сам был в прошлой жизни пострадавшей от гаруспиков птицей. По его мнению, внезапные необъяснимые появления в неожиданных местах отродясь не водившихся там птиц были вызваны смещениями в небесах оранжевых пятен, в результате чего птицы возвращались не в свое время и не в свое место. Так, к примеру, бразильскими таможенниками в 1947 году прямо над крышей склада конфискованных товаров был расстрелян... птеродактиль, определенно вознамерившийся спикировать на машину, перевозящую скот. Знаменитый фильм Хичкока армянин-

орнитофутуролог считал пророческим.

Илларионову запомнились его слова, что если обычным людям — тем же авгурам и гаруспикам — сходят с рук проделки с бессловесно и не по своей воле узнающими будущее птицами, то знающим будущее людям определенно не сходят. Эти люди как бы (естественно, совершенно об этом не думая) мстят за растерзанных на мраморных столах птиц, совершая нечто подобное с другими людьми.

«Человека, знающего будущее, — доходчиво объяснил армянин, — следует избегать уже хотя бы потому что, как свидетельствует «Критика

чистой магии» – а нам нет причин ей не верить, – человек, знающий будущее, входит в доверительные отношения с человеком, желающим узнать будущее, только в том случае, если он по своим каналам уже получил информацию, что век спрашивающего ущербен. Чем меньше осталось жить его визави, тем охотнее рассказывает он ему о будущем, тем большее число тайн открывает».

Существовало предположение (весьма похожее на истину), что открывающий будущее забирает в виде гонорара жизнь человека, которому он это будущее открывает.

«Если хотите, чтобы смерть

пришла за вами в назначенное время и ни мгновением раньше, — посоветовал похожий на птицу армянин, — избегайте людей, знающих будущее. Они склюют ваш земной срок как крупу. Заведенный порядок таков: знание будущего оплачивается непрожитым».

Илларионову иногда казалось, что ему Господь отмерил два срока, насыпал два мешка крупы, столько ему приходилось общаться с людьми, знающими будущее. Логично было предположить, что он сам стал как они. Но Илларионов не тешил себя иллюзиями.

Он не знал будущего.

Но хотел знать, не жалея (если,

конечно, оно еще у него оставалось) непрожитого.

Илларионов подумал, что мысль генерала Толстого об относительности денег в настоящем и еще большей их относительности в будущем косвенно подтвердил глава миссии мормонов в России господин Джонсон-Джонсон.

— Кажется, я задержал вам выплату премии, Андрей Терентьевич? — вдруг рассеянно поинтересовался он, когда Илларионов, обсудив очередные, возникшие в связи с продолжением работы над Библией как гиперроманом для Интернета, вопросы, покидал строгий, как

молельный дом, со струганой мебелью и выскобленными до желтой белизны полами кабинет Джонсона-Джонсона.

Глава миссии мормонов в России платил наемным служащим в установленные сроки точно и исправно, как электронные часы.

Джонсон-Джонсон не на шутку заинтересовался таким ранее неизвестным ему русским словом, как «неплатежи». Мормона поразило, что люди, виновные в неплатежах, каким-то образом уходят от наказания. Он ввел этот сугубо российский финансовый термин в библейскую поисковую спецпрограмму и, торжествуя,

предъявил Илларионову распечатку с описанием аналогичной ситуации в Древнем Вавилоне. Министр общественных работ в правительстве царя Навуходносора некто Рамтапаласар заключил подряд с одной иудейской строительной фирмой на ремонт сильно попорченной боевыми слонами дороги между городами Рак и Фатала. Иудейский подрядчик выполнил работу в срок и с надлежащим качеством, как было условлено в контракте. Министр будто бы перевел ему оговоренную сумму через банк, но на расчетный счет фирмы деньги не поступили. По прошествии месяца — Джонсон-

Джонсон напомнил, что речь идет не о российской банковской системе, худо или бедно, но все же оснащенной компьютерными линиями связи, а о Древнем Вавилоне — Рамтапаласар был найден утопленным в канале с привязанным к ногам каменным масляным жерновом — как известно, именно так в те времена наказывали злостных (то есть уклоняющихся не по бедности или из-за временных трудностей, а исключительно по злему умыслу) должников.

Джонсон-Джонсон заметил, что во все времена и эпохи неплатежи считались серьезнейшим

финансовым преступлением, за которое немедленно следовала кара, и только в конце XX века во вставшей на рыночный путь России неплатежи не вызывают в обществе не только отчаянья, протестов, огорчения, но и стремления каким-нибудь образом с ними покончить. «О чем же это, на ваш взгляд, свидетельствует?» — поинтересовался позорно и безнадежно смирившийся с неплатежами Илларионов. «Как минимум о трех вещах, — ответил господин Джонсон-Джонсон. — О том, что переход России к рынку, ее вхождение в мировую хозяйственную систему, конечно же, чисто условно. О том, что деньги в России, даже

такие серьезные и уважаемые в мире деньги, как доллары США, представляют из себя нечто совершенно иное, служат каким-то совершенно иным целям, нежели в большинстве стран мира. Наконец, это свидетельствует о том, что песенка денег как всеобщего эквивалента, меры стоимости всех на свете вещей, в сущности, спета. Я полагаю, — задумчиво добавил Джонсон-Джонсон, — именно это — начало конца денег, а вовсе не крах в результате перенапряжения от гонки вооружений мировой социалистической системы — явилось истинной причиной вашей великой капиталистической

революции».

Вторым финансовым камнем преткновения для господина Джонсона-Джонсона оказалось такое навязанное ему российскими сотрудниками фирмы понятие, как премия. Мормон никак не мог составить ясного представления: ни как ее следует рассчитывать; ни почему нельзя от нее отказаться, а просто взять да прибавить сотрудникам жалованье; ни почему премию полагается выплачивать раз в квартал, но на самом деле надо разделить на четыре и платить каждый месяц, а потом всю сумму («Это у нас в России каждому ребенку известно», — гневно

объяснила Джонсону-Джонсону бухгалтерша) еще и раз в квартал. Как бы там ни было, но практичный, да к тому же имевший склонность к исследованиям в области социальной психологии мормон, похоже, решил, вослед великому Гиппократу, познать (вылечить?) подобное подобным, то есть окончательно разгадать загадку неплатежей с помощью невыплаты, точнее, крайне запутанной и несинхронной полувыплаты премий.

— Так точно, господин Джонсон-Джонсон, — подтвердил Илларионов. — Премию я не получал.

— Ежемесячную или квартальную? — уточнил хитрый мормон.

Илларионов вдруг поймал себя на том, что не помнит. Ему нравилась его нынешняя работа у Джонсона-Джонсона. Он с удовольствием занимался превращением Библии в компьютерный гиперроман и совсем не думал о премиях. Илларионов заметил, что, как только у него появилось достаточно денег, чтобы не думать о хлебе насущном, он перестал думать не только о хлебе насущном, но и о деньгах.

— Понятия не имею, — рассмеялся Илларионов. —
Поинтересуйтесь у бухгалтерши.

— Андрей Терентьевич, — рассмеялся в ответ мормон, — вы

предлагаете мне – работодателю – поинтересоваться у бухгалтерши, сколько я вам задолжал, потому что вы – работник – не помните, не придаете этому значению, или вам недосуг самому узнать?

– Проблема решается двумя способами, – сказал Илларионов, – и, честно говоря, для меня не имеет существенного значения, какой вы выберете.

– Двумя? Это интересно, – поднялся из-за стола, прогулялся по разноцветным на выскобленном до желтой белизны полу коврикам-антеннам Джонсон-Джонсон. – Все, последовательно сменявшие друг друга земные цивилизации, в том

числе и милая моему сердцу современная западная протестантская, стояли, а моя пока еще продолжает стоять, на осознании непреложного факта, что эта проблема решается одним-единственным способом, а именно — неукоснительной выплатой денег за сделанную работу. Назовем это макрокомандой, изначально заложенной во все компьютерные программы нашей цивилизации. Да, конечно, существует специально установленный диспаритет цен между сырьем и технологиями, экспорт грязных производств, кабальные займы международных финансовых организаций,

сверхприбыль, получаемая в результате того, что китайцу или корейцу платят намного меньше, чем американцу или немцу, не мне вам это объяснять, Андрей Терентьевич. Но причинно-следственные связи, очерченные желанием одних заработать и получить доллар, а других напечатать и заплатить этот самый доллар за предложенный товар – это и есть границы западной цивилизации, ее, так сказать, внутренний и внешний мир. Если выбить этот камень из фундамента, Андрей Терентьевич, западная цивилизация, а вместе с ней весь так называемый Божий мир рухнет. Честно говоря, мне странно, что

наши стратеги из разведок и госдепа не понимают простой вещи: сейчас мнимо побежденная и разоренная Россия представляет куда более сильную угрозу западной цивилизации, чем когда была ядерной сверхдержавой. Простите, что отвлекся, Андрей Терентьевич. Что же это за способы?

— Первый: я сам узнаю у бухгалтерши насчет премии и скажу вам, — ответил Илларионов. — Второй: считайте, что я уже получил эту чертову премию, и вы, стало быть, мне ничего не должны.

— Андрей Терентьевич, — покачал головой Джонсон-Джонсон, — ваши слова

подтверждают мои наихудшие опасения. Впрочем, я предлагаю вам третий способ решения проблемы!

— Господин Джонсон-Джонсон, — сказал Илларионов, — фраза «Умом Россию не понять» означает лишь то, что любую проблему можно решить не тремя, а тысяча тремя способами. Кто это усвоил, тот, как правило, перестает испытывать трудности, связанные с пониманием России. Русские — это не национальность, это своеобразное — не мне судить, правильное или нет, — отношение к миру, к основам бытия.

— В таком случае, считайте меня русским, господин Терентьев, —

мормон подвел Илларионова к электронному сейфу в стене, особенно не таясь, набрал код. Сейф коротко, как настигнутая в ночном поле совой мышь, пискнул. Джонсон-Джонсон открыл дверцу. На одной из полок плотно лежали пачки новейших — федеральное казначейство США ввело их в обращение в апреле 1999 года — двухсотдолларовых купюр с портретом президента Кеннеди. Эти купюры отличались нехарактерным для американской валюты красным отливом, как если бы Independens Hall вместе с окружающим его на обратной стороне купюры пейзажем, включая двух прогуливающихся

муравьев-людей, погружался в закатные («Закат Европы»?) сумерки. — Возьмите сколько считаете нужным, Андрей Терентьевич, — махнул рукой глава миссии мормонов в России.

— Сколько лет, господин Джонсон-Джонсон, вы работаете против России? — спросил Илларионов.

— Полагаю этот вопрос некорректным, Андрей Терентьевич Терентьев, — одними губами улыбнулся мормон. — Лучше бы так: сколько лет вы работаете во благо безопасности и процветания своей Родины, господин Джонсон-Джонсон? Я старше вас на

пятнадцать лет. Но, в отличие от вас, Андрей Терентьевич, принятого на службу сразу после окончания высшего учебного заведения, мне пришлось просидеть два года в джунглях Вьетнама. Вам ведь известно, что в разведслужбах США боевой, сопряженный с риском для жизни опыт обязателен для офицеров, претендующих на занятие высоких должностей. Особенно, Андрей Терентьевич, там ценятся люди, имеющие опыт поиска, желания, стремления к смерти, то есть как бы не возражавшие — по самым разным причинам — в определенные моменты расстаться с жизнью. Таких людей, кстати, было

много и в ваших частях в Афганистане. Я лично знаю двух майоров и полковника, искавших в песках Кандагара смерть, но не нашедших. Хотя, конечно, их гораздо меньше, чем тех, кто ее там отнюдь не искал, но нашел. Впрочем, я, например, считаю методику отбора людей по этим критериям весьма спорной. Американские спецслужбы занимают первое место в мире среди аналогичных организаций других стран по психическим расстройствам. Но ничего не поделаешь, Андрей Терентьевич, психи, как известно, отменно справляются с делами, приводящими обычных благонамеренных людей в

священный ужас. Таким образом, Андрей Терентьевич, за вычетом Вьетнама я работаю против России, как вы изволили выразиться, ровно на тринадцать лет больше, чем вы работаете, извините, работали против США. Что-то вы замешкались с деньгами, господин Терентьев. Кстати, я настолько заинтересован в сотрудничестве с вами, что даже если вы заберете из сейфа все деньги, я не обижусь.

Красные двухсотдолларовые банкноты продавались и покупались в России по цене, значительно превышающей номинал. С начала девяностых Россия постепенно превращалась в свалку фальшивых и

настоящих стодолларовых банкнот. В 1996 году стодолларовых бумажек в России насчитывалось больше, чем в США. Американцы вознамерились ускользнуть от погашения (Джонсон-Джонсон грешил против истины, когда говорил о несовместности понятий «неплатеж» и «западная протестантская цивилизация») беспроцентного, предоставленного им доверчивыми россиянами кредита, ввели в обращение новую — с укрупненным и еще более воровато и издевательски смотрящим влево Франклином — стодолларовую банкноту. Но российская мафия не пожелала выступать в роли того самого хребта, на котором

федеральное казначейство США должно было въехать в финансовый рай, смыслом которого было бы обесценение (по первоначальному плану, обменивать старые банкноты на новые в течение семидесяти дней могли с помощью специальной именной, заверенной налоговой службой, пластиковой карты только граждане США) находящихся вне пределов США наличных долларов и фактический крах большинства денежных систем стран третьего мира, Восточной Европы и, конечно же, России. Американцам стало известно об операции «слив», в случае успешного проведения которой (а у их спецслужб не было

причин сомневаться в том, что операция пройдет успешно) США в первую же неделю после дня «Х», как океан Атлантиду, захлестнули бы многие тонны стодолларовых купюр. Тогда – в 1996 году – американские спецслужбы были бессильны помешать объединенным усилиям российской, латиноамериканской и негритянской (черной американской) мафий. В конце 1998 после окончательной победы над «коррупцией и организованной преступностью» в России, добытой главным образом благодаря усилиям американских советников и американских же спецподразделений – в народе их называли «молчунами»,

они не понимали по-русски и косили из автоматов всех подряд — наконец-то стало возможным «отсечь» от метрополии блудный наличный доллар, который, в отличие от библейского сына, в отчем доме никто не спешил заключить в прощающие объятия.

Илларионов вспомнил сегодняшний утренний курс: за «хорошую» «красненькую» в обменных пунктах давали четыре «плохих» «зелененьких» или восемьдесят новых российских рублей.

Илларионов молчал.

— Неужели, Андрей Терентьевич, — вкрадчиво произнес

Джонсон-Джонсон, — вы вновь намерены порадовать меня каким-нибудь нестандартным предложением?

— Джон, — впервые за эту встречу назвал мормона по имени и на «ты» Илларионов, — тебе ведь известны случаи, когда слишком долго сражаясь с противником, агент незаметно усваивал его жизненную философию, проникался духом этого самого противника?

— Я догадываюсь о чем ты, — покачал головой мормон, — но ты ошибаешься: я не считаю, что единственное, на что годится золото — делать из него писсуары для пролетариев и биде для пролетарок;

я не согласен, что от каждого надо брать по возможностям, а платить по потребностям; я по-прежнему стою на том, что экономическая теория Маркса порочна, потому что он неверно рассчитал формулу прибавочной стоимости; я не хочу построить рай на Земле, Андрей, и силой затащить в него все народы; я не сделался коммунистом, а как был так и остался человеком западной цивилизации, мормоном. Поверь, Андрей, я заявляю это со всей ответственностью.

— В таком случае, Джон, — сделав круг по кабинету, вернулся к столу Джонсона-Джонсона, встал на коврик-антенну точно под

угадываемый в деревянной люстре
глазок видеокамеры Илларионов, —
деньги больше не являются
основополагающей ценностью для
западной протестантской
цивилизации, а стало быть, и для
всего человечества. Как давно,
Джон? И что вы предложите нам
взамен?

— Ты задаешь опасные вопросы,
Андрей, — опершись на столешницу,
тяжело поднялся, вышел из-за стола
Джонсон-Джонсон. Илларионов был
готов поклясться, что американец
выключил видеокамеру. Коврик под
ногами Илларионова как будто
вздрагнул. Джонсон-Джонсон
отключил и антенну. Теперь

произносимые ими слова не записывались для истории и не транслировались на спутники, а рождались и умирали (или навечно вмазывались в астрал) здесь, в комнате, в старинном отреставрированном особняке в самом центре столицы всех времен и народов, как объяснил по радио «Европа плюс» непонятливым диджей Андрей Водолей, а именно в Москве. — Разве твой отец и генерал Толстой не объясняли тебе, что, задавая подобные вопросы, а главное, получая на них ответы, ты заедаешь собственный век, Андрей?

— Я уже столько их задал и столько получил ответов, что мой век

давно должен был закончиться. Может быть, мне отпущено два века?

— Так не бывает, Андрей, — рассмеялся Джонсон-Джонсон, — ты всего лишь простой смертный. Ты давно прожил свой век, а сейчас доживаешь чужой.

— Чей? — спросил Илларионов.

— Как будто не знаешь, — внимательно посмотрел на него Джонсон-Джонсон. — Своего отца.

— Это невозможно! — воскликнул Илларионов. — Отец ушел сам!

— Ему была отпущена бесконечность, — произнес Джонсон-Джонсон. — Но ты прав, он искал смерть, точнее, некий ее эквивалент, как некоторые наши люди во

Вьетнаме, а ваши в Афганистане, а сейчас в Гулистане. Он завешал бесконечность тебе, Андрей, хотя и знал, что при переходе к простому смертному бесконечность, так сказать, теряет качество. Но и того, что у тебя еще остается, Андрей, несмотря на все твои потери, вполне хватит, чтобы дожить до глубокой старости в достатке, покое и с миром в душе. Твой отец рассчитал все удивительно точно. Ошибся только в одном. Но это именно та ошибка, Андрей, которая сводит расчет на нет. Или еще хуже – приводит к противоположному результату.

– Объясни мне хоть это, Джон, – улыбнулся Илларионов, – по

возможности не залезая в карман моей несчастной жизни. Сдается мне, в кармане осталось немного...

— Я мормон, Андрей, — посмотрел в окно на плывущий по Москве-реке теплоход с опоясывающей надписью «Дровосек» по борту Джонсон-Джонсон. — Возможно, ты мне неверишь, но религия запрещает мне лгать, равно как и повторять неправду. За последние двадцать лет я не выкурил ни одной сигареты, не выпил ни единого глотка виски. Ты спросишь, а как же твоя служба, Джон? Видишь ли, Андрей, Бог сделал меня достаточно богатым, чтобы я служил где хотел и как хотел,

то есть мог позволить себе придерживаться на любой службе собственных правил и принципов. Единственное насилие, которое я совершаю над собой, заключается в том, что я молчу, когда не хочу или не могу сказать правду. Хотя, Андрей, человек не может быть уверен, что знает правду, как не может быть уверен ползущий по стволу муравей, что знает все про дерево. Всю правду обо всем знает один лишь Бог. Поэтому, Андрей, я беру на себя смелость исправить ошибку судьбы, вернуть тебя на путь, определенный твоим же отцом. Сейф открыт, Андрей. Возьми красные доллары. Они продержатся в обращении никак

не меньше тридцати лет. Возьми их, Андрей, купи билет в Мельбурн или в Нью-Йорк, исчезни из России.

— Рад бы, — развел руками Илларионов, — но не могу бросить наш гиперроман. Это как любовь, Джон. К тому же мне известны некоторые правила мормонов, в частности правило доводить до конца начатую работу.

— Работа закончена, — возразил Джонсон-Джонсон, — мы дошли до определенной черты. Оставшуюся часть доделают другие люди. Если, конечно, захотят, — добавил после паузы.

— До какой черты? — удивился Илларионов. — Какие другие люди?

– Возьми деньги, Андрей, и исчезни, – повторил мормон, – не задавай мне больше вопросов.

– Тебе, конечно же, известна притча о шахе, визире и смерти, Джон, – сказал Илларионов, странно взволнованный словами мормона. Он всегда (точнее, когда хотел) чувствовал, добра или гибели желает ему человек. До начала разговора он не сомневался, что Джонсон-Джонсон хочет гибели ему и России. Сейчас сомневался. Едва он произнес слово «смерть», воздух слева и снизу под рукой как будто чуть выдвинулся. Можно было вообразить, что фреска воздуха состоит из невидимой мозаики и

Илларионову выдалось редкое счастье увидеть воздушную мозаичную единицу. Не успев додумать до конца необязательную эту мысль, он вдруг почувствовал глубочайшее доверие к главе миссии мормонов в России. Советница-смерть, таким образом, предлагала ему прислушаться к словам Джонсона-Джонсона, а не тратить время на пересказ сомнительной притчи. Но Илларионов утешил себя тем, что притча необходима хотя бы для того, чтобы запутать бесов, надо думать, крутившихся тут поблизости. Илларионов был уверен, что бесы развесили уши. Генерал Толстой объяснил ему, что иногда бесы

дослушиваются до того, что целиком превращаются в огромные волосатые уши, которые именно развешиваются, как шляпы (хотя для шляп такое сравнение оскорбительно), на люстрах, стенах и где им только не заблагорассудится. Очень часто слетевшимся на интересный разговор бесам-ушам становится тесно, они начинают толкаться и ругаться. В эти моменты людям как бы сквозь стены, как бы в соседней квартире слышатся противные, произносящие разные мерзости голоса. Генерал Толстой утверждал, что, начав ругаться, бесы могут забыть про подслушивание.

— Вынужден тебя огорчить,

Андрей, — вздохнул Джонсон-Джонсон. — Эта притча мне неизвестна.

— Однажды, когда шах и его визирь пили вечером чай в саду с павлинами, они увидели стоящую под деревом смерть. Естественно, они поинтересовались: за кем? Смерть сказала, что за визирем. Услышав это, визирь бросился в конюшню, вскочил на самого быстрого коня и поскакал по дороге, ведущей в Исфагань. «Куда он?» — спросил у смерти шах. «Кто-то подсказал ему, — с удивлением ответила смерть, — что мы должны встретиться ночью в айвовой роще в предместье Исфагани. Вот только не

могу понять — кто?» Джон, ты предлагаешь мне не спасение, а всего лишь коня до айвовой рощи в предместье Исфагани...

— А ты, как я понимаю, предпочитаешь сад с павлинами? — усмехнулся мормон.

— Мне так много довелось в этой жизни узнать про смерть, что ей-богу, Джон, я не вижу большой разницы между садом с павлинами и айвовой рощей.

— В таком случае, Андрей, согласишься, уместным и логичным кажется вопрос: во имя чего? Хотя, я понимаю, что задавать его человеку, ищущему смерть, бестактно. Где-то я читал, Андрей, что стремящегося к

смерти можно уподобить идущему без очереди на аудиенцию к Господу.

— Пусть это звучит не менее бестактно, Джон, даже смешно, но я отвечу: во имя России.

— Мистическим олицетворением которой для тебя является генерал Толстой?

— Джон, — внимательно посмотрел на мормона Илларионов, — ты сам сказал, что вера запрещает мормонам говорить, даже просто повторять неправду. Не станешь же ты отрицать, что Россия все еще существует как относительно самостоятельное государство исключительно благодаря генералу Толстому?

— Россия — льдина посреди океана кипящей воды, — задумчиво произнес Джонсон-Джонсон. — Ставки в этой игре значительно выше, Андрей. Они настолько высоки, что играющие не вполне понимают, что предпочтительнее — выигрыш или проигрыш? Ты хотел услышать правду, Андрей. Правда в том, что Россия — всего лишь карта в колоде, которая может сделаться козырной, но может и уйти... не знаю, как звучит по-русски этот термин из покера — в снос, в сброс, в отвал? Генерал Толстой хочет выиграть, но его личный выигрыш — это отнюдь не выигрыш для России, точно так же, как его проигрыш —

далеко не проигрыш для нее. Ты же, Андрей, полагаешь, что льдину можно уберечь, если встать на край и начать изо всех сил дуть на кипящий океан. Генерал Толстой использует тебя, Андрей, и ты это прекрасно знаешь.

— Есть люди, которым нравится не только заниматься, но и верить в безнадежные дела, служить им, Джон, — ответил Илларионов. — Будем считать, что я из их числа.

— Как там у Горького? — спросил Джонсон-Джонсон. — Рожденный ползать летать не может... Я много читал про Россию, но не помню, чтобы кто-нибудь осмыслил это противоречие. А оно, на мой взгляд,

лежит в основе так называемой тайны России.

— Какое противоречие? — удивился Илларионов. — Что рожденный ползать летать не может?

— Ну да, — кивнул мормон, — никто почему-то не вспоминает про Змея Горыныча, который был рожден, чтобы ползать, но дерзнул летать. И еще как летать!

— Причем здесь Змей Горыныч?

— Видишь ли, Андрей, он присутствует в нашем гиперромане, хотя и под другим именем. Я дам тебе дискету с расширением файла. Ты очень удивишься, когда узнаешь, что отдал змей, рожденный ползать, за возможность летать.

– Я догадываюсь, Джон, – сказал Илларионов.

– Да, Андрей, – подтвердил Джонсон-Джонсон, – свою бессмертную душу, хоть и низринутого с небес, но все же ангела...

– Но тогда он не был рожден, чтобы ползать, – возразил Илларионов.

– Великий пролетарский писатель ошибался, – посмотрел в окно на совершенно уже темную и пустую, как небо без звезд, Москву-реку Джонсон-Джонсон. – Противоречие не в том, что рожденный ползать летать не может, а в том, что каждый решает сам:

ползать ли ему весь век, имея душу ангела, или летать, отдав за крылья то, без чего полет, в сущности, лишается всякого смысла, превращается в нечто такое... чему нет на свете названия... Отдать бессмертную душу. Летать без души. Ты хочешь взлететь, Андрей. Я уважаю твой выбор. Стало быть, к делу?

— К делу, — согласился Илларионов, усаживаясь на жесткое струганое кресло напротив вернувшегося за свой огромный, желтый, как библейский песок, письменный стол главы миссии мормонов в России.

— С чего начнем? — сухо

осведомился Джонсон-Джонсон, водрузив на столешницу руки со сцепленными пальцами.

Илларионов почувствовал себя великим грешником, пришедшим на исповедь к старшему брату-мормону. Руки у Джонсона-Джонсона были мозолистые и натруженные. Илларионов подумал, а не сам ли мормон, часом, сделал мебель в кабинете?

— Почему ты сворачиваешь работу по преобразованию Библии в гиперроман, Джон? — спросил Илларионов.

— Твое время пошло, Андрей, — заметил Джонсон-Джонсон, — поэтому я постараюсь быть

предельно кратким. Как тебе известно, наши дела продвигались достаточно успешно, пока в одном из уровней гипертекста «L» не возникло это имя.

— Предположительно имя, — уточнил Илларионов.

— Предположительно имя, — согласился Джонсон-Джонсон. — Какое бы сочетание букв мы ни пытались ввести, имя не угадывалось. Это было что-то вроде «черной дыры» в гипертексте. Все проваливалось туда как в бездну, и ничего оттуда не выходило.

— Я в курсе, Джон, — с удивлением посмотрел на мормона Илларионов. — Потом пришли факсы

из Цинцинатти и Чарльстона, и мы установили...

– И мы установили, – продолжил мормон, – что речь идет о человеке, точнее, существе, которое еще не появилось на свет, но которому суждено перевернуть вверх ногами этот свет. Не правда ли, Андрей, забавно, что в тексте, написанном три тысячи лет назад, говорится о существе, которое родится только в 1999 году от Рождества Христова, то есть совсем скоро, Андрей.

– Все это мне известно, Джон. Как и то, что сведений из Цинцинатти и Чарльстона оказалось недостаточно для расшифровки имени. Удалось отгадать только две

буквы. Ты попросил меня достать бумаги из сейфа Сталина, Джон. В них, как нам удалось выяснить, как минимум еще пять букв. Я пообещал тебе принести и попросил кое-что взамен. Ты согласился, Джон. Я принес. Ты должен отдать мне дискету с гипервирусом, координатами спутника и семьюдесятью семью паролями. Ты сам сказал, что мое время пошло. К чему столько лишних слов, Джон?

— Это не лишние слова, Андрей, — расцепил руки мормон.

Теперь Илларионов подумал: сколько несчастных отправил на тот свет этими руками труженик-мормон?

– Ты принес мне бумаги из сейфа Сталина. Два часа назад я получил дискету с компьютерным гипервирусом. Это первый в истории человечества гипервирус, он был выведен в нашей лаборатории в космосе. Могу даже назвать тебе его имя, Андрей. Оно немного напоминает твое, – улыбнулся Джонсон-Джонсон, – АЛЕКСАНДР. Буква «альфа», «а», то есть первый. Единственное, что от вас требуется – передать, когда спутник будет пролетать над Москвой, частоту модема одного из компьютеров вашего Центризбиркома. Гипервирус входит в систему через любую точку – не важно, центральной или

периферийной – сети. Как СПИД в человеческий организм. Это уникальный вирус, Андрей. Выполнив задачу, он, в отличие от СПИДа, самоуничтожается в системе, не оставляя следа.

После выхода на спутник и передачи частоты модема вам остается одна простая и приятная операция – провести через семьдесят семь паролей имя вашего кандидата. Но это уже дело техники. Больше ничего. Через сутки человек, чью фамилию вы передадите на спутник, станет президентом России.

– Тогда вперед, Джон! – сказал Илларионов. – Мы давно друг друга знаем. Нам нет причин друг друга

обманывать. Имя за имя. Будущего президента России за... Как его назвать, Джон?

— Ты спрашивал, почему я решил прервать наш гиперроман? — спросил Джонсон-Джонсон.

— Мы можем поговорить на эту тему после того, как обменяемся материалами, Джон, — предложил Илларионов.

— Андрей, ты мне глубоко симпатичен, — засмеялся глава миссии мормонов в России, — но по своей натуре ты — исполнитель, а не организатор. Извини, но смысл жизни для тебя — не поиск истины, а точное исполнение задания. Ты четок и безошибочен, как прибор,

Андрей. Но прибор обречен действовать лишь в одной заданной плоскости. Сердце любого прибора – камень, в лучшем случае жидкий кристалл! Не спеши, Андрей, считай, что обмен состоялся. Дискета там, – кивнул на сейф Джонсон-Джонсон. – Я принял решение остановить работу над нашим гиперроманом после того, как «черная дыра» «приняла» две буквы из Цинцинатти и Чарльстона. Эти две буквы, Андрей, открыли в нашем бесконечном гиперромане еще один уровень, который я немедленно засекретил. Я скрыл его даже от тебя – автора нашего проекта, держателя «ноу-хау». Я засекретил этот уровень

потому, Андрей, что с момента его открытия слова БОГ, ГОСПОДЬ в автоматическом режиме пошли в нашем гиперромане со строчной, то есть маленькой, а не прописной, как было до сих пор, как, наконец, положено, буквы!

— Может быть, ошибка в макрокоманде? — предположил Илларионов.

— Гиперроман был вычищен до белизны ангельских крыльев всеми имеющимися в нашем распоряжении антивирусными программами, — покачал головой Джонсон-Джонсон. — Дело в другом, Андрей. Мне не отделаться от ощущения, что с открытием этого кошмарного

имени Божьему управлению на Земле приходит конец...

— Ты полагаешь...

— Да, Андрей, Господь вошел в наш гиперроман, дал нам знать, предупредил. Другого объяснения нет. Таким образом, открывая имя, Андрей, мы вольно или невольно приближаем момент пресечения Божьего промысла в отношении человечества.

— Но это невозможно, Джон, — возразил Илларионов. — Имя не может быть открыто до появления на свет его обладателя. Это азы, Джон. Если верить картам Руби... — замолчал.

— Единственная в Москве

гадалка Руби мертва, Андрей, и мне известно, кто приколот ее стилетом к каменной стене, как бабочку.

— Кто? — Илларионов вспомнил песцовую шапку, мельхиоровую в желтом свете арбатских фонарей, струящееся, как бы стекающее с прямых плеч кожаное пальто. Он видел убийцу всего несколько мгновений, но что-то в его облике показалось Илларионову странным, непонятным. Все это время, оказывается, он думал над этим. Сейчас Илларионов понял причину. Убийство было совершено в высшей степени профессионально. С места преступления убийца уходил рассчитанно и артистично.

Илларионов попался на классическом, описанном во всех учебниках по криминалистике приеме — запрограммированной ошибке восприятия. Он был уверен, что убийца — мужчина, и думал о нем как о мужчине, тогда как убийцей была женщина! Илларионов, однако, не поспешил поделиться своим открытием с главой миссии мормонов в России, как сам Джонсон-Джонсон не поспешил поделиться с ним новостями о гиперромане. — Откуда это тебе известно?

— Да все оттуда, — поднялся из-за стола Джонсон-Джонсон, — из файлов нового уровня.

– Где Господь Бог с маленькой буквы? Ты хочешь сказать, что эти файлы противоречат воле Господа?

– Я точно не знаю, Андрей, – сказал мормон, – но мне кажется, что эти файлы из миров, над которыми ни воля Господа, ни Божий Промысел невластны.

– Из... преисподней? – ужаснулся Илларионов.

– То, что мы называем преисподней – это пусть и лежащая по ту сторону смерти, но часть Божьего мира, – ответил Джонсон-Джонсон. – Боюсь, что эти файлы из мира, быть может, внешне очень похожего на наш, но лежащего по ту сторону Божьей воли, как

преисподняя лежит по ту сторону нашей смерти. Это кошунственный мир, Андрей, в котором Господь уже не сможет никого защитить, потому что... Потому что...

Илларионов посмотрел на Джонсона-Джонсона. Глаза мормона были полны слез.

– Потому что новый уничтожит его, – договорил за Джонсона-Джонсона Илларионов, – вторично приколет, но уже не к деревянному кресту, а к каменной стене как эта женщина гадалку Руби – без последующего воскрешения. Я все понял. Новый сильнее. Джон, я видел эту женщину. Она невыразимо прекрасна, но у нее страшный, как

будто ей не принадлежащий, отдельно от нее существующий взгляд. Кто она?

— Она его мать, точнее, будущая мать, — сказал Джонсон-Джонсон, — однако у него — еще не родившегося — уже сейчас достаточно сил, чтобы абсолютно — стопроцентно — защитить ее. Она невычислима через виртуальную реальность, Андрей. Все компьютеры планеты и даже компьютеры, размещенные в космических лабораториях, изначально, то есть постзапрограммированы на автоматический сброс, delete, как только предпринимается попытка определить ее имя, да просто

получить о ней хоть какую-нибудь информацию.

– Тогда что мы ищем, Джон? – тихо спросил Илларионов. – Даже если у нас будут все семь букв, это ничего не даст, потому что он еще не родился. Компьютер просто-напросто выдаст распечатку всех возможных комбинаций из семи букв. Это иголка в стоге сена, Джон, причем иголка, которую невозможно найти, потому что она не может уколоть.

– Мы должны понять то, что Господь еще в силах сообщить нам.

– Но что, Джон, что Господь в силах сообщить нам?

– Не так уж мало, – слезы на

глазах мормона высохли. Чистым, прозрачным, как летящая по компьютерным линиям информация от Господа, сделался его взгляд. — Некоторые фрагменты родословной своего неродившегося убийцы. Кто занимается в МУРе убийством гадалки Руби?

— В это трудно поверить, Джон, — усмехнулся Илларионов, — но расследованием убийства гадалки Руби не занимается никто — ни МУР, ни ДФБ, ни ГУО, ни ГРУ, ни военная, ни простая прокуратура. Этого дела нет, Джон, я наводил справки.

— Почему? — Спросил, не слишком, впрочем, удивившись, мормон.

– Нет потерпевшей, – объяснил Илларионов, – то есть тела потерпевшей. Нет заявлений свидетелей, следовательно, нет дела. Никто, кроме меня, не видел, как она ее убила, Джон, хотя вокруг было полно людей! О каких фрагментах его родословной ты говоришь, Джон? Мы не можем ничего!

– Допустим, мать выпадает, – согласился мормон, – но ты забыл про отца.

– Отца? Не смейся, Джон, разве у него может быть... земной отец?

– Тем не менее, если верить новым файлам, а у нас нет ни малейших оснований им не верить, есть кое-что интересное, Андрей.

Кто-то в прошлом достаточно активно пытался помешать рождению нового, так сказать, расстроить обязательные к исполнению предначертания иного мира. Более того, известна даже сумма, в которую этот «кто-то» оценил голову земного, или уж не знаю какого, отца — семьдесят семь миллионов долларов. Не слишком большие, даже для начала восьмидесятых, деньги. Мне удалось проследить их путь из Брунея — деньги были получены за партию наркотиков — до афгано-пакистанской границы. Там они исчезли без следа, Андрей.

— Может быть, этот «кто-то»

прикончил... предполагаемого отца?

— Не знаю, Андрей, файл имеет странное расширение. Появляется какой-то юноша, на которого то ли наехала, толи чуть не наехала машина... «Победа», кажется, так она называется.

— Джон, — перевел дух Илларионов, — на каждого второго в этом мире наезжает машина. На меня в детстве тоже чуть не наехала. Только не «Победа», а «Москвич».

— «Москвич» не считается, — серьезно произнес Джонсон-Джонсон. И после паузы добавил: — Один и тот же человек не может одновременно находиться в Ставропольском крае и в Москве.

— Если в файле такие нескладушки, — сказал Илларионов, — значит, есть все основания предполагать, что «кто-то» замочил предполагаемого отца, и наша невеста сделалась вдовой до замужества. Мы же сами с тобой ввели в компьютерную лексику понятие «фантомные фантазии уничтоженных директорий». Директории уже нет, Джон, но машина ловит гаснущую информацию, лепит из нее что-то несуразное...

– Может быть, – выдвинул ящик
стола, достал дискету Джонсон-
Джонсон.

Илларионов немедленно

положил на стол тонкую кожаную папку.

– Как договаривались, Джон, это оригинал.

– Очень может быть, – вдруг бросил дискету через стол Джонсон-Джонсон. Илларионову было не так-то просто ее поймать. – Можешь проверить, Андрей, – сказал мормон, – спутник будет над Москвой ровно через шесть минут и шесть секунд. Мои компьютеры к твоим услугам.

– Я тебе верю, Джон, – Илларионову очень хотелось проверить дискету. Но еще больше хотелось покинуть здание миссии мормонов живым.

– И последнее, Андрей, – догнал Илларионова голос Джонсона-Джонсона, когда он был уже у двери. – Ты ведь знаешь те две буквы, переданные из Цинцинатти и Чарльстона?

Илларионов молчал, прикидывая, из какого оружия выстрелит (если выстрелит) ему в спину мормон. Он, как назло, надел сегодня легкий, пробиваемый большими калибрами бронежилет.

– Тебе известны пять букв из принесенной папки, – продолжил Джонсон-Джонсон.

– Джон, я не виноват, что их всего семь, – обернулся (бронежилеты всегда лучше

защищают грудь) Илларионов.

— А мне, Андрей, не известно имя будущего президента России. Ты не находишь это несправедливым?

— Джон, об этом не было разговора... — смутился Илларионов, — но если я... Одним словом, как только... я Даю знать, Джон.

— Если будешь присутствовать при прохождении имени через пароли, — проницательно заметил мормон. — Кстати, Андрей, когда будешь спрашивать у него про президента, спроси заодно и про... земного отца.

— Что? Повтори, я не расслышал, — безжизненным (как и

всегда, когда требовалось
максимальное сосредоточение)
голосом переспросил Илларионов.

— «Кто-то», присутствующий в
файлах, пришедших к нам из
третьего-тысячелетия до Рождества
Христового, — твой непосредственный
начальник, Андрей, твой крестный
отец, генерал Толстой, — сказал
мормон.

Q

Майор Пухов в совершенстве владел умением перемещаться в пространстве бесшумно и невидимо, в особенности для находящегося впереди человека. Дело в том, что находящемуся впереди человеку (в данном случае руководителю службы безопасности Республики Гулистан Нурмухамеду), чтобы увидеть крадущегося сзади майора Пухова, требовалось оглянуться. Таким образом у майора имелась в запасе доля секунды (обычно ему хватало ее с избытком), чтобы не попасться на глаза преследуемому. К тому же рука

майора крепко сжимала
полюбившийся «Fovea». Пухов
избегал делать скоропалительные
выводы, но как ни крути,
руководитель службы безопасности
Республики Гулистан Нур (в
Афганистане Пухов знал его как
капитана спецназа Нурали
Мехмедова – гения подрывного дела,
в годы же становления независимого
государства Гулистан как
неуловимого бандита Натхоя,
разработавшего и претворившего в
жизнь весьма эффективную
методику грабежа товарных вагонов
на железных дорогах юга России)
был в его руках, и только чудо могло
помочь ему выскользнуть из рук

майора Пухова.

Если еще мгновение назад майор был во власти охотничьего азарта, то сейчас вдруг ощутил тоску. Эта была особенная тоска, неизменно настигавшая Пухова в момент, когда поставленная цель (в данном случае Нур) оказывалась на расстоянии вытянутой руки или выстрела. Майор знал, что не одинок в подобной тоске. Это была тоска конца, отсроченной расплаты, тоска силы — так говорил генерал Толстой, — брошенной на службу слабому делу. Майор был уверен, что уже давно истощил терпение судьбы, но судьба вновь и вновь отпускала ему значительные кредиты. Майору

оставалось только гадать, какую сумму (с процентами) взыщет с него при конечном расчете невидимый бухгалтер.

Неожиданно в нем окрепло желание решить дело миром.

Майбру не раз и не два доводилось решать дело миром со своими обидчиками.

Миром — означало положить Нуру на плечо руку, а когда он дернется, резко успокоить его ударом рукоятки «Fovea» в лицо. После подобного успокаивающего и, как правило, ломающего в двух местах нос удара редкий человек оставался на ногах. Вряд ли будет исключением и Нур. Дальше все происходило как

бы само собой. Упавшего, но лишь отчасти успокоившегося человека требовалось подготовить к диалогу, точнее, монологу Пухова. Обычно майор резко наступал ногой на руку лежащего – рука под подошвой глухо хрустела, и лежащий на мгновение терял сознание от боли. Свободной рукой, однако, он (уже чисто инстинктивно) пытался извлечь (применить) оружие, и майору приходилось стрелять в эту бестолково шарящую руку, тем самым лишая обидчика последних (в высшей степени иллюзорных) надежд. Теперь он был в общем-то подготовлен к тому, чтобы внимательно выслушать майора

Пухова. И майор, экономя свое и чужое время, объяснял человеку его вину, объявлял приговор и немедленно приводил приговор в исполнение выстрелом в затылок, как бревно переворачивая тело на живот.

Это означало в понимании майора «решить дело миром». И сейчас Пухову не хотелось мучить себя и Нура. Глава службы безопасности Республики Гулистан руководил операцией по захвату станицы Отрадной и, следовательно, нес всю полноту ответственности за смерть матери майора Пухова.

Инцидент, стало быть, был близок к тому, чтобы считаться

исчерпанным.

Пухов ощутил непреодолимое (как когда-то в Афганистане) желание выйти из игры. Он боялся себе в этом признаться, но ему хотелось, чтобы Нур взял смерть матери на себя или объяснил происшедшее случайностью (откуда обкурившиеся боевики могли знать, что она глухонемая и не слышит их криков?).

Тогда круг замыкался.

И майор мог из него выйти.

В сущности, майору Пухову не было дела, что замышляет в Москве якобы превращенный в фарш прямым попаданием танкового снаряда генерал Сак, окровавленную пилотку

которого непрерывно и истерически показывали все программы новостей. Пухов уже связался через спутниковый телефонный канал Дровосека с ребятами в Отрадной, узнал, что дом матери почти не пострадал. Майор попросил ребят присмотреть за домом. Распорядился Пухов и насчет похорон, переведя соседке деньги через местное отделение банка «ДровосеК». Скверно и не по православному обычаю было отсутствовать на похоронах матери, но ничто не могло переубедить майора Пухова: гораздо хуже (позорно) было присутствовать на них, не наказав обидчиков, в особенности когда судьба (как

сейчас) предоставила ему эту возможность.

Майор не сомневался, что в Отрадной его ждут. Не случайно руководитель Центра по борьбе с терроризмом так стремился его туда отправить. Поэтому Пухов вознамерился прибыть в станицу по собственному, а не чужому расписанию.

Майор почувствовал себя почтальоном, принявшим решение уйти со службы и разносящим по адресам свою последнюю сумку с корреспонденцией. Ему стало легко. Будущее предстало анонимным, а он сам — отнюдь не конченным человеком. Он вдруг увидел себя на

борту самолета, летящего на Фиджи (почему на Фиджи?). Это были очень опасные для человека его профессии ощущения. Майор прекрасно знал, что жизнь устроена так, что последняя (в данном случае почтовая) сумка зачастую оказывается воистину последней.

Майор Пухов был надежным, старательным, неизменно доставляющим почту по указанным адресам почтальоном.

«Негоже, — подумал он, — спрямлять путь и путать адресатов в последний день службы. Все письма должны быть доставлены точно по адресам, пустая же сумка повешена на почте на гвоздь. Чтобы завтра с

ней отправился в путь другой –
новый – почтальон».

Он уже смирился с тем, что с
Нуром кончить дело миром не
удастся.

Дознания было не миновать.

Почтовая сумка вдруг
превратилась в знаменитый
неподъемный узелок Святогора,
таким тяжелым показалось
почтальону Пухову невидимое
письмо генералу Каспару
Сактаганову. У письма не было
конкретного автора. Его писали
невидимыми слезами и кровью (не
чернилами же) русские вологодские
и рязанские бабы, падающие в
забытых Богом городах и деревнях на

присланные из далекого и неведомого им Гулистана цинковые гробы; другие русские бабы (помоложе), которых бородатые гулийские воины возили за собой в походных борделях, а по мере износа пускали в расход; русские беженцы, лишенные имущества, изгнанные из своих домов; превращенные в живые скелеты рабочие, присланные по найму восстанавливать гулийскую промышленность и захваченные гулийцами в рабство-плен. К авторам этого письма можно было причислить всех безоружных и беззащитных, униженных и оскорбленных, уже испивших и продолжающих пить чашу страдания

в Гулистане – крохотном горном пятачке, превратившемся на исходе XX века в лобное место позора и бессилия России.

Тех же, кто находился в Гулистане с оружием в руках, кто честно исполнял свой долг, стреляя в гулийских бандитов, или же продавал свое оружие гулийским бандитам, чтобы уже они стреляли из него в русских солдат – их всех почтальон Пухов лишал права переписки с генералом Саком, потому что им, так сказать, была предоставлена возможность говорить с ним напрямую – посредством оружия, – минуя посредника-почтальона. Оружие уравнивало в претензиях

адресата и отправителя письма. Майор Пухов все больше склонялся к мнению, что оружие — последняя (призрачная, теоретическая, но все же) гарантия справедливости в несправедливом, выскользающем из справедливости, как угорь из сетей, мире. На том стоял понятный майору мир, и он не собирался переиначивать этот порядок.

Пухов был настолько уверен в себе, неслышной и невидимой тенью стелясь за Нуром, что сумел даже заглянуть в «мерседес» гулийца, который тот, убежденный, что находится на своей территории, ни удосужился не только поставить на сигнализацию, но и просто запереть.

То, что майор увидел в «мерседесе», крайне ему не понравилось. На водительском сидении находились небольшой монитор и пульт управления. Пухову доводилось видеть подобные мониторы и пульта управления в арабских странах и в Израиле. Это был комплекс дистанционного (до нескольких километров) управления пластиковыми магнитными минами системы «Zalzman».

Мины «Zalzman» было практически невозможно обезвредить по причине наличия в них миниатюрных видеокамер, передающих панорамное (иногда через спутник) изображение

пространства вокруг себя на монитор. В случае попыток обезвредить взрывные устройства, система автоматически (уже не подчиняясь заданным временным параметрам) переходила в режим готовности — «stand by». У наблюдающего за экраном было всего несколько секунд, чтобы отменить взрыв (в этом случае система самоуничтожалась). Если соответствующая команда не поступала на пульт, уже ничто не могло удержать мины от взрыва. Специалисты утверждали, что с помощью системы «Zalzman» можно в довольно сжатые сроки «размонтировать», к примеру, такой

немаленький город, как Париж.

— Я смотрю, Нур, ты решил поднять в небеса весь мотель, — дружески положил гулийцу руку на плечо Пухов, когда тот в холле нажимал кнопку лифта, чтобы подняться на этаж в кабинет Гелисхана, где (Пухов не сомневался) были складированы пластиковые магнитные мины системы «Zalzman». Майору был известен этот подлый гулийский (хотя почему подлый и почему именно гулийский? — обычный на любой войне) прием: дать противнику ложную информацию, чтобы на место (в мотель) примчались элитные российские коммандос, и взорвать

все к чертовой матери, после чего, воспользовавшись неизбежным замешательством противника, форсировать проведение намеченной операции.

Пухов немного не рассчитал удар рукояткой «Fovea». Красиво посаженная, с нитями благородной седины (миллионер, богатый иранский турист, почтенный отец семейства, министр из ближнего зарубежья — кто угодно, только не бандит, не убийца, не подрывник) голова Нура буквально влипла в серебристые (в цвет его благородной седины) двери лифта, превратившиеся для гулийца (Пухов как-то запомнил, оруженосец

Аллаха Нур или нет) в преддверие врат рая, где его ожидали благословенная прохлада, отдых от ратных и подрывных трудов, сладчайшее гранатовое вино и объятия пышных гурий.

Но не сразу и не так быстро.

Светлый плащ (майор Пухов давно мечтал приобрести себе такой, да все не получалось) Нура окрасился кровью. «Где они, черт побери, находят такие хорошие вещи?» — с грустью подумал майор. Он не уставал удивляться тому, как легко и естественно сочетают гулийцы черную бандитскую душу с внешними проявлениями благонамеренности и богатства. Чем

дольше он имел дело с гулийцами, тем сильнее укреплялся во мнении, что понятие греха как такового им неведомо. Это была особенность народа, изрядная часть представителей которого столетиями жила грабежами и набегами.

Пухов как бы с недоумением и осуждением посмотрел на рукоятку «Fovea». Он не только сломал Нуру нос, но и разворотил верхнюю челюсть. Впрочем, Нур (в отличие от Гелисхана, которому Пухов выбил зубы в казино несколько раньше) мог утешиться тем, что в земной жизни ему уже не придется тратить на стоматологов и зубных ортопедов. Все расходы возьмет на себя Аллах.

Майор Пухов избавил рухнувшего на палас Нура от двух пистолетов, одетого в пластиковые ножны, помещенного в носок на правой ноге кинжала, вишневого цвета кожаного с золотыми углами и арабской монограммой бумажника, без чувства меры (разве хорошо быть таким богатым в стране, где большинство людей живет за чертой бедности?) наполненного пластиковыми кредитными картами и красноватыми, как последние советские червонцы, новыми двухсотдолларовыми банкнотами с изображением президента Кеннеди в мерцающем, переливающимся перламутровом овале.

Нур наконец пришел в сознание, но даже не попытался подняться. Его поведение огорчило майора. Пухову показалось, что он вышиб из него мозги и Нур его не узнал.

– Такой симпатичный мотель, – слегка подбодрил гулийца носком ботинка в ребра Пухов, – жалко взрывать. Сколько Гелисхан привез в Форос, где отдыхал тогдашний председатель Госкомимущества? Десять миллионов долларов в красивом таком чемодане на колесиках. Ты плохо распоряжаешься гулийской собственностью, Нурмухамед, – майор опустил на корточки, провел дулом «Fovea» по разбитому лицу руководителя

службы безопасности Республики Гулистан. — Хотя, конечно, — резко поднял с паласа за воротник плаща, прислонил как манекен к стене гулийца, — что вам какой-то жалкий мотельчишка, когда скоро вашей станет вся Россия? Нур, я сниму все милицейские посты на твоей дороге к Аллаху, если ты ответишь на три, всего на три, Нур, вопроса.

У гулийца хватило сил плюнуть. Плевок получился каким-то твердым и острым. Пухов вытер платком со щеки сгусток темной крови, внутри которого как заноза торчал косой обломок зуба.

— Не стоит уподобляться верблюду, Нур, — сделал он замечание

гулийцу. – Я не договорил. Кто отдал вам мою мать? Что вы собираетесь предпринять в Москве? Московский адрес генерала Сака. Три вопроса – три ответа. И вот уже гурии омывают твои усталые ноги в садах Аллаха... – Нур определенно еще раз вознамерился плюнуть, и майор Пухов был вынужден ткнуть ему в глаз согнутым пальцем. – Ты рискуешь предстать пред очами Аллаха слепым, Нур!

Пухов пощадил глаз гулийца, но тем не менее он превратился в розовый пузырь. Майор с прискорбием констатировал, что начал слишком уж резво. В нетронutom глазу Нура не

прочитывалось ни малейшего страха. Только досада, ненависть и презрение. Пухов понял, что Нур не скажет ему ничего, даже если он будет резать его на куски. Гулийцы легко (в обе стороны) преодолевали границу между войной и миром, богатством и бедностью, лишениями и роскошью, жизнью и смертью (в одну сторону, но генерал Сак, похоже, решил и здесь отличиться). И крайне трудно — между верностью и предательством.

Майор Пухов смотрел в нетронутый глаз Нура и видел низко летящие вертолеты, поливающие гулийские селения железным огнем; бредущих в ночи по лунным дорогам

гулийских старух, которых на
блокпостах принимали за
привидения и на всякий случай
расстреливали; искалеченных
гулийских детей; оставленные
жителями, разграбленные войсками
дома; перетертые танковыми
гусеницами в грязный кисель
гулийские поля; кладбища
виноградников; горящие
нефтепромыслы; плывущие по
горным рекам, объединенные рыбами
трупы.

Много раз майор Пухов
задавался вопросами — почему
Россия не может покорить Гулистан?
И, если не может покорить, почему
не хочет оставить гулийцев в покое,

уйти из Гулистана? Иногда он спрашивал об этом самих гулийцев (перед смертью люди, как правило, говорят что думают), но их ответы его не удовлетворяли. Не вполне удовлетворяли его и ответы русских, утверждавших, что воюют в Гулистане за единую и неделимую Россию. Они как будто не видели противоречия в том, что Россия, без боя отдавшая едва ли не треть своей территории — четырнадцать союзных республик — вдруг как с цепи сорвавшись принялась сражаться за почти неразличимый на карте Гулистан. Россия напоминала дурака, без звука отдавшего людям на большой дороге золотую десятку, но

почему-то вознамерившегося
отчаянно драться за медный грош.

«Эта война, сынок, не может завершиться до выяснения одного любопытного обстоятельства, — заметил как-то в баньке на Лубянке генерал Толстой. — Ты знаешь, что я — убежденный старый миротворец, но в данном случае речь идет не о мире, а о воле к жизни. Воля к жизни, сынок — это непринятие навязанных извне условий существования, в нашем случае — рабства. Для России проиграть гулийскую войну равносильно склонить покорно выю, лечь под населяющие ее нерусские народы, вернуться во времена Золотой, Синей и какой-то там еще

Орды. Для гулийцев, сынок, выиграть эту войну – значит опустить Россию, превратить ее в б...ь, дающую всем и каждому по первому намеку. Тайна номер один этой войны, сынок, заключается в том, что гулийцы воюют не за независимость своего государства – им ее предоставят, как только они согласятся ее принять от русского правительства; не за свободу – все эти годы у них ее было в избытке; не за демократию – у них феодально-племенные отношения, они срать хотели на западную демократию; а исключительно против России, как материальной и духовной – пока еще – реальности. Мы не можем их победить, сынок,

потому что едва ли не половина населения России — национальная принадлежность здесь не имеет значения — ненавидит Россию точно так же, как гулийцы. Тайна номер два этой войны, сынок, заключается в том, что Россия в Гулистане воюет за себя против себя сама с собой. И, похоже, терпит поражение...»

Пухов втолкнул руководителя службы безопасности Республики Гулистан Нурмухамеда в кабинет руководителя казино мотеля «Глория» Гелисхана, усадил в кресло по центру кабинета, прикрутив руки Нура к спинке кресла прихваченным из будки охраны электропроводом. К недостаткам электропровода можно

было отнести его плохую завязываемость — он нечетко держал узлы. К достоинствам — что при подключении к источнику электричества провод, не теряя функции веревки, возвращал себе функцию отменного проводника электричества.

Впрочем, майор Пухов чувствовал, что все это без толку. Похоже, Нур принял твердое решение уйти к Аллаху, не тратя слов на майора Пухова.

Пухов почувствовал странную потребность оправдаться перед Нуром, хотя и не сомневался — окажись он во власти Нура, тот поступил бы с ним аналогичным

образом. Майор Пухов был в этой жизни кем угодно — убийцей, диверсантом, шпионом, верным цепным псом и псом блудливым и неверным, — но никогда не был холодным, равнодушным палачом.

— Ты же не хочешь, — неожиданно для себя самого майор перешел на гулийский язык, — чтобы я казнил всех подряд подвернувшихся под руку гулийцев? Что с нами случилось, Нур? Ты помнишь ту ночь в Исламабаде?

...В последних числах августа 1984 года они взрывали штаб-квартиру афганского полевого командира, бойцы которого незадолго перед этим уничтожили в

ущелье советскую колонну. Штаб-квартира находилась в старой английской вилле на окраине Исламабада. Ее охраняли не афганцы, а пакистанские коммандос из спецподразделения «Черный аист». Пухов снял четверых из снайперской винтовки с глушителем и прибором ночного видения и сквозь прибор, превращающий ночной воздух в зыбкую зелень, напоминающую пронизанную солнцем морскую воду, наблюдал за Нуром (тогда капитаном советской армии Нурали Мехмедовым), достававшим из рюкзака мины и размещавшим их по периметру здания. Нур устанавливал

последнюю — под крыльцом — когда дверь вдруг открылась. На крыльцо вышел парень в традиционных белых подштанниках. К счастью, он был без оружия, если не считать ножа, который парень мгновенно выхватил из подштанников и — прежде чем Пухов поймал его в прицел и нажал курок — успел всадить по самую рукоятку в плечо Нура. Нур сумел отползти в кусты. Парень же, надо думать, не без шума, как-то кинематографически растянулся на крыльце башкой вниз, а босыми ногами в традиционных подштанниках вверх. Собственно, дело было сделано. Джип с радиопередатчиком стоял в ста

метрах от виллы в зарослях граната. Пухову оставалось только добежать до джипа, послать сигнал на взрыв и давить, давить на газ. Он, однако, прислонив винтовку к ограде, перелез в сад и, обдирая в кровь лицо о шипы роз, добрался до истекающего кровью Нура. Пухов убрал с крыльца картинно развалившегося парня в традиционных подштанниках, закрыл дверь, заблокировав термическим железным штырем замок. Сад был предварительно очищен, поэтому Пухов, не таясь (иначе бы не успел) потащил Нура прямо по мельхиоровой в лунном свете дорожке к калитке. Он бы и не смог

перетащить его через довольно высокую ограду.

Когда Пухов укладывал Нура на заднее сидение джипа, в окнах штаб-квартиры вспыхнул свет, слышались глухие удары в дверь, пронзительно зазвенели разбиваемые стекла. Пухов, как огненным с летящим каменным рисунком одеялом, накрыл лишние внутренние, уже не имеющие значения звуки взрывом, погнал джип прямо по гранатовым кустам в сторону шоссе. «О Господи, — помнится, произнес, привинчивая на джип дипломатические номера, экстренно вызванный из советского посольства человек, которому Пухов поручил

раненого Нура, – вы что, неслись по спящим? (В Исламабаде люди, как и везде в Пакистане, спали прямо на улицах.) Весь передок в крови!» «Это гранатовый сок», – ответил Пухов, усаживаясь в посольскую машину, которая, впрочем, уже была не посольской, а частной и принадлежала имевшему в Пакистане вид на жительство турецкому коммерсанту, каковым с этой минуты имел честь быть майор Пухов...

– Ты говоришь не на своем языке, майор, – все же нарушил молчание Нур.

– Разве я плохо говорю погулийски? – удивился и даже немного

обиделся Пухов.

— Ты говоришь по-гулийски, как выходец из Казахстана, — ответил Нур, — в данный момент, — сплюнул на ковер, — гораздо внятней, чем я. Но я имел в виду другое. Ты пытаешься говорить как человек, а это не твой язык, майор.

— У нас мало времени, Нур.

— У тебя, майор, — облизал разбитые губы руководитель службы безопасности Республики Гулистан. — У меня сколько угодно. Впрочем, если ты спешишь... Я не отдавал приказа расстрелять твою мать. Но сейчас, думаю, должен был его отдать. Я вообще не знал, что она погибла. Но если операцией

командовал я, значит, несу ответственность тоже я. Считай, что ее убил я, майор. Я горжусь тем, что мне выпала честь уничтожить мать врага номер один гулийского народа! Я не скажу тебе, что произойдет в Москве. Узнаешь по радио. Скажу только, что даже тебе уже ничего не удастся изменить! Мотель и казино «Глория», майор – это периферия операции. Генерал Сак убит в результате прямого попадания танкового снаряда. Мне нечего к этому добавить. Ты должен верить российскому радио – самому правдивому радио в мире!

– За что вы так ненавидите Россию? – спросил Пухов, понимая,

что оказался в тупике, и не видя выхода из тупика.

— Не отождествляй себя с Россией, майор, — с презрением ответил Нур, — ты имеешь к ней такое же отношение, как я к Марсу. Ненависть — неуместная категория для ситуации, когда волк голоден и видит перед собой ослабевшее животное. Да, может быть, Мы напали слишком рано, но мы сумеем продержаться до подхода стаи. Дело не в России и Гулистане, майор, а в том, что Россия кончилась, хотя еще и вые...я, сучит во земле ногами. Это судороги. Мы не убийцы, не палачи России. Мы — могильщики, которых, может быть, вызвали слишком рано.

Я говорил генералу Саку, что не следует лезть под бьющееся в агонии тело – раздавит. Но он сказал, что если отворить кровь, дело пойдет быстрее...

– И вы тонете в русской крови, – произнес майор Пухов, с грустью глядя на «Fovea».

Продолжать разговор не имело смысла.

– Может быть, – усмехнулся Нур, – но ты утонул в ней раньше, майор. Ты давно дышишь не легкими, не воздухом, как человек, а жабрами, кровью, как... Тогда я не верил. Ты убил трех своих товарищей в пустыне под Кандагаром! Ты пил их кровь – русскую кровь, майор,

иначе бы ты не протянул столько под
палящим солнцем! Называли и сумму
– сто миллионов долларов, которую
ты взял на том караване. Ты –
богатый человек, майор, отдохни,
перейди с крови на квас. Но ты не
можешь, – с отвращением посмотрел
на Пухова Нур. – Ты не дьявол и не
сверхчеловек, майор. Ты просто
очень – бесконечно – плохой человек.
Но, к сожалению, этим мир не
удивить. Ты говоришь – Россия, а я
слышу – кровь и деньги! И я готов
тебе доказать, что ты... – Нур
произнес худшее, крайне редко
употребляемое гулийцами
ругательство. По гулийским обычаям
употребление его означало прямую

(немедленную) кровную месть со стороны того, в чей адрес оно было произнесено. Оскорбленными считались все члены семьи (в данном случае Пухова). Ответственность же за оскорбление несли все (невзирая на пол и возраст) члены семьи руководителя службы безопасности Республики Гулистан.

— Семьдесят семь, — задумчиво произнес майор.

— Семьдесят семь? — переспросил Нур.

— Семьдесят семь миллионов долларов, а не сто, — объяснил Пухов, — есть такая русская поговорка: в чужих руках и

собственный хер кажется толще. Прости, Нур, я тебя перебил. Ты, кажется, изъяслял готовность доказать мне, что я...

— Да! — крикнул Нур. — Ты не узнаешь от меня ничего! Если ты дьявол, сатана, если ты пьешь кровь и воешь на Луну, как президент Ираклии Глахуна, превращаешься по ночам в шакала, перегрызающего глотки нашим часовым, в рыбу, объедающую лица плывущих по нашим рекам трупов, в змею, жалящую с дерева — такие у нас ходят о тебе легенды, — заставь меня сказать тебе больше, чем я сказал! Ублюдок! Это последнее слово, которое ты от меня слышишь! — Нур в

бешенстве рванул из-за спинки кресла руки, но электропровод держал крепко. Тогда он оттолкнулся ногами от пола и опрокинулся вместе с креслом на пол, явно рассчитывая сломать позвоночник и уйти от боли. Но в кабинете Гелисхана на полу был постелен великолепный пружинящий палас.

— Учитывая дефицит времени, ты задал мне трудную задачу, Нур, — вздохнул майор Пухов, не спеша вернуть руководителя службы безопасности Республики Гулистан вместе с креслом в вертикальное положение. В конце концов он сам решил переместиться на пол, и не вина Пухова, что кровь из нижней

части тела стала приливать к голове Нурмухамеда, затрудняя ему дыхание и, видимо, вызывая сильную головную боль. — Нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики! — почти весело закончил майор, бросив взгляд на свекольного цвета дергающееся в тике лицо гулийца.

Он знал, что рано или поздно ему придется воспользоваться этим персональным девятизначным номером спутниковой связи.

...Передав генералу Толстому весточку от учителя Хамбо, майор Пухов забыл про Константина Цзю. Он не сразу понял, о ком, собственно, идет речь, когда генерал

Толстой, выслушав его доклад (майор тогда был прикомандирован к международной – американской – специальной группе по борьбе с организованной преступностью), вдруг сказал:

– Костя сейчас проездом в Москве. Я бы хотел, чтобы ты с ним встретился, сынок.

– Зачем?

Майор сразу вспомнил измученных гусей, вышивающих красный узор на белоснежном гималайском леднике изрезанными лапами, похожих на черные цилиндры орлов, недвижно разместившихся по периметру гусяного стада.

Перед тем, как подняться в самолет, Пухов не удержался, прицелился в один из цилиндров из пистолета. «Не надо, — сказал Константин Цзю, — орлы вносят в мир порядок». «А гуси что — анархию?» — удивился майор. «Гуси не должны ничего вносить в мир, — пожал плечами Цзю. — Они должны подчиняться орлам».

Пухов подумал, что его встреча с «Костей» — встреча гуся и орла, то есть встреча с заранее известным — запрограммированным — результатом.

— Зачем? — повторил он.

Кабинет генерала Толстого в тот вечер был темен, как похоронное

бюро глухой ночью. Тогда в Москве впервые начали практиковать так называемое веерное отключение электроэнергии. Из черных страусовых перьев, не иначе, веер накрыл центр столицы – гостиницу «Москва», Госдуму, здание ДФБ на Лубянке. Настольная лампа (от автономного, на случай ЧП, генератора), как циркулем очерчивала на письменном столе перед генералом желтый круг, внутри которого помещалась внушительная стопа бумаг с грифом «Совершенно секретно» и особых – черных с белой диагональю – папок с не менее строгим, но более конфиденциальным грифом «Только

для ваших глаз». Генерал Толстой слегка нагнул голову, и майор Пухов увидел, как устали и покраснели у него глаза. Воистину слишком много в мире предназначалось только для этих глаз.

— Посмотри на меня, сынок, — попросил генерал Толстой, хотя майор и так смотрел на него во все свои — им предназначалось значительно меньше — глаза. — Ну какой из меня борец с организованной преступностью? Я считаю дни до пенсии. Две радости осталось старику в этой жизни — банька да рюмка водки под хорошую закуску. Я хочу, чтобы ты, сынок, занялся оргпреступностью по нашей

линии.

— Что значит «занялся»? — уточнил майор Пухов, зная за генералом Толстым привычку вкладывать чрезвычайно расширительное толкование во внешне безобидные и простые формулировки.

— Всякую деятельность, сынок, — вздохнул генерал Толстой, — тем более организованную, можно уподобить сначала созданию, а потом ведению большого хозяйства.

— То, что мы называем преступностью, не исключение, сынок. Я не знаю, что здесь лучше — единоличное фермерское Хозяйство, кооператив, артель, совхоз, колхоз, а

может агрофирма? Но я знаю, что в природе все взаимосвязано, ведь так, сынок? Идеальное хозяйство — это вертикаль, на вершине которой вовсе не обязательно находится провонявший навозом селянин в кирзе и телогрейке. Если Костя хочет встретиться с тобой, ты не можешь отказаться. Ты не согласишься, сынок, но куда более — не обижайся! — состоятельные и почтенные, нежели ты, люди ждут годами, пока Костя соизволит с ними встретиться. Костя — настоящий специалист, сынок. Для меня, к примеру, встреча со специалистом, пусть даже со специалистом в области орнитологии или, скажем, какой-

нибуть социометрической генетики
всегда праздник!

Цзю остановился в недавно
построенной, удостоившейся чести
попасть в книгу рекордов Гиннеса
из-за своей дороговизны гостинице
на Воробьевых горах. В необычной
архитектуры, напоминающей
падающую на Москву-реку и
Лужники черную стеклянную волну,
гостинице он снял самые дорогие
апартаменты – пентхауз с бассейном,
зимним садом и видом на днем и
ночью горящие золотом купола
одетого в белый мрамор, как врач в
халат, храма Христа Спасителя. По
распоряжению мэра Москвы кресты
на куполах выложили уникальными

светящимися искусственными сапфирами, изготовленными умельцами из российского ВПК для использования в открытом космосе, но — так уж повелось в России на исходе XX века — в космос не попавшими. Кресты как будто парили, вращаясь, вокруг золотых куполов посреди звезд в черном небе. Это было фантастическое зрелище.

Цзю встретил майора Пухова в белоснежном кимоно и золотой шапочке, как будто тоже хотел быть похожим на храм Христа Спасителя. Под раздвижным потолком в зимнем саду были установлены тарелки спутниковой связи. На столе

помещался компьютер е пока что неизвестным в России овальным — квадростереоскопическим — монитором. На скамейке у бассейна зачем-то лежали два старинных самурайских меча: один в черных, другой в белых ножнах. У майора мелькнула дурацкая мысль, что Цзю сейчас предложит ему биться на мечах и снесет с плеч его буйную голову. Майор был уверен, что Цзю снесет ее таким образом, что голова упадет в бассейн и будет плавать там, как поплавков, мяч или странный водяной цветок.

— Как здоровье уважаемого учителя Хамбо? — поинтересовался Пухов, усаживаясь в обитое парчой,

инкрустированное речным жемчугом кресло.

– К сожалению, учитель Хамбо нас оставил, – весело (или это только показалось майору) ответил Цзю.

– Что же с ним случилось? – во время их последней (и, стало быть, единственной) встречи учитель Хамбо производил впечатление здорового и крепкого старика.

– Учитель Хамбо оставил нас добровольно, – ответил Цзю.

– Что побудило уважаемого принять столь печальное для всех нас решение? – у старого оперативника майора Пухова не было ни малейших сомнений, что здесь не обошлось без напоминающего в белоснежном

кимоно ангела смерти Константина Цзю.

– Как правило, – посмотрел майору в глаза немигающим гипнотизирующим (ангельским?) взглядом кобры Цзю, – причина у всех одна и та же.

– Вот как? – удивился майор, вспоминая, на «ТЫ» или на «ВЫ» он с Цзю.

Ни к селу ни к городу вдруг встал перед глазами снайпер, которого он снял в брошенном афганском кишлаке с козырька полуразрушенного минарета. Снайпер уложил человек десять, не меньше, прежде чем Пухов подобрался к нему, чуть ли не

километр проползая по горячему, как над преисподней, песку, накрывшись заскорузлой, но в цвет песка, верблюжьей попоной. Эти попоны (если под ними ходили верблюдицы) иногда бросали в закутки к перестоявшим верблюдам, и они с ревом использовали попоны, как использовали бы (попадись они им) самих верблюдиц. Когда, наконец, Пухов дополз до нужного места, ему казалось, что попону в очередь истоптали сто, не меньше, исходящих знойной страстью верблюдов. Подойдя к упавшему с минарета снайперу, чтобы, как водится, полюбопытствовать, какого роду-племени человек и что там у него

за душой и в карманах, Пухов обнаружил, что завалил китайца. На «ты», решил майор.

— Не слишком ли ты упрощаешь, Костя?

— Не думаю, — явно симпатизируя майору, улыбнулся Цзю.

Хоть убей, Пухов не мог понять, почему этот таинственный человек ему симпатизирует, тратит на него свое драгоценное (как засвидетельствовал генерал Толстой) время.

— Человек решает уйти, — продолжил Цзю, — когда окончательно теряет уверенность, что мир и, следовательно, его жизнь

движутся к совершенству и порядку. Скажу больше, — доверительно наклонился к майору Цзю, — для человека, лишенного ощущения, что мир движется к совершенству и порядку, в сущности, не имеет значения, как уйти из жизни — добровольно или насильственно. Такой человек сам себя ставит вне жизни.

— Но таких людей... большинство, — возразил майор. — Я сам, к примеру, далеко не уверен, что мир движется к совершенству и порядку.

— Я знаю, — кивнул Цзю. — И поэтому хочу тебе кое-что объяснить.

— Дать шанс? — Пухов вновь

потусторонним зрением увидел плавающую в бассейне собственную голову.

— Ты сам решишь, использовать его или нет, — сказал Цзю. — Хочу только заметить, что жить с ощущением, что в мире утверждаются порядок и совершенство, несравненно приятнее и продуктивнее, чем с ощущением, что все летит в пропасть, в жопу, — неожиданно употребил народное русское выражение Цзю. — Жить с ощущением совершенства значит действовать во имя совершенства. Действовать во имя совершенства значит самому постепенно становиться частицей совершенства.

Из жизни уходят потому, что не могут постигнуть формулу смысла жизни. Я только что изложил тебе эту формулу. При этом я ничего от тебя не требую. Я только хочу, чтобы ты подумал.

— О чем?

— О чем? — удивился Цзю. — Мне кажется, я изъясняюсь достаточно ясно. О том, чтобы сделаться частицей порядка и совершенства.

— Но почему именно я? — с тоской спросил майор. — В России много достойных людей, которые спят и видят, как бы им сделаться частицей порядка и совершенства.

— Мы не обсуждаем причины, побуждающие нас останавливать

свой выбор на том или ином человеке, — улыбнулся Константин Цзю.

— Но ведь в таком случае мне не из чего выбирать, — сказал майор, — следовательно, не о чем и думать. О чем ты мне предлагаешь подумать, Костя?

— В моем понимании, думать — означает вносить свой личный вклад в дело совершенствования мира, — Цзю определенно заинтересовали космические светящиеся сапфиры на крестах храма Христа Спасителя. Он смотрел на них неотрывно. Наверное, он хочет их купить, подумал Пухов. — Идея совершенства, как компьютерный гиперроман, —

сказал Цзю. — Каждый может испытать себя в роли творца. Под словом «подумать», майор, я подразумеваю время, в течение которого ты должен подготовить и представить мне конкретные предложения.

— По дальнейшему усовершенствованию мира? О чем идет речь, Цзю? — начал терять терпение майор. — Наркотики, торговля оружием, бляди, игорный бизнес?

С сожалением оторвавшись от созерцания парящих в ночном воздухе сапфиров, Цзю включил стоявший на окне транзистор. Взмолнованный ведущий оповестил

слушателей о том, что все московские радиостанции прерывают свои программы для передачи в эфир экстренного сообщения о грандиозном побоище в центре столицы на Кутузовском проспекте. В самой крупной за время существования независимой демократической России бандитской разборке, сообщил ведущий, схлестнулись боевики сильнейшей в Москве Дорогомиловской и неустановленной, по всей видимости, иногородней группировок. Поражает жестокость разборки, продолжил ведущий, равно как и количество трупов. К настоящему моменту в морги

Москвы доставлено сто семьдесят семь тел. По свидетельству оперативников, речь идет исключительно о боевиках Дорогомиловской группировки. Министр внутренних дел правительства Москвы считает, что Дорогомиловская преступная группировка фактически уничтожена. Опрошенные очевидцы утверждают, что противники дорогомиловцев использовали легкие боевые вертолеты с ракетами «воздух-земля», стартовавшие с крыш домов на Кутузовском проспекте. У москвичей, наблюдавших за сражением из окон квартир, выходящих окнами на

Кутузовский, создалось впечатление, что дорогомиловцев атаковали темнокожие люди определенно азиатской национальности, не понимающие по-русски. Приказом председателя Совета безопасности России для скорейшего расследования инцидента сформирована специальная следственная бригада...

— В русской истории уже было что-то подобное, — выключил транзистор Цзю. — Битва на Калке.

Майор Пухов молчал. Легкие — с ракетами «воздух-земля» — боевые вертолеты, стартующие с крыш домов — это впечатляло. По сути дела Пухов сейчас разговаривал с

человеком, который мог в одночасье, не выходя из гостиницы, не отрывая взгляда от парящих над золотыми куполами среди звезд светящихся сапфировых крестов, сделаться хозяином Москвы и России. В том случае, конечно, если уже (еще?) не сделался.

– Прошу прощения, майор, – взглянул на отсчитывающие секунды электронные часы Цзю, – у меня на сегодня запланировано несколько встреч. Похоже, я выбиваюсь из графика, поэтому буду краток. Современная Россия, увы, далека от совершенства. В ней нет порядка.

Пухов по-прежнему молчал. С этим было трудно спорить.

– Я изучал марксизм, майор, – продолжил Цзю. – Мне понравилась мысль Ленина о звене, ухватившись за которое, можно вытащить всю цепь. Наведение порядка в стране, путь к совершенству начинаются с наведения порядка в преступном мире. Вот то звено, ухватившись за которое, можно вытащить всю цепь. Способ проверен на многих странах. Он весьма эффективен, майор!

– Вот только новым его никак не назовешь, – усмехнулся Пухов. У него отлегло от сердца. Константин Цзю был очередным претендентом на вечно вакантный трон короля преступного мира всея Земли. Как правило, эти ребята не заживались на

свете.

– Ты прав, майор, – подошел к скамейке у бассейна, погладил лежащие на ней – в белых и черных ножнах – мечи Цзю. – Ошибка всех, кто брался за это дело до меня, заключалась в том, что они, утверждая порядок, не придавали должного значению совершенству. Ведь я, майор, не случайно затронул эту тему. Лично у меня нет ни малейших сомнений, что очень скоро наш мир изменится, вплотную приблизится к совершенству.

У Пухова тоже не осталось ни малейших сомнений: Константин Цзю законченно, стопроцентно безумен, как, впрочем, и должен

быть безумен человек, ищущий власти над миром.

— Что такое преступный мир вообще и, в частности, преступный мир России? Это худшие представители, отбросы ста сорока девяти народов, населяющих ваши земли, сплотившиеся в банды, землячества, кодлы, бригады, группировки и так далее. Вся эта сволочь существует по своим племенным, тейповым, клановым и прочим законам, то есть существует незаконно, потому что законы у них разные. Ими не только невозможно управлять — их невозможно элементарно контролировать. Они плодятся в геометрической

профессии, отравляют атмосферу своим дыханием. Государство погружается в хаос.

— Никому в истории человечества не удавалось ликвидировать преступность, — заметил Пухов. Ему стало скучно.

— До тех пор, майор, — улыбнулся Цзю, — пока не была создана специальная разновидность — считай ее нацией или кастой — людей, единственное предназначение которых — избавить человечество от отбросов, принять на свои плечи тяготы, связанные с поддержанием жизнеспособности — раз человечество пока не может от них отказаться — всех без исключения

структур того, что мы называем преступным миром. Сегодня представители новой нации впервые работали в Москве. Жаль, что ты не видел их в деле, майор.

— Темнокожие... азиаты? — вспомнил слова диктора Пухов.

— Ни в коем случае, — покачал головой Цзю, — вопросами генной инженерии занимались серьезные ученые. Люди новой нации, лишены ярко выраженных расовых черт. Что же касается темнокожих азиатов, то мне просто хотелось произвести впечатление на Москву.

Майору Пухову уже не было скучно, но по тому, как быстро заговорил Константин Цзю он понял,

что его время истекает.

— Бандитами становятся не только люди разных национальностей, но и разного воспитания, разного жизненного опыта, разных воззрений, философий, вер, интеллектуальных и физических возможностей. Я намерен пресечь этот хаос. Мои питомцы воспитываются в одинаковых условиях, получают одинаковое образование, усваивают единообразную сумму знаний о мире. Хотя, конечно, это отнюдь не исключает дальнейшей профессиональной специализации. У преступного мира России, майор, нет ни малейших шансов. Мы уже

заложили в свои компьютеры неплохую базу данных, которая сейчас пополняется, можно сказать, в автоматическом режиме. Пять моих спутников круглосуточно работают над вашей страной... – Мелодичная мелодия прервала рассуждения Цзю. – Вынужден извиниться, майор, – развел он руками. – Меня дожидается человек, которого я не могу не принять. Впрочем, суть дела, я думаю, ясна. Мой секретарь сообщит тебе номер, по которому ты сможешь связаться со мной, в какой бы точке планеты я ни находился. Я окажу тебе любую помощь, майор. Не хочу показаться нескромным, – улыбнулся Цзю, – но мои

возможности безграничны. Скажу больше, майор, я горю желанием продемонстрировать тебе это как можно быстрее. Как говорится, подождем подходящего случая. Полагаю, он не замедлит представиться.

— Формы человеческих страстей бесконечны, — возразил майор Пухов, — их сочетания непредсказуемы. На том стоит, точнее, движется мир. Никому не дано его остановить.

— Это иллюзия, — ответил Цзю. — Мир заключен в треугольник, одна сторона которого называется страх человека за собственную жизнь и жизнь близких, в особенности

почему-то за жизнь детей. Тут, впрочем, бывают варианты. Другая – деньги. Третья – власть. Все прочее – бесконечные формы страстей, их непредсказуемые сочетания – внутри треугольника. Увы, майор, это математическая, многократно просчитанная и проверенная на самых современных компьютерах данность.

– И последний вопрос, Костя, – понимая, что аудиенция окончена, поднялся с парчового, инкрустированного речным жемчугом кресла Пухов, – чем я обязан твоему вниманию? Почему именно мне ты оказываешь такую честь?

В этот момент секретарь ввел в пентхауз посетителя. К своему изумлению, майор Пухов узнал в нем Дуба — известного московского «авторитета», занимающегося поставками оружия, транспортными услугами, обеспечением безопасности притонов гомосексуалистов, а также продажей детей в специальные публичные дома. Дуб, естественно, находился во всероссийском розыске, что, естественно, никоим образом не мешало ему открыто жить под Москвой в Барвихе в трехэтажном особняке, записанном на жену какого-то банкира.

Пухов решительно шатнул к

двери, не желая дышать одним воздухом с этим отродьем, но Цзю остановил:

– Не торопись, майор, мы ведь не договорили. Я сейчас освобожусь. Вынужден тебя огорчить, Сергей, – повернулся к Дубу. – Твои люди не обеспечили своевременную отгрузку техники в Чкаловске. Но это еще не все. Подобрав на Кутузовском, как было условлено, моих раненых, они стали вымогать у них сверх оговоренного пятьдесят тысяч долларов, обещая в противном случае выбросить их на шоссе. Это совершенно недопустимо, Сергей, ты согласен?

– В Чкаловске уже улажено, – с

интересом оглядел пентхауз Дуб, – но перенесено на вечер. Все пройдет ровно, если докинешь пару сотен. Насчет Кутузовского извиняюсь, ребята не врубились. Молодняк. Сам знаешь, Костя, какой у нас нынче в России отвязанный молодняк...

– Это не разговор, Сергей, – звонко рассмеялся Цзю.

– Разговор, на разговор, – пожал плечами Дуб, недовольно стреляя глазами в сторону майора Пухова. – Здесь Москва, а не Китай, Костя, и ты здесь гость, а не хозяин. Мои люди вокруг гостиницы. Ты бы не залупался со мной, а, Костя?

– Я бы не залупался, – с любопытством посмотрел на

развалившегося в кресле Дуба Цзю. На него явно произвели впечатление толстые золотые перстни на пальцах российского коллеги и выглядывающая сквозь вольно расстегнутый ворот черной рубашки золотая (почти что якорная) цепь. — Если бы ты меня не обманывал. Зачем вокруг гостиницы твои... люди? — Цзю включил компьютер. На овальном дисплее появилось четкое изображение ночной улицы. Пухов узнал площадь перед гостиницей.

— Раз, два, три... — пересчитал Цзю джипы, постепенно укрупняя изображение. Это было невероятно, но невидимая камера каким-то образом проникала внутрь салонов,

на дисплее возникали лица сидящих в джипах. Вот только говорили они как-то странно – как будто скребли ножом по днищу кастрюли. – Изображение транслируется со спутника, майор, – объяснил Цзю, – спутник считывает речь в режиме цифрового кода, потом дает расшифровку. Впрочем, мне кажется, нам нет смысла расшифровывать эту... речь... Если, конечно, ее можно назвать речью... – Цзю нажал клавишу, и три джипа словно по команде оделись пламенем, как в замедленной съемке взлетели на воздух, переворачиваясь днищем вверх, разбрасывая в стороны колеса, двери, фрагменты корпусов.

Дуб бросился к окну, видимо, желая убедиться, что это не оптический обман.

Цзю спустился к бассейну, взял со скамейки мечи.

— Ты можешь защищаться, выбирай любой, — протянул их рукоятками вперед обезумевшему Дубу, — советую тебе воспользоваться черным... — неуловимым движением рукоятки вышиб из руки Дуба пистолет.

Дуб рванул на себя белый меч, бросился на Цзю, как бык на тореадора. Конечно же он понимал, что ему не жить, и пытался яростью, как анестезией, хоть отчасти смягчить ужас предстоящей смерти.

Это был старый бандитский прием.

Несколько отчаянных (Дубу было нечего терять, он рубил мечом как топором) ударов Цзю отразил, не вынимая из ножен черного меча. Когда же Дуб с пеной на губах устремился на него, выставив наперевес меч, как копье, Цзю и вовсе бросил свой меч на пол. Он шагнул в сторону, перехватил руку Дуба, легко выхватил из нее белый меч и со свистом — по короткой траектории — махнул им снизу вверх, одновременно опускаясь на левое колено. Обезглавленное тело Дуба широко и как будто осмысленно шагнуло в бассейн, а следом за ним — со значительным перелетом — в

голубую воду, как мяч, шлепнулась голова, блеснув на прощанье то ли золотыми зубами, то ли захлестнувшей ее золотой цепью. Цзю придирчиво осмотрел белый меч и свое кимоно. Они были чисты. Нигде – за исключением бассейна – не было ни единой капли крови. Но в бассейне кровь растворялась в воде, а потому ее тоже как бы не было. Просто вода стала немного темнее.

– Я отвечу на твой вопрос майор, – вложил белый меч в ножны, положил его на скамейку Цзю. – Я занимаюсь, как ты, должно быть, понял, подготовительной работой, расчищаю площадку для строительства здания грядущего

совершенства. Мысль о грядущем совершенстве сложна и протяженна во времени, майор. Человечество движется к ней не одну тысячу лет. Сейчас оно вышло на финишную прямую; В этом деле задействовано немало людей, майор, хотя иным из них и не дано ощутить свою, так сказать, избранность, принадлежность к тому, что знающие люди полагают совершенством. Твой сын, майор, не сможет меня ни в чем упрекнуть. Секретарь сообщит тебе мой личный номер. Его знают очень немногие. До свидания, майор. Каждая встреча с тобой для меня праздник!

— Мой сын? — Пухов давно

подозревал, что мир превратился в сумасшедший дом, но не подозревал, что так окончательно, необратимо, бесповоротно и безнадежно. – Но у меня нет сына, Костя! И я... не собираюсь жениться. Никого даже нет на примете. Разве ты сосватаешь симпатичную темную азиаточку...

– Ты понял меня слишком буквально, – улыбнулся Цзю, – наверное, забыл, что я китаец. Я всего лишь изложил своими словами мысль Конфуция, что истинные дружба и расположение должны простираться сквозь отмеренный тому или иному человеку век. Я намекнул тебе, майор, что мои

дружеские чувства
распространяются не только на тебя,
но и на твою семью. У нас, китайцев,
сын считается более удачным и
совершенным продолжением отца.
Желая мужчине счастья, мы
подразумеваем рождение сына.
Рождение сына, майор, это
состоявшееся свидание с высшими
силами. Человеку не дано ни
назначить это свидание, ни
уклониться от него...

...Набирая девятизначный
телефонный номер, майор Пухов не
был уверен, что Цзю ответит. Давно
известно, что ничто не разрушается
так быстро и не исчезает так

бесследно, как грандиозные планы. В особенности по переустройству мира. Но Цзю ответил немедленно, как будто находился в соседней комнате мотеля «Глория».

— Где ты сейчас, Константин? — спросил Пухов. — Почему о тебе ничего не слышно?

Цзю ответил, что в данный момент он на острове Фиджи. Майор понял, что находится на правильном пути. Сегодня он почему-то думал о Фиджи, где не был ни разу в жизни.

«Случайные совпадения здесь исключены, — помнится, учил генерал Толстой. — Мысль, которой надлежит превратиться в живое действие, как иглолка салфетку

пронзает пространство, время и... человеческую голову, независимо от того, о чем в данный момент эта голова думает».

Пухов

ВСПОМНИЛ

покачивающуюся в бассейне голову
Дуба. Интересно, о чем она думала,
когда Дуб входил в пентхауз?

— Обо мне и не должно быть слышно, — заметил Цзю. — В то мое посещение Москвы была битва на Калке. Через сколько лет пал Киев?

– Через семнадцать, – произвел в уме нехитрые вычисления Пухов.

– Играй на тотализаторе, майор, – посоветовал Цзю, – ты владеешь бесценным знанием.

Пухов коротко изложил суть

дела. Цзю молчал.

— Костя, ты говорил, что твои возможности безграничны, — не без ехидства напомнил майор Пухов.

— Не уходи с этой линии, — слышался голос Цзю. — Я сейчас соединю тебя с дежурным оператором по Гулистану. Можешь говорить с ней по-русски. Да, сообщи ей номер модема, на который она сможет сбрасывать тебе информацию...

В трубке раздался щелчок. Приятный женский голос попросил Пухова сообщить номер и включить компьютер.

— Как мне к вам обращаться? — поинтересовался майор.

– Зовите меня Мария, – ответила оператор.

Пухов вернул кресло с прикрученным к нему электропроводом Нуром в вертикальное положение. Глава службы безопасности Республики Гулистан был близок к инсульту. Майору пришлось достать из холодильника запасливого Гелисхана бутылку минеральной воды, освежить Нура, чтобы он пришел в чувство.

Тем временем неведомая Мария соединилась с компьютером в кабинете Гелисхана. На экран пошла информация из личного дела (досье?) Нура, о существовании

которого тот, видимо, не подозревал. Желая доставить Нуру удовольствие, майор Пухов повернул экран таким образом, чтобы Нур тоже видел.

— Ты богатый парень, Нур! — воскликнул Пухов, когда на экране возникли цифры номерных счетов в девяти банках Европы.

— Но все же беднее тебя, — побледнел (насколько это было возможно после длительного пребывания на полу с задранными ногами) Нур, все еще не теряя присутствия духа. Или это были не все номерные счета, или Нур был равнодушен к деньгам. А может, как большинство гулийцев, считал деньги лотереей, расстраиваться из-

за потери которых, равно как и радоваться от приобретения недостойно настоящего мужчины.

— Мы можем заблокировать счета немедленно, — услышал Пухов в телефонной трубке голос Марии, — сделать их достоянием общественности, раскрутить скандал, смешать с дерьмом его посмертную репутацию. Можем просто снять все до копейки через своих людей в банках. Деньги на номерных счетах размещены с нарушением законодательства.

— Не надо пока трогать деньги, — перевел взгляд на Нура майор. — О его посмертной репутации поговорим позже... — Он хотел

спросить у Марии, как ему работать с Нуром, что конкретно надо делать, но она ответила, не дожидаясь вопросов Пухова:

– Не беспокойтесь. Наш метод достаточно эффективен. Пусть он просто смотрит на экран. Через полторы минуты спутник войдет в зону прямой трансляции над Лондоном. У вас не будет проблем с изображением.

– Над Лондоном, – специально для Нура повторил Пухов.

Гулиец покачал головой.

– База данных обработана, – объявила Мария. – Не думаю, что у вас возникнут сложности с получением от него нужной

информации. Трое его сыновей от первых двух жен погибли в боях. Восемь лет назад в Тбилиси он тайно женился на молодой чеченке. Она родила ему сначала дочерей-близнецов, потом сына. Как вам известно, обычаи гулийцев запрещают брать в жены чеченок, О его новой семье знал только президент Ираклии Глахуна, который помог ему устроить жену и детей в Лондоне, получить английское гражданство под видом эмигрантов из Афганистана. Два года назад Глахуна бесследно исчез, поэтому ваш гулиец уверен, что больше никто не знает про его семью. Мальчик — последняя его сильная

привязанность в этой жизни. Наши аналитики не ошибаются — он не отдаст семью.

— Он может не поверить, — возразил Пухов.

— Он не сможет не поверить, — сказала Мария.

— Почему?

— Потому что он будет видеть! Группа уже выехала. Она будет в Челси через пятнадцать минут. Сейчас вы получите картинку.

Майор Пухов испытал к Нуру что-то похожее на жалость.

Константин Цзю оказался прав. Бесконечные формы человеческих страстей, непредсказуемые их сочетания, несмотря на внутренний

протест майора Пухова, элементарно умещались в треугольнике – страх за собственную жизнь и жизнь близких, деньги, власть. Единственным утешением для Нура могло явиться понимание того, что его зацепила своими пригнанными шестеренками страшная – вне обычной человеческой логики – машина, не допускающая сбоев и ошибок, не ведающая жалости и милосердия.

На экране возник особняк. Вокруг особняка был сад и зеленый газон. На белой скамейке невероятной красоты молодая женщина читала книгу шестилетнему (не больше) мальчику, который слушал ее с неожиданным

для своего возраста вниманием. На экране возникла улица. Две одинаковые девочки (близнецы) шли по улице определенно из школы (рюкзаки за плечами) в сопровождении служанки и высокого человека с усами, в котором Пухов без малейшего труда распознал охранника.

— Его семью охраняют люди из довольно крепкой иранской фирмы, — услышал майор голос Марии. — Они вполне могли бы защитить женщину и детей от киллеров генерала Сака. Против нас они бессильны.

— Там невысоко ставят иранцев, которых ты нанял, Нур, — кивнул на

экран Пухов.

На экране появилась другая лондонская улица, точнее ее проезжая часть, вставший у светофора закрытый фургон с надписью «Установка и ремонт телевизионных антенн».

– Он сам решил установить на лужайке антенну, – сказала Мария, – чтобы без помех говорить с семьей по спутниковой связи. – Он знает, что должны приехать сегодня.

– Нур, ты уже понял, кто в фургоне и какую антенну они установят твоей семье? – спросил Пухов.

– Они будут вынуждены насиловать его жену на глазах

детей, – с грустью подтвердила Мария.

– Мне очень жаль, Нур, – вздохнул майор, – но они будут хором трахать твою жену на глазах детей. Дети, Нур... Да, Нур, в публичный дом, где разная сволочь платит за то, чтобы девочка была не старше десяти лет. Но это еще не все, Нур. Они сделают твоего сына педерастом и... евнухом...

Нур молчал, и у майора Пухова возникло подозрение, что гулиец умер. Но он был жив. Пухов решил было, что Нур сосредоточился на развязывании электропровода, обошел кресло, проверил узлы. Провод держался молодцом.

Как, впрочем, и Нур.

Майор посмотрел на экран. Он вдруг понял, почему Нур держится молодцом. Он не верит своим глазам! То есть он уже понял насчет счетов и дома в Лондоне, но не может поверить, что в фургоне едут убийцы. Пухов посмотрел на часы. Он позвонил Цзю — из Москвы на Фиджи — ровно полчаса назад.

— Мария, — попросил Пухов, — покажи ему ребят в фургоне.

— Они уже подъехали. Сейчас он увидит. Фургон аккуратно припарковался у самых ворот особняка. Выпрыгнувший из кабины малый (Пухову не удалось рассмотреть его лицо) протянул

какие-то запаянные в пластик бумаги иранцу. Задняя дверь фургона медленно приоткрылась... Иранец, изучив бумаги, кивнул, обернулся, зовя хозяйку.

– Отбой! – крикнул Нур.

– Отбой, Мария! – повторил Пухов, понимая, что поздно.

Но оказалось, что не поздно. Взлетевшая над затылком иранца рука с выдвинувшейся из рукава короткой электрошоковой дубинкой стремительно ушла в сторону, как будто ветер – ветер смерти – взлохматил волосы над затылком охранника. Двери фургона закрылись.

– Я жду, Нур, – напомнил о себе

гулийцу майор Пухов.

— Они объяснили, что сначала установят антенну другому заказчику в этом районе, — сказала Мария, — а потом вернутся. Если, конечно, возникнет необходимость.

— Полагаю, что не возникнет, — посмотрел на Нура майор Пухов. — Мария, женщина с детьми остается жить в этом доме. Деньги с номерных счетов должны быть переведены на вполне легальные, личные ее счета.

— Это будет стоить, — ответила Мария. — Комиссионные — три процента от общей суммы. Я остаюсь на связи.

— За три процента все твои

деньги переведут на ее имя, — приблизился к Нуру майор Пухов, — тебя устраивают условия?

Нур не ответил, и майор решил, что условия его устраивают.

— Генерал Сак приказал расстрелять твою мать, — мертвым голосом произнес Нур. — Исполнителей послал я. Она умерла без мучений. Сак сделал это не по своей воле. У меня нет точных данных, но я думаю, что он получил приказ из Москвы. Ты сам у него спросишь. Основные силы гулийского сопротивления в настоящее время сосредоточены в Москве. Завтра днем или вечером мы должны занять Кремль, Дом

правительства, здания Госдумы и Совета Федерации, Минобороны, Лубянку, пункты правительственной и военной связи, телестудии и так далее. Да, и все на юге России атомные электростанции с персоналом в качестве заложников. Генерал Сак обратится завтра ночью к народам России как временный президент восстановленного СССР. В данный момент он находится в воздухе на бомбардировщике ТУ-203, переоборудованном в мобильный командный пункт. Он приземлится на коммерческом Щукинском аэродроме. По документам бомбардировщик принадлежит литовской фирме и перегоняется из

Вильнюса в Китай. Я все сказал, майор?

– Нет. Я знаю генерала Сака. Почему не сегодня вечером, а завтра?

– Он должен встретиться с шейхом Али, – чуть слышно произнес Нур, – и принять окончательное решение. Согласись, майор, Россия – слишком большой кусок.

– Шейх Али еще жив? – удивился Пухов.

– Он прилетит в Москву рейсом пятьсот семьдесят шесть из Аммана сегодня. Я звонил из машины в Шереметьево, думаю, самолет приземлится через час.

– Кто должен встретить и

проводить шейха к Саку?

– Я.

– Я, – повторил Пухов.

– Майор, – поднял голову руководитель службы безопасности Республики Гулистан. – Кому бы ты ни служил, но ты не сможешь перевоплотиться в шейха Али.

– Почему? – спросил, поднимая «Fovea», Пухов.

– Видишь ли, майор, эту тайну знают немногие, но шейх Али от рождения... глухонемой. Это все. Я не прощаюсь, майор, мы скоро встретимся. Я готов, майор. Но ты меня быстро догонишь!

– Не сомневаюсь, – отправил пулю точно Нуру в переносицу майор

Пухов.

Со временем Августа перестала держать обиду на дона Антонио.

Однажды ей приснился огромный черный орел. Дело (во сне) происходило в Гималаях. Они, как догадалась Августа, являлись вотчиной этого сильно шагнувшего вверх (в смысле клюва, размаха крыльев и прочего) по дарвиновской лестнице естественного отбора орла. Он почтительно, чуть склонив голову, смотрел на Августу, определенно изъявляя желание немедленно отправиться в мексиканские пустыни и там среди кактусов, камней,

горных лесов и водопадов поискать донна Антонио, наслаждавшегося сытой и безопасной жизнью в образе небольшой мексиканской желудевой совы — Эль Рихо, у которой, как известно, нет естественных врагов в ареале распространения, кроме койотов. Но койоты ходят по земле, а совы летают по воздуху.

Августа отвергла услуги орла. Отнимая у нее мужа, дон Антонио всего лишь исполнял свое предназначение. Как Августа — свое. Она должна была овдоветь именно в тот день и час и ни мгновением раньше или позже.

Отныне жизнь Августы была подчинена одной-единственной

цели. Она ощущала себя плывущей в лодке по невидимой реке. В последнее время течение реки резко убыстрилось. Августа явственно различала впереди по курсу шум водопада.

Она не знала, выберется ли из водопада живой, но знала, что миновать его не сможет. В преддверии подобного испытания такие мелочи, как, скажем, месть дону Антонио, представлялись несущественными.

Августа устала от пророчеств.

Иногда ей казалось, что она существует в лесу вечной осени, где опадающие листья-пророчества вечно кружатся в воздухе, не касаясь

земли. Пророчества можно было уподобить вспышкам молний, выхватывающим из тьмы фрагменты иных миров. Августа знала свое предназначение и не понимала, что ей в этих фрагментах?

Она чувствовала, что срок приближается. Недавно, раздевшись перед зеркалом, она обратила внимание, какими тугими — как две натянутые тетивы — сделались ее груди. Августа сжала левую грудь. Из заострившегося сосца на руку ей упала тяжелая, как расплавленный мельхиор, капля. Августа попробовала ее на вкус. Капля была невыразимо сладка и горька одновременно, в ней, как в аллегории

вина, материализовались неизбывная
тщета и безумная надежда.

Это было молоко не для
смертных.

Августа выключила свет. Капля
светилась на ее ладони! Августа
ощутила, как устала ее ладонь
держат крохотную светящуюся
мельхиоровую каплю. Она как будто
стремилась к центру Земли,
продавливая, преодолевая все
препятствия на своем пути. В
довершение чудесных свойств капля
оказалась неуничтожимой. Августа
поместила ее в пустую хрустальную
вазу на кухне. Светящаяся тяжелая
капля начала выказывать ревность к
прочим молочным продуктам. Они

сворачивались, скисали в
холодильнике со значительным
опережением указанных на коробках
и бутылках сроков.

Пролившаяся из груди капля
явилась опровержением очередного
высказанного Августе пророчества.
Чего только не пророчили ей разные
люди и... существа, принимающие
облик людей!

Один дед — он называл себя
гинекологом доном Антонио —
предсказал ей долгую счастливую
жизнь с мужем, которого сам же и
скосил пневматической почтой —
газонокосилкой судьбы. Другой —
этот величался генералом
госбезопасности Толстым — предрек

ей немедленную смерть от появившегося на свет первенца.

Августа сделала вывод, что люди, которым суждено своими глазами увидеть конец света, точнее того, что принято называть цивилизацией Homo sapiens, врут как сивые мерины. Если у нее с таким запасом во времени появилось молоко – она будет кормить грудью своего первенца. А значит, вовсе не умрет сразу после родов. Куда сложнее было опровергнуть другое пророчество генерала Толстого – что она будет вынашивать первенца не девять, а тринадцать месяцев. Похоже, хитрый дед просто продлевал себе век, зная ее слабость

к разного рода спорам, пари, проверкам пророчеств на вшивость.

Сравнивая двух стариков – дона Антонио и генерала Толстого – Августа приходила к выводу, что дон Антонио, пожалуй, будет посимпатичнее. Он был прародителем расы южноамериканских индейцев – людей природы, – загнанных цивилизацией *Homo sapiens* в резервации.

Он занимался, в сущности, благородным делом – возвращал бабам утраченную способность рожать. Мужская сила дона Антонио, генерала Толстого, прочих свидетелей предстоящего конца света

лежала за пределами постижения
обыденным сознанием.

Августе было доподлинно
известно, что в клинике дона
Антонио есть специальное, похожее
на дорогой отель, отделение, где
останавливаются женщины,
отчаявшиеся родить. Последней их
надеждой был дон Антонио. Но не
как врач, а как мужчина.

Августа видела там женщин всех
возрастов, рас, габаритов.
Восьмидесятилетнюю с
овуванчиковым пухом на розовом
черепе обезумевшую старуху-
миллиардершу. Арабку-террористку с
вычищенным, бесплодным, как
пустыня, лоном, принявшим в себя

двадцатисантиметровый осколок бомбы в автобусе Иерусалим-Хайфа. Из-за паспортной проверки она не успела вовремя покинуть автобус. Стопятидесятикилограммовую жену африканского вождя, нижнюю часть тела которой, как утюгом, прогладил копытами носорог. Все они жаждали стать матерями, как и некоторые бывшие мужчины, изменившие пол под скальпелем хирурга. Для одних сеанс любви с доном Антонио обходился в миллион долларов. С других он не брал ни цента. История клиники не знала случая, чтобы страждущая женщина уехала из Санта-Моники не забеременев.

«Бог даст вам ребенка, – каждый

раз говорил дон Антонио, прощаясь с плачущей от счастья будущей матерью, — в виде исключения. Больше у вас такого шанса не будет. Берегите его. Вы знаете правило: ко мне можно приехать только один раз в жизни».

Августа не сомневалась, что после того, как она во сне отказалась от услуг орла, дон Антонио снова вернется в свою клинику. Интересно, подумала она, сколько сыновей и дочерей дона Антонио ходит по свету?

В отличие от дона Антонио, растворяющегося в природе, вливающего вино жизни в старые, безнадежно износившиеся мехи

грешной женской плоти, генерал Толстой растворялся в социально-политических катаклизмах, вливал вино новых идей в безнадежно износившийся, на глазах разъезжающийся и не удерживающий в себе вино новых идей, вообще ничего не удерживающий, мех огромного — пока еще в одну восьмую часть суши — государства, которое, как он с удивлением рассказывал Августе, решительно ничем не примечательный, вырвавшийся из-под трехсотлетнего ига народ вдруг могучим ударом утвердил на просторах Евразии, а к исходу XX века не менее неожиданно взял да отдал на волю внешних (то

есть чужих и враждебных ему) сил. Дон Антонио давал жизнь новым людям, делал (по крайней мере на какое-то время) женщин (их матерей) счастливыми. Генерал Толстой — новым социальным технологиям, политическим и экономическим проектам, от которых счастья в мире определенно не прибавлялось. Августа не раз заставляла его в кабинете внимательно рассматривающим на огромном (для воспроизведения передаваемых со спутников картинок) экране очертания России, бывшей РСФСР.

Страна, несмотря на наличие внутри себя отдельных независимых, полунезависимых и воюющих за

независимость территорий, все еще занимала северную оконечность Евразии, напоминала на экране (почему-то там превалировала красная — с многочисленными оттенками — гамма цветов) исклеванный в кровь, безвольно свесившийся гребень некогда удалого, а ныне шатающегося в изнеможении на подламывающихся желтых ногах среднеазиатских пустынь, можно сказать, готового «в ошип» петуха.

Вторым излюбленным занятием генерала Толстого было созерцание круглосуточного спутникового телевизионного канала, транслирующего исключительно

музыкальные клипы. Генерал Толстой, если верить его рассказам, чудом спасся во время чудовищного землетрясения, погубившего Атлантиду. Он утверждал, что оно было делом рук военспецов из параллельного мира. Еще раньше (во времена динозавров) он наслаждался в раю на земле в хрустальных полостях Антарктиды. Он был человеком (существом) весьма почтенного возраста.

Августе не было тридцати, в советскую эпоху она бы считалась девушкой (молодой женщиной) комсомольского возраста. Некое противоречие заключалось в том, что генерал Толстой упорно смотрел

трансмзыкальный (так он назывался) канал, Августу же не заставить было смотреть этот бред ни за какие коврижки.

— Напрасно не смотришь, доченька, — заметил однажды генерал Толстой, — это будущее.

— Чье будущее? — уточнила Августа.

— Мира, которым будет управлять твой первенец, — ответил генерал Толстой.

— Не вижу здесь будущего, — с отвращением посмотрела Августа на кривляющегося негра, китаянку и метиску в купальниках, которые не столько прикрывали тела, сколько анатомически о них рапортовали.

– Круглосуточное, так сказать, нон-стоп, приуготовление к будущему, – объяснил генерал Толстой, – вакуумная уборка мусора из голов, расчистка строительной площадки.

– О чем ты, дед? – Августа поймала себя на мысли, что генерал Толстой стал ей совсем не интересен. Она подумала, что верной службой давно уже возместила ему сторицей за то, что он когда-то спас ей жизнь. Августа, впрочем, подозревала, что спасение было мнимым. Как мнимым оказалось и пророчество генерала, что ей суждено принять немедленную смерть от родившегося первенца за

то, что некогда она пыталась покончить с собой и, следовательно, с первенцем. В отличие от дона Антонио, живущего утесняемой Homo sapiens дикой (естественной) природой, генерал Толстой жил неестественными, утесняющими не только дикую природу, но и самого Homo sapiens социально-политическими мнимостями.

— Это канал-предтеча, — сказал генерал Толстой, — так сказать, ретранслирующий нам из будущего принципы новой религии, новой морали, нового мира.

— Усложняешь, дед, — рассмеялась Августа. — Ты слишком долго живешь в России. Здешний

народ склонен думать о простом сложно, настолько сложно, что когда додумывает мысль, это простое у него уже того... украли.

— Я насчитал пока пять принципов, — не согласился генерал Толстой. — Первый — эротика, но не между полами, а, так сказать, направленная вовне, то есть трансэротика, исключая само понятие любви. Суть трансэротики — унификация полов, то есть знак равенства между межполовым и однополовым сексом. Мир будущего — это не мир мужчин и женщин, создающих семьи и воспитывающих детей, это мир би-, точнее, мультисексуальных существ,

рассматривающих любое
встреченное, равно как и свое
собственное, тело как источник
возможного наслаждения и не более
того. Материнство, отцовство,
семейные узы будут объявлены в
новом мире вне закона! Второй
принцип, – продолжил генерал
Толстой, – поругание всех мировых
религий, в особенности
христианства, путем включения в
клипы на канонические религиозные
сюжеты взаимоисключающих
символов из разных уровней
сознания. Это примерно как показать
роскошный ресторан, прекрасно
одетых, утонченных людей, на
тарелках у которых лежит дерьмо. Ну

вот, — кивнул на экран телевизора, — смотри, у Христа растут рога и хвост, он превращается в... козла? Или... в буйвола? Ага, в антилопу гну!

— Вы хотите сказать, товарищ генерал, — почтительно поинтересовалась Августа, — что религией будущего станет атеизм?

— Я хочу сказать, доченька, — сделал в телевизоре звук потише генерал Толстой, — что второй принцип нового мироустройства формулируется примерно так: «Разрешено делать все, на что у тебя хватает сил и средств. Никто и никогда не защитит тебя от посягательств чужой воли и силы. Если ты слаб — умри сразу!»

– Так уже было в истории человечества, – заметила Августа.

– В догосударственный период, – возразил генерал Толстой, – а у нас сейчас дело идет к единому мировому государству. Это третий принцип. Несть ни эллина, ни иудея. Ни Франции, ни Египта. Ты посмотри, какое смешение рас в этих поганных клипах! Причем, предпочтение отдается определенно не белой расе.

Человек белой расы – всего лишь один из стоящих в ряду людей разных рас. Полагаю, что в едином мировом государстве будет жить новый – смешанный – народ. Третий принцип грядущего мироустройства,

доченька, я бы сформулировал так: национальное, да пожалуй что и расовое сознание — преступно, интернациональное, межрасовое — истинно и похвально. У человека не должно быть не только прошлого, но и будущего — в смысле загробной жизни. Значит, у него остается только настоящее! Как говорится, не после смерти, не на небе, а при жизни, здесь и сейчас!

— Нестыковка, — сказала Августа. — Чей это спутник? Кто финансирует трансмузыкальный канал?

— Одна транснациональная же корпорация, — ответил генерал Толстой, — ее штаб-квартира в

Амстердаме.

— То есть получается, они сами идут против своей же доктрины — не пускать в Штаты и Европу желтых и черных?

— Не мне тебе объяснять, доченька, — покачал головой генерал Толстой, — что нет ничего более иллюзорного, чем власть над миром. Момент наивысшей власти, доченька, почти всегда момент краха. Да, они инстинктивно дергаются, но приговор уже подписан. Их военная мощь, законы, госучреждения, полиция и суды — ничто против денег. Они слишком много в свое время на них поставили, слишком долго на них молились, чтобы

осознать, что деньги могут быть использованы против них самих. И, наконец, четвертый принцип – бессмысленное движение, физическая моторика вместо мысли, набор ничего не выражающих звуков вместо слов. По сути дела, – кивнул на страстно целующихся на экране темно-желтых бритых парней сразу не угадываемой национальной, да и расовой принадлежности, – они отрицают Божий мир, христианскую цивилизацию посредством осмеяния, разрушения и испражнения, ведь так, доченька?

– Я была во многих странах, – заметила Августа, – и нигде не видела этого канала. Похоже, его

принимает одна твоя возлюбленная Россия, дед.

— Увы, доченька, — печально вздохнул генерал Толстой, — с тех пор как у населяющего ее народа выбили почву из-под ног, эта несчастная страна лидерствует, как писал поэт, рвет штаны, шагая в новый мир.

— Разве можно выбить почву из-под ног у страны, занимающей одну шестую часть суши? — удивилась Августа.

— Я называю это иллюзией отрицательного счастья, — объяснил генерал Толстой. — Почва ушла из-под ног, как только народ страны уверовал в то, что общее несчастье, то есть несчастье всех, может

служить строительным материалом для счастья немногих, избранных. Как только каждый, или почти каждый из них поверил, что пусть хоть вся страна накроется медным тазом, все вокруг загнутя, он, избранный, не только уцелеет, но и разбогатеет.

— Сама не знаю, — помнится, вздохнула Августа, — почему я столько времени терплю тебя, дед? Ведь я не верю ни одному твоему слову.

— Отвечу, доченька, — весело подмигнул генерал Толстой, ласково подталкивая ее в сторону двери, ведущей в так называемую комнату отдыха, где их ждала огромная

двуспальная кровать. — Тайна мира сего — в его беззаконии!

Сердце Августы наполнялось печалью, когда она думала о воистину беззаконной неуязвимости генерала. Однажды, когда короткий сон сморил ее на огромной двуспальной кровати в комнате отдыха, истомленную нечеловеческой силой генерала Толстого (как-то он признался Августе, что когда судьба занесла его в святилище Кибелы на полдороге между городами Сузы и Экбатаны, менее чем за сутки ему пришлось переспать с сорока девятью бесконечно искушенными в этом деле жрицами — такое они ставили

условие каждому попавшему к ним в лапы мужчине. Наказание, которому они подвергали несправившихся, было поистине ужасно. Дамы с кинжально-острыми ногтями, татуированными промежностями, серебряными кольцами в неподобающих местах и изумрудами в сосцах были безмерно удивлены, когда он его с честью выполнил. «Ты не согласишься, — рассмеялся генерал, — они уже приготовили специальную стеклянную амфору с кедровым маслом, чтобы, значит, поместить в нее мой фаллос. Эти нимфоманки считали день потерянным, если не отхватывали фаллос какому-нибудь несчастному путнику...»), Августе

вновь приснился огромный, как купец в соболиной шубе, черный орел. Она слезно попросила его избавить ее от генерала Толстого. Орел долго молчал, прикрыв черные блестящие глаза белой пленкой, потом широко их открыл, как если бы Августа была дикой гусыней, и он хотел ее по своему орлиному обыкновению загипнотизировать, загнать в воздушный, уносящий в предгорья Гималаев Гольфстрим. «Увы, принцесса, – произнес орел, – он слишком силен. – И после паузы: – Гораздо сильнее меня...»

...Она до сих пор помнила, как смотрел на нее умирающий в больнице от рака легких отец, когда

она пришла его навестить. Августа как будто и сейчас носила на прекрасном мельхиоровом лице богини исполненный предсмертной тоски взгляд отца. Он уже почти не мог говорить, но еще мог смотреть, то есть говорить глазами.

— Я не виновата. Я здесь ни при чем, — ответила Августа. Он продолжал на нее смотреть.

— Это неправда, — сказала Августа, — я тебя люблю... — Отец отвернулся к стене.

— Я докажу тебе, — пообещала Августа. Когда она пошла к двери, он опять посмотрел на нее. — Ты хочешь... чтобы она пришла? — удивилась Августа.

Выйдя в больничный коридор, она подумала об изначальной нелогичности мира (жизни и смерти). Генерал Толстой употреблял для характеристики этого явления более точный термин – беззаконие. Но тогда она знать не знала генерала Толстого. Отец, которому осталось жить всего ничего, почему-то хотел увидеть свою бывшую жену, которая всю жизнь его в грош не ставила, обманывала и предавала. Он был умным человеком. Августе нравились его книги. Но он не понимал простой истины: если женщина относится к мужчине как к пустоте, то и его смерть для нее точно такая же пустота. Ну, может

быть, пустота, слегка щекочущая нервы. Августа ничего не сказала матери, решив, что пусть уж лучше отец умрет в заблуждении (насчет дочери), чем в очередном унижении (от матери).

Ей казалось, она продумала все до мелочей. Августа действительно любила отца. Ей оставалась единственная возможность доказать отцу, что он неправ. И Августа решила ею воспользоваться. Доказать отцу, что он неправ, можно было только последовав вслед за ним.

Епифания говорила, что смерть есть не что иное, как превращение человека в светящуюся точку, которая

некоторое время (иногда достаточно долгое) летит назначенным ей маршрутом в назначенный ей предел. Еще Епифания говорила, что в промежуточном мире светящихся точек царит полная демократия: любая точка, если ей вздумается пообщаться с другой точкой, может запросто приблизиться и пообщаться. Августе вспомнились слова поэта Уитмена, которого отец читал на больничной койке в раковом корпусе: если ты увидел в толпе человека и тебе захотелось с ним поговорить, почему бы тебе не остановиться и не поговорить с ним?

Но превратиться в светящуюся точку оказалось не так-то просто.

Сила, материализующая мимолетные и неосмысленные (как в случае с отцом) желания Августы, восстала против ее совершенно осмысленного желания превратиться в светящуюся точку.

Когда Августа опасной бритвой вскрыла в наполненной горячей водой ванне вены, кровь свернулась, даже не успев окрасить воду в розовый цвет. Когда Августа, сняв люстру с крюка на потолке, прикрепила к крюку веревочную петлю, сунула в нее голову и прыгнула со стула, крюк легко вышел из потолка, как будто сидел не в бетонном перекрытии, а в белом сливочном масле. Августа по

примеру древних римлянок двумя руками вонзила себе в грудь длинный хлебный (за неимением короткого гладиаторского меча) нож. Это было невероятно, но нож сломался о ее грудь, как если бы грудь Августы была из железа. Она вспомнила про таблетки-транквилизаторы. Едва она успела проглотить первую партию, ее немедленно стошнило. Тогда она вышла на балкон и шагнула с пятого этажа вниз.

Августа, наверное, час пыталась выскользнуть из зацепившегося за торчащую арматуру пожарной лестницы, обнаружившего свойства резинового каната платья, прежде чем вызванные жильцами

ОМОНовцы (почему ОМОНовцы?) с зычным матом не втащили ее на балкон третьего этажа (ближайшего к месту зацепа). Единственное, что успела сделать Августа (в общем-то, не так уж мало) — выхватить из расстегнутой на американский манер кобуры вносящего ее на руках в чужую квартиру милиционера пистолет и прицельно (промахнуться было невозможно) выстрелить себе в сердце.

Она и впрямь превратилась (или убедила себя в этом) в светящуюся точку. Епифания не соврала: в промежуточном, напоминающем чуть затуманенное ночное небо пространстве обнаружилось немало

летающих по самым разным траекториям точек. По ходу дела они группировались в подобие эскадрилий и летели дальше совместно, излучая в пространство нестрогий сигнал «свой-чужой». В принципе здесь не было стопроцентно чужих и стопроцентно своих. Любая точка могла присоединиться к любой эскадрилье. Но сначала каждая искала себе спутников не столько по родственному принципу или принципу духовной близости, но по некоему сущностному (невыразимому в словах и непостигаемому в мыслях) подобию.

Августа уже успела освоиться в

туманном ночном небе, когда увидела одинокую, почти и не излучающую никакого сигнала, едва мерцающую точку. Она послала ей свой сигнал и рванулась навстречу, ощущая, как оставленный (внизу?) земной мир теряет смысл и очертания, смыаемый сильнейшей и чистейшей волной любви, сострадания и отчаянья. Только здесь в ночном туманном небе Августе открылось, как должен относиться человек к человеку. Ей показалось, что она не долетит до отца, потому что из светящейся точки превратилась в таящую в ночном туманном небе слезинку. Он был уже совсем близко. Августа вдруг ясно

(как будто всегда знала) поняла, что представляет из себя так называемая загробная жизнь. Все было немыслимо — гениально — просто. Загробная жизнь — это всего лишь...

...Сначала она ощутила невыносимую боль в груди. Потом услышала гул. Чуть позже пришло ощущение земного тела. Августа, впрочем, успела подумать, сколь несовершенно, неприспособленно к полету ее земное — из плоти и крови — тело, прежде чем гул начал отливаться в свинцовые формы произносимых слов. Ей, только что побывавшей светящейся точкой в ночном туманном небе, познавшей иные формы общения, показалось

мучительным и недостойным
вникать в свинцовый смысл звучащих
над ее головой слов.

Но, увы, надо было вникать,
потому что говорили о ней.

— Да, это она, — констатировал
мужской голос, — не может быть
никаких сомнений.

— Тогда каким образом ей почти
удалось уйти? — слышала Августа
другой мужской голос. — И кто ее
вернул?

Августа ничем не обнаруживала
своего возвращения. Она сообразила,
что лежит совершенно обнаженная,
со связанными руками и ногами то
ли на операционном, то ли просто на
столе, и ветер из форточки приятно

холодит ей пятки. И еще ей открылось, что для этих двух мужчин в принципе не имеет значения, слышит она их разговор или не слышит, потому что речь идет о вещах, на которые произнесенные (да и не произнесенные) слова повлиять не могут.

— Она неожиданно и, что очень важно, на людях воспользовалась чужим оружием, то есть использовала свой единственный шанс, — сказал первый. — Если бы она вздумала стреляться у себя дома, пуля бы расплющилась о ее сердце, как о стальной слиток.

— Я смотрел акт судмедэкспертизы, — сказал второй, —

она разнесла себе сердце в ключья
ровно сутки назад. Зачем ты помог
ей вернуться?

Августа самую малость
приоткрыла глаза. Взгляд ее как-то
странно устремился сразу вверх,
влево и вправо. Августа вспомнила
бесхозного мальчишку из ближайшей
к подмосковному дому творчества
писателей — она однажды летом жила
в нем с отцом и матерью — деревни.
Он ловил в речной протоке раков и
бил камнем рыбу. Августа не верила,
что проворную быструю рыбу можно
оглушить камнем, но мальчишка ей
это продемонстрировал на примере
двух кормящихся под мостками
плотвиц. Он сказал, что камнем в

принципе можно оглушить любую рыбу, за исключением Щуки, потому что щука одновременно смотрит во все стороны и вверх.

Августа, стало быть, вернувшись в земную жизнь, стала смотреть, как щука.

Прямо над собой она увидела круглую – разделенную внутри на разнокалиберные мелкие – лампу. Лампа парила под потолком, как летающая тарелка. Можно было предположить, что Августа находится в операционной, но в особенной. Кроме лампы под потолком и стеклянных шкафов со скальпелями и хирургическими пилами, в операционной не было

никакой техники, предположительно
помогающей медперсоналу
сражаться за жизнь пациента.
Августа догадалась, что лежит на
столе в прозекторской. Она не имела
ничего против того, чтобы лежать на
столе, если бы ей зачем-то не
связали руки и ноги. Потом она
увидела собственную воинственно
нацелившуюся на лампу левую грудь,
украшенную то ли вырезанной из
цветной бумаги звездочкой, то ли
живым цветочным лепестком.
Августа не сразу поняла, что
звездочка-лепесток на левой груди —
не что иное, как шрам на месте входа
пули. Приглядевшись пристальнее,
Августа определила, что Нежно-

розовый шрам удивительно напоминает — лежа на столе, она смотрела на него снизу вверх — цифру «9».

Вслед за щучьим зрением к Августе вернулось и обоняние. Она явственно ощутила витающий в прозекторской сладковато-формалиновый запах временно остановленной в своем разложении человеческой плоти. Запах разлагающейся плоти сочился из коридора под дверь прозекторской, попутно смешиваясь с еще более тошнотворно-сладким запахом... бананов. Определенно, бананы разлагались быстрее, нежели человеческая плоть, и их, в отличие

от плоти, не сдабривали формалином.

У Августы исчезли последние сомнения: она в морге! Ведь морги, как всем известно, именно то место, где в Москве хранятся залежавшиеся бананы. Она даже знала, в каком именно она морге – на Большой Пироговской улице, где работает Епифания. Августе показалось странным, что Епифания не присутствует в прозекторской при разговоре двух пожилых (судя по голосам) мужчин над ее обнаженным (и связанным!) телом.

Несколько раз (когда Епифания дежурила ночью) Августа приезжала к ней в морг. Разглядывая лежащие

на полках (как в огромном спальном вагоне) трупы, Августа ощущала себя пассажиром-безбилетником в экспрессе, движущемся в общем-то в единственно возможном направлении, но без остановок и с очень сильным опережением графика. Тишину спального вагона изредка нарушали какие-то звуки, и Августе казалось: идет контролер! Хотелось быстрее покинуть вагон, потому что смерть была принципиальным и неподкупным контролером. Но, оказывается, мертвых тревожили розничные торговцы бананами, которым Епифания разрешала унести указанное в записке оптовика-

хозяина количество картонных коробок. Августа не спрашивала у Епифании, почему та устроилась в морг, потому что знала про ее неодолимое влечение к мертвым.

Пришла пора разглядеть и переговаривающихся над ее обнаженным и связанным по рукам и ногам телом мужчин.

— Я не помогал ей, — между тем продолжил первый — пожилой, круглый, как колобок, с седым венчиком волос вокруг розового, как шрам от пули на груди Августы, черепа. — Ты же знаешь, что гадалки Руби — это по моей части. Она бы мне никогда не позвонила, если бы ее мать, — кивнул на Августу, — не

продала ее на трансплантацию органов. Ее вытащила с того света гадалка Руби. И в этот самый момент в морг приехали крутые ребята за ее глазами и печенью. Только поэтому она мне позвонила. Это чистая случайность, что я узнал.

– Неужели в России есть гадалка Руби? – удивился второй – высокий, худощавый, тоже седой, но с гораздо большим количеством волос на голове, с каким-то готическим – удлиненным, изрубленным то ли глубокими морщинами, то ли шрамами лицом. Августа обратила внимание, что из-под белых халатов пожилых джентльменов выглядывают брюки с широкими – генеральскими,

а может маршальскими? — лампасами. Причем у круглого лампасы красные, а у готического — голубые. Августа была бы польщена, если бы не была встревожена. Ей еще не приходилось иметь дело с военными в столь высоких званиях. — Если она к ней приставлена, то, вытащив ее, она приняла на себя ее проклятие — бесплодие, — продолжил второй. — Она же не может не знать, что та, когда придет срок, проткнет ее шилом или булавкой...

— И она, умирая, шепнет ей имя суженого, — задумчиво произнес генерал с красными лампасами.

— Или имя того, кому известно имя суженого, — уточнил генерал с

голубыми – летчик? – лампасами. – Я не верю ни одному твоему слову! Ты вновь использовал «Технологию-36»! Ты не оставляешь мне выбора... – решительно шагнул к столу, на котором лежала Августа.

Она чуть не потеряла сознание от ужаса, увидев в его руках старинный черный молоток и ослепительно сверкнувший длинный гвоздь с широкой (промахнуться по ней было невозможно) шлюпкой. Совсем недавно Августа была немало раздосадована тем, что перестала быть летящей светящейся точкой в туманном ночном небе. Сейчас же ей решительно не хотелось, чтобы седой генерал с готическим лицом

вколотил черным старинным молотком ей в сердце серебряный гвоздь. Августе удалось выгнуться – сделать подобие гимнастического мостика – над столом, выбить из рук приближающегося генерала молоток.

– Ага, я смотрю, мы пришли в себя! – не сильно, впрочем, огорчился тот, быстро поднял с пола кошмарный черный молоток.

– Мне не кажется, что это лучший выход, генерал Илларионов! – преградил ему путь кругленький генерал с красными лампасами. – Мы не решим проблему с помощью серебряного гвоздя и молотка Инститориса. Да, я применил «Технологию-36»,

допросил ее душу, потому что души людей, как мы выяснили с тобой в незабвенном 1936 году, говорят правду, одну лишь правду и только правду! Да, пусть я опять нарушил закон мироздания, зато я совершенно точно выяснил, что сейчас она одна, что он хочет ее, одну лишь ее и только ее! Если мы уничтожим ее, в следующий раз их будет сто, двести, тысяча, и мы не сможем помешать ему появиться на свет! Судьба предоставила нам уникальный шанс – переиграть его на его половине поля – во чреве его возлюбленной матери...

– С дороги! – крикнул генерал Илларионов. Черный молоток как

будто растворился в его руке, сделавшейся вдруг широкой как веер. Пропал и гвоздь, но тут же вновь и возник, сверкающий, под потолком, странным образом объединившийся в одно летающее целое с молотком. Это черно-серебряное (мельхиоровое?) целое летело прямо Августе в сердце, в нежно-розовый шрам от пули, удивительно напоминающий цифру «9», если смотреть снизу вверх.

Наверное, Августа лишилась чувств, потому что вместо генерала Илларионова с черным молотком и серебряным гвоздем в руках увидела пикирующего на нее ворона с острейшим серебряным клювом. Она

закрыла глаза, ощущая сердцем холод смерти, но тут же и открыла, заслышав громкие хлопки. Вместо кругленького генерала с красными лампасами у стола, на котором она, связанная, лежала, откуда-то появилась то ли большая крыса, то ли (появился) небольшой енот и с обеих рук (лап) палила (палил) из пистолетов в теряющего пух и перья, но тем не менее заходящего на второй круг атаки ворона. Августа перевела дух. Против прицельно стреляющей по-македонски крысы (енота) у ворона шансов не было.

Точное попадание сбило ворона с траектории. Недовольно каркнув, он взвился вверх, ударился о лампу,

как черная скомканная тряпка, не в добрый час попавшаяся хозяйке под руку, вылетел в форточку.

— С тобой ничего не случится, доченька, — слышала Августа голос кругленького генерала с красными лампасами, — пока ты со мной.

...Похоже, все птицы на свете, включая снежного гималайского орла и серебряноклювого ворона, были бессильны против генерала Толстого. А если и могли ему напакостить, то, как выражалась на исходе XX века московская молодежь, по децилу, то есть минимально.

Прикалывая бедную Епифанию, как бабочку, к каменной стене булавкой-стилетом, Августа была «на

сто пудов», как опять-таки выражалась на исходе XX века московская молодежь, уверена, что за именем суженого та переадресует ее к генералу Толстому. Гораздо важнее было другое, слетевшее с холодеющих губ подружки слово: «Отныне плодна...»

После смерти несчастной Епифании Августе было не отделаться от ощущения, что генерал Толстой не стремится к встрече с ней. Августа знала, что это будет их последняя встреча. После нее генерал Толстой должен будет исчезнуть, как некогда дон Антонио, растворившийся в горных мексиканских лесах в образе желтой желудевой совы Эль Рихо. Генералу Толстому, видимо, предстояло продолжить земное существование, растворившись в некоем экстравагантном политическом

учении, таком, к примеру, как «тердем» — террористический демократизм.

Генерал Толстой уже познакомил Августу с большой теоретической статьей, сочиненной им для одного английского философского журнала, издающегося на деньги Ирландской республиканской армии, где он изложил основные принципы тердема как универсального, идущего на смену постиндустриальному обществу, политического строя.

По мнению генерала Толстого, в связи с неизбежным в ближайшем будущем упразднением наличных денег и окончательным переходом

человеческой цивилизации на компьютерный безнал, в мире установится классическая манихейская система управления и саморегуляции. Официальная сторона жизни (ООН, всевозможные международные организации, правительства, транснациональные корпорации и так далее) будет по-прежнему регламентироваться классическими демократическими установлениями. Неофициальная — теневая, преступная, незаконная — вследствие исчезновения между ней и официальной связующего звена — наличных денег — перейдет исключительно на террористические рельсы. Предметом товаро-, точнее,

властеобмена между официальной и неофициальной половинами человечества станут заложники, в роли которых, как предсказывал генерал Толстой, будут выступать уже не столько отдельные захваченные граждане, а целые населенные пункты, города и даже небольшие страны. Генерал Толстой высказывал в статье абсурдное суждение, что тердем – это наиболее совершенное, отвечающее глубинной сути человека, общественное устройство. Компьютерный безнал, то есть строжайший порядок в распределении и перераспределении материальных благ наконец-то позволит осуществить давнюю мечту

человечества о социальной справедливости и достойной (в смысле от каждого — по способностям, каждому — по труду) жизни для всех. В то же время высокая вероятность попадания в заложники и, как следствие, внезапной немотивированной смерти наполнит истинным содержанием, очистит от фрейдистского мусора вторую по силе (после стремления к социальной справедливости) страсть среднестатистического человека, а именно страсть к самоуничтожению.

Генерал Толстой, помнится, с тоской вздохнул, отправляя текст статьи в редакцию журнала через

компьютерную почту Интернета. Августа поняла, что ему не хочется, как кристаллу сахара или соли в воде, растворяться в новой общественно-политической теории. Генералу Толстому хотелось, чтобы вода вокруг него сама превращалась (растворялась?) в кристаллическое древо, по ветвям которого он бы взбирался к власти над миром.

Но у него не было другого выхода. Даже ему было не дано помешать ходу вещей.

– Помешать – да, – подтвердил он, когда Августа попеняла ему на излишнее самомнение, – но не оспорить.

– Что ты подразумеваешь под

этим, дед? – удивилась Августа.

– Улучшить, – усмехнулся генерал Толстой, – сделать ход вещей еще более гладким и совершенным.

– Ход вещей не может быть более гладким и совершенным, чем ему предназначено, – строго заметила Августа.

– Доченька, – внимательно посмотрел на нее генерал Толстой, – хочешь, я объясню тебе, что лежит в основе так называемых неразрешимых противоречий, столько лет занимающих лучшие умы человечества?

– Вероятно, то, что человечество недостаточно прислушивается к твоему мнению? – предположила

Августа.

— Нет, доченька, — покачал головой генерал Толстой, — я не страдаю манией величия. В основе неразрешимых противоречий лежат ошибочные представления о том, что нравственные, моральные, экономические и прочие законы, сформулированные неким парнем чуть более двух тысяч лет назад, конечны и неоспоримы. В основе неразрешимых противоречий лежат ошибочные представления, что мир — это то, что человек знает из книг, со слов других людей, что видит своими глазами. В основе неразрешимых противоречий лежит ошибочное представление, что с

возникновением и концом так называемой человеческой цивилизации в окружающей действительности случится что-то выходящее за рамки возникновения и конца именно этой — отдельно взятой и в конечном итоге тупиковой — цивилизации. Ее тупиковость, доченька, заключена хотя бы в бессмысленном с точки зрения дальнейшего развития зеркальном воспроизведении, перманентном навязывании вновь рожденным мыслящим особям матриц-взглядов, против которых в душе каждой особи в так называемом подростковом возрасте происходит губительное восстание. Смирненное принятие

воли большинства – чужой воли! – за истину – это конец, доченька, ведь так? Тут не может быть двух мнений!

– В отличие от вас, товарищ генерал, – возразила Августа, – у меня нет вечной жизни. Я существую, чтобы довести до конца одну-единственную мысль. Вы знаете какую. А я знаю, что никто, даже вы, не сможете мне помешать, потому что в данный момент я сильнее всех в мире!

– Но мир создан одновременно по тысячам абсолютно несопоставимых, изначально не сравнимых друг с другом матриц, – сказал генерал Толстой. – Я говорю о Вселенной, доченька. Ты – о, быть

может, случайном порыве ветра, сбивающем меня с ног...

— Случайных порывов ветра не бывает, — заметила Августа. — Вселенная для меня начинается и заканчивается с порывом ветра, сбивающим тебя с ног. Вне порыва ветра для меня жизни нет. Дед, ты, кажется, забыл любимые тобой слова Ленина, что электрон столь же неисчерпаем, как и атом. Я знаю, ты помог им создать государство, возлагал на них какие-то надежды. Все в прошлом, дед. Ты предусмотрел все — любые неожиданности — кроме единственного: что ты им будешь не нужен. Тебе не на что опереться, дед.

Лучше бы тебе... – Августа чуть не сказала: «превратиться в крысу и спрятаться в норе», но сдержалась, – не ссать против ветра, дед.

– Ты права, дочка, – вздохнул генерал Толстой, – мне даже известна точка невозврата. Помнишь, года три, кажется, назад, в разгар предвыборной президентской кампании охранники задержали каких-то людей, выносивших из Дома правительства чемодан с миллионом, что ли, долларов?

– Смутно, – честно призналась Августа.

– Дело даже не в том, что они выносили из Дома правительства миллион долларов, – продолжил

генерал Толстой, – в то время как половине страны не платили зарплату, а в том, что те, кто выносили, были объявлены честнейшими людьми, героями, защитниками веры, то есть демократии. Впоследствии все они были повышены по службе – потом их, правда повесили, но это не важно, а задержавших их охранников уволили со службы, отправили в отставку, обвинили в воровстве и заговоре. И это было воспринято в обществе как должное. Когда пройдена точка невозврата, – вздохнул генерал Толстой, – остается надеяться на отдельных – лучших – людей жертвовать последними

kozyрями ради того чтобы... — не договорил.

— Достоинно проиграть, — закончила за него Августа.

— Достоинство проигрыша, — сказал генерал Толстой, — зачастую оборачивается тем самым легендарным количеством, переходящим в качество.

...Генерала Толстого не было на службе — ни в кабинете, ни на загадочном «а ля 1949 год» банном этаже на Лубянке. Регистрирующий звонки помощник, как автоответчик, сообщал, что генерал заболел. Августа пыталась связаться с ним по пейджеру, спутниковому и сотовому телефонам — генерал Толстой

молчал, как рыба.

У Августы даже мелькнула мысль, а не решил ли он часом поиграть с ней в прятки? Но это было невозможно. Во всяком случае, до того момента, как генерал пожертвует последними козырями.

Августа поняла, что этот момент предельно близок в половине первого ночи в вагоне метро между станциями «Лубянка» и «Чистые пруды».

Она вдруг обнаружила, что не заметила, как оказалась в метро, и сейчас не знает, куда едет.

После смерти Епифании она почти ни с кем не общалась. Люди как-то перестали ее интересовать.

Августе стало казаться, что она все о них знает. В отличие от генерала Толстого, Августа формулировала неразрешимое противоречие человеческой цивилизации гораздо проще, а главное однозначнее. К исходу XX века люди начали откровенно тяготиться основным доказательством существования Господа Бога, а именно наличием у себя бессмертной души. Для огромного числа людей душа превратилась в обузу и помеху. Каждый человек имел свою контрольную цену, то есть потенциальную склонность (при уплате затребованной цены) к превращению в собственную

противоположность. И каждый человек имел свою контрольную слабость (что-то вроде компьютерного пароля для засекреченных файлов), используя которую, человека можно было довольно быстро превратить в ту же собственную противоположность, то есть в исполняющее чужую волю ничто. Принцип контрольной цены и контрольной слабости распространялся на целые народы и государства.

На первый взгляд, цена и слабость казались Сообщающимися сосудами, но это было не так. Между ценой и слабостью отдельного ли человека, целого ли государства

существовала мистическая взаимосвязь, просчитать которую было почти невозможно, используя линейный (скажем, геометрию Евклида) метод. Четыре стороны квадрата тут не были равны, а треугольники с одинаковыми углами отнюдь не подобны. Для исчисления мистической взаимосвязи следовало использовать иной метод, в основе которого лежало провоцируемое (искусственно, насильно исторгаемое из души) прозрение. Что, как известно, являлось вопиющим (как расщепление ядра во имя создания атомной бомбы) использованием скрытых до поры возможностей человеческой души

для целей, лежащих вне очерченного Господом, по крайней мере для ее земного срока, пространства человеческой души. Умение выводить формулу взаимосвязи между ценой и слабостью, таким образом, сообщало власть над миром, и речь для научившегося этой науке отныне могла идти только о масштабах власти.

Для Августы не составляло труда определить контрольную цену существа, называвшего себя в XX веке генералом госбезопасности Толстым.

Власть над миром.

Точнее, несмирение пред
предначертанием, отмена

предначертания, что, в сущности, даже выше, чем просто власть над миром. Цена генерала Толстого – власть над сотворением мира.

Гораздо сложнее было определить контрольную слабость генерала Толстого. Для этого как минимум следовало знать наверняка, что представляет из себя генерал Толстой в действительности. Шкала сего градусника была неохватна даже мысленным взором. Где-то на нижних делениях значилось – рядовой бес из параллельного мира. На высших – осколок, частица, наместник? – Высшего Разума Вселенной.

На перегоне «Чистые пруды» –

«Красные ворота» Августа наконец вспомнила, куда она едет. Она ехала в Сокольники на одну из служебных квартир, записанных за генералом Толстым. Это была очень большая и хорошо оборудованная квартира на последнем этаже высотного дома еще одна похожая — тоже на последнем этаже небоскреба — квартира была у генерала Толстого в доме на Котельнической набережной. И еще одна — опять на последнем этаже! — на Красной Пресне. Там же на крыше была размечена площадка и выгорожен небольшой ангар для вертолета, на котором генерал Толстой частенько летал вместе с Августой над ночной

Москвой. Служебный кабинет генерала Толстого на Лубянке тоже находился на последнем этаже. И только тайный банный этаж был точно не на последнем этаже, но зато там были особенные – смотрящие в одно лишь небо и никуда более – окна.

Августа вдруг поняла, где надо искать генерала Толстого. Все было гениально просто. Стремление к последним этажам, к небу выдавало в нем желание быть птицей. Самое сильное и сложное чувство (Августа не знала, ненависть это, зависть, а может ревность?) генерал Толстой испытывал к своему аналогу в земном мире – генералу

Илларионову, единственно из чувства соперничества с которым (Августа более в этом не сомневалась) он оставил когда-то ее в живых.

Контрольная слабость генерала Толстого заключалась в том, что он был барсуком, енотом, крысой — стопроцентно земляным, норным животным.

Но он мечтал быть птицей.

Квартиры на последних этажах небоскребов были желаемым, которое он выдавал за действительное.

Настоящие его квартиры (норы) находились под землей, скорее всего, точно по перпендикуляру под его небесными квартирами.

Августа вышла на станции «Сокольники».

Т

Майор Пухов приехал в Шереметьево-2 примерно за пятнадцать минут до приземления «Боинга-747» из Аммана. В позаимствованном из гардероба Гелисхана светлом плаще с большими карманами (редкий знатный гулиец обходился без такого), в низко надвинутой шляпе, из-под которой были видны одни лишь черные с проседью усы, в затемненных (обнаруженных в машине у Нура) очках майор Пухов поднялся в буфет выпить чашку кофе, а заодно посмотреть сверху на зал

ожидания.

У шейха Али (людей, сопровождающих шейха Али) несомненно имелась фотография Нура. Майор Пухов сейчас был вылитый Нур. В принципе, каждый второй гулиец был вылитый Нур. Древние законы запрещали гулийцам жениться на женщинах других национальностей. В результате родственных браков представители главных гулийских кланов были похожи друг на друга как братья. Воюющие в Гулистане русские солдаты различали кланы по цвету волос. Были гулийцы «черные», «светлые» и «рыжие». Нур принадлежал к «черным» гулийцам.

Рейсы из Шереметьево-2, как правило, отправлялись без больших задержек (не так как из Домодедова или Быкова), однако зал ожидания был полон спящих в креслах людей.

В последнее время в России случалось по несколько выборов в год, и перед каждым выборами журналисты делали репортажи из Шереметьева-2. В международном аэропорту почему-то всегда царило полнейшее спокойствие. Пойманным для интервью пассажирам было плевать на очередные выборы — многие о них и не знали. Это озадачивало и раздражало кормящуюся с предвыборных страстей журналистскую рать,

потому что в перспективе означало потерю; кормления. Все чаще майору Пухову приходила в голову мысль, что выборы как раз и проводятся для журналистов, социологов, специалистов по рекламе, организаторов предвыборных «штабов» и прочей сволочи, не находящей себе применения в периоды обыденного трудового существования.

Вот уже несколько лет майор Пухов без крайней на то необходимости не смотрел телевизор и не читал газет.

Российская пресса боготворила ненавидящих Россию гулийцев, называла мнимо покойного генерала

Сака «гулийским Юлием Цезарем». Интересно, подумал майор Пухов, закроет Юлий Цезарь, после того как возьмет Кремль (войдет в Рим), Шереметьево-2 или нет?

В общем-то генералу Саку незачем было закрывать Шереметьево-2. Докучавшие ему в Гулистане российские генералы рванут из страны с военных аэродромов. Гражданский же российский истеблишмент легко признает власть чудесным образом воскресшего генерала Сака.

– Сделай доброе дело, сынок, – помнится, сказал майору Пухову семь лет назад генерал Толстой, – верни в Россию славного парня –

единственного советского генерала, воспротивившегося развалу Союза. Передай письмишко.

— Где славный парень? — спросил Пухов. — Все еще в Вильнюсе?

— Чуть дальше, — усмехнулся генерал Толстой, — в Диснейленде.

— Что он там делает? — удивился майор.

— Насколько мне известно, — ответил генерал Толстой, — занят на обслуживании какого-то водного аттракциона. Получает, кажется, полторы тысячи долларов в месяц.

— Не много, — заметил майор, — но все же больше, чем российский министр обороны. Что мне ему

сказать?

— Скажи ему, сынок, — вздохнул генерал Толстой, — что без него России не быть великой.

— А с ним, значит, быть? — уточнил Пухов.

— Увы, сынок, — вздохнул генерал Толстой, — такова русская планида: когда Россией управляют русские, они ее губят, приводят в упадок; когда нацмены — Россия поднимается до немыслимых высот. Хотя людишкам, конечно, приходится туго...

...Майор Пухов прилетел в Лос-Анджелес вечером. В отеле ему достался угловой номер на предпоследнем этаже. Из окон одной

комнаты (кабинета) он видел бульвар Sunset и закат над океаном. Горизонт выгибался подковой, и, казалось, гигантский красный лобстер обьял стекло центральных небоскребов, одноэтажные, без единого деревца, бесконечные и прямые мексиканские улицы, пляжи и прибрежные автострады своими щелкающими клешнями. Из окон другой комнаты (спальни) майору открылся захлебывающийся в огнях город, вычерченные в воздухе цветными лазерами картинки над павильонами и аттракционами киностудии «United Artist», сиренево-желтый смог, внутри которого смутно мерцали звезды.

Майор Пухов побывал во многих странах, во многих городах. Он знал (из истории и по собственным наблюдениям), что всякий большой город (мегаполис) неуклонно деградирует в своем развитии в сторону древнего Вавилона. Внутри больших скоплений людей на малых площадях с фатальной неизбежностью угасали добродетели и яростно расцветали пороки. Смешение племен и языков оборачивалось смешением (коктейлем) грехов. Лос-Анджелес занимал первое место среди городов мира по числу людоедов на тысячу жителей. На втором месте была Москва.

Утром город ангелов был в плотном белом тумане, как если бы эти самые ангелы оставили здесь ночью свои крылья. Майор Пухов взял напрокат машину и двинулся, светя фарами сквозь оставленные ангельские крылья, к Диснейленду.

В девять ноль-ноль он купил за тридцать восемь долларов входной билет и вошел в парк. Туман к этому времени окончательно рассеялся, солнце (как и положено в декабре в Калифорнии) припекало по-летнему.

Диснейленд был абсолютно безалкогольной зоной, однако неизвестно зачем приведенные сюда, мучимые похмельем, костюмно-галстучные дяди (делегация из

России) украдкой разливали в буфете в пластиковые стаканы водку. Вдоль столов (чтобы веселить детей и фотографироваться с посетителями) прохаживался разноцветный плюшевый человек в маске Микки Мауса. Таких Микки Маусов, равно как и псов Плуто и Друппи, утят Дональдов Даков, принцев, русалок и прочих персонажей из мультфильмов гуляло по Диснейленду великое множество. Майор Пухов подумал, что у него мало шансов переговорить с генералом Сактагановым, если работа того заключается в хождении по буфету в маске Микки Мауса. Душевно опохмелившийся дядя из России налил в пластиковый

стаканчик водки, поднес Микки Маусу. Тот в ужасе замахал руками (лапами). Американцы воздерживались пить на работе, к тому же в маске не было прорези для рта.

Майор Пухов, зная бесконечное презрение американцев к пытающимся зацепиться в их стране иностранцам, подумал, что генерала Сактаганова, по всей видимости, поставили на самый скучный, механический аттракцион.

Так оно и оказалось.

Пухов нашел его на самом последнем — лодочном — аттракционе.

Аттракцион заключался в том,

что живые люди (в основном дети) плыли гуськом на лодках по длинному извилистому туннелю, а электронно-механические дети в национальных костюмах всех народов Земли на берегах туннеля пели и приветствовали плывущих в лодках, махая руками и букетами цветов.

Генерал Сактаганов дежурил у турникета, пропуская в каждую вновь подошедшую лодку не более четырех посетителей. Майора Пухова немало удивило то, что он был в пилотке с кокардой советских ВВС и что пилотка разъезжалась у него на макушке самым неприличным образом. Впрочем, в Диснейленде

никто не обращал внимания на подобные мелочи. Напарником генерала был то ли индеец, то ли эскимос в феске и почему-то пригустых, как непроваренная лапша, эполетах на плечах.

— Здравия желаю, товарищ генерал! — приветствовал Сактаганова майор Пухов. — Я дважды проплыл по лабиринту, но что-то не обнаружил детей в гулийских костюмах.

— Там, кстати, нет и русских, — заметил, принимая запечатанное письмо генерал Сактаганов. — Есть украинцы, белорусы, а вот русских... — развел руками.

Нельзя было сказать, чтобы и

американский народ валом валил на лодки. Гулиец успел прочитать письмо от генерала Толстого, аккуратно вложить его в конверт и спрятать в карман.

– Странно, – заметил майор, которому показалось, что ни одна сколько-нибудь заметная нация не была пропущена в бесконечном поющем лодочном лабиринте, – я видел ретороманцев, басков, даже караимов. Отчего же нет гулийцев и русских?

– Должно быть, американцы не видят за нашими народами будущего, – предположил генерал Сактаганов.

Пухов знал, что американцы

предлагали ему большие деньги и материальную (военную) – через Турцию – помощь, если он вернется на Кавказ, поднимет мятеж против ослабевшей и обезволившей русской власти. Гулиец отказался. Американцы дали время ему подумать, приставив к лодкам в Диснейленде.

– Они утопят тебя в этой музыкальной канаве, – тихо сказал майор Пухов, – так у них принято. Уж я-то знаю.

– Скорее всего, – не стал спорить генерал Сактаганов, – но у меня нет выбора. По сути дела вы предлагаете мне то же самое, что и они.

— Генерал Толстой сказал, что без тебя России не быть великой страной, — честно передал Пухов слова начальника, хотя в данный момент они представлялись ему полнейшим абсурдом. Какая связь между грядущим величием России и идиотом в разъезжающейся пилотке из Диснейленда?

— Я знаю, — на полном серьезе кивнул генерал Сактаганов. Пухов понял, что абсурд прогрессирует, стремится к минус (плюс?) бесконечности, абсолюту. — Но меня пугает цена.

— Цена? Какая цена? — удивился Пухов.

— Я смогу сделать Россию

великой страной, только сведя на нет свой родной Гулистан. Грубо говоря, цена такова: чтобы сделаться русским царем, мне придется уничтожить собственную мать, то есть гулийский народ.

— Это... написано в письме? — вежливо поинтересовался майор.

— Так повелось, — задумчиво посмотрел на него генерал Сактаганов, — что обновление общества происходит через войну. Война расшатывает одни устои и исподволь утверждает другие, на первый взгляд невидимые. Они подобны прутьям стальной арматуры в ветре, уносящем мусор. Сначала все видят летящие клочья и пыль. И

только потом – стальную арматуру. Я ждал этого письма. Я поеду с тобой в Россию. Но я еще ничего не решил...

...Объявили, что произвел посадку самолет из Аммана. У майора Пухова оставалось совсем мало времени, а он еще (как семь лет назад генерал Сак в Диснейленде) не принял никакого решения.

Ему было известно, что с начала этого года во всех международных аэропортах России действуют представительства Интерпола. Шейх Али (возможно, без достаточных на то оснований) считался в западном мире душой и вдохновителем исламского терроризма. Ему вменялись в вину почти все

нераскрытые по горячим следам теракты, начиная от взрывов в торговых центрах в крупных американских городах, воздушных катастроф, ограблений банков, кончая массовыми отравлениями в японских школах, нападениями на израильские патрули в пустыне Шаари.

Центральное разведывательное управление США преследовало почти столетнего старца, как некогда Рим карфагенского полководца Ганнибала, а позже понтийского царя Митридата. За информацию о местонахождении шейха Али было обещано вознаграждение в миллион долларов.

В последнее время, впрочем, о шейхе Али как-то замолчали. По всей видимости, на него распространилось действие «доктрины Кречинского» — известного теоретика американской государственности конца XX века. По мнению Кречинского, не в интересах США было расправляться со своими внешними и внутренними врагами без предварительной попытки переориентировать их на борьбу против России. Россия представлялась Кречинскому полем, способным поглотить и заземлить огромные заряды ненависти. Кречинский математически обосновал, что помощь, которую в

этом случае придется оказать США своим бывшим врагам, обойдется в значительно меньшие суммы, нежели те, которые придется затратить в случае прямой с ними конфронтации.

— Нет ничего из того, — обратился через «New York Times» Кречинский к врагам США, — что вы хотели бы получить от США ценой колоссальных усилий, но не могли бы получить в России практически даром.

Майору Пухову приходилось читать стенограммы секретных совещаний американцев и тех, кого они называли «исламскими террористами», где речь шла о

России как возможном ареале распространения ислама. Американцы убеждали своих визави не тратить огромные средства и имеющийся в их распоряжении человеческий материал на борьбу с «Большим Дьяволом», то есть США, а обратить свой взор на почти готовую лечь под Аллаха Россию.

Спускаясь по лестнице из буфета в зал ожидания, майор Пухов подумал, что не видать ему миллиона долларов от Интерпола как своих ушей. Нечего было рассчитывать и на Департамент федеральной безопасности. Если они не считали врагом России генерала Сака, намеревающегося сегодня или завтра

захватить Кремль и объявить себя президентом (царем?) России, какое было им дело до легендарного шейха Али, всего-навсего собиравшегося превратить Россию в исламское государство?

Пухов смутно помнил, как выглядит шейх Али, но почему-то не сомневался, что легко узнает его. Россия для шейха была страной, которую предстояло покорить. Будущий владыка, следовательно, не мог появиться в ней иначе чем в рубище. Ибо давно известно: в основе грядущего торжества лежит текущее унижение. Никто в готовой к капитуляции России не собирался (да и не мог при всем желании)

унизить шейха Али. Он должен был унизить себя сам.

Майор Пухов на всякий случай прогулялся к залу VIP, но не обнаружил там ничего заслуживающего внимания, за исключением занятой обширным багажом делегации Госдумы, двух знакомых армян, поставляющих в Ирак через Иорданию вакцину против ящура под видом кокосовой водки, да второстепенного гулийского полевого командира Агаси, достающего из широких штанин эталоном бесценного груза дипломатический паспорт Республики Грузия.

В зале для простых смертных

вдоль таможенных стоек выстроился народ попроще, однако сколько ни вглядывался майор Пухов в смуглые усаые лица, не было среди них ни живой легенды ислама шейха Али (во всех мыслимых и немыслимых образах), ни его телохранителей. Это было невероятно, но если шейх Али прилетел этим рейсом из Аммана, он прилетел без телохранителей!

Пухов уже начал было мысленно поминать недобрым словом бывшего главу службы безопасности Республики Гулистан Нура, сидевшего с простреленной головой в кресле в кабинете хозяина мотеля «Глория», как вдруг заметил миновавшую паспортный и

таможенный контроль девушку с полузакрытым по арабскому обычаю пестрым платком лицом. На ней было длинное темное платье, багаж ее составляла единственная сумка, переброшенная на длинном ремне через плечо.

Майор вспомнил, что не существует для мужчины большего унижения и позора, нежели перевоплотиться в женщину. Особенно для пожилого мужчины. Для шейха. В молодую женщину. Причем путешествующую в одиночестве.

Майор Пухов понял, что ислам поистине великая, наступательная религия уже хотя бы потому, что

превращает столетних старцев в молоденьких девушек. Он с грустью подумал, что нелепые на первый взгляд разговоры об исламизации России отнюдь не бред. Россия была слишком велика, слишком малолюдна, слишком растеряна и деморализована, чтобы противостоять фантастической силе, превращающей столетнего шейха в юную ханум.

Майор Пухов мог прямо здесь в Шереметьево-2 пристрелить шейха Али, но, во-первых, он устал сегодня убивать людей, во-вторых, еще одно убийство принципиально ничего не меняло ни в его личной судьбе, ни в судьбе России.

Он догнал девушку, осторожно тронул за плечо.

– Хазрет, – артикулированно и внятно произнес майор Пухов по-арабски, когда шейх Али обернулся и увидел не столько его лицо, сколько шевелящиеся губы, – мне поручено вас встретить, но я не смогу проводить вас к генералу Саку, потому что все выходы из аэропорта и все дороги в город сейчас перекрыты русскими агентами. Страна на грани введения чрезвычайного положения. Они проверяют все машины без исключения. Генерал Сак не чувствует себя вправе рисковать святыней ислама, духовным отцом

наших героев – шейхом Али. Вы должны немедленно покинуть Россию. Ближайший подходящий международный рейс – на Каир – через пятнадцать минут. Я получил приказ отправить вас этим рейсом. В случае неисполнения я буду предан смерти. Моя жизнь в вашей воле, хазрет... – смиренно опустил глаза.

– Ты ошибаешься, – механическим голосом глухонемого произнес шейх Али. Воспроизводящие речь глухонемые, как известно, не властны над тембром своего голоса. В детстве глухонемой сверстник Пухова (им было по десять лет), к Примеру, разговаривал голосом старика. Шейх

Али произносил слова голосом пережившей трагедию девушки. — Я не знаю, кто ты, но знаю, что это моя жизнь в твоих руках. — Глаза шейха гневно блестели из-под пестрого платка. Со стороны, вероятно, могло показаться, что усатый наглец майор Пухов (Нур) с издевательски почтительным видом шепчет на ухо честной, прилетевшей из Иордании — как известно, страны высокой нравственности — девушке скабрёзости. — Кто ты? Ты не тот человек, который должен был меня встретить. Ты сможешь говорить со мной, как я привык?

— Постараюсь, — перешел на язык глухонемых майор Пухов, — хотя

не могу утверждать, что это для меня легко. Арабский — не мой родной язык.

— Твои возможности значительно превосходят возможности обычного человека, — констатировал шейх Али. — Мне бы не хотелось иметь тебя в числе своих врагов. Я не собираюсь причинять зла твоей стране, твоему народу. Напротив, скорее речь идет о спасении.

— Я тоже не собираюсь причинять вам зло, хазрет, — ответил Пухов, — и тоже веду речь о спасении, вашем спасении. У нас осталось десять минут. Если вы не улетите в Каир, хазрет, я буду вынужден

пристрелить вас на месте или сдать Интерполу, вон их комната, они оценили вашу голову в миллион долларов. И последнее, хазрет, я хочу оставить себе вашу сумку. Вы улетите в Каир с одним лишь паспортом.

– В моей сумке нет денег!

– Я знаю, хазрет, что вы с рождения не осквернили свои руки прикосновением к деньгам. Я сам куплю вам билет в Каир. Не заставляйте меня делать то, чего мне не хочется, хазрет! – Пухов уже знал, как застрелит шейха Али. Будто бы от избытка чувств прижмет столетнюю девушку к себе и выстрелит сквозь плащ из «Fovea» (он не свинтил с дула глушитель) ей

под лопатку. После чего бережно усадит в ближайшее кресло, а сам с озабоченным видом устремится к аптечному ларьку у выхода.

— Паспорт лежит наверху, — похоже, решил не искушать судьбу шейх Али, протянул сумку Пухову.

— Вы сделали правильный выбор, хазрет, — майор Пухов подхватил шейха под руку, устремился с ним к окошку «Egypt Air».

В это время года самолеты из Москвы в Каир летали полупустыми. Майор не сомневался, что для шейха Али отыщется местечко. Не сомневался Пухов и в том, что шейх Али попытается дать знать о

случившемся генералу Саку. Он не сможет сделать это из самолета национальной египетской авиакомпании. В Египте боевая организация шейха Али – «Армия ислама» – считалась вне закона. Египет, по мнению шейха Али и его последователей, был плохой, предавшей идеалы истинной веры, страной. При всем желании шейх Али сможет связаться с генералом Саком не раньше чем через четыре с половиной часа.

Майор Пухов подумал, что у него впереди целая жизнь.

– Ты еще можешь к нам присоединиться, – обернулся шейх Али к майору Пухову, протягивая

паспорт пограничнику.

До вылета оставалось семь минут.

Майору хотелось своими глазами увидеть, как герметическая дверь самолета закроется за столетней девушкой – шейхом Али. Генерал Толстой весьма кстати выправил несколько месяцев назад Пухову пластиковую карточку за подписью аж самого президента России, предоставляющую право ходить по Шереметьеву-2 как по собственной квартире.

– Я знаю, ты их тех людей, которые добиваются поставленных целей, – продолжил шейх Али, – но ты выступаешь на стороне

обреченного дела. Твои успехи, какими бы значительными они тебе ни казались, всего лишь отдельные тактические успехи в проигранной на небесах битве. Возможно, тебе удастся на несколько мгновений отсрочить неизбежное, но в этом случае ты потеряешь жизнь. Я понимаю, это судьба героя, но героями в этом мире становятся те, кто угадывает и помогает ходу истории. Кто противится – исчезают бесследно, хотя, конечно, они-то и есть истинные герои. Можешь дальше меня не провожать. Я смогу связаться со своими друзьями в России не раньше чем через... – посмотрел на часы, – четыре часа.

Думаю, к этому времени ты будешь далеко отсюда.

— Вам ведом ход истории, хазрет? — Пухов понял, что старик не обманет. Вернее, не сможет обмануть при всем своем желании. Обман иноверца отнюдь не считался у мусульман грехом.

— Да. Он в том, что ислам не есть пропасть, в которую уготовано свалиться России, а пробившийся к ней сквозь стену корень, ухватившись за который, она может зацепиться и вылезти из пропасти. По сравнению с тем, что ждет Россию, ислам для нее — достойная и счастливая жизнь в сообществе дружественных народов.

— Прощайте, хазрет, — сумка шейха Али была легка, как жребий обреченного. Майор Пухов почти не ощущал ее на своем плече.

— Прощай, — глаза столетней девушки наполнились тысячелетним правоверным гневом, — и будь ты проклят!

— Я ждал тебя, сынок, —
обрадованно шагнул навстречу
Илларионову генерал Толстой, когда
тот в начале второго ночи переступил
порог его кабинета.

Покинув миссию мормонов,
Илларионов долго бродил по
зимнему городу — бесснежному,
темному, покрытому струпьями
неоновых словосочетаний,
заставленному транслирующими
разную галиматью
гелиотелеэкранами, железноногими,
вознесенными над улицами
стендами с портретами двадцати

шести кандидатов в президенты России.

Из-за необъяснимого изменения климата — потепления — в этот год высохшие листья с деревьев не опали. Илларионов медленно шел по набережной Яузы, вглядываясь в доселе невиданную — первую в истории человечества — подводную кабельную рекламу. Со дна Яузы светилось, мерцало, меняя свет, ежесекундно всплывало радужными пузырьками слово «ДровoseK». Москва медленно и неуклонно превращалась в мирового лидера новейших рекламных технологий.

Деревья вдоль набережной над головой Илларионова трещали на

ветру сухими листьями, как погремушки. Иногда они представлялись Илларионову вставшими на хвост в преддверии броска, распутившими в темном воздухе капюшоны кобрами, иногда же что-то металлическое угадывалось в сухом шуме, как будто листья не опали осенью с деревьев только затем, чтобы превратиться в бритвы.

Несколько раз Илларионов доставал из кармана полученную от Джонсона-Джонсона дискету, чтобы бросить ее в Язу под неоновый топор подводного дровосека, но что-то удерживало его. Илларионов явственно ощущал некие

превращения в темном воздухе чуть снизу и слева от себя. Он понимал, что на исходе сорока двух лет износил свой (и, если верить Джонсону-Джонсону, добавленный) век до дыр, но Илларионов привык к изношенному, расползающемуся по всем швам веку и не хотел с ним расставаться.

Илларионову казалось, что он, бесконечно уставший, смотрит в зале кинотеатра не то чтобы сильно интересный, но и не до конца бездарный фильм. И нет сил ни на то, чтобы встать и уйти, ни – чтобы, как говорится, «въехать» в сюжет, досмотреть фильм до конца. Ему вспомнились слова генерала

Толстого о «сладком вине деградации», болезненном наслаждении от ощущения контраста между необъятными силами в душе и невозможностью что-либо изменить в стране и мире.

— Ты не согласишь, сынок, — сказал однажды Илларионову генерал Толстой, — но для подавляющего большинства мыслящих людей обрести мир в душе означает не что иное, как ежедневно, ежечасно убеждаться в трагическом несоответствии законов действительности и собственных представлений о добре и зле. Нет вернее способа сделать человека несчастным, — продолжил генерал

Толстой, — чем привести действительность в полное соответствие с традиционными представлениями людей о добре, зле и справедливости.

Прогуливаясь по набережной под звенящими над его головой листьями-бритвами деревьями, Илларионов пришел к выводу, что, в сущности, не имеет ни малейшего значения, кто из двадцати шести кандидатов станет очередным президентом России. Суть деградации, стало быть, заключалась в упрочении, пролонгации во времени странного состояния, когда ход событий (истории) оказывался совершенно независимым от воли,

желаний, да и поступков отдельных людей (человечества). Невидимый скальпель как бы отделял человечество от его истории, превращал человечество и историю в две параллельные (не могущие пересечься) прямые. Илларионов когда-то говорил об этом с отцом.

— Но ведь все предельно просто, — помнится, ответил отец, — они взаимно разделены, потому что ими управляют разные силы.

Илларионов-старший не уставал повторять, что чем страшнее и неразрешимее кажутся загадки, тем проще и очевиднее в конечном итоге оказываются разгадки. По его мнению, загадок как таковых вообще

не существовало, ибо всякая загадка (вернее то, что за таковую представлялось) изначально содержала в себе разгадку, и вовсе не разгадка была виновата, что человеческий разум отказывался принимать очевидность за данность.

— Люди имеют склонность со всей серьезностью относиться к нелепым бессмысленным откровениям, за которыми не стоит ничего, кроме болезненного воображения, нежели к констатации очевидного — что дважды два четыре, за которым стоит все! — любил повторять Илларионов-старший.

— Но дважды два не всегда четыре, — возражал ему Илларионов-

младший.

— Не всегда, — вынужденно соглашался отец, — но в интересах человечества думать, что дважды два всегда именно четыре...

— Ваше задание выполнено, товарищ генерал, — доложил Илларионов начальнику, не торопясь, однако, расстаться с дискетой.

— И я, сынок, выполнил свое обещание, — генерал Толстой протянул Илларионову папку с тремя листками. Первый — рапорт генерала Толстого с просьбой освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья и в связи с уходом на пенсию. Второй — представление полковника

Илларионова к званию генерал-майора. Третий – представление полковника Илларионова на должность начальника двенадцатого главного управления Департамента федеральной безопасности, освободившуюся в связи с уходом генерала Толстого на пенсию.

Илларионов молча положил папку на стол. Едва ли в мире сейчас существовало что-то, к чему бы он относился с большим равнодушием, нежели к присвоению очередного воинского звания и предполагаемому занятию должности начальника двенадцатого главного управления Департамента федеральной безопасности России.

Илларионов обратил внимание, что огромный кабинет генерала Толстого неуловимо изменился. Вроде бы все было как прежде, но исчез стеклянный ящик с коллекцией хитиновых куколок; похожий на сжатый кулак, черный метеорит с золотыми вкраплениями (прежде он лежал на крыше электронного сейфа); древнеегипетский папирус, на котором, как утверждал генерал Толстой, было начертано любовное послание; подаренная генералу Сталиным Библия с комментариями генералиссимуса; светящаяся колба с гомункулусом, обнаруженная генералом в сорок четвертом году в одном из немецких монастырей.

Гомункулус должен был окончательно сформироваться, «дозреть» (если верить генералу Толстому) только к две тысячи пятьдесят третьему году от Рождества Христова, ибо срок пребывания сего плода в стеклянной утробе исчислялся ровно в пятьсот лет. К исходу XX века у гомункулуса впечатляюще сформировались две важные части тела — голова и (превышающий размером подогнутые ножки) член, как если бы гомункулус шел в грешный мир исключительно затем, чтобы думать и е...

Генерал Толстой, как и положено, кормил гомункулуса раз в

месяц — в ночь полнолуния — свежими персиками.

— Я смотрю, тебя не радуют открывающиеся перспективы, сынок, — с неудовольствием оторвался от портативного компьютера генерал Толстой.

Илларионов вдруг ощутил неизбывное, граничащее с безумием, одиночество, иной раз испытываемое человеком (да и животными тоже, скажем, бросаемыми хозяевами собаками), когда вдруг как в блеске молнии и грохоте грома, то есть с божественной ясностью, открывается, что один мир (в котором вся твоя жизнь) безвозвратно уходит, а другого не

будет. Или будет – но уже без тебя. То есть все равно не будет.

– Я бы не назвал это открывающимися перспективами, товарищ генерал, – старательно подбирая слова, произнес Илларионов. Больше всего на свете сейчас ему хотелось сохранить человеческое достоинство. Он едва сдерживался, чтобы не броситься ниц перед генералом Толстым, умоляя того взять его с собой. Куда угодно. Удивительно, но даже хороня отца, Илларионов-младший не испытывал подобного отчаянья.

– Вот как? – с искренним недоумением посмотрел на него генерал Толстой. – Тебя не радуют

персональная машина, оклад в шестьсот пятьдесят долларов, служебная дача и допуск в закрома администрации президента? На их вещевых распродажах действует коэффициент один и шесть, то есть, покупая пальто, допустим, за шестьсот долларов, ты платишь в кассу только сто! В таком случае, – продолжил генерал Толстой после долгой паузы, – как бы ты назвал открывающиеся перспективы?

– Я бы назвал их смертью, товарищ генерал, – честно признался Илларионов.

Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Затем генерал Толстой поднялся, вышел из-

за стола, приблизился к Илларионову.

— То, что нас разлучает, сильнее нас, сынок, — просто сказал он.

— Нуда, — вспомнил Илларионов слова отца, — просто нами управляют разные силы.

— Не помню, сынок, — внимательно посмотрел на него генерал Толстой, — говорил ли я тебе о том, что люди вовсе не рождаются смертными, а становятся ими.

— Становятся? Каким образом? — Илларионов только сейчас разглядел на полу под столом слева от кресла генерала Толстого электронный мусоросжигатель — миниатюрную тумбочку, способную за час превратить в горстку пепла тонну

документов.

— Тебе, конечно, известно про смерть, которая ходит рядом с каждым человеком по левую руку снизу, — сказал генерал Толстой, — но это не та смерть, которая делает человека смертным, сынок. Ей нельзя верить, как нельзя верить в реальность случайно пойманного зеркалом изображения беса из параллельного мира. Большинство параллельных миров — пародия на наш мир, сынок, — продолжил генерал Толстой, отправляя в мусоросжигатель очередную порцию черных папок с надписью «Только для ваших глаз». — Потому-то, — вздохнул, — в современной России

опорой власти являются поэты-пародисты, писатели-сатирики, эстрадные хохмач и куплетисты. Истинная – не пародийная – смерть, сынок, это очень серьезно и, я бы сказал, по-своему красиво...

– Что вы имеете в виду? – спросил Илларионов, уже зная ответ. Недавний, изумивший его странной яркостью сон вдруг сделался ясным и понятным.

– Человек, сынок, может считать себя стопроцентно смертным только после того, как увидит собственную смерть...

– Во сне – закончил за генерала Толстого Илларионов.

– Во сне, – подтвердил генерал

Толстой, — хотя, как правило, человек не отдает себе отчета в том, что видел собственную смерть.

— Я видел, — сказал Илларионов, — причем совсем недавно.

— Это еще ничего не значит, сынок, — успокоил генерал Толстой, — тут нет прямой зависимости. Чем прекраснее и величественнее увиденная во сне картина, тем отдаленнее во времени смерть. Чем больше в ней белого света, тем дольше будет жить человек. Что ты видел, сынок?

— Я как бы отсутствовал в этом сне, — сказал Илларионов, — то есть я там был, но не как человек с головой,

туловищем, руками и ногами. Я был невидимо растворен в мире, но мог думать, видеть и чувствовать. Я как будто находился на земле, но вокруг меня было одно сплошное небо. Вдруг пошел снег – крупные белые хлопья. Казалось, они должны были закрыть солнце, но оно наоборот светило сквозь снег еще ярче. Потом я увидел летящих сквозь хлопья снега птиц. Я не помню, сколько их было. Помню только, что снег светился очень ярко, но птицы светились еще ярче. Я никогда прежде не видел таких птиц, но почему-то знал, что это альбатросы. Они летели, светящиеся, сквозь светящийся снег, в особенности же ярко почему-то

светились их клювы.

— Почему ты решил, что этот сон как-то связан со смертью? — спросил генерал Толстой.

— Не знаю, — пожал плечами Илларионов, — честно говоря, я это понял только сейчас. Мы с вами больше не увидимся, товарищ генерал?

— Я бы мог ответить тебе, сынок: на все Божья воля, но, к сожалению, истина заключается в том, что Господь Бог, ГБ, как я его называю, отнюдь не единственная сила, которая управляет миром. ГБ, сынок, всего две тысячи лет, в то время как мир старше, значительно старше. Вторая истина, сынок, заключается в

том, что если женщине не нравится ее законный муж, ей нравятся сразу все остальные мужчины без разбора. Такая хорошая вещь как свобода, сынок, в таком щекотливом деле как любить или не любить законного мужа превращает женщину в законченную б...ь. ГБ сейчас — законный муж. Человечество — женщина, которая состоит с ним в формальном браке, но не любит его. Беда в том, сынок, что в дом, где нет любви и уважения к закону, лезет, на ходу расстегивая ширинку, разная сволочь. Развод неизбежен, сынок, но всякому разводу, как известно, предшествует самое разнузданное б...о. Кто мы с тобой, сынок? Всего

лишь сироты при живых родителях... Я, как старший брат, мог бы из гуманных соображений солгать тебе. Но я скажу правду: мы больше не увидимся.

— А как же Россия, товарищ генерал? — задал странный вопрос Илларионов.

— Да-да, Россия, — рассеянно повторил генерал Толстой. — Где дискета?

— Теперь им известны все семь букв, — сказал Илларионов, — не слишком ли дорогая цена за дискету?

— Не думаю, сынок, — отправил в электронный мусоросжигатель новую порцию бумаг генерал Толстой. — У них очень совершенные

компьютеры. Они пропустят в космической лаборатории через вирус уничтожения все возможные комбинации из этих семи букв. По Библии ведь как? Узнать и уничтожить имя значит уничтожить того, кто будет назван этим именем. Мы идем с ними параллельными курсами, сынок. Только они хотят спасти свою западную цивилизацию, то есть доллар Соединенных Штатов Америки, а мы — как всегда весь мир. Как говорится, Бог в помощь, да только у них мало времени, сынок. Чтобы одно семибуквие прошло в космосе через вирус уничтожения, требуется десять минут и шестнадцать секунд. Они должны

угадать имя не позже семидесяти семи часов с момента зачатия носителя имени. Потом он неуязвим.

— Зачем вам это? — Илларионов извлек из кармана дискету, положил на стол. — Какой в этом смысл? Что именно вы хотите спасти?

— Сам не знаю, сынок, — задумчиво посмотрел на дискету генерал Толстой. — Я как будто просадил в прибрежном казино все свое состояние. Но мне доподлинно известно, что не позже чем через час волна-цунами смоем казино вместе со сраным прибрежным городом к чертовой матери. И вот я занимаю под немыслимые проценты деньги, покупаю фишки и ставлю все на

зеро. Зачем? Я сам не знаю...

— На кого из двадцати шести вы ставите? — спросил Илларионов, хотя заранее знал ответ.

— На нынешнего президента, — удивленно ответил генерал Толстой. — На кого же еще?

Илларионов медленно поднялся, пошел к двери. Генерал Толстой любил повторять, что человеческому пониманию доступна в лучшем случае половина истины. Другая — решающая — половина остается вне человеческого понимания, потому что она в другом мире. Поэтому Илларионов не стал спрашивать у него, какую ставку он сделал в другом — не прибрежном — казино.

Илларионову показалось, что генералу Толстому не понравился его сон. Не столько то, что Илларионов отныне знал свой путь: лететь сквозь солнечный снег вместе со светящимися альбатросами, — сколько то, что Илларионов увидел не змей, волков или крыс, а птиц, конкретно альбатросов. И еще Илларионов вдруг вспомнил давнюю контрольную работу, в которой он делился мыслями относительно того, как принять единственно верное решение в условиях, когда единственно верного решения не существует, потому что в любом решении заключается изначальная, исходящая из предложенных условий,

ошибка. Илларионов тогда написал, что единственная возможность принять верное решение – довести до логического завершения (абсурда) все возможные, в особенности взаимоисключающие решения. Грубо говоря, использовать все имеющиеся в твоем распоряжении силы для решения одной задачи двумя – взаимоисключающими в смысле ожидаемого результата – методами. Только тогда полученное решение может считаться правильным, потому что погрешность против Судьбы будет практически сведена к нулю. Илларионов более ни секунды не сомневался, что генерал Толстой одновременно стоит во главе двух

заговоров: чтобы любой ценой привести к власти нынешнего президента – и чтобы любой ценой у него эту власть отобрать.

Илларионов молча открыл обитую вишневой кожей дверь кабинета.

– Будь осторожен, сынок, – услышал он голос генерала Толстого. – Сегодня неудачная в смысле электромагнитного излучения ночь.

Илларионов, не смягчая шагов, вышел в застланный ковром коридор, а потом, до предела смягчив, вернулся к предусмотрительно оставленной чуть приоткрытой вишневой двери. Он вернулся

вовремя. Генерал только что закончил набирать номер на сотовом телефоне.

— Он твой, — сказал генерал и тут же прервал связь.

Илларионов выскользнул в коридор. Он не знал, благодарить ему генерала Толстого за предупреждение или проклинать за предательство. Спустившись на лифте вниз, выйдя на темную Лубянскую площадь, Илларионов подумал, что ему нет смысла ни благодарить, ни проклинать генерала. Илларионов знал, кому отдал его генерал Толстой, произнеся в телефонную трубку два слова: «Он твой».

Судьбе.

Илларионов пренебрег дежурной машиной, отправился домой пешком. Ночь была столь тиха, что Илларионову казалось, он слышит, как глухо бубнит вознесенный над зданием Государственной Думы огромный трехцветный государственный российский флаг. Флаг был бесконечно одинок в черном воздухе над крышей Госдумы. Со всех сторон его подпирали желтые лучи прожекторов. Илларионов вспомнил, что желтый цвет — цвет предательства. Таким образом,

вокруг российского государственного флага простирались две стихии: черная — небытия — и желтая — предательства.

На Охотном ряду Илларионов спустился в подземный город. В некоторых круглосуточно работающих секциях торговали спиртным, экзотическими фруктами, горячими мясными закусками. Однако запах специй, кофе, пиццы и чизбургеров — запах благополучия и достатка — растворялся в тошнотворной вони, исходящей от набившихся в подземный город бомжей. Илларионов сегодня не обедал и не ужинал. У него мелькнула мысль съесть жареную

сардельку, запить ее клюквенной новгородской водкой, но он понял, что это исключено, заметив под пластиковым столиком, за которым он намеревался расположиться, бинтующего гноище на ноге изможденного старца, изнуряемого вшами. Вшей на, похоже, отдающем Богу душу старце было слишком много для одного человека. Они уже освоили стол — копошились в белоснежной соли в солонке, отчего соль казалась живой и как будто смешанной с огненным кайенским перцем.

Илларионов поднялся из подземного города уже на Новом Арбате, то есть почти что у самого

своего дома. Суставчатый Сивцев Вражек был абсолютно непрогляден, как если бы Илларионов свалился в огромную чернильницу.

Он медленно шел мимо толстых, не пожелавших расстаться с сухими листьями деревьев, мимо смотрящих на него пустыми глазницами реставрируемых особняков. Вооруженный пистолетом с глушителем человек мог без малейших помех выстрелить в него, из-за любого дерева, из любой пустой глазницы. То, что Илларионов совершенно спокойно шел мимо деревьев и пустых глазниц (дались ему эти глазницы!) свидетельствовало, что покуда

вооруженный пистолетом с глушителем человек не послан по его душу.

Летающие сквозь светящийся снег альбатросы представлялись невозможными в чернильной тьме Сивцева Вражка. Илларионов вдруг испытал глубочайшее душевное спокойствие. Последние сомнения ушли: данный период его жизни завершился, его ждет другая – тихая, исполненная простых чувств и радостей жизнь.

Больше всего на свете» Илларионову сейчас хотелось посмотреть в зеркало. Ему казалось, он помолодел по меньшей мере на двадцать лет. Он

прикоснулся рукой к лицу — кожа была гладкой и юной. Мышцы вдруг налились упругой силой. Илларионов подпрыгнул вверх и коснулся звенящего сухого листа на дереве на невероятной высоте.

Генерал Толстой остался в прошлом. Образ его истаивал в чернильных волнах. Илларионов чувствовал себя свободным и счастливым. Единственно, огорчало — абсолютное — лабораторий чистое — одиночество, но почему-то Илларионов был уверен, что оно скоро закончится. Он уже видел себя, катящего по суставчатому Сивцеву Вражку детскую коляску, ласково посматривающего на освещенные

окна своей квартиры, где его ждут.

Илларионов понял, что в самое ближайшее время займется перепланировкой квартиры: сломает стену, соединит нелепый длинный, как шланг, коридор с комнатой, в результате чего получится великолепный светлый холл. И выкинет на помойку кирзовое кожаное кресло, так, помнится, не понравившееся отцу.

Один фрагмент (теперь Илларионов не сомневался, что последней) беседы с генералом Толстым, тем не менее, не представлялся законченным и ясным. Илларионов не случайно считался одним из лучших аналитиков в

системе. Он продолжал думать над этим фрагментом даже сейчас, начав новую жизнь.

Было что-то в этом фрагменте, как грыжа, выпадающее из его понимания.

Генерал Толстой спросил, прогнал ли Джонсон-Джонсон семибуквие на своем суперскоростном, соединенном со спутником компьютере? Илларионов вспомнил прыгающую строчку, разглядеть на которой сменяющее друг друга комбинации из семи букв можно было, только замедлив скорость работы компьютера в миллион раз. Генерал Толстой спросил, что делал в этот момент

Илларионов. Илларионов вспомнил, что некая завораживающая сила, как пластырем, прилепила его к дурацкой прыгающей строчке, и не было сил оторвать взгляд. «Не помню, — ответил Илларионов, — вполне возможно, что я в этот момент выходил».

Генерал Толстой немедленно перевел разговор на другое, но Илларионову было не отделаться от ощущения, что генерал не только ему не поверил, но и узнал что хотел.

Что-то важное.

Илларионову вспомнилось знаменитое звено, ухватившись за которое, можно вытащить всю цепь.

«Без меня, — подумал он. — Мне,

как пролетариату, нечего терять, кроме моих цепей».

Он переступил порог подъезда, даже предварительно не оглядевшись, всецело полагаясь на ангела-хранителя, простершего над ним крыла в чернильной зимней московской ночи.

В подъезде было тихо.

Илларионов вдруг услышал, что кто-то тихо зовет его по имени, и одновременно услышал то ли всхлип, то ли вздох наверху.

Кто-то окликал его по имени — правильно, а не Иваном Ивановичем или Петром Петровичем — слева и чуть снизу.

Это могла быть только смерть.

Илларионову вдруг стало холодно и страшно, как и должно стать человеку, узнавшему, что в ангелах-хранителях у него ходит смерть. Хотя в подъезде топили, как если бы в Москве стояли крещенские морозы.

Но это была не смерть.

— Не ходи туда! Илларионов узнал голос отца.

— Господи! Но ведь ты... не можешь быть смертью! — воскликнул он.

— Удивительно точное наблюдение. — У Илларионова отпали малейшие сомнения в том, что это отец. — В особенности для полковника госбезопасности,

которому светит стать генералом и начальником главного управления.

– Отец, ты... где?

– Не суть важно, где я. Важно то, что у тебя сейчас есть все шансы оказаться в гораздо худшем месте. Я пошел на крайнюю меру – попросил смерть подвинуться вправо – вплотную к славе, – чтобы ты меня услышал.

– Я здесь, отец!

– Ты не должен входить в подъезд. Вернись на Арбат, останови любую машину, езжай во Внуково. Возьми билет... да хоть на Минск.

– На Минск? – растерялся Илларионов-младший. – Хорошо, я так и сделаю. Ты сказал, что

попросил смерть подвинуться вправо. Попроси ее там остаться. У меня такое чувство... Я полон сил, отец, моя жизнь только начинается! Скажи, что я должен сделать, чтобы вытащить тебя оттуда?

— Идиот! — голос отца сделался тише. — Речь идет не о твоей жизни и смерти, речь идет о...

Тишина сделалась абсолютной, как в космосе. Илларионов испытал одиночество, недоступное простому смертному. Да и как могло быть иначе, когда единственный и вечный спутник человека — смерть — на какое-то время оставил его, сместившись вправо. Но, похоже, смерть вернулась на место, потому

что Илларионов вдруг услышал крысиный писк в подвале и — вновь — то ли вздох, то ли всхлип наверху, на лестнице.

— Да-да, в Минск, немедленно в Минск, — пробормотал он, с ужасом вспомнив, что у него нет при себе ни паспорта, ни денег, ни даже ключей от записанной за ним служебной квартиры, где в сейфе в изобилии имелись паспорта на все случаи жизни и самые разные деньги, включая такие экзотические, как дальневосточные червонцы и татарстанские алтыны.

Илларионов выскочил из подъезда, и чернильная, исполненная бритвенного листовного звона тьма

объяла его до самой души.

Напомнил о себе пристегнутый к поясу пейджер. Илларионов судорожно поднес его к глазам. Почему-то подумалось, что там весточка от неожиданно смешенного с места смерти (вправо – к славе?) отца. Но на экранчике было: «Господин Джонсон-Джонсон просит вас немедленно связаться с ним. Речь идет о деле исключительной важности, затрагивающем судьбу человечества».

Меньше всего в данную минуту Илларионов был склонен заниматься судьбой человечества. Он уже принял решение лететь в Минск. Но ему – одному из лучших в системе

исполнителей — казалось унижительным лететь в Минск эдаким беспаспортным голышом. Белоруссия была независимым государством. У Илларионова были хорошие знакомые в тамошней службе безопасности. Но ему, русскому офицеру, казалось унижительным занимать у белорусов доллары, вставать на их довольствие. Илларионову нравилась английская пословица: «Мой дом — моя крепость». Он не возражал против Минска. Но только после короткого (последнего?) посещения своей крепости.

Илларионов вошел в соседний подъезд, крадучись поднялся на

последний этаж, в колеблющемся тусклом свете умирающей лампочки вскрыл заключенной в брелке отмычкой замок на двери, ведущей на чердак. Ощупью, вдоль дышащей огнем трубы отопления, пробрался в аспидной сухой темноте до двери своего подъезда, открыл ее все той же отмычкой, подсвечивая скудным зеленоватым экранчиком пейджера. На упругих неслышных ногах, со снятым с предохранителя пистолетом в руке, двинулся вниз, испытывая острое желание всадить между глаз пулю любому, кто встанет на пути между ним и его крепостью.

Но тихо было на лестнице.

Путь от чердачной двери до

двери его квартиры был свободен.

Уходя, Илларионов имел обыкновение ставить на дверь специальный пластиковый тончайший контрольный волос. Открыть дверь, не повредив его, было крайне затруднительно.

Волос был на месте.

Илларионов уже входил в квартиру, когда до его слуха вновь донесся то ли вздох, то ли всхлип. Может, внизу мяукала кошка. Или скулила пригревшаяся у батареи собака. Илларионову вдруг показалось, что он когда-то где-то слышал точно такой же звук. Вот только где и когда, вспомнить было невозможно.

Несколько

мгновений

Илларионов размышлял у открытой двери квартиры. И чем дольше он размышлял, тем отчетливее ему хотелось спуститься вниз, узнать в чем дело.

«Не ходи туда», – вспомнил Илларионов слова отца. Но в данный момент он был совершенно свободен в своем выборе. Отец предупредил его, чтобы он не входил в подъезд. Он вошел через чердак. Отец не мог знать, что он будет стоять у двери в квартиру, совершенно свободный в решении, идти или не идти ему вниз. Недостойно мужчины было не пойти и не узнать, когда хотелось пойти и узнать. Илларионов не шел на поводу

у обстоятельств. На чаше невидимых весов свободный выбор перетягивал возможную смерть. Смерть в результате осуществления свободного выбора представлялась не трагедией, не вопиющей несправедливостью, но всего лишь досадной неудачей, проигрышем. Вот только отыграться, подумал он, вряд ли удастся. Илларионов посмотрел на пистолет. Пока что ему везло с оружием. Он или сам удачно стрелял первым, или же кто-то неудачно стрелял первым в него.

Илларионов взялся за пистолет двумя руками, неслышно шагнул из-за шахты лифта по лестнице вниз.

И тут же остановился.

Он понял, чего ему смертельно не хватало в этой жизни.

Ему смертельно не хватало любви.

Илларионов с недоумением посмотрел на пистолет, спрятал его в карман пальто. Пока что он видел только вздрагивающую у окна спину девушки, струящиеся по воротнику плаща мельхиоровые волосы. Но и со спины девушка была так трогательно беззащитна, так хрупка и несчастна, что приближаться к ней с пистолетом в руках казалось кощунством. Илларионов почувствовал, как его глаза наполняются слезами.

Он не знал, кто эта девушка.

Он не знал, почему она стоит у окна на лестнице среди ночи.

Он любил эту девушку.

Он знал, что только с ней будет счастлив. И она будет счастлива только с ним.

Когда Илларионов осторожно тронул ее за плечо, девушка вновь всхлипнула. Илларионов вспомнил, где слышал этот звук. В Мексике.

Он помогал покинуть Штаты одному кубинцу. Они пересекли границу в Тихуане и ехали ночью через пустыню на юг. Когда остановились у бензоколонки, Илларионов услышал в кактусах жалобный девичий плач.

— Что это? — спросил

Илларионов у своего спутника, изумляясь странному чистому звуку.

— Течная сучка королевского койота, — ответил кубинец.

— Почему она так жалобно плачет?

— Чтобы сучка королевского койота принесла потомство, ее должны оплодотворить два самца с очень небольшим разрывом во времени, — объяснил кубинец. — Сучки всегда так плачут, когда течка заканчивается, а самцов нет.

Илларионов даже улыбнулся, таким неуместным показалось ему это воспоминание.

Он знал, что отныне ничто не сможет разлучить его с этой

девушкой.

Даже смерть.

– Могу ли я что-нибудь сделать для вас? – спросил Илларионов.

Августа так и не смогла понять, откуда взялась посреди зимы в московской квартире экзотическая серо-коричневая ушастая бабочка. Она кружилась вокруг светильника в длинном коридоре. Сын генерала Илларионова несомненно видел бабочку за мгновение до смерти. Вне всяких сомнений, ему было известно, что означает появление бабочки. Он умер с выражением горестного прозрения на лице.

Августа внимательно осмотрела стилет. На лезвии не было ни кровинки.

Сын генерала Илларионова умер легко. Гораздо легче, чем несчастная Епифания, от которой (в соответствии с режиссерским сценарием) во что бы то ни стало требовалось заключительное слово. Августа ни к селу ни к городу вспомнила модернистскую пьесу, поставленную в театре имени Вахтангова. На сцену в крошечной тьме вышла совершенно голая женщина с намазанными фосфоресцирующим составом губами (на лице). Вся пьеса — она длилась два с половиной часа — состояла из ее монолога: летающих по сцене, в отличие от серо-коричневой ушастой бабочки еще и

свещающихся, губ.

Августе почему-то хотелось плакать.

Она знала, что парень, как только ее увидит, влюбится в нее, впустит в квартиру. Но она не знала, что страсть будет взаимной. Августа давно забыла, что такое случайные связи — слишком ничтожны были окружающие ее мужчины. В ее планы отнюдь не входил разовый адюльтер с человеком, которого она была вынуждена заколоть. Сын генерала Илларионова не был мужчиной в ее вкусе. Ответная страсть Августы была неподотчетна Августе. То, что произошло этой ночью между ней и сыном генерала

Илларионова, следовательно, не имело логического объяснения. Это было невероятно, но у Августы даже мелькнула мысль оставить его в живых.

Но он увидел бабочку, потом зачем-то посмотрел в висящее над черным креслом зеркало. Августа могла только догадываться, что он увидел в этом, настроенном на параллельный мир зеркале.

Он мог увидеть что угодно.

Быть может, своего отца — генерала Илларионова. А может, ускользнувшую с ложа обнаженную Августу, как древнегреческое изваяние вставшую с занесенным стилетом по левую сторону от

кресла.

Как бы там ни было, она не стала тянуть время. Нечего было парню засорять сетчатку видениями из параллельного мира. Августа слышала, что видения из параллельного мира как ластиком счищают с сетчатки суточную (дольше не держится) информацию. Она нанесла быстрый и точный удар стилетом. Парень не оказал ни малейшего сопротивления. Похоже, он не знал, что слева от обтянутого черным оптико-волоконным пластиком — под потертую кирзу — кресла простирается зона невидимости. Августа вбила ему стилет, как гвоздь, точно в шейную

выемку, в сонную артерию, мгновенно — коротким замыканием — погасила в нем свет, разъединила мозг и тело. После чего упала в проклятое кресло, сотрясаемая неурочным черным, как оптиковолокно — под потертую кирзу — пластик, оргазмом.

Одевшись и приведя себя в порядок, Августа отволокла тело сына генерала Илларионова в комнату, водрузила его на обеденный стол, направив на разглаженное и облагороженное смертью лицо весь имеющийся в наличии электрический свет: Предстояла довольно сложная операция по сканированию глаза покойника.

Августа вышла на лестницу, вернулась с сумкой и зачехленным сканером, которые были спрятаны за трубой мусоропровода. Ей не хотелось портить покойнику лицо, но, как она ни старалась, приладить чертов сканер не получалось. Вздохнув, Августа достала из сумки лазерный скальпель, натянула на руки хирургические резиновые перчатки и быстро – практически без крови – изъяла из глазницы левый глаз сына генерала Илларионова: овальный, в мелкую пеструю крапинку, как яйцо кукушки, в тончайшей алой бахrome нервных окончаний и капилляров.

Генерал Толстой сказал, что

начинать следует с левого глаза. Похоже, он сам доподлинно не знал, какого рода информация запечатлена на сетчатке левого глаза несчастного сына генерала Илларионова, но полагал, что это достаточно важная информация. Ему не было резона врать, потому что отныне на земле не осталось места, где бы он смог скрыться от гнева Августы. Но генерал Толстой не был бы генералом Толстым, если бы не попытался и в этот (последний) раз перехитрить ее.

Приступив к сканированию, Августа распознала хитрость генерала Толстого. На экране немедленно высветились семь

огненных букв — имя ее долгожданного первенца. Августа поняла, что время самостоятельных решений истекло. Отныне ей предстоит исполнять приказания первенца. Августа мысленно восхитилась генералом Толстым. Он сделал все, чтобы она собственными руками убила отца своего первенца до того, как он станет отцом ее первенца.

Она чудом избежала ловушки.

Семя покойника проросло в ней семью огненными буквами.

Но вот буквы стали меркнуть. Обретший имя и, следовательно, земную жизнь первенец сообщил своей матери — Августе, — что он

ничто без силы. Силу ему должен был дать единственный человек в мире – второй отец, имя которого высветилось на экране.

Как и следовало ожидать, в сумке шейха Али находился наряд странствующего дервиша. Там же майор Пухов обнаружил и священный для мусульман-шиитов складной посох пророка Идриса, опираясь на который, тот тысячу лет назад ходил по Месопотамии. Пухов опасался, что в остроконечной волчьей шапке, в пестром халате, с посохом в руках его примут за нищенствующего беженца из Таджикистана, отправят в ближайший районный бомжатник, но на подходе к коммерческому

Щукинскому аэродрому не было милицейских постов.

Пухов, оставив «мерседес» Нура у ворот недостроенного фешенебельного особняка (там он не мог вызвать подозрений), без помех проследовал, стуча посохом сначала по лесной дороге, потом по шоссе, а там и по аэродромному бетону, до стоящего на дальней стоянке Ту-203.

Как профессионал, майор Пухов искренне восхищался действиями гулийцев. Определенно, им светили лавры лучших террористов в истории человечества. До государственного переворота — их полной и окончательной победы над все еще занимающей одну восьмую часть

суши Россией — оставались считанные часы, присутствия же гулийских повстанцев в Москве практически не ощущалось.

Кому, спрашивается, могло прийти в голову, что в неохраняемом, попугайски раскрашенном литовском лайнере на дальней стоянке занюханного Щукинского коммерческого аэродрома располагается штаб мнимого покойника — без пяти минут диктатора России — генерала Каспара Сактаганова?

Еще только поднимаясь на борт, майор Пухов опытным взглядом определил, что замаскированный под грузовой борт бомбардировщик под

завязку набит бомбами, и что даже случись чудо — провались государственный переворот — Кремлю, Старой площади, Охотному ряду, Пушкинской однозначно лежать в развалинах, ибо лету от Щукина до центра Москвы не более одиннадцати минут. Никакое, следовательно, ПВО не засечет и не собьет бомбардировщик, сбрасывающий бомбы с высоты пятисот метров. Пухов подумал, что не зря у него под халатом семь магнитных мин системы «Zalzman».

...Наряд странствующего дервиша, посох пророка Идриса все еще были при майоре Пухове.

Он убедил генерала Сака

написать перед смертью записку, чтобы никто не входил к нему в салон в течение часа. Генерал должен был в тишине и покое обдумать то, что сказал ему шейх Али — живая святыня исламского фундаментализма. В данный момент генерал Сак обдумывал итоги беседы, сидя в кресле за столом, на котором была расстелена подробнейшая карта Москвы. Вот только никакого решения по окончании испрошенного часа он не мог принять по причине того, что у него была сломана шея. Майора Пухова еще давным-давно в Диснейленде удивило, какая тонкая у генерала-гулийца шея. Отчего-то ему

уже тогда (хотя речи об этом не было) вдруг подумалось, что сломать эту шею проще простого. Так оно и оказалось спустя семь лет. Генерал Сак написал записку для охраны, взяв с майора Пухова клятвенное обещание оставить после его смерти в покое несчастный гулийский народ.

Майор вполне успевал добратся, помахивая посохом, до «мерседеса», сбросить живо напоминающий ему верблюжью попону наряд странствующего дервиша, сложить как удочку посох пророка Идриса, вернуться на машине к аэродрому и нажать кнопку на пульте, приводящем в действие магнитную минную систему

«Zalzman». Единственно, его ужасала сила взрыва начиненного бомбами, как арбуз семечками, бомбардировщика, но другого способа ликвидировать штаб гулийских террористов-заговорщиков в данный момент не существовало.

Пухов вспомнил, как надменно замкнулся генерал Сак, когда он снял волчью шапку странствующего дервиша и расстегнул халат, показав ему прикрепленные клейкой лентой к телу магнитные мины «Zalzman».

– Деньги тебя не интересуют, – скорее констатировал, нежели осведомился генерал Сак. – Так же как и власть, не важно, над Россией или целым миром.

Майор Пухов молчал, искренне не понимая, что этому изможденному, тонкошему, явно пристрастившемуся к сильным наркотикам человеку до России?

— Значит, ты даже не исчадие ада, — продолжил генерал Сак, — а нечто более худшее.

— Неужели существует нечто более худшее? — удивился майор Пухов.

— Как ты понимаешь, речь идет не об исламе, — сказал генерал Сак.

— Ну да, — кивнул Пухов, — речь идет о спасении России, о чем же еще? Кто еще может спасти Россию, кроме тебя?

— Ты нечто более худшее, чем

исчадие ада, — объяснил генерал Сак, — потому что ад предполагает приверженность низменным человеческим страстям. Тебе нет дела до власти и денег. Но тебе нет дела и до величия твоей страны. То есть для тебя, в сущности, нет разницы между низменными и высокими страстями. Ты не человек. Вот почему ты хуже, чем просто исчадие ада.

— Все гораздо проще, генерал, — майору Пухову начал надоедать бессмысленный разговор. Гулиец готовился к встрече с живой глухонемой легендой исламского фундаментализма — столетним мудрым шейхом — и, соответственно,

выражал свои мысли витиевато. — Не надо было тебе убивать мою мать.

— Я знаю, о чем ты хочешь меня спросить, — с грустью посмотрел на Коран генерал Сак. — О генерале Толстом. Я намерен замкнуть круг. Это было мое личное решение. Генерал Толстой здесь ни при чем. Все прочие были всего лишь исполнителями.

Майор ему не поверил. Но замкнуть круг — это была неплохая идея. Пухов вдруг подумал, что если бы генерал Сак не собирался брать в России власть, а в случае неудачи стирать с лица земли центр Москвы, он бы, пожалуй, оставил его в живых. Майору Пухову было не отделаться от

ощущения, что чаша мщения переполнена, что она, как Ноев ковчег, плавает... в крови.

– С шейхом Али все в порядке, – сказал он генералу Саку, после чего специально отвернулся, склонился над картой Москвы.

Генерал Сак резко бросил руку под столешницу – на кнопку вызова охраны. В этот самый момент майор Пухов легким, стремительным движением захватил голову генерала изгибом локтя и тут же с разворотом поднялся из-за стола, слыша глухой треск шейных позвонков.

...Взрыв Ту-203 был такой силы – как и следовало ожидать, во чреве самолета сдетонировали бомбы, –

что горизонтальный столб пламени почти нагнал несущийся по шоссе «мерседес» майора. Щукинский коммерческий аэродром перестал существовать. Оглянувшись, майор увидел летящие вверх куски фюзеляжа.

Майор Пухов подумал, что они, пожалуй, долетят до Диснейленда.

Выехав на кольцевую автодорогу, майор Пухов почувствовал себя отпускником. Мысль об островах Фиджи более не казалась ему безумной и неосуществимой. Он позвонил по сотовому Дровосеку. Тот ответил сразу, но в комнате слышались другие голоса. Пухов посмотрел на часы. Половина шестого утра. Для пьянки было слишком поздно. Для производственного совещания — слишком рано.

— Вопрос улажен, — сказал майор Дровосеку. — Я... — он хотел сказать,

что намерен воспользоваться личным самолетом Дровосека на стоянке в Тушино, но в последний момент передумал. Пилоты должны заранее знать маршрут, чтобы сообщить наземным диспетчерским службам. Самолетами в финансово-промышленной группе занимался помощник Дровосека Ремер. Почему-то майору Пухову не хотелось, чтобы тот был в курсе его перемещений в пространстве. — Хочу взять отпуск по семейным обстоятельствам, — сказал Пухов.

— Надолго? — спросил Дровосек.

Майору показалось, что или глава крупнейшей российской финансово-промышленной группы

сильно пьян, или он не верит, что генерала Сака, на чьих деньгах он поднялся, больше нет в живых.

— На три недели, — ответил майор.

— Как быть с... отпускными и лечебными? — поинтересовался Дровосек. — Банк на Смоленской открывается в восемь. Если надо прямо сейчас, приезжай в пансионат, я распоряжусь, чтобы приготовили.

— Не к спеху, — сказал Пухов, — сбросьте на пластиковую карточку.

— На «American express», — сказал Дровосек, — отпускные, лечебные и премиальные.

Съезжая с кольцевой на шоссе, ведущее во Внуково, майор Пухов,

сделал еще один звонок по сотовому телефону.

– Леночка, – быстро сказал он, – я люблю тебя, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я сейчас вылетаю в Ставрополь. Мать похоронили без меня, надо сделать ограду, поставить на могиле памятник. Я собираюсь провести в Отрадной неделю. Если ты примешь мое предложение, прилетай прямо туда. Мы немедленно распишемся и... куда хочешь – на Багамы, Фиджи, Ямайку... Я не так богат, как Дровосек, но на жизнь денег хватит. Ты не будешь нуждаться ни в чем. Бог с ней, с Россией, Леночка, забудь о ней, она не приносит людям счастья.

Я хочу, чтобы тебе, то есть нам, нашим детям принадлежал весь мир!

...К дому матери в Отрадной майор Пухов подъехал ночью. Он выключил фары на взятом в бригаде десантников УАЗе, как только свернул на грунтовую, ведущую в станицу, дорогу. Майору не составило труда убедиться, что в доме не только никого нет, но что он даже не разграблен.

Светя фонариком, майор вошел в сарай, заперся изнутри и примерно через полчаса выкопал прорезиненные черные, опечатанные пломбами мешки, в которых пакистанское казначейство

перевозило наличные дензнаки. В семи мешках было ровно семьдесят семь миллионов долларов.

Заперев сарай, майор Пухов вернулся в дом. У него сладко защемило сердце, когда в залитой лунным светом комнате матери он увидел стоящую лицом к окну и спиной к нему Лену Пак. В лунном свете черные азиатские волосы Леночки показались ему мельхиоровыми.

Майор приблизился, обнял ее и, задыхаясь от счастья и страсти, овладел Леной сзади – как когда-то давно в Германии, в комнате мотеля, освещаемой сквозь занавески фарами проносящихся по автостраде

машин. И только потом, оторвав ее руки от подоконника, укладывая ее на себя, чтобы овладеть ею снизу, в тонком пронзительном свете уткнувшегося ему в шею мельхиорового луча, более похожего на спицу, а если быть еще точнее, на стилет, майор понял, что женщина, которой он только что овладел, вовсе не Леночка Пак.

Августе понравился просторный дом в станице Отрадная Бердянского района Ставропольского края. Еще больше ей понравились обнаруженные в сарае черные мешки, в которых было ровно семьдесят семь миллионов долларов. Ей даже не надо было рыть могилу, чтобы предать земле второго отца ее первенца. Этот носящий многие имена отец, одно из которых было майор Пухов, сам позаботился как о своей могиле, так и о будущем (по крайней мере на первое время) своего сына.

Августа не уставала поражаться легкости, с какой она обнаружила майора Пухова. Она позвонила по прямому номеру некоему господину Дровосеку, службу охраны которого возглавлял Пухов, и спросила, как ей найти майора.

— Кто вы? — спросил Дровосек. — Зачем он вам?

— Я его жена, — ответила Августа. — Он задолжал мне алименты, я хочу, чтобы он расплатился.

Дровосек передал трубку какой-то девушке, видимо, секретарше, которая (после того как Августа вторично все объяснила) подробнейшим образом расписала

ей, как найти майора. У Августы даже мелькнула мысль, что эта девушка имела на майора свои виды, потому что, разговаривая с Августой, она едва сдерживала слезы. Августа попросила ее вернуть трубку Дровосеку.

— Вы деловой человек, — сказала Августа, — и, стало быть, знаете, какой это нелегкий труд — взыскивать с задолжавших отцов алименты. Я намерена получить долг не позднее сегодняшней ночи. Мне необходимо срочно вылететь в Бердянск. Я была бы счастлива воспользоваться вашим самолетом.

— Поезжайте в Тушино, — не раздумывая, согласился Дровосек. —

Вас встретят и проводят.

Не прошло и часа, как молодой человек с зализанными светлыми волосами и водянистыми глазами оформил для Августы чартерный рейс до Бердянска на личном самолете главы финансово-промышленной группы «ДровосеК».

Похоронив майора Пухова, Августа отправилась спать в дом и спала так хорошо и крепко, как никогда в жизни.

Утром она прогулялась по станице. Уже практически ничто не напоминало о недавнем налете террористов. Когда Августа подошла к дому, пожилой почтальон с сухим пергаментным от южного солнца

лицом вручил ей свежие газеты. Казалось, он нисколько не удивился присутствию в доме незнакомой женщины.

За завтраком Августа перелистала газеты. Заслуживающими внимания ей показались две новости – отнюдь не из числа первополосных. О взрыве на подмосковном коммерческом аэродроме в Щукине грузового самолета литовской авиакомпания. Взрыв был такой силы, что обломки самолета необъяснимым образом упали (к счастью, никого не убив) на... священное место Америки – парк Диснейленд в штате Калифорния. И о странном случае с

московскими диггерами, совершавшими очередной рейд по подземельям столицы. Будто бы в одном из подземелий прямо навстречу им вышла огромная крыса, которая не только не испугалась вооруженных арбалетами диггеров, но сама открыла по ним из скорострельных пистолетов с обеих лап беглый огонь по-македонски. Один диггер был убит на месте, другой получил пулю в ногу. Прокуратура муниципального округа Таганский, однако, отказалась расследовать это дело, сославшись на недавний указ президента Российской Федерации об объявлении этих самых неизвестно

что раскапывающих (сами они утверждали, что истину) диггеров вне закона. Все московские прокуратуры были буквально завалены делами о гибели диггеров в результате разных фантастических обстоятельств. Таких, к примеру, как нападение огромной, стреляющей из пистолетов по-македонски, крысы. Указ президента освобождал правоохранительную систему от расследований внутренних разборок диггеров.

Августа еще не знала, останется ли здесь, в станице Отрадная, в России, или поедет в другое место. В сущности, это уже не имело значения.

Ведь ей отныне принадлежал
весь мир.

Февраль-август 1996